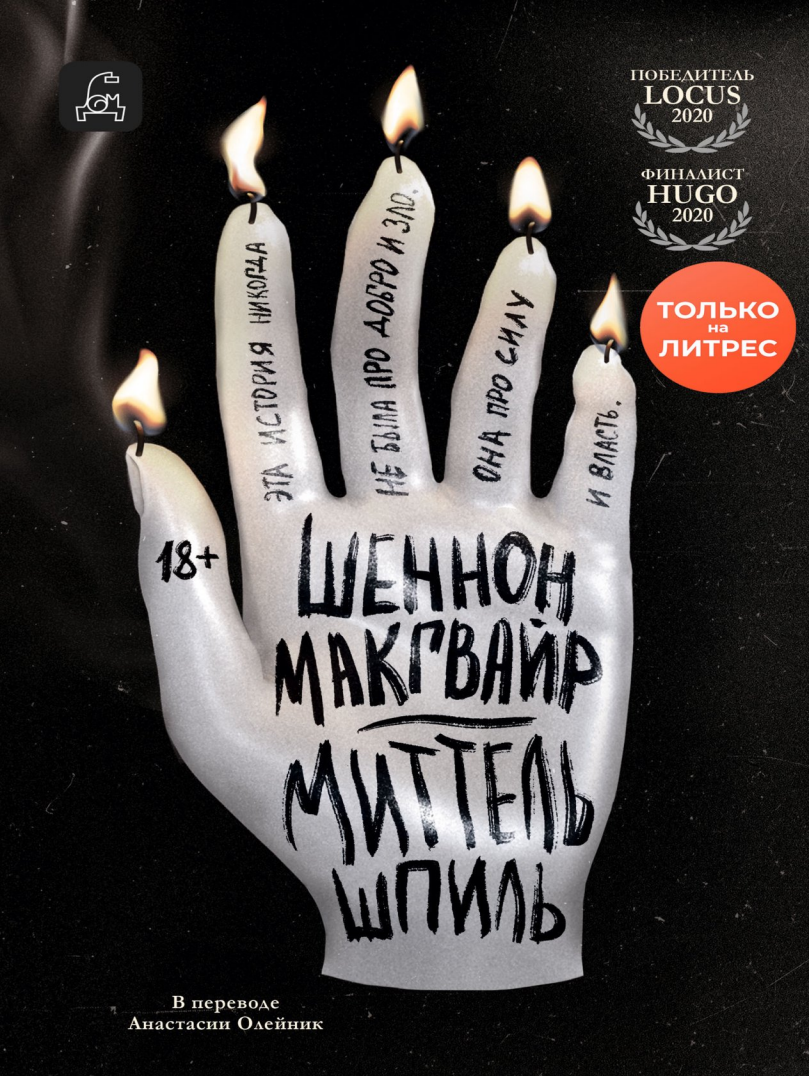

ПОБЕДИТЕЛЬ
LOCUS
2020
ФИНАЛИСТ
HUGO
2020
ТОЛЬКО
на
ЛИТРЕС
ЭТА ИСТОРИЯ НИКОГДА
НЕ БЫЛА ПРО ДОБРО И ЗЛО.
ОНА ПРО СИЛУ
И ВЛАСТЬ.
18+
ШЕННОН
МАКГВАЙР
МИТТЕЛЬ
ШПИЛЬ
В переводе
Анастасии Олейник

Миттельшпиль
Шеннон Макгвайр

Аннотация
Шеннон Макгвайр. Миттельшпиль
Книга VII. Конец
  Провал
Книга 0. Начало
  Бытие
Книга I. Второй этап
  Сто лет спустя
  Невероятная дорога
  Невозможный город
  Астролябия
Книга II. Доктрина созревает
  Знакомство
  Сложение
  Фиолетовые звездочки
  Изоляция
  На проводе
  Откажи мне
  Шах и мат
Книга VII. Конец…
  Волеизъявление
Книга II. Перезагрузка

Шах и мат
Калибровка
Срыв
Идеальный план
Спасение
Книга III. Аспирантура
Родственный визит
Ориентационная неделя
Воссоединение
Экспериментирование
Отчет
Пастораль
Снова дома
Книга IV. Усложнение
Флегматик
Вариация
Биология
Последствия
Вина
Отчет
Книга VII. Конец всего
Цена
Книга V. Отголоски землетрясения
Мы есть
Бегство
Галилей

Междугородний звонок
Виток
Слава
Война
Наука
Книга VI. Под-и-Над
Угольная пыль
Бессонная ночь
Яйца с ветчиной
Вода
Огонь
Бетон
Решающее сражение
Книга VII. Конец всего сущего
Исход
Морская пена
Книга VIII. После конца
Цена и последствия
Призраки
Первородство
Штаны

Аннотация

«Эта история никогда не была про добро и зло. Она про силу и власть».

Знакомьтесь – Роджер, прирожденный лингвист и талантливый рассказчик. Ему с самого детства легко даются языки, и мир он воспринимает на уровне слов. А это Доджер – одержимая числами девочка, которая видит мир уравнениями и делает все с помощью математики.

Роджер и Доджер связаны на особом уровне, который зовут квантовой запутанностью, но они еще не знают, что их появление – результат работы могущественного темного алхимика Рида. А Рид и его последователи хотят лишь одного – обладать властью над миром.

Роджера и Доджер ждет долгий и трудный путь до Невозможного города, через время, пространство и невероятные события, и пройти его они смогут только рука об руку.

Шеннон Макгвайр
Миттельшпиль

Шону, который всегда знал, что однажды я приведу его в Невозможный город. Спасибо, что верил в то, что я найду дорогу.

© 2019 by Seanan McGuire
© Олейник А., перевод на русский язык, 2023
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Эвербук», Издательство «Дом историй», 2025
© Макет, верстка. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2025

Книга VII
Конец

Говорят, нечетным числам – будь то в рождении, удаче или смерти – присуща некая божественность.

Уильям Шекспир «Виндзорские насмешницы»

Неважно, насколько красива ваша теория, неважно, насколько вы умны. Если она не согласуется с экспериментом, она неверна.[1]

Ричард Фейнман

---

[1] Примечания: 1
Перевод Н. Г. Яцюк.

Провал

Лента времени: опоздание в пять минут, тридцать секунд до конца света

Так много крови.

Роджер не знал, что в человеческом теле так много крови. Невозможная, нелепая, бессмысленная трата редкого и драгоценного ресурса, место которому — и это самое важное — внутри тела. Вся эта кровь должна быть внутри тела, которое ее породило, но она здесь, снаружи, и он тоже здесь, и все очень плохо.

Доджер все еще жива, несмотря на кровь, несмотря ни на что. Грудь поднимается и опадает короткими, едва различимыми рывками. Каждый вдох дается с явным усилием, но она продолжает бороться за следующий. Она еще дышит. Еще *истекает кровью*.

Но это скоро закончится. В теле Доджер в буквальном смысле не останется ни кровинки. И, когда она перестанет дышать, он перестанет дышать вместе с ней.

Если бы Доджер очнулась, она охотно сообщила бы ему, сколько именно ее крови разлито

вокруг. Она оглядела бы весь этот хаос. За секунду вычислила бы площадь залитой поверхности и объем жидкости и выдала бы конкретное число с точностью до четверти унции. Ей бы казалось, что таким образом она его утешает, даже если бы это число означало «я тебя покидаю». Даже если бы оно означало «пути назад нет».

Даже если бы оно означало «прощай».

Может быть, себя она бы и правда утешила. Вычисления сказали бы правду, а большего Доджер никогда не просила. Он знает подходящие слова: обескровливание, кровотечение, гиповолемия, — но слова не поддерживают его так, как числа — Доджер. Никогда не поддерживали. Числа бесхитростны и послушны, надо только понимать правила, по которым они живут. Слова более коварны. Они изворачиваются, кусаются и требуют слишком много внимания. Чтобы изменить мир, ему нужно думать. Его сестра просто берет и *меняет* его.

Не без последствий. Именно так они и оказались здесь, по ту сторону садовой изгороди, в конце невероятной дороги, в конце всего. Они так и не добрались до Невозможного города и уже никогда не доберутся. Король кубков вновь побеждает.

Король кубков всегда побеждает. Любой, кто пытается утверждать обратное, — лжец.

Выстрелы снаружи становятся громче, но впечатляют меньше, чем он ожидал: как будто петарды взрываются внутри жестяной банки. Но петарды далеко не столь разрушительны. Тонкие стены становятся все тоньше. Пули выгрызают бетон, и люди, которые преследовали их на невероятной дороге, скоро окажутся внутри. Эрин не сможет сдерживать их вечно, как бы ни старалась.

Он смутно осознает, что и не хочет, чтобы она сдерживала их вечно. Если здесь все закончится для одного из них, пусть закончится для обоих. Пусть здесь все закончится раз и навсегда. Никто — даже он — не может идти по невероятной дороге в одиночку.

Он хватает Доджер за плечо, чувствуя, что она еще здесь, что она жива и *реальна*, и как можно осторожнее тормошит ее.

— Доджер. Эй, Додж. Эй. Ну же, очнись. Мне нужна твоя помощь. Нам нужно остановить кровотечение.

Ее глаза по-прежнему закрыты. Грудь вздымается и опадает, и с каждым разом дыхание становится все более поверхностным.

Так много крови.

Он знает много слов. Шок, летальный исход, чудовищно простая, чудовищно меткая *смерть*. Доджер снова оставляет его, на этот раз навсегда. Уходит. Уходит. Ушла.

— Не поступай так со мной.

Его собственные раны не так тяжелы. Единственная пуля попала в верхнюю часть бедра в самом начале боя. Она прошла навылет, не задев крупные артерии, и Доджер тогда была еще в силах помочь ему наложить жгут. Если ему как можно скорее не окажут надлежащую медицинскую помощь, он вполне может лишиться ноги. Но прямо сейчас он об этом почти не думает. Может, у него тоже шок. Может, он этого заслуживает.

— Ты не можешь уйти. Не можешь. Мы зашли слишком далеко. Слышишь? Ты не можешь уйти. Ты мне нужна.

Ее глаза закрыты. Так много крови.

Кое-что он все-таки может сделать. Возможно, это единственный вариант. Возможно, он с самого начала был единственным, и все шло именно к нему. Наверное, это провал, бегство обратно в сад, но ему плевать, потому что ее грудь едва вздымается, и крови так много, *так много крови*,

и неважно, что он знает слова, все слова — для всего на свете. Числа забирают ее. Без нее он не может до них дотянуться.

— Я не справлюсь один. Прости. Я не справлюсь.

Он наклоняется к самому уху Доджер, касается губами его завитка. Волосы у нее липкие и гладкие от крови. Кровь пачкает его кожу, но он не пытается вытереть ее.

— Доджер, — шепчет он. — Не умирай. Это приказ. Это команда. Это требование. Делай что угодно, ломай что угодно, только *не умирай*. Это приказ. Это…

Это ее глаза — они открываются, зрачки сжаты в черную точку на серой радужке, как будто у нее серьезная передозировка опиатами. Это золотые искры на сером, яркие всполохи — Невозможный город пытается позвать ее домой. Он чувствует, как золото у него в костях откликается и тянется к золоту в Доджер, стремясь воссоединиться.

Это тишина — выстрелов больше не слышно. Они не смолкли постепенно, а просто прекратились, будто кто-то нашел, где у мира кнопка выключения звука.

Это мир становится белым.

Это конец.

Мы ошиблись мы ошиблись мы ошиблись мы ошиблись мы ошиблись мы

В одном и том же самом обычном городе, на одной и той же самой обычной улице жили двое самых обычных ребятишек, чьи пути никогда не пересекались. Впрочем, в этом, к несчастью, не было ничего необычного: невидимая линия посреди квартала разбивала детей на тех, кто ходит в школу на западной стороне города, и тех, кто ходит в школу на восточной, и этот незримый барьер разделил этих двоих задолго до того, как они повзрослели и узнали, что он существует. Каждое утро они просыпались, одевались, целовали на прощанье родителей и, как обычно, шли по обычной улице через обычный город в двух противоположных направлениях.

Как это часто бывает с детьми, они были одновременно и очень похожими, и очень разными. Девочку звали Хефциба, потому что ее родители были людьми апатичными и эксцентричными. Они звали ее Циб, рассуждая, что имя Хефциба

длиннее, чем ее тень. Каждый день они проверяли, не доросла ли она до своего имени, и каждый день разочаровывались.

– Скоро, – обещали они друг другу. – Скоро.

Мальчика звали Эйвери, потому что его родители были людьми практичными и энергичными. Они звали его Эйвери, когда были довольны, и Эйвери Александр Грей, когда сердились, и никогда не употребляли уменьшительных форм. Уменьшительные формы нужны тем, кому не подходят полные, поэтому родители мальчика, прежде чем дать ему имя, измерили его со всех сторон до последнего дюйма.

– Мы отлично справились, – уверяли они друг друга. – Мы справились.

Вот они, наши дети: обычные, ничем не примечательные, невероятно уникальные, как и все дети. Наша история начинается в обычный, ничем не примечательный день, какого никогда не было прежде и который никогда – сколько бы ни длилось и ни простиралось время – не повторится...

А. Дебора Бейкер «За лесоградной стеной»

...Доктрина Этоса, описанная Пифагором, гласила, что определенные музыкальные инструменты и лады могут влиять на равновесие между Логосом (рациональным поведением) и Пафосом (эмоциональным восприятием). Позднее алхимики стали рассматривать Этос как связь между двумя половинками человеческого сердца, а еще позднее – как равновесие между языком и математикой, двумя основными методами, посредством которых человек всегда воздействовал на Природу и даже повелевал ею. Таким образом, Доктрину следует рассматривать как самое опасное и

самое желанное из алхимических воплощений. Те, кто раньше других овладеет Доктриной, смогут повелевать всем на свете.

Дамы и господа Алхимического конгресса, вы знаете, на что я способна. Вы видели созданные мной шедевры, говорили с доказательствами моего мастерства. Я верю, что готова к воплощению Доктрины, если вы готовы позволить мне рискнуть.

Обращение Асфодель Д. Бейкер к Американскому алхимическому конгрессу, 1901 год

Книга 0
Начало

Медицина покоится на четырех столпах: философии, астрономии, алхимии и этике.

Парацельс

Время – это материя, из которой я состою.

Хорхе Луис Борхес

Бытие

Лента времени: 11:14 CST[2], 31 октября 1886 года

В воздухе потрескивает электричество, витает запах озона и ртути, чувствуется жгучий привкус алкагеста — универсального растворителя, который имеет неприятную склонность поглощать все на своем пути, если не хранить его должным образом. Произвести алкагест крайне сложно, уничтожить — еще труднее. И все же несколько капель этого вещества значительно упростят осуществление того, что считается невозможным. Растворить, судя по всему, можно даже смерть.

Женщина, называющая себя Асфодель, медленно кружит вокруг стола, стараясь найти изъяны в своем творении. И не находит, но продолжает беспокойно кружить, как акула, не желая переходить к завершающему этапу, пока не будет полностью уверена. Ее профессия требует уверенности — глубочайшей, твердокаменной уверенности в том, что ее воля достаточно сильна,

---

[2] Примечания: 2
Стандартное центральноамериканское время (UTC-6).

а желания достаточно ясны, чтобы перекроить мир по своему образу и подобию.

Она еще не величайший алхимик своего времени, но она им станет. В *этом-то* она абсолютно не сомневается. Если придется силой тащить этих глупцов из Конгресса в то прекрасное светлое будущее, что она видит перед собой, — что ж, она сделает это без сожалений, пусть они даже будут визжать и брыкаться. Раз они не захотели последовать за ней, им должно хватить ума убраться с ее дороги ко всем чертям.

Асфодель Бейкер двадцать один год; остается тринадцать лет до публикации книги, которая закрепит ее наследие в умах и сердцах детей по всему свету, и двадцать три года до ее исчезновения и «смерти», и представить, что ее замысел провалится, она способна не более, чем бабочка — матанализ. Она перекроит мир по лучшим образу и подобию, чем те, по которым он создан сейчас, и никто ее не остановит. Ни ее родители, ни наставники и уж тем более не Алхимический конгресс.

Она была одаренной ученицей — это признавали все, кто с ней сталкивался, все, кто видел, на что она способна. Отрицая ее мастерство, старая гвардия просто демонстрирует недально-

видность и злобу: они отказываются видеть, что сверкающее светлое будущее догоняет их, будто паровоз, несущийся на всех парах. Это ее время. Это ее место.

Это ее шанс показать им всем.

Асфодель прекращает кружить по комнате и берет заранее приготовленную чашу, содержимое которой сияет золотом с отблесками ртути. Макая пальцы в жидкость, она начинает рисовать руны на груди обнаженного безупречного тела, что лежит перед ней. Он прекрасен. Все, что понадобилось, — время, старание и доступ в несколько моргов с алчными беспринципными паразитами в руководстве. Каждая часть этого тела, которую она приобрела, соответствует тщательно выверенным характеристикам. Благодаря алкагесту от швов не осталось и следа. Универсальный растворитель в умелых руках имеет множество применений.

Закончив рисовать, она делает шаг назад и внимательно рассматривает свое творение. Так много в ее плане зависит от того, будет ли оно совершенным. Но что в действительности есть совершенство, как не торжество победы? Если он будет вести ее к победе, он будет совершенен, и недостатки не будут иметь никакого значения.

— Ты восстанешь против меня, мой прекрасный мальчик, — говорит она, и в ее голосе сплетаются сладость меда и горечь болиголова. — Ты свергнешь меня и поклянешься, что видел мои кости. Ты заберешь мою корону, займешь мой трон и понесешь мои труды в новый век и ни разу не оглянешься посмотреть, что следует за тобой по пятам. Ты будешь моей верной правой рукой и коварной левой, и когда ты упадешь, завершая мой замысел, то умрешь без сожалений. Ты сделаешь то, что не смогла я, рука твоя не дрогнет, а разум не будет колебаться. Ты будешь любить меня и ненавидеть и докажешь мою правоту. Это самое главное: ты докажешь мою правоту.

Она ставит чашу и берет флакон, наполненный жидким звездным светом, — перламутр будто танцует, переливаясь в стекле. Подносит флакон к его губам и капает одну-единственную каплю. Мужчина, собранный ею из мертвых тел, делает вдох, открывает глаза и с удивлением и страхом смотрит на нее.

— Кто ты? — спрашивает он.

— Асфодель, — отвечает она. — Я твой учитель.

— Кто я? — спрашивает он.

Она улыбается.

— Тебя зовут Джеймс, — говорит она. — Ты

начало моего величайшего труда. Добро пожаловать. Мы многое должны успеть.

Он садится, не отрывая от нее взгляда.

— Но я не знаю, что это за труд.

— Не волнуйся.

Ее улыбка — первый кирпичик, заложенный в нечто, которое она однажды назовет невероятной дорогой. Сегодня, сейчас, прямо в этот момент, они начинают свое путешествие в Невозможный город.

— Я покажу тебе, — говорит она.

Свершилось. Поворачивать назад уже слишком поздно.

Эйвери смотрел на Циб, а Циб смотрела на Эйвери, и никто из них точно не знал, что делать с тем, что они увидели.

Эйвери увидел девочку своего возраста в юбке с заштопанными прорехами по всему подолу. Некоторые были заштопаны еще ничего. Другие, казалось, вот-вот разойдутся снова. Носки были из разных пар, на блузке виднелись заплатки, а волосы были так растрепаны, что, если бы она достала оттуда полный набор столового серебра, сэндвич с сыром и живую

лягушку, он бы не удивился. Грязные ногти, исцарапанные колени – в общем, она была не из той породы людей, общение с которыми одобрила бы его мать.

Циб увидела мальчика своего возраста в чересчур белой рубашке и чересчур отглаженных брюках. В его отполированных туфлях отражалось ее лицо с широко распахнутыми глазами. Аккуратно застегнутые манжеты и безупречно чистый пиджак делали его похожим на маленького мастера похоронных услуг, который по ошибке забрел в район, где слишком много живых людей и совсем мало мертвых. Ногти у него были аккуратно подстрижены, и он выглядел так, будто никогда не катался на велосипеде, – в общем, он был не из той породы людей, общение с которыми одобрил бы ее отец.

– А ты что тут делаешь? – спросили они в один голос и уставились друг на друга, не спеша отвечать.

А. Дебора Бейкер «За лесоградной стеной»

Книга I
Второй этап

Математика проявляет сущее. Она – язык невидимых отношений между вещами.

Ада Лавлейс

Знание – это печаль[3].

Лорд Байрон

[3] Примечания: 3
Перевод И. А. Бунина.

Сто лет спустя

Лента времени: 23:58 CST, 1 июля 1986 года

Если у человека есть миссия, сто лет могут пролететь в одно мгновение. Конечно, этому способствует доступ к философскому камню и плодам тысячелетнего развития алхимии, но по-настоящему всегда была важна только миссия. Джеймс Рид родился, зная свою цель, похоронил свою наставницу в неглубокой могиле, зная свою цель, и твердо намерен подняться к вершинам человеческого знания, крепко сжимая в кулаке плоды своих трудов. И пусть будет проклят тот, кто встанет на его пути.

Пусть все они будут прокляты.

Он ждет нужного момента в конце коридора — там по тщательно продуманному замыслу сохраняется полумрак. Асфодель научила его всему, чему могла научить, — он постигал и тонкое искусство алхимии, и грубое искусство махинаций, впитывая знания, будто материнское молоко. Все это просто спектакль, а эти люди — эти жалкие гордецы, мнящие себя королями своих корпоративных вельдов, — простаки, готовые отдать ему

все без остатка.

(Алхимический конгресс не одобряет его дела с простыми смертными, считая их рискованными и самонадеянными. Но мнения Алхимического конгресса никто не спрашивал.

Члены Алхимического конгресса сами — воплощенное высокомерие, но они не знают и даже не подозревают, как скоро наступит для них час расплаты. О да. Скоро они поймут, что им не следовало стоять на пути Асфодель Бейкер и, что то же самое, на пути ее сына, наследника и величайшего творения.)

Это его собственное шоу чудес, коллекция уродцев, призванных служить назиданием и блестящей приманкой — но не для масс, а для нескольких избранных.

Коридор достаточно широк, чтобы в нем могли разминуться двое носилок; его освещают лампочки в стеклянных плафонах, такие тусклые, что нельзя разглядеть цвет пола. Стены тоже едва освещены; они могут быть и белыми, и кремовыми, и серыми — свет слишком рассеянный, чтобы можно было ясно различать цвета. Вдоль коридора выделяются пятна комнат. Там лампы гораздо ярче, они резко, как в операционной, высвечивают обитателей за полупрозрачными

зеркальными стенами, переводя их из категории «дети» в категорию «экспонаты». Возраст детей варьирует от двух лет до двенадцати. На всех разноцветные пижамы с мультяшными медведями, или ракетами, или комически дружелюбными динозаврами; спят они под одеялами с теми же картинками; но все же под таким освещением в них едва можно признать людей.

Одна маленькая девочка забилась в угол комнаты. Она насторожена, будто зверек; сидит, обхватив руками колени, и так сосредоточенно смотрит на зеркало, будто каким-то образом видит людей, стоящих снаружи. Ее сосед спит лицом к стенке под одеялом, разрисованным мультяшными роботами. Согласно табличке у входа, их зовут Эрин и Даррен, им по пять лет, и все в них подчинено определенному замыслу.

Но сегодня фокус внимания лежит за пределами этих камер. Внимание сосредоточено на мужчинах; их трое — это изнеженные лысеющие создания в респектабельных деловых костюмах и практичной обуви. Они прекрасно смотрелись бы на заседании совета директоров или на собрании акционеров. Но здесь, в этом опасном месте, где все заранее определено, они явно не в своей тарелке — будто снежинки в жерле вулкана. Они

тревожно жмутся друг к другу. Они вложились в это дело не меньше остальных; именно они расставили все точки над і и подписали чеки, благодаря которым все это стало возможным. Все здесь принадлежит им. Каждый дюйм этого пространства. И все же…

Джеймс Рид смотрит на них и улыбается. Так и должно быть: их тревога — часть балансировки сил. Пусть инвесторы всем владеют, но создал все это он: здесь он Всемогущий Господь, способный вызвать жизнь из небытия и повелевать силами вселенной. Им бы стоило помнить об этом — этим людишкам с примитивным мышлением и чистенькими руками. Еще как стоило бы.

По ту сторону стекла мальчик с глазами бетонно-серого цвета раскачивается взад-вперед, уставившись в никуда. Последние семь часов он что-то напевает. Крошечные микрофоны в его комнате — ни в коем случае не в камере, это не тюрьма, здесь взращивается будущее, и потому язык невероятно важен — записали каждую секунду бессвязной мелодии. Ничто никогда не пропадает зря. Ничто не ускользает от внимания.

(Позднее криптографы сведут песню мальчика к математическим составляющим и с течением

времени определят, что он напевал химическую формулу, по атому в каждом такте. Эта формула ляжет в основу новейшего обезболивающего с довольно неожиданным составом, не вызывающим привыкания и способным облегчить боль в случаях, ранее считавшихся безнадежными. Получение патента и вывод препарата на рынок займут еще двенадцать лет, но в результате он принесет миллиарды подставной компании, занимающейся фармацевтической стороной дела. Мало-помалу благодаря подобным случаям лаборатория становится самоокупаемой. Она уже разрослась до огромных размеров, и содержать ее невыразимо дорого, как любую невероятно разросшуюся вещь. Но она должна себя окупать, *должна*. Если Алхимический конгресс вложит хотя бы пенни в ее создание и содержание, они будут ждать, что их инвестиции обернутся золотыми слитками, — а этого нельзя допустить. Не сейчас. Доктрина практически у него в руках.)

— Господа.

У Рида все рассчитано с точностью до секунды: из сумрака появляются слова, а следом — он сам. С каждым шагом различия между ним и инвесторами становятся все очевиднее. Они носят купленные женами запонки, их лысеющие

макушки отполированы до зеркального блеска. Он одет как персонаж Рэя Брэдбери из рассказа о бесконечных американских сумерках: узкие черные брюки, застегнутая на все пуговицы рубашка сапфирового цвета и даже фрак со странными иероглифами, вышитыми золотыми нитками на манжетах и по краю фалд. Золотая вышивка напоминает о тех обещаниях, которыми он их заманил, как мотыльков манит всепоглощающее пламя.

Асфодель — мастер, наставница, мученица — научила его ценить искусство лицедейства. Он всегда был прилежным учеником и знает свою аудиторию. Они должны видеть в нем чудаковатого щеголя, персонажа из детской книжки, того, кого терпят, но презирают. В своем высокомерии они сочтут его синекдохой, и некоторое лицедейство только дополнит этот неверный образ.

Они забывают, эти изнеженные животные корпоративного вельда, что всегда есть хищник и добыча. Они считают себя львами, хотя с первого взгляда ясно, что они зебры — слабые, тучные, идущие на убой.

Его когти, замаскированные бархатом и актерской игрой, достаточно остры, чтобы вспороть мир.

— Господа, — снова роняет он, и в его акценте можно услышать очень многое — и практически ничего. Он целое столетие оттачивал его, подбирая звучание взрывных и шипящих так, чтобы акцент был достаточно экзотичным и оригинальным, но все еще не иностранным. По той же причине дети, выставленные напоказ в этом коридоре, бледны — они сделаны из молока и костей, а не из камня, земли и прочих материй, как другие его творения. Белые дети кажутся этим алчным, жадным мужчинам почти людьми, а в этом холодном стерильном коридоре, соединяющем науку и алхимию, разум и религию, внешность почти так же важна, как слова.

Дети, похожие на людей, вызывают в тех, кто заплатил за них, чувство вины. Чувство вины открывает кошельки. Обычный расизм, простой расчет, и пропасть ненависти Рида становится еще глубже, ведь кто в здравом уме откажется хоть от одного из чудес, что таит в себе человеческая раса, разобранная на части?

— Доктор Рид, — говорит один из посетителей, самопровозглашенный лидер этой горстки, отличающийся повышенным чувством собственной значимости и еще более — отсутствием чувства самосохранения. Двое других чуть отступают

— он примет это за почтение, но Рид считает, что это трусость. — Зачем мы здесь? Вы сказали, что у вас есть что показать нам, какой-то великий прорыв, но пока что мы не видим ничего нового.

Выражение удивления, проступившее на лице Рида, у другого могло бы выйти нелепым, но только не у него. Ни в коем случае. Недаром говорят: «Практика, практика и еще раз практика!»

— Перед вами те, кто способен коснуться будущего, кто тасует вероятности, будто карты, чьи клетки регенерируют быстрее, чем могут зафиксировать наши приборы, и вы говорите «ничего нового»? Право, мистер Смит, мне неловко от вашей недальновидности.

Мужчина (его зовут вовсе не Смит, этот ничего не значащий псевдоним он носит из необходимости, как и его спутники. У такого рода бизнеса, скрытого в тени за рамками закона, есть свои неудобства) слегка распрямляет плечи и чуть сильнее прищуривается. Его не воспринимают всерьез. Пора это прекратить.

— Вы показали нам пару чудес, Рид, но эти чудеса невозможно продать. Мы не можем превратить в золото весь свинец в мире, не разрушив экономику, которую мы пытаемся контролировать. Что вообще вы можете нам предложить?

— Наконец-то вы начали задавать правильные вопросы. Идемте.

Рид степенно удаляется, плавно, как и подобает хищнику. У мужчин в обуви на плоской подошве небольшой выбор: следовать за ним или остаться здесь, в окружении немигающих и невидящих глаз детей, за чье появление в этом мире они заплатили.

Ни один из них не медлит.

Коридор стелется, будто лента еще не застывшего сливочного ириса, на пути все новые комнаты с белыми стенами, а в них — все новые дети в пижамах. Некоторые постарше, почти подростки; они сидят за письменными столами спиной к лжезеркалам, потому что знают, что в любое время за ними могут наблюдать. Другие, помладше, совсем малыши, играют с яркими конструкторами или безмятежно спят, свернувшись калачиком под лоскутными одеялами ручной работы. Сотрудники, на которых возложена забота об этих детях, утверждают, что те спят гораздо крепче в окружении предметов с менее стерильным прошлым, и потому рукотворные вещи лучше сделанных на заводе: что-то в процессе изготовления добавляет им жизни. Растить детей — непростая задача даже при самых благоприят-

ных обстоятельствах. Но то, что делается здесь, гораздо сложнее.

На двери в конце коридора три кодовых замка. Рид по очереди отпирает каждый, даже не пытаясь скрыть коды. К утру они уже поменяются. Такой уровень безопасности — не просто спектакль: это предупреждение, чтобы инвесторы поняли — он собирается показать им нечто действительно серьезное. И если кто-то из них попытается оспорить его главенство, последствия будут печальными.

Дверь открывается. Рид пропускает инвесторов вперед. Когда он входит за ними следом, дверь захлопывается, словно запечатывая их навечно в холодной гробнице.

— Вселенная устроена согласно нескольким основополагающим принципам, — начинает он без вступления или паузы. — Разумеется, это гравитация, вероятность. Хаос и порядок. Мы — часть вселенной, а потому воплощенные в нас начала равны в своей божественности силам, которые действуют на нас извне. Гравитация, конечно, важна. Никто не хочет улететь прочь потому, что связи, удерживающие нас на Земле, случайно окажутся разрушены. Но любовь, любопытство, лидерство — все это не менее важные силы, ина-

че они бы не существовали. Природа не терпит пустоты. И ничто не было создано без цели.

В комнате темно, и кажется, что в ней нет выходов; пока он не откроет дверь, выбраться невозможно. Инвесторы не произносят ни слова. Они рады демонстрировать свою власть по мелочам, когда им ничто не угрожает, но здесь и сейчас они не контролируют ситуацию. Это выводит их из себя. Рид видит это и наслаждается.

— Вы все прекрасно знаете, что наши исследования направлены на создание детей, настроенных на эти так называемые силы природы. Представьте ребенка, в котором настолько хорошо воплотилась трансмутация, что одним своим прикосновением он может менять структуру металла, или другого — который может превращать день в ночь. В случае успеха мы получаем мощнейшее оружие всех времен. Его возможности не поддаются описанию. Каждый из вас был выбран инвестором нашего проекта не только из-за вашего финансового потенциала, но и потому что ваш эмоциональный потенциал свидетельствует о том, что вы способны помочь этому миру перейти в новую эру просвещения и согласия.

Всякий раз, произнося эту речь, Рид переживает, что перегибает палку, что наступит момент,

когда кто-то из этого бледного, вскормленного молоком стада наконец вспомнит, что когда-то был хищником, и станет грызть руку, которая его кормит. Всякий раз он испытывает облегчение и разочарование, когда они, удовлетворенно улыбаясь и кивая, глотают его слова. Да, конечно, грядет новый порядок, и, разумеется, они будут в первых рядах. Они это заслужили. Они за это *заплатили* и, заплатив, обеспечили себе право на все последующие блага и возможности. Все это принадлежит им и никому больше.

Дураки. Но богатые дураки. Их богатство позволило, не привлекая внимания трусов из Конгресса, продвинуть проект настолько, что теперь он может стать самоокупаемым, и Рид может порвать с бизнесменами, которые смотрят на чудо века, а видят только знаки доллара. Еще немного, и он будет свободен. Рид крепко держится за эту мысль, продолжая свою речь:

— Центральное место в наших изысканиях занимает сила, выведенная древними греками: Доктрина Этоса. Согласно Доктрине, музыка может влиять на личность на эмоциональном, ментальном и даже физическом уровне. Сейчас мы уже понимаем, что каждая личность — микрокосм творения, поэтому кажется очевидным,

что то, что может сработать на одном человеке, должно сработать и на всем мире. Поэтому алхимики с давних пор стремятся воплотить Доктрину.

Рид останавливается, давая им возможность переварить сказанное. И, к своему удивлению, слышит:

— Я был здесь девять лет назад, и тогда вы сказали, что вам удалось воплотить Доктрину. Почему мы топчемся на том же месте?

— Потому что, если вы были здесь девять лет назад, вы понимаете, что наш первоначальный успех во многом оказался неудачей.

Рид с трудом сдерживается. Как смеет этот человек говорить с ним так, будто имеет хоть какое-то представление о пробах и ошибках, сопутствующих предприятию такого масштаба? Они здесь меняют мир, а этого человека и ему подобных заботит только цвет чернил в бухгалтерских книгах. Инвесторы тихо переговариваются. Он теряет их внимание.

— Наша первая попытка воплощения Доктрины *была* успешной, — говорит он, пока бормотание не успело перерасти в открытый бунт. — Мы заключили руководящий принцип Вселенной в человеческую плоть. Возникли… осложнения, да,

но теория остается верной.

Осложнения — это мальчик, у которого реальность резонирует в голове так сильно, что ему нет дела ни до чего, кроме того, что он видит за закрытыми веками. Он так и не заговорил. Три года назад он перестал есть, и, хотя его жизнь еще поддерживается искусными аппаратами и его кормят через специальные трубки, он не открывал глаза вот уже восемнадцать месяцев. Внутри этой дрожащей оболочки заключена Доктрина. Ее никак не извлечь, не заставить мир плясать под их дудку — остается только дать ей новый дом, а старый похоронить.

— Основная трудность — в размере Доктрины. Если поместить Доктрину в разум, в нем не остается места человечности. Мы полагаем, что, разделив Доктрину на две компоненты, математику и язык, мы сможем создать своего рода метасистему. Мы попытаемся подчинить Доктрину, используя для воплощения этих компонент двух человек, и, когда они будут разделены, возможности носителей будут достаточно ограничены, так что они будут послушны и легко управляемы.

— Насколько послушны? — спрашивает инвестор.

— Достаточно послушны. Мы будем воспитывать их так, что одновременно разовьем в них человечность и научим тому, что мы и служение нам — превыше всего остального. Когда они воссоединятся, они сделают все, что мы попросим, лишь бы остаться вместе — а они захотят остаться вместе. Собственная природа не оставит им выбора, и они будут у нас в руках. Мы будем контролировать все, к чему у них будет доступ, включая доступ друг к другу.

Какая сладкая мука ждет этих кукушат, птенцов Доктрины, — быть лишенными своей половинки, пока он не сочтет их достойными воссоединения.

— Они будут необычными детьми — такова их доля, и это славная доля, — и они изменят все сущее.

— Как долго нам придется ждать, прежде чем станет ясно, постигла ли нас очередная неудача? — спрашивает мистер Смит.

Рид скрипит зубами.

— Поэтому я и привел вас сюда, — говорит он и щелкает пальцами.

Стена раздвигается, открывая три небольшие комнаты с белыми стенами. В первых двух есть жильцы: в одной — пара двухлетних малышей,

во второй — пара спящих младенцев, не больше года. В третьей только две пустые детские кроватки.

Инвесторы жадно рассматривают детей, будто животных в зоопарке. Рид позволяет себе усмехнуться.

— Мы уже преуспели, — объявляет он.

Дверь в глубине третьей комнаты открывается, заходят две нянечки, у каждой на руках младенец. Новорожденных благоговейно кладут в кроватки. Нянечки тихо уходят.

Три пары детей, рожденных с разницей в год. Все появились на свет с помощью кесарева сечения ровно в полночь, извлечены из своих матерей в правильное время — между соседними парами ровно один оборот Земли вокруг солнца. Первое воплощение Доктрины уже покинуло этот мир, оно было освобождено от земной формы, как только третья пара тщательно спроектированных детей сделала свой первый несчастный вдох. Все шестеро — достойные носители, и кто теперь владеет Доктриной — поди догадайся.

Впрочем, гадать не надо. Какая из этих пар станет вместилищем, не имеет значения — все они принадлежат ему.

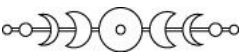
— Господа, представляю вам Доктрину Этоса, —

говорит он. — Одна из этих пар воплотит все, над чем мы работали, и тогда у нас в руках будет вся вселенная.

«У нас, а не у вас, вы, напыщенные дураки, не видящие ничего дальше своего носа», — думает он.

Инвесторы толпятся у стекла, сражаясь за лучший вид на свое будущее.

Младенцы спят.



Позже, выпроводив раскрасневшихся инвесторов, возбужденно гомонящих о том, как изменится мир, как *они* его изменят, доктор Рид отряхивает фрак и возвращается в лабораторию проверить, все ли в порядке с его новыми творениями. Когда он распахивает дверь, технологи и лаборанты, допоздна задержавшиеся на работе, поднимают глаза, бледнеют и спешат вернуться к своим обязанностям. Никто из них не хочет привлекать его внимание. Иногда у него возникают идеи о том, как именно им надо работать. Иногда он излагает их, оставляя шрамы.

Рид идет, расправив плечи, высоко подняв голову, довольный тем, как продвигается дело.

Дураки из Конгресса говорили, что это невозможно, что ни одному человеку не удастся соединить науку и алхимию так, чтобы не потерять сильные стороны того и другого; именно из-за них Асфодель переступила все мыслимые пределы — так она хотела доказать, что они ошибаются, — и вот теперь он, властитель всего, что доступно его взгляду, дюйм за дюймом тащит старые идеи в новый мир. Он с самого начала утверждал, что аватары существовали всегда, нужно только установить над ними надлежащий контроль. Возможно, идеи Асфодель помогли ему сделать первый шаг, но, видит Бог, весь остальной путь он проделал сам.

(Летние короли и Снежные королевы, Джеки в зеленом и пшеничные Дженни[4] — он знает имена, знает их тайны, о которых шепчутся в темных уголках по всему свету. Он достаточно разумен, чтобы не трогать понятия, у которых есть естественные воплощения. Их время еще придет. Когда он будет контролировать Доктрину, когда причина и следствие будут плясать по его указке, тогда он просто протянет руку и заберет все

[4] Примечания: 4

Джек в зеленом, Джек Фрост и Скупой Джек (Джек-с-фонарем) — в английском фольклоре олицетворения весны, зимы и осени соответственно.

оставшееся, все, что принадлежит ему по праву. У него в руках будет вся вселенная, и горе тем, кому не понравится, как он ею распорядится.)

— Вот вы где! — К голосу прилагается женщина, выскочившая из-за угла, словно пробка из бутылки, — его собственный персональный джинн в синих джинсах и фланелевой рубашке.

Ли — лучший алхимик, которого он имел несчастье встретить после смерти Асфодель, стремительный вихрь с прожженными кислотой дырами на рубашке и короткой стрижкой (чтобы уменьшить риск соприкосновения волос с огнем). У нее открытое честное лицо, по переносице звездочками рассыпаны веснушки. Она похожа на спелый персик со взбитыми сливками, на субботний вечер у лягушачьего пруда — воплощение невинности и американской мечты, к тому же в поразительно красивой упаковке. Все это сплошной обман. Если Рид собирается эксплуатировать мир ради собственной выгоды, Ли с радостью подожгла бы все сущее просто для того, чтобы поджарить зефирки на угольках мирового пожара.

Она глубоко порочна и невероятно полезна, и он сполна насладится в тот день, когда наконец сможет разобрать ее обратно на части, из кото-

рых ее когда-то создал другой алхимик. Старый дурак забыл все, чему учили примеры Блодьювед и монстра Франкенштейна: никогда не создавай то, что умнее или безжалостнее, чем ты сам.

Что-то в этой мысли царапает его, что-то насчет Асфодель — ее можно было обвинить во многом, но точно не в глупости. Он отбрасывает эту мысль в сторону, сосредотачиваясь на Ли.

— Как прошли роды?

— Прекрасно. Гладко. Как по маслу. Как вам больше нравится. Излишки материала собраны и утилизированы. — Она небрежно машет рукой. — Ничего необычного.

Он знает, что под «излишками материала» подразумевается не только послед, который благодаря методу создания младенцев сам по себе будет обладать сильными алхимическими свойствами, но и невольная суррогатная мать, выносившая пару кукушат. Он не знает, где Ли нашла ее, и у него, хоть и едва, все же хватает человечности, чтобы не спрашивать. Время от времени она вытворяет что-нибудь подобное — такова плата за то, что блестящий ум собранного по частям алхимика всегда к его услугам; кроме того, женщина долгое время была в непосредственной близости от объектов эксперимента,

так что ее тело действительно может пригодиться алхимии. Заранее не угадаешь.

— Мальчик?

— Мертв. Он в вашей личной лаборатории. Я помню, что вы хотели, чтобы честь его препарировать досталась вам.

Ее губы кривятся от досады. Она предпочла бы сделать это сама — как и всегда, когда что-то нужно разобрать на части.

Рид не обращает внимания на ее недовольство.

— Как подопытные?

— Сначала из утробы извлекли особь мужского пола, скорее всего, контроль будет у него; с ним все в порядке, здоров, готов к отправке в приемную семью. Особь женского пола извлекли двумя минутами позже. Она кричала полчаса, но потом успокоилась.

— Что ее успокоило?

— Особь мужского пола. Когда мы положили их вместе, она перестала кричать. — Рот Ли снова кривится. — Представляете, как будет весело в самолете?

Рид кивает.

— Как остальные?

— Усыновления организованы. Мы расселяем

их по разным гуморам. По двое Огню и Воде и по одному Земле и Воздуху. — Впервые в непробиваемой невозмутимости Ли намечается трещина. — Вы уверены, что нам необходимо их отсылать? Правда уверены? Мне было бы гораздо спокойнее содержать их здесь, в контролируемых условиях.

— Девочку…

– *Всех*. — Ли качает головой. — Эти дети незаменимы. На земле еще никогда не было ничего подобного. Их место здесь, где их можно изучать. Мониторить. Управлять ими. Помещая их в непредсказуемый мир, мы буквально напрашиваемся на проблемы.

— План тщательно разработан и имеет максимальные шансы на успех.

— Это называется «тщательно разработан»? Поместить половину каждой пары в гражданскую семью — это, по-вашему, тщательно? Да, вторую половину будут растить наши люди, но этого недостаточно. Нашим инвестициям нужен контроль получше.

Рид прекрасно знает, что они делают: он лично разработал протокол. Ему с трудом удается не нахмуриться.

— Я и не знал, что инвестиции «наши», — говорит он.

Ли пренебрежительно отмахивается.

— Вы знаете, что я имею в виду.

— Да? Неужели? Мы это уже проходили. Чтобы дети научились использовать свои способности, необходимо внести в их жизнь определенную долю случайности. Мы точно знаем, что строгие лабораторные условия не подходят.

Кроме того, воспитывать их в лаборатории рискованно — они могут слишком рано узнать слишком много. Знание — сила, а в случае с этими кукушатами особенно. Если держать их в неведении, они будут послушны, а ему ох как нужно, чтобы они были послушны. Послушными гораздо легче управлять.

— Давайте оставим здесь хотя бы одну пару. Самую последнюю. Они маленькие и будут знать о мире только то, что мы им покажем. Мы можем растить их в отдельных боксах, контролировать все, что они видят и слышат. Мы пробовали держать в абсолютной изоляции пару, но не пробовали изолировать их по отдельности.

— Это их сломает.

Она пожимает плечами.

— Иногда что-то лучше сломать.

«Например, тебя», — думает он, а вслух говорит:

— Здесь моя воля — закон, Ли.

— Но…

— Моя воля — *закон*.

Рука летит вперед, хватает ее за горло, впечатывает в стену. Глаза Ли сверкают злобным восторгом. Именно этого она хотела: подтверждения, что он высший хищник, что он заслужил свое место на вершине их крошечной иерархии. Как же он устал от насилия. Как же хорошо он понимает, что без него не обойтись.

— Ты поняла?

— Да, — шепчет она.

— Да — что?

— Да, сэр.

— Хорошая девочка. — Он разжимает пальцы, убирает руку и поправляет воротник. — Верь в меня, Ли. Больше я ничего не прошу. Верь в меня, и я приведу тебя к свету.

— И свет поведет нас, — подхватывает Ли, так опустив голову, что подбородок практически касается грудины.

— Мы идем правильным путем. — Рид кладет руку ей на плечо.

Но, как только он касается ее тела, раздается сигнал тревоги.

Они напрягаются и синхронно вскидывают

головы, сканируя лабораторию в поисках того, что пошло не так. Вокруг них суетятся технологи, до этого старательно не замечавшие их ссору: проверяют оборудование, вызывают на экраны химические показатели. Рид первым стряхивает оцепенение. Он отдергивает руку и бежит в свою личную лабораторию. Дверь закрыта, и он открывает ее взмахом карты, которую носит на шнурке на шее.

Половину огромного помещения занимает бесконечно вращающаяся астролябия. Рид застывает на пороге. Ли, подбежав, замирает позади него, и оба смотрят на астролябию.

Танец планет, выверенный рукой мастера, точно отражает все, что происходит на небесах. Асфодель вложила годы в этот впечатляющий механизм. Она считала его ключевым компонентом своего наследия и в качестве последнего, завершающего штриха вывела астролябию за пределы времени, с тем чтобы однажды использовать ее для составления графиков движения Доктрины. Рид с большим удовольствием запер астролябию, спрятав ее от посторонних глаз, и использовал составляемые ею механические гороскопы только для своих целей. Это настоящее чудо технической алхимии. Только невероятное,

недопустимое злоупотребление силами природы могло бы повредить эту махину из золота, меди и драгоценных камней…

А сейчас она пустилась вспять.

Рид медленно улыбается.

— Видишь? — говорит он. — Нам не нужно ждать, чтобы узнать, сработает ли наш план. Мы справились. Все эти старые дураки, считавшие, что смогут управлять миром: Бейкер, Гамильтон, По, Твен, даже проклятый Лавкрафт, чтоб его, — остались с носом, а мы преуспели. Кто-то из наших детей, точнее, какая-то пара наших умников-разумников только что перезапустила свою временную линию. План сработал. — Он, сияя, поворачивается к ней. — Мы будем править миром.

Ли, по-птичьи склонив голову набок, доводит его слова до логического завершения:

— Значит, банкиры нам больше не нужны?

Когда держишь хищников на поводке, важно время от времени давать им порезвиться.

— Да, — кивает Рид. — Но сначала убедись, что они понимают, почему мы разрываем соглашение. Понимание всегда идет на пользу делу.

Ли расплывается в улыбке, такой же сияющей и открытой, как ворота в конце невероятной

дороги. В этот момент она скорее ужасна, чем прекрасна, и Рид в очередной раз удивляется, как создавший ее алхимик мог упустить такие тревожные признаки.

— Сегодня ночью все будет сделано, — говорит Ли.

— Хорошо. У меня дела в Конгрессе. Все идет точно по плану. — Он прижимается лбом к окну; его улыбка сдержаннее и спокойнее, чем у Ли. — Невозможный город будет нашим.

За его спиной астролябия Асфодель Бейкер продолжает плавно вращаться, и все это уже случалось прежде.

Невероятная дорога

Лента времени: 02:13 CST, 3 июля 1986 года

Человек, которого зовут не мистер Смит, просыпается в темной тихой комнате с чувством, что происходит что-то ужасно неправильное. Сбоку под одеялом привычно проступает фигура жены. В воздухе висит незнакомый животный запах — медный, тяжелый.

Здесь есть кто-то еще.

Мысль еще не успела сформироваться, как над ним уже нависает другая фигура, ухмыляясь так, что можно пересчитать все зубы. И хотя они белые и идеально ровные, почему-то все время кажется, что с ними что-то *не так*, что они как-то не подходят друг другу, что этот набор зубов не может принадлежать одной челюсти, одной ужасающей улыбке.

— Добрый вечер, сэр, — произносит фигура.

Теперь он узнал ее. Это женщина Рида, его ручная сладкая штучка, которая вечно хмурится и во время встреч с Ридом входит и выходит с таким видом, будто имеет на это право. Ли. Вот как ее зовут. Она никогда не подходила к нему

так близко.

Ее глаза… С ее глазами что-то не так. Как и ее улыбка, они идеальны и в то же время невыразимо неправильны.

— Не двигайся, это бесполезно, — говорит Ли.

И человек, чье имя не мистер Смит, вздрагивает, вернее, пытается вздрогнуть. Команда не доходит до его конечностей. Он не в силах пошевелиться, а она продолжает улыбаться.

— Мужчины, — говорит она. — Глупые-глупые мужчины. Вы хотите править миром, но ни разу не задумались над тем, что это значит, не так ли? Можно было задаться вопросом, что такое алхимия на самом деле, что можно сделать с ее помощью, но тебя волновало только то, что она может тебе дать. Поздравляю. Она дала тебя мне.

Теперь он узнал этот запах. Странно, что он не узнал его сразу; может быть, все дело в том, что он просто не хотел узнавать запах крови, не хотел спрашивать себя, откуда здесь кровь.

Его жена совершенно неподвижна, и он ужасно боится своей догадки.

— Рид отдал тебя мне, — сообщает Ли. — Видишь ли, мы достигли этапа, на котором в инвесторах больше нет необходимости. Но я считаю, что ты можешь еще раз — последний раз

— принести пользу нашему проекту, поэтому я собираюсь рассказать тебе историю. Слова — это сила. Твоя ценность будет выше, если ты поймешь, почему должен умереть. Это похоже на… гомеопатию для души. Твоя плоть сохранит память обо всем, что я расскажу, и ее будет проще использовать. Тебе удобно?

Он не может говорить. Не может ответить. Только в ужасе закатывает глаза. Судя по тому, как смягчается ее улыбка, она заранее знала, что все будет именно так.

— Отлично, — говорит она. У нее в руке нож. Откуда взялся нож? Он ведь даже не заметил никакого движения. — Я расскажу тебе о женщине, у которой было слишком много идей, и о мужчине, которого она создала, чтобы их воплотить. Ты, конечно, слышал об А. Деборе Бейкер. Все слышали об А. Деборе Бейкер.

Нож нож *господи нож*, а он не может закричать, не может пошевелиться, а потом она берет его за руку, и он чувствует, как к его коже липнет кровь жены. Боль отчетливая, острая, и утешает в этой ситуации только одно: он не может повернуть голову и увидеть, что она пишет, медленно, разрез за разрезом.

— Она написала серию детских книжек про ме-

сто под названием Под-и-Над. Я знаю, твои дети читали их. Я видела книжную полку в комнате Эмили, когда зашла навестить ее.

Никогда в жизни ему так сильно не хотелось закричать.

— До своей смерти Бейкер успела написать четырнадцать книг. На их основе вышло шесть фильмов, четыре из них были сняты уже после того, как она превратилась в прах и пепел. Она оставила культурный след по всему миру. А. Дебору Бейкер и ее прелестных созданий, милого Эйвери и смелую Циб, знает каждый. Но знаешь ли ты, что, выписав первый чек, ты стал одним из ее послушников?

Голос течет плавно, даже убаюкивающе. Можно уловить ритм, будто она нашептывает что-то маленькому ребенку, чтобы тот уснул. И если бы не боль, если бы не тело жены рядом, если бы не тела детей, лежащие в соседних комнатах (всех троих, господи, он знает, что она убила всех троих, потому что такие женщины не оставляют живых свидетелей, и *почему он не может пошевелиться*), это было бы почти приятно.

— Ее настоящее имя — Асфодель. Вот что значит буква «А». Она была величайшим американским алхимиком. Чему ты так удивляешься? Если

хочешь спрятать свое учение на самом виду, лучше всего зашифровать его в чем-то таком, что полюбят дети по всему миру. Понимаешь? Она склонила несколько поколений к своему образу мысли. Она изменила сам принцип работы алхимии. Алхимия — это нечто среднее между магией и наукой. Она дает воспроизводимые результаты, но только если люди искренне верят, что все сработает именно так. Асфодель Бейкер создала новый мир, переписав существующий. Она вдохнула жизнь в умирающую дисциплину, и Конгресс возненавидел ее за это, потому что она достигла такого величия, о котором они не смели даже мечтать. Жалкие глупцы. Они до сих пор ее ненавидят, хотя уже не застали ее лично и знакомы только с ее наследием. Но скоро они за это заплатят. И заплатят сполна.

Боль настолько сильная, что поглощает мир. Эта женщина отрезает от него по кусочку, а он не может бороться, не может защититься, и он не смог спасти свою семью.

— Она создала Рида, доказав, что может собрать жизнь из частей. А создав, поручила ему сделать то, что не смогла сама: закончить дело, которое только-только успела начать. И вот — ее больше нет, а он все еще жив. Он попросил меня побла-

годарить тебя за поддержку, за то, что ты помог ему продвинуться так далеко. Но в твоих услугах больше нет необходимости. Ты дошел до конца невероятной дороги.

Нож поднимается снова и снова, поднимается, пока человека, чье имя не Смит, не покидает сознание, а следом и жизнь.

Ли Барроу сидит на залитой кровью кровати мертвого человека. Постепенно ее улыбка исчезает, она наклоняется вперед. Начинается настоящая работа. Нужно многое собрать, а до рассвета осталось всего несколько часов.

Невероятная дорога ведет вперед, все дальше и дальше, и путешествие продолжается.

Невозможный город

Лента времени: 10:22 CST, 3 июля 1986 года

Рид уже много лет не чувствовал себя так хорошо.

Ли благополучно вернулась в комплекс, вся в мыле после встреч с узколобыми дураками, которые, хочется верить, после смерти будут полезнее, чем при жизни; три пары кукушат разделены, каждый ребенок доставлен в новый дом, и все они будут расти в обычном мире с обычными родителями.

(Тот факт, что три из этих якобы «обычных» семей принадлежат ему телом и душой, не играет особой роли. Все они неудавшиеся алхимики, ученые, у которых было желание, но не хватило умения служить ему напрямую. Они будут изображать любовников — может быть, некоторые действительно друг друга полюбят — и преданно и заботливо растить плоды его экспериментов. Они ученые. Перед ними поставлена задача. Неудача — не вариант; в случае неудачи их тела отдадут на милость Ли, а те, кто хоть раз с ней встречался, никогда не пойдут на такой риск.

Они почти у цели. Невозможный город будет принадлежать ему.)

Машина останавливается. Прежде чем открыть дверь, Рид поправляет воротничок рубашки. На месте сапфировых тонов и притягивающих взгляд рун теперь простая траурно-черная рубашка с воротником-стойкой, в которой он похож чуть ли не на священника. В отличие от его покойных инвесторов, Конгресс невосприимчив к красочным эффектам. С ними нужно обращаться более… деликатно.

(Асфодель перед смертью: Асфодель, словно феникс, вот-вот вспыхнет от силы собственного разочарования. «Они так уверены, что знают, что возможно, а что нет, что сами связали себе руки», — рычит она, и он может купаться в ее ярости вечно, он готов помочь ей разрушить основы самого мироздания, если она пожелает. Она — единственная, кого он любит, единственная, кому он подчиняется, и единственная, о ком он будет горевать, потому что оба они знают, что ждет их в следующей главе их жизни. Они оба знают, что держать нож придется именно ему.)

Рид ступает в зал, звуки его шагов гулко отдаются в застоявшемся воздухе. Как он и предполагал, его уже ждут.

Местные думают, что здесь какая-то церковь, хотя никто не может точно назвать конфессию или припомнить тех, кто приходит сюда на службы. Но форма у здания подходящая, и, когда местные проезжают мимо воскресным утром, на лужайке всегда стоят люди, одетые в строгие костюмы и скромные платья. Что это, если не церковь?

Иногда проще всего спрятать что-то на самом виду. Какая опасность может таиться в том, что так легко обнаружить?

Его встречают четверо. Рид внимательно их изучает, на губах у него улыбка, в сердце — желание убивать.

— Вижу, вы уже слышали новости, — говорит он. — А я шел сюда, полагая, что сообщу магистру Дэниелсу нечто, что может его удивить.

— Магистр Дэниелс не станет тратить свое драгоценное время на таких, как ты, — отвечает один из них, бледный шепелявый человек с тонкими, едва заметными бровями.

— Я член Конгресса, не так ли? — Рид продолжает улыбаться, размышляя, отсутствуют ли у него брови от рождения или это результат неудачного эксперимента. В любом случае немного косметики — и вопрос с тусклым неестественным

внешним видом был бы решен. — И имею такое же право предстать перед нашим главой, как любой из вас.

— Ты ступил на опасную почву, — говорит плотный солидный мужчина в темно-сером костюме, похожий на бизнесмена. — Нельзя вмешиваться в естественное состояние Доктрины. Неужели смерть твоей наставницы ничему тебя не научила?

Рид все так же невозмутимо улыбается.

— Ты не имеешь права говорить о той, чье сердце вы разбили и чьи исследования презираете, хотя не стесняетесь пользоваться ими в своих интересах. Или ты сохранил юношескую стройность не благодаря ее эликсиру жизни?

Мужчина краснеет и отворачивается. Рид делает шаг вперед.

— Я *поговорю* с магистром Дэниелсом. Я сообщу ему, что воплотил Доктрину и даю Конгрессу последний шанс обеспечить мне положение и статус соответственно моим достижениям. Если мне откажут, я уйду от вас навсегда, но, когда движущие силы вселенной окажутся в моих руках, вы останетесь ни с чем. Я достаточно ясно выразился?

— Ты, как всегда, выражаешься абсолютно

ясно, Джеймс.

Рид поворачивается.

Когда Асфодель Бейкер была молода, магистр Дэниелс уже был стариком: несмотря на то что ее достижения смогли продлить ему жизнь, они не смогли повернуть время вспять. Сейчас он стар, бесконечно стар, и входит в ризницу церкви, которая вовсе не церковь, с задумчивой неспешностью человека, для которого дни, когда ему нужно было куда-то спешить, остались далеко позади. В отличие от остальных, одетых в строгие костюмы, на нем красная мантия магистра — одеяние на все времена и одновременно старомодное.

Если кто из Конгресса и понимает, как Асфодель, что значит произвести эффект, так это Артур Дэниелс. При виде этого человека улыбка Рида становится искренней. Пусть они находятся по разные стороны баррикад, но у этого соперника, по крайней мере, есть шарм.

(Асфодель перед смертью: Асфодель, словно кающаяся грешница со склоненной головой, распростерта на полу и умоляет своего учителя понять, над чем она трудилась денно и нощно. Асфодель — глаза ее полны слез — молит этого старого дурака выслушать ее, перестать

видеть в ней только округлые формы и юное лицо и услышать *ее, потому что разве алхимия не учит использовать каждую из мириадов частиц всего сущего для создания лучшего мира? А отказ женщинам в праве входить в высшие эшелоны Конгресса только ограничивает их, заведомо преуменьшая то, чего они могут достичь. Но Дэниелс, старый дурак, отворачивается.)*

— Так это правда? — спрашивает Дэниелс, делая осторожный шаг навстречу Риду. — Ты преуспел?

— Доктрина живет, — отвечает Рид. — Она уже ходит среди нас, запертая в человеческом теле, податливая, молодая и глупая. Мой день настанет. Я могу быть вашим другом или врагом, но я ее получу.

— Ты полагаешь, что сможешь ее контролировать? Силу настолько грандиозную, что она может изменить само течение времени?

— Полагаю, я уже ее контролирую.

Астролябия, вращение, перезапуск — о да, он будет ее контролировать.

Вселенная в его власти.

Некоторое время Дэниелс молча смотрит на него, затем склоняет голову в знак признания.

— Что ж, тогда добро пожаловать домой, алхи-

мик, тебе предстоит многому нас научить.

Остальные выглядят встревоженно, не в силах поверить в происходящее. Рид улыбается и, быстрым шагом пройдя через ризницу, преклоняет колени перед старейшим алхимиком. Когда рука Дэниелса гладит его по голове, ему кажется, будто его касаются пальцы мумии, древние, как пергамент, источающий могильный запах бальзамических масел.

— Верь в наше дело, и мы поведем тебя к свету, — говорит Дэниелс.

(Асфодель перед смертью, истекающая кровью на полу: на лице выражение странного торжества, будто она всегда знала, какой ее ждет конец, будто она ждала его. Будто, проиграв, она каким-то образом выиграла. Это злит его, но уже слишком поздно. Она ушла, ушла, и, если это была ее победа, она унесла ее с собой в могилу.)

— И свет приведет меня домой, — подхватывает Рид.

Он склонил голову, но втайне он ликует.

Он знает, что, когда они догадаются, будет уже слишком поздно, и Асфодель, которая из-за этих узколобых дураков, стоящих сейчас вокруг него, была вынуждена создать его, своего убийцу, будет отомщена.

Остается только ждать — и его кукушата расправят крылья, и вселенная будет в его руках.

Астролябия

Лента времени: 10:22 CST, 3 июля 1986 года

В кабинете никого; астролябия Асфодель продолжает вращаться. Планеты скользят по раз и навсегда установленным орбитам; звезды из драгоценных камней вычерчивают траектории, точные, как на самих небесах. Они совершают оборот за оборотом, кружатся, порой проходя всего в нескольких миллиметрах друг от друга, но все же не сталкиваясь, и кажется невозможным, что нечто настолько замысловатое, не связанное с реальным космосом, может существовать в физическом пространстве. Заглянув внутрь этого механизма, можно увидеть само время: дюйм за дюймом, день за днем он моделирует его, преобразуя в соответствии с ограниченным человеческим восприятием.

Когда астролябия замирает, пусть даже на мгновение, мироздание сотрясается. Когда она снова приходит в движение, время возобновляет свой ход.

Пока росток набирает силу, проходит слишком много дней, чтобы описывать каждый из них,

поэтому астролябия вращается, круг за кругом, быстрее и быстрее; но вот семь лет позади, и Доктрина, распределенная между шестью телами, шестью потенциальными носителями, разбитыми на пары, в каждой из которых двое детей так далеко друг от друга, насколько позволяет география страны, — Доктрина становится достаточно зрелой, чтобы заявить о себе.

Невозможный город близко.

Девочка была ужасно бледной, в волосах и между пальцев босых ног запутались водоросли. Она вся блестела, переливаясь серебром, будто ее обсыпали блестками и отправили посмотреть, что творится на свете.

– Что ты такое? – спросила Циб, от восторга забыв про манеры.

Эйвери ткнул ее локтем в бок, но поздно – вопрос уже прозвучал.

– Меня зовут Нив, – ответила девочка. – Я живу в городе, что лежит в глубинах озера, и там так холодно, что лед тает раз в сто лет.

– Люди не живут в озерах, – сказал Эйвери. – Там нет воздуха. Только вода. Люди

не умеют дышать водой.

– Да, но, видишь ли, там, откуда я родом, люди вообще не дышат. – Нив улыбнулась, показав жемчужно-белые зубы. – И только когда тает лед, мы поднимаемся на поверхность и смотрим, как живут другие люди. Но, когда я была на берегу и собирала камушки, налетела буря, появилась Паж застывших вод, схватила меня и отнесла Королю кубков. Он очень жесток, и он так долго держал меня при себе, что лед накрепко застыл, и теперь до следующей оттепели я просто утонувшая девочка без своего города.

– Сто лет – это так долго, – сказал Эйвери. Он постарался особо не задумываться о том, отчего так блестит ее кожа, или о том, что, по ее словам, там, где она живет, люди не дышат. Наверняка она пошутила. – Не будешь ли ты к тому времени слишком стара, чтобы плавать?

– Конечно нет. Когда я дома – я не дышу, когда я здесь – я не старею. Так что я точно смогу вернуться, нужно только не упустить момент.

Но Циб казалось, что есть вопрос поважнее:

– А кто такая Паж застывших вод?

Нив нахмурилась.

– Это самая ужасная из подданных Короля, потому что она одновременно любит его и ненавидит, и она делает все, чтобы ему угодить. Она повелевает воро́нами, и они выполняют все ее приказы. Она собирает для своего Короля все диковинки, которые попадают в Под-и-Над. Будьте осторожны, не то и вы попадетесь ей в руки.

Эйвери и Циб обменялись взглядами и встали поближе друг к другу. Они неожиданно испугались этой девочки в блестках и всего того, что могло последовать за их знакомством.

А. Дебора Бейкер «За лесоградной стеной»

Книга II
Доктрина созревает

Приходится смиренно признать, что изобретения создаются не из пустоты, а из хаоса.

Мэри Шелли

Язык есть наиболее массовое и наиболее всеохватывающее из известных нам искусств, гигантская анонимная подсознательная работа многих поколений. [5]

Эдвард Сепир

---

[5] Примечания: 5
Перевод А. М. Сухотина.

Знакомство

Лента времени: 16:22 EST[6], 9 апреля 1993 года (семь лет после воплощения)

— Ты уже сделал домашнее задание?

— Нет, — отвечает Роджер, пряча книгу под стол, пока мама не заметила. Ей нравится, что он много читает. Ей нравится, что он умный. Он не раз слышал, как мама хвасталась перед подругами своим «маленьким профессором», говоря, что «однажды он изменит мир, вот увидите». Но ей не нравится, если он читает, когда у него еще не сделана домашка, и в последнее время — после нескольких неприятных разговоров с его учительницей — она начала конфисковывать у него книги всякий раз, когда ей кажется, что ради чтения он отлынивает от других занятий.

На самом деле так оно и есть. Эти упражнения он должен был закончить еще час назад. Но в книге как раз было интересное место (в книгах каждое место — интересное), и казалось, что прочитать еще чуть-чуть важнее, чем перемножать

---

[6] Примечания: 6
Стандартное восточное время (UTC-5).

дурацкие числа. В отличие от слов, числа в нем не нуждаются. Словам нужно придавать смысл, слова сами по себе ничего не значат — нужен тот, кто их понимает. Числа просто *есть*. В их мире он неуместен. «Неуместный» — одно из его новых любимых слов.

Роджеру Миддлтону семь лет, и он так влюблен в язык, что в его мире не остается места ничему другому. Он не занимается спортом, не ходит в поисках приключений в ближайший лес; он не мечтает о собаке и не хочет провести выходные в гостях у друзей. Он хочет только читать, *вслушиваться*, углублять понимание слогов, образующих окружающую его вселенную.

(Мама могла бы поступать гораздо строже. Она забирает у него книги, только когда видит, что он небрежно относится, например, к домашней по математике, но всегда возвращает их обратно, и она никогда не говорила ему: «Тебе это слишком рано». Наоборот, она обеспечивает его книгами в огромных количествах, находит все, что он просит, и, похоже, бесконечно рада видеть, как быстро он учится. Она даже подарила ему несколько книг на других языках, например на испанском, немецком и кантонском, и так смеется, когда он читает ей что-нибудь оттуда!

Даже если не понимает ни слова — все равно смеется. Поэтому он уверен, что она им гордится. Наверняка гордится.)

Он смотрит на нее с надеждой и улыбается, и она тает. Это всегда срабатывает.

— Так и быть, мистер, — говорит она, усмехнувшись. — Вернусь через пятнадцать минут. У тебя должно быть сделано не меньше половины упражнений, иначе останешься без книг на два дня. Книги, которые ты прячешь в комоде, заберу тоже.

От такой ужасной перспективы Роджер судорожно вздыхает.

— Да, мэм, — говорит он и ради сохранения своих читательских привилегий принимается за тяжелую работу: склоняется над заданием и карябает ответы карандашом.

Десять минут спустя короткий всплеск продуктивности сходит на нет, и Роджер, уставившись на море чисел и математических знаков, снова размышляет, стоит ли рискнуть и достать из-под стола спрятанную книгу.

— Ответ — шестнадцать, — произносит девчоночий голос.

Нельзя сказать, что голос доносится по воздуху; кажется, будто он исходит из того самого места,

где сейчас находится сам Роджер. И это не один из тех голосов, которые порой возникают у него в голове, когда он представляет себя знаменитым писателем, работающим над новой книгой, или прославленным учителем, объясняющим восторженной аудитории определение недавно появившегося слова. Это новый голос, голос извне, и точно не изобретение его собственного воображения.

Роджер напрягается. Голоса из ниоткуда не сулят ничего *хорошего*. Если ты умный и тихий, ты иногда слышишь, как мама хвастается твоей гениальностью перед подругами. А еще — как учителя говорят ей, что их очень беспокоит, что ты не играешь с другими детьми и предпочитаешь общаться не с людьми, а с книгами. Что, возможно, с тобой что-то… не так. Все это произносится шепотом и только тогда, когда они думают, что он их не слышит, но он слышит.

Он не хочет, чтобы с ним что-то было не так. Поэтому он ничего не говорит. Большинство людей просто уходит, если с ними не разговаривать.

Девочка раздраженно фыркает.

— Ты меня слышишь? Говорю же, шестнадцать, балда. Впиши ответ.

Роджер автоматически повинуется. Ответ воз-

ле восьмерки и двойки с маленьким «х» между ними, что означает умножение, выглядит правильным. Но Роджер по-прежнему молчит.

— Я могу за тебя сделать и остальное. Если хочешь.

— Правда? — Он зажимает рот рукой и встревоженно озирается: вдруг мама незаметно прокралась в комнату и услышала, что он разговаривает с пустотой. Понизив голос, он тихонько повторяет: — Правда?

— Конечно. Мне скучно. Можно?

— Ну ладно.

Она сыплет ответами так быстро, что он едва успевает их записывать; порой она опережает его на три-четыре примера, и ей приходится возвращаться. Она ничего не объясняет. Сейчас он не учится: он просто заполняет поля, словно дает ей возможность почесать странную болячку, которая страшно зудит, пока не сделаешь чужую домашнюю работу по математике. И вот они уже закончили, все до последнего примера, включая четыре дополнительных задания со звездочкой в самом низу листа, на которые он раньше даже не смотрел, — и он кладет карандаш и окидывает взглядом графитовые символы, покрывающие страницу.

— Вау!

— Чего? Это же самые простые примеры. Скукота. Лучше бы позанимались матанализом.

Роджер не выдерживает.

— Ты вообще *кто*? — спрашивает он. — Это какой-то фокус?

— Нет, глупенький, это математика. Математика — не фокус. В математике нет места фокусам. Да, порой возникают сложности, но у любой задачи всегда есть решение. Не то что на этой дурацкой литературе. — В голосе слышится досада. — Лягушки не носят одежду и не водят машину, а если тебя засосет торнадо, то ты станешь трупом и точно не окажешься в не пойми какой стране, а дорога не может быть невероятной. Все это куча тупой лжи для кучи тупых лжецов, но нас все равно заставляют ее учить. Это *несправедливо*.

Вот в этом-то Роджер разбирается.

— Это не ложь, — говорит он торжественно. — Это метафора, — он произносит это слово с ударением на «о»: «Метафо́ра». Но никто из них не замечает оплошности. (Много лет спустя, когда одним из его величайших страхов станет страх ошибиться в произношении, он вспомнит этот момент и поморщится, удивляясь, как они

вообще смогли подружиться, если он начал знакомство с исковерканного слова.) — Это когда мы используем что-то невзаправдашнее, чтобы говорить о том, что есть на самом деле.

— Если что-то не истина, значит, это ложь.

— Не всегда. — У него не хватает словарного запаса, чтобы объяснить, почему это так: он просто знает, что это так, что иногда вещи служат символами для идей, и с их помощью эти идеи становятся чем-то бóльшим, что иногда неправда — это самая что ни на есть истина. — Я все еще не знаю, кто ты.

— Доджер Чезвич, — чопорно отвечает она. Ему знаком этот тон. Он не раз слышал его из своих собственных уст: так звучит голос самого умного ребенка в школе, когда ему задают бессмысленные вопросы. — Мы рифмуемся. *Ро*-джер и *До*-джер.

Роджер так и застывает. Откуда она знает, как его зовут? Она не может знать, как его зовут, разве только она правда внутри его головы, но если она внутри его головы, то с ним что-то не так. А он не хочет, чтобы с ним что-то было не так.

Но она продолжает говорить, поток слов не иссякает, и Роджер с легкостью успокаивается. Она существует на самом деле. Точно существует.

Сам он ни за что не смог бы ее вообразить.

— Может быть, из-за того, что мы рифмуемся, я и могу делать твою домашку. Может быть, так у всех детей с именами в рифму. У тебя есть еще?

— Имена?

— Нет, балда. Еще задания.

— Нет, на сегодня все, — говорит он и с тихой радостью обнаруживает, что говорит правду: на пару с голосом в голове они полностью закончили рабочий лист. Более того, все сделано его рукой, поэтому почерк тоже его. Он хмурится. — Получается, я списал?

— Нет.

— Откуда ты знаешь?

— Потому что я часто спорю с учителями о том, списываю я или нет, и они ни разу не говорили: «Если голос у тебя в голове диктует тебе ответы — это списывание». Поэтому ты не списал.

Этот ответ лишь порождает новые вопросы. У Роджера возникает стойкое ощущение, будто он убегает от настигающей его лавины. Девочка Доджер в его голове — девочка, которой не существует на самом деле, просто не может существовать: голоса в голове не *существуют на самом деле* — слишком утомляет его и вряд ли годится на роль хорошего воображаемого друга.

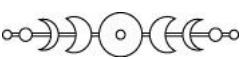
— Мне кажется, нам не следует этого делать.

— Да брось. Мне *скучно*. — В голосе сквозит раздражение. — Эта идиотка Джессика Нельсон на перемене запустила мне в лицо красным мячом, и теперь я должна сидеть в кабинете медсестры, пока мама не заберет меня домой. Я пропускаю математику *и* танцы, *и* я осталась без пудинга.

Все это совершенно не согласуется с представлениями Роджера о воображаемых друзьях. Также это не согласуется с тем, что ему доводилось читать о людях, которые слышат голоса. Но ее голос звучит так… так горько, и она помогла ему с домашкой. Поэтому он берет карандаш и чистый лист и говорит:

— Давай я поучу тебя метафорам.

Немного погодя мама, заглянув проверить Роджера, видит, что он, склонившись над бумажным листом, что-то пишет и бормочет себе под нос. Рядом с ним она замечает заполненный рабочий лист и улыбается. Может быть, в конце концов он научится делать то, что ему говорят.



Секунда за секундой в комнату прокрадывается полночь. Роджер сладко спит — ему снятся поез-

да, плюшевые мишки и таинственно скрипящая дверь кладовки, — как вдруг кто-то трогает его за плечо. Он резко подскакивает и таращит глаза в поисках непрошеного гостя.

Но никого нет.

— О, супер, — говорит знакомый голос. — Ты проснулся. Мне было скучно.

— Кто тут? — Он ошарашенно озирается.

Она вздыхает.

— Ку-ку, это Доджер. Почему в качестве воображаемого друга мне достался тупой мальчик, который не любит математику? Я бы хотела кого-нибудь поинтереснее. Например, слона.

Роджер снова откидывается на подушки и хмуро глядит в потолок. Он проспал около трех часов: светящиеся звезды на потолке уже потускнели. Несколько штук еще светятся, но слабо, будто он глядит на них через толщу воды.

— Я не слон.

— Я знаю. Почему ты спишь?

— Потому что уже полночь.

— Неправда. Сейчас только девять. Папа говорит, что мне надо ложиться спать, иначе я по утрам не в духе. — По голосу Доджер понятно, что это соображение мало ее заботит. — Я не виновата, что просыпаюсь раньше, чем он выпьет свой

кофе. Чем занимаешься?

– *Сплю*, — шипит Роджер. — Я не твой воображаемый друг. Мне завтра рано вставать.

— Мне тоже. И ты точно мой воображаемый друг.

— Это почему?

— Потому что если нет, значит, я разговариваю сама с собой.

В ее голосе звучат знакомые нотки: страх. Она боится того, что это значит — когда человек разговаривает сам с собой. Роджер немного смягчается. Все это не имеет никакого смысла, но, быть может, это не так уж и плохо. Может, даже хорошо: будет с кем пообщаться.

— Как у тебя получается со мной разговаривать?

— Понятия не имею. — Он чувствует, как она пожимает плечами. — Я закрываю глаза, а там ты. Как будто снимаю телефонную трубку. Еще я могу видеть твоими глазами, если постараюсь. Как с математикой. У тебя есть что-нибудь еще?

— Нет. Погоди.

Он встает с кровати. Ноги будто ватные. Разум бодрствует, потому что Доджер не умолкает ни на секунду, но тело не желает просыпаться. Убедившись, что твердо стоит на ногах и может идти,

Роджер, шаркая, выходит из комнаты в коридор. Кажется, что дом погружен в тишину, хотя на самом деле внизу на кухне, не переставая, тикают часы; ветка скребет по стеклу в прихожей; ветер свистит, задувая в карнизы. На всем лежит печать сна, и все вокруг кажется странным и непривычным, будто из другого мира.

(Смутно понимая, что то, что с ним происходит, должно казаться невозможным, он осознает, что сейчас для этого самое подходящее время. Два года назад он воспринял бы голоса в голове, помогающие сделать домашнюю работу, как нечто совершенно естественное, и разболтал бы о них всем и каждому, пребывая в блаженном неведении, что о некоторых вещах лучше помалкивать. Через два года, услышав в голове чужой голос, он бы подумал, что сходит с ума, и расшибся бы в лепешку, стараясь от него избавиться. А сейчас — самое подходящее время. Единственная точка на его личной ленте времени, когда подобный контакт может быть установлен безопасно и без психической травмы. Он не знает, откуда он это знает, он просто уверен, что плюс-минус два года — и все было бы совсем по-другому, но ему всего семь, и он принимает свое умозаключение, не задумываясь.)

Дверь в спальню родителей закрыта. Не спит только он. Ну и, конечно, Доджер — хотя она, наверное, не в счет? Она в другом доме, совсем в другом месте. Если вообще существует.

Он проводит рукой по стене, нащупывая знакомые потертости на обоях. Его пальцы прочерчивали их вечер за вечером. Когда он был маленьким, чтобы достать до обоев, приходилось тянуться, и он касался их на уровне ушей. Потом он стал выше, и рука опустилась до уровня плеч. Теперь, чтобы провести пальцами по тому же месту, нужно поднять руку чуть выше пояса. Иногда по утрам, когда он смотрит на эту вытертую полоску на обоях, он думает о том, что будет дальше: что скоро ему придется наклоняться. Что каждый день он понемногу растет, и ничто не вечно.

Большинство знакомых ему детей изо всех сил мчатся навстречу взрослой жизни, вытянув перед собой руки, пытаясь ухватить неизвестное будущее. Роджер хотел бы знать рецепт, как ему упереться пятками и задержаться в настоящем. Хотя бы ненадолго, чтобы лучше понять, что ждет его впереди.

Он нащупывает дверь в ванную, тихонько открывает ее и так же тихо закрывает за собой. Он слышит в своей голове сопение Доджер, быстрые

взволнованные вдохи-выдохи девочки, которая понятия не имеет, что происходит, но не боится это выяснить. Она-то не станет медлить, он в этом уверен, наоборот, еще быстрее помчится к золотой финишной черте, к тому моменту, где заканчивается детство и начинается взрослая жизнь — страна под названием «все-что-хочешь».

— Закрой глаза, — говорит он, сам крепко зажмуривается и включает свет. Он настолько яркий, что ударяет по глазам даже сквозь сомкнутые веки. Роджер ждет, пока боль отступит, осторожно открывает глаза и поворачивается к зеркалу.

Роджер Миддлтон — худой и высокий для своего возраста мальчик с копной слишком длинных каштановых волос, которые не желают лежать аккуратно, сколько бы мама ни просила их расчесать. Он бледен — и потому, что редко бывает на улице, и потому, что всякий раз, стоит ему только приблизиться к двери, его обмазывают солнцезащитным кремом. Иногда он думает, не обгореть ли ему просто ради опыта. У него правильные черты лица, симметричные, самые обыкновенные. Это мальчик, который может слиться с любой толпой, если правильно оденет-

ся и будет вести себя нужным образом.

У него серые глаза, и чем дольше он на себя смотрит, тем больше они округляются — помимо его воли. И еще он чувствует, как его захватывает удивление Доджер. То, что казалось — по крайней мере, ему — таким логичным шагом, изумляет ее.

— Это *ты*? — спрашивает она.

В зеркале отражается все, что находится у него за спиной, и теперь он точно знает, что Доджер там нет; он в ванной один, и на нем пижама со шмеледведем и дыркой на правом рукаве. Его губы не двигаются. По крайней мере, пока он молчит.

— Да, это я, — подтверждает он. — Это я. А ты где?

— Я в постели. Родители еще не спят. Они заметят, если я встану. — В ее голосе неподдельное сожаление, похоже, ей не терпится повторить этот трюк для него. — У тебя глаза как у меня. Где ты живешь?

— В Кембридже. — Он не собирается называть свой адрес чужому, незнакомому человеку, но город — не адрес, да и может ли голос в голове действительно считаться чужим? Если ее не существует, это не считается, а если существует

(хотя это невозможно; она — просто очень яркий сон, другого и быть не может), то ей не удастся найти его дом только по названию города. — А ты где?

— В Пало-Альто. — Должно быть, ее родители не сильно старались научить ее опасаться чужих людей, потому что она беззаботно продолжает: — Это в Калифорнии. Вот почему у тебя сильно позже, чем здесь. Кембридж — это же в Массачусетсе? Ты очень далеко. Совсем в другом часовом поясе.

— Что такое часовой пояс?

Он слышит, как она оживилась.

— Ты когда-нибудь ронял апельсин в бассейн?

— Чего?

— Он не погружается в воду сразу целиком. Без разницы, с какой силой ты его бросишь, все равно какая-то часть окажется в воде быстрее, чем другая. — Она говорит предельно по сути. Похоже, все на свете можно объяснить с помощью цитрусовых. — Свет — как вода, а Земля — как апельсин. День не наступает во всем мире одновременно. Поэтому между местом, где живешь ты, и местом, где живу я, существует разница во времени. А иначе кому-то пришлось бы вставать посреди ночи и притворяться, будто уже утро, а

это вряд ли у них получилось бы.

В этот самый момент Роджер со всей ясностью понимает две вещи: Доджер существует и он хочет, чтобы она стала его другом. Он ухмыляется, и его отражение бодро, несмотря на поздний час, ухмыляется ему в ответ детской беззубой улыбкой.

— Это была почти метафора.

— Что? — ужасается Доджер. Он не знает, как она выглядит, но представляет выражение ее лица — обеспокоенное и очень сердитое, под стать голосу. — Неправда! Возьми свои слова обратно!

— Но это так. Земля — не апельсин, и нельзя бросить планету в бассейн. Ты придумала метафору. И это вовсе не ложь.

— Я… Ты… это… — Она замолкает, несколько секунд возмущенно пыхтит и наконец выдает: — Ты меня разыграл!

Роджер не может ничего с собой поделать. Он смеется, хоть и понимает, что смех может разбудить родителей. Но оно того стоит.

— Ты придумала метафору! Сама придумала метафору!

— Зачем я вообще с тобой разговариваю. Иди спать.

И сразу после этого ощущение, что он в ванной

не один, исчезает; теперь он просто смеющийся мальчик в пижаме наедине со своим отражением. Он перестает смеяться. Улыбка гаснет.

— Доджер?

Нет ответа.

— Да брось. Я же просто дурачился.

Ответа все еще нет. Затем приходит мама, сонная и раздраженная, и ведет его обратно в спальню, и он послушно идет за ней, слишком растерянный, чтобы сопротивляться.

Утром он встанет, оденется и пойдет в школу. Сдаст домашнюю работу, включая заполненный рабочий лист по математике. Впервые с тех пор, как они закончили со сложением и вычитанием, он получит высшую отметку. Но все это в будущем, по ту сторону ночного океана, тихо проплывающего мимо. Здесь и сейчас Роджер Миддлтон спит.

Сложение

Лента времени: 13:08 EST, 10 апреля 1993 года (следующий день)

— Я немного переживала, как вы усвоите эту тему, — говорит мисс Льюис, самая прекрасная женщина в мире, и ее слушает весь класс, даже Марти Дэниелс, который обычно предпочитает читать комиксы под партой. У мисс Льюис смуглая кожа и темно-каштановые волосы, а глаза — будто небо вдали от ночных огней: такие черные, что могли бы оказаться абсолютно любого цвета.

Роджер ужасно в нее влюблен, и ему кажется, что, узнай она об этом, она бы не удивилась, потому что такая красавица, как мисс Льюис, должна понимать, что все вокруг ужасно в нее влюблены. Она живет в ореоле любви, благосклонно улыбаясь каждому, кто встречается ей на пути. Поступать иначе было бы просто жестоко, а жестокость ей совершенно не свойственна. Она лучший учитель второго класса во всей вселенной, и ему повезло, что он ее ученик. Все тесты, которые ему пришлось сдать, чтобы попасть в

продвинутый класс, стоили того, потому что в награду он получил мисс Льюис.

И тут он замечает, *что* у нее в руках, и цепенеет. Обед закончился всего десять минут назад. Когда же она успела проверить домашку по математике?

У него будут проблемы. У него будут *проблемы*, у него на целую неделю отберут книги, и…

И она кладет перед ним на парту его работу, и на самом верху блестящими чернилами написано «100 %», а рядом нарисован смайлик. *Смайлик*. Редчайшее из сокровищ мисс Льюис, которое она вручает только за выдающийся прогресс или еще более выдающуюся работу. Он уже получал смайлики за правописание и за небольшие эссе, но никогда — за работу по математике. Никогда — за *свою* работу по математике.

— Но ты меня удивил, — продолжает мисс Льюис и улыбается, глядя *прямо на него*. — На этой неделе ты отлично выполнил домашнее задание, просто отлично. Мне кажется, ты теперь знаешь эту тему лучше меня!

Некоторые дети хихикают: разве можно знать тему лучше учителя? Но не Роджер. Теперь он даже не смотрит на мисс Льюис. Его взгляд прикован к оценке, и его желудок сжимается.

Он получил «отлично».

Он получил «отлично», потому что ему помогла Доджер.

Он получил «отлично», потому что ему помогла Доджер, но она исчезла. Или не исчезла.

Она там же, где была всегда, где-то в Калифорнии, до которой так же далеко, как до дурацкой *луны*. Он не знает ни ее адреса, ни телефона, ни школы, в которую она ходит, — *ничего*. Он не может ей позвонить и извиниться за свой смех. Не может сказать ей, как сильно он хочет с ней подружиться и как сильно ему нужна помощь с математикой.

Все, что ему остается, — смотреть на это «отлично» и чувствовать себя обманщиком и плохим другом.

На лист падает капля. Он машинально вытирает щеки, едва ли осознавая, что плачет, и поднимает руку.

Мисс Льюис замолкает и смотрит на него.

— Да, Роджер?

— Мисс Льюис, можно я… м-м-м… — Он запинается, щеки горят. Такие просьбы всегда даются тяжело, особенно когда остальные пялятся на тебя и хихикают так, будто сами никогда не пользуются уборной, будто их тела выше этого. Он

видел, как на перемене те же самые мальчики, стоя у писсуара, стараются сбить струей муху в полете или соревнуются, кто громче пукнет. Наверное, девочки таким не занимаются. А может, и занимаются. Ведь сейчас они хихикают так же, как мальчики. — Можно я выйду в уборную?

— Можно, — сжалившись, отвечает мисс Льюис.

Будь на его месте другой ученик, она бы посмотрела на часы, стрелки которых показывают пятнадцать минут второго, и напомнила бы ему, что для некоторых дел, чтобы не мешать ходу занятия, существует обеденный перерыв. Но Роджер — тихий мальчик, он мало общается со сверстниками, и математика всегда давалась ему плохо. Если ему нужно время, чтобы осознать, что он в самом деле получил «отлично», она даст ему это время. Она так мало может сделать для самых ранимых учеников, что рада сделать хоть что-то.

Роджер сползает со стула и неуверенно, слегка пошатываясь, идет к двери, стараясь притвориться, будто его совсем не волнует, что на него все смотрят. Он понимает, что мог бы подождать, мог бы досидеть до конца уроков и спокойно попробовать связаться с Доджер из своей комнаты, возможно, даже с тарелкой свежих печенюшек в

честь неожиданного «отлично» по математике. Мама печет лучшее в мире печенье, и от одной только мысли о нем — сладком, шоколадном, еще горячем после духовки — ему становится немного легче.

Но медлить нельзя. Это он тоже понимает, даже если ему пока не хватает слов.

Одно из таких слов — «прокрастинировать». Или еще «филонить». (Он узнал их этим летом от отца, когда его родители решили использовать как можно более сложные слова в разговорах, не предназначенных для его ушей. Но вышло не так, как они планировали. Роджеру кажется, что это общая проблема всех взрослых. Чем больше усилий они прилагают, решая, какими будут их дети, что они станут делать и думать, тем реже у них все идет по плану.) Он получил смайлик только потому, что Доджер помогла ему с математикой. Нет, не помогла — она сделала математику за него. А он над ней посмеялся.

Он должен извиниться. Чтобы она поняла, что он не хотел ее расстроить. Поэтому он чуть ли не бежит по коридору — минуя кабинеты (некоторые двери открыты, и, завидев его, ученики поворачивают головы и ухмыляются, думая, что он настолько тупой, что не сообразил сходить в

уборную во время обеда, когда никто не обратил бы на это внимания), минуя туалеты, прямо к подсобке. Дверь гостеприимно приоткрыта.

Детям не положено здесь находиться. Он это знает. Но мистер Пол («Я мис-тер Пол, я мо-ю пол!» — так он представляется первоклашкам, слегка пританцовывая, будто под джаз, чтобы их не так пугала перспектива находиться под одной крышей с этой мощной татуированной горой мышц) не возражает, по крайней мере если Роджер не станет ничего трогать без спросу. Как и мисс Льюис, мистер Пол знает, в чем Роджер особенно чувствителен, — что-то из того, что ему известно, сам Роджер узнает только много лет спустя. Мистер Пол знает, что может случиться с ранимыми детьми, если взрослые вовремя не вмешаются. Конечно, то, что он закрывает глаза на несанкционированное использование подсобки в качестве тайного убежища, не избавляет школьников от издевательств и разбитых носов на игровой площадке, но он рад, что может хоть немного облегчить им жизнь (если только Роджер не станет пить отбеливатель или еще что-нибудь в этом духе).

Роджер проскальзывает внутрь; прохладный воздух пахнет цитрусовыми. Сам мистер Пол

сейчас моет буфет и вряд ли появится раньше, чем через пятнадцать минут, но Роджер при всем желании не может потратить на «поход в туалет» так много времени, даже если, вернувшись в класс, скажет мисс Льюис, что ходил по-большому. (Мысль об этом — сущий кошмар, и он содрогается от отвращения уже потому, что она всего на секунду пришла ему в голову. Но он должен, *должен* извиниться.)

— Доджер? — Роджер закрывает глаза, краем сознания отмечая, что именно так делают герои его любимых мультиков, когда пытаются поговорить с кем-то, кого нет рядом. А еще они складывают руки и молятся, но это вообще-то святотатство (одно из его любимых слов), а он не хочет испортить отношения с Иисусом, пытаясь извиниться за то, что повел себя не лучшим образом. — Ты меня слышишь?

И тут мир словно смягчается по краям, и он вдруг видит перед собой тест по правописанию. Роджер потрясен, но в то же время выдыхает с облегчением. В поле его зрения попадает рука, сжимающая карандаш: тонкие пальцы, обкусанные до мяса ногти. Пилочкой Доджер явно не пользуется; на пальцах нет никаких украшений. Только веснушки, рассыпанные по бледной коже,

словно бусинки по полу.

— Не обводи, это неправильный ответ, — говорит он, когда карандаш начинает двигаться. — Тебе нужен номер два. Р-О-Б-К-И-Й.

Рука замирает. Движется снова. Обводит правильный ответ. Доджер ничего не говорит — наверное, потому что она на уроке, — но он продолжает быстро диктовать, а она продолжает обводить ответы. Пару раз она выбирает неверные варианты. Оба задания на простую перестановку букв, и Роджер догадывается, что у нее, видимо, с правописанием еще хуже, чем у него с математикой, и отличная оценка вызовет подозрения. А сейчас все выглядит так, будто она просто хорошо подготовилась.

— Боже, какая ты умная, — восхищенно говорит он. — Я бы до такого не додумался.

Доджер поднимает руку, тянет ее изо всех сил, а другое плечо опускает, чтобы казалось, что рука еще выше. Учительница — не такая красивая, как мисс Льюис, и, кажется, даже вполовину не такая приятная — вздыхает.

— Да, мисс Чезвич?

— Я выполнила работу простите мне нужно выйти.

Слова так и вылетают из Доджер; она не запина-

ется и не смущается, несмотря на то что сидящие вокруг дети зажимают рты руками, пытаясь сдержать смех. Роджер изумленно следит за тем, как Доджер обводит взглядом класс — и он вместе с ней, хотя его собственные глаза при этом остаются закрытыми. Сам он не может представить себя таким храбрым.

Учительница Доджер с сомнением смотрит на нее, подходит к ее парте и берет в руки тест. Она пробегает глазами ответы, и ее брови постепенно ползут вверх. Наконец, вернув работу на место, она смотрит на Доджер.

— Очень хорошо, мисс Чезвич. Я приятно удивлена.

— Я правда долго готовилась пожалуйста можно я в уборную? — Доджер слегка кривится для убедительности.

— Можно *мне*, — поправляет учительница. — Можно, только быстро, туда и обратно. Одна нога здесь, другая там, у фонтанчика не останавливаться. А то через пятнадцать минут будет та же история.

— Спасибо миссис Батлер, — говорит Доджер, продолжая тараторить со скоростью пулеметной очереди, будто объявив личную вендетту знакам препинания. Она встает с места и выходит из

класса, очень быстро, пока учительница не передумала, но не срываясь на бег, чтобы не нарушать правила.

Как и Роджер, она проходит мимо туалетов, но, в отличие от Роджера, не останавливается у подсобки, а идет дальше, к библиотеке, и заходит внутрь. Библиотекарша поднимает взгляд, видит Доджер, сочувственно улыбается и не говорит ни слова. Доджер направляется в самый конец зала — прохладный уголок, пропитанный запахом старых книг. Там она опускается на пол, прижимает колени к груди и опускает на них голову, образуя малюсенькое личное пространство, ограниченное ее собственным телом.

— Ты что творишь?! — требовательно спрашивает она. — Я же в школе!

— Я знаю, — говорит он, хотя совсем не подумал об этом, когда отпрашивался из класса. — Сколько на твоих часах?

— Десять, — отвечает она. — У меня почти весь день впереди, а я теперь не смогу сходить в туалет. Миссис Батлер очень-очень сердится, когда кто-то выходит в туалет во время урока.

Слышно, что она воспринимает это как личное оскорбление: как будто любой, кто указывает, когда ей можно ходить по-маленькому, а когда

нельзя, совершает преступление против природы.

Роджер начинает понимать, что ей вообще не нравится, когда ей указывают, что делать.

— Прости, — говорит он. — Я не знал, который у тебя час, но очень хотел извиниться.

Доджер замирает, а потом настороженно спрашивает:

— Извиниться за что?

— За то, что смеялся. Я понял, что ты из-за этого расстроилась, а я совсем не хотел тебя огорчать. Поэтому я прошу прощения.

— Ты извиняешься за то, что смеялся надо мной? — Голос Доджер звучит озадаченно. — Все вокруг только и делают, что смеются надо мной. Но никто ни разу не извинился.

— А сколько из них могут вот так с тобой разговаривать у тебя в голове? — хмыкает Роджер. Мама всегда говорит: когда ты улыбаешься, это можно услышать по голосу. Он хочет, чтобы Доджер почувствовала его улыбку. — А вот если бы могли — точно бы потом извинялись.

— Наверное, — говорит она. Недоумение прошло, но она все еще осторожна. — Ты правда извиняешься? И больше не будешь смеяться?

— Я правда извиняюсь. Но смеяться, наверное,

буду. Друзьям ведь можно смеяться друг над другом, разве нет?

— Не знаю, — говорит она и меняет тему: — Спасибо, что помог мне с тестом. Ненавижу правописание. Глупый и бессмысленный предмет. Но я должна им заниматься.

— А мне нравится правописание, — говорит Роджер. — Иногда, если поменять местами всего две буквы, получается совершенно другое слово. Я могу помогать тебе с правописанием сколько хочешь, если ты поможешь мне с математикой.

— Договорились, — говорит Доджер.

— Ты здорово придумала — написать пару ответов неправильно. Мне это в голову не пришло.

Доджер пожимает плечами.

— Люди не доверяют тому, что выглядит идеально.

В этом утверждении есть что-то важное. Роджер будет мысленно возвращаться к нему снова и снова, пытаясь найти слабое место. А сейчас, понимая, что времени у них осталось совсем мало, он торопливо спрашивает:

— Как ты узнала, что можешь со мной разговаривать?

— От папы.

Ее ответ ничего не проясняет. После небольшой

заминки Роджер говорит:

— Я не понял.

— Они с мамой спорили, почему у меня нет друзей, и боялись, что, может быть, со мной что-то не так, и думали отправить меня куда-нибудь, где я могла бы познакомиться с другими «одаренными» детьми — так говорят, когда не хотят говорить «ненормальными», — и мама сказала, что я это перерасту, а папа сказал, что «к нам даже ночевать никто не приходил, кроме этого ее воображаемого друга». А потом я спросила папу, что он имел в виду, а он мямлил и мялся, но потом все-таки рассказал, что, когда я была маленькой, я все время разговаривала с выдуманным мальчиком по имени Роджер, а потом перестала. Вот так я узнала твое имя. Я подумала, что если тот Роджер был настоящим и я могла с ним разговаривать, а сейчас говорю с тобой, то ты и есть Роджер.

Больше ей ни о чем не нужно рассказывать, потому что Роджер тоже умный, такой же умный, как она, и может сам заполнить все пробелы. Ему это так… знакомо. Она одинока. За ее нахальством, как и за его робостью, прячется одиночество. Он не помнит, что разговаривал с ней, когда был маленьким, но не слишком ли

быстро он смирился с тем, что она существует? Когда она стала делать его домашку, он удивился, но не испугался. Как будто они разговаривали раньше: достаточно давно, чтобы сейчас это казалось детской выдумкой, но не слишком давно, потому что какая-то его часть еще помнит, что Доджер — его друг.

Она одинока, но она из тех детей, для которых одиночество становится своеобразным импульсом, заставляющим двигаться вперед семимильными шагами, бесстрашно исследуя все новые способы с ним бороться. Когда отец сказал ей, что у нее был воображаемый друг, у него было имя и он настолько ей нравился, что она разговаривала с ним часами, она попыталась его найти — так же, как и он, когда захотел извиниться. И она нашла его. А он — ее.

— Доджер?

Доджер поднимает голову. Роджер видит ее глазами, что к ним приближается библиотекарша. Это уже немолодая женщина, возможно, даже старше его мамы, и лицо у нее доброе: вокруг глаз тревожные морщинки, а на губах помада мягкого розового оттенка, так что, даже когда ей приходится отчитывать нарушителей тишины, она не выглядит слишком строго.

— С тобой все в порядке?

Доджер молча кивает.

— Все думают, что ты в уборной? — мягко спрашивает женщина.

Доджер уже не раз так делала — убегала и пряталась там, где не нужно было притворяться дерзкой, храброй, какой угодно, где хотя бы несколько минут можно просто побыть самой собой — маленькой испуганной семилетней девочкой.

Доджер снова кивает.

— Если ты сейчас не вернешься обратно, все подумают, что тебе стало плохо, и, когда учительница пойдет проверять уборную, она тебя потеряет. Я не хочу, чтобы у тебя были неприятности.

Она продолжает говорить очень мягко и осторожно. Роджер подозревает, что все взрослые мира говорят с умными детьми именно таким тоном — как будто перед ними не дети, у которых просто слишком много мозгов по сравнению с большинством ровесников, а гранаты с выдернутой чекой.

— Окей. — Доджер, которая только что сидела вся скрючившись, легко выпрямляется и встает. — Простите.

— Не извиняйся. Надеюсь, у тебя все в порядке. Ты же сказала бы мне, если бы у тебя что-то случилось?

Конечно нет. Роджер знает Доджер всего один день — может, и дольше, если ее отец прав и раньше они уже дружили, просто забыли друг друга, — но уже понимает, что она не станет ничего рассказывать другим без крайней необходимости. Она держит свои секреты при себе. Именно так ей удается выжить в мире, в котором она гораздо умнее, чем положено, и гораздо ранимее, чем кажется.

— Конечно, мисс Макнилл, — послушно отвечает Доджер.

— Хорошо. А теперь возвращайся в класс, и, если кто-нибудь спросит, я тебя не видела. — Библиотекарша улыбается.

Доджер улыбается в ответ и бодрой походкой направляется обратно в класс. Роджер на все сто уверен, что она никогда не ходит прогулочным шагом.

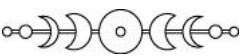
У двери в кабинет Доджер останавливается и говорит громким шепотом:

— Сейчас десять. Я выхожу из школы в три. Можешь выйти на связь через шесть часов.

Затем она открывает дверь и, высоко подняв

голову, заходит в класс, полный насмешливых, оценивающих взглядов.

Это ее тюрьма, не его. Поэтому Роджер выходит у нее из головы и возвращается в свою собственную — открывает глаза в сумраке подсобки. Он с трудом встает, чувствуя покалывание в онемевших ногах, отряхивает джинсы, чтобы никто не догадался, где он был, и выходит в коридор.



Никогда еще шесть часов не казались ему такими долгими. Роджер смотрит на часы, считая минуты. Когда у нее десять, у него — час, а ужинать его зовут в половине восьмого; значит, у них будет только полчаса, а потом ему придется спуститься вниз и рассказать родителям, как прошел день. Он уже сделал всю домашку, кроме нового задания по математике, которое еще сложнее предыдущего. Хуже того, раз за предыдущее он получил «отлично», теперь все будут ждать, что он и это выполнит хорошо. Может быть, не *так* хорошо, но…

Он знает много слов. Списывание, плагиат, ложь, ложь, лжец. Он не уверен, что слово «плагиат» можно применить к математическим

примерам, а не к словам, но не хочет это выяснять; он не хочет, чтобы мисс Льюис смотрела на него с разочарованием или — еще хуже — с отвращением. Ему нужно подтянуть математику. Нужно, чтобы мисс Льюис продолжала ему улыбаться. Значит, ему нужна эта далекая девочка, с которой у них рифмуются имена, и, кажется, он тоже ей нужен: он мог бы стать для нее проводником в дебрях правописания и литературы. Они с Доджер могут друг другу помочь. Могут сделать друг друга лучше.

Стрелки показывают семь. Роджер Миддлтон закрывает глаза.

— Доджер? — зовет он.

Время идет, а ответа нет. Он не удивлен: с той самой секунды, когда все началось, он подсознательно ждал, что это скоро кончится, и кончится плохо, и это будет еще одним доказательством, что с ним что-то не так и мама не зря о нем беспокоилась.

А затем кто-то другой открывает глаза в чужой комнате, и он смотрит в зеркало, и в нем отражается веснушчатое лицо девочки с точно такими же серыми глазами, как у него. На ней рубашка с бабочками на груди. Доджер улыбается во весь рот, и на лице у нее смесь облегчения, радости

и удивления.

Она рыжая. А рубашка желтая. И то и другое так необычно, что он глядит во все глаза, не веря, что ее мир такой яркий.

— Та-да! — говорит Доджер, и Роджер прыскает от удивления: она научилась этому трюку у него. Они уже учатся друг у друга. — Я подумала, ты захочешь меня увидеть.

— Ты когда-нибудь расчесываешься?

Доджер морщит нос.

— Только когда заставляют. Папа говорит, что у девочек должны быть длинные волосы, пока с короткими они похожи на мальчиков, поэтому мне приходится ходить с длинными, хотя я их терпеть не могу. Если бы мне разрешили, я бы тут же постриглась. А то они цепляются за все подряд.

— В смысле — за все подряд?

— За деревья. За кусты ежевики. За чьи-нибудь пальцы.

Ее лицо мрачнеет, как будто на него набежало облако. Роджер научился быть незаметным, чтобы его не задирали. Но Роджер — не девочка с огненно-рыжими волосами (как что-то может быть *настолько* рыжим?). Он никогда раньше не встречал такого насыщенного цвета — и та-

кой страсти к математике. У нее просто не было шансов «проскользнуть незамеченной» — так подсказывает ему сердце. Ей пришлось пойти иным путем: стать проворной, как шарик ртути, и никогда не стоять на месте, чтобы ее не поймали.

И все же…

— Тебя дергают за волосы?

Его мутит от этой мысли. Девочек нельзя дергать за волосы. Иногда девочки толкаются, тогда их можно толкнуть в ответ, и в этом нет ничего плохого, но дергать их за волосы — мелочно и подло, и так делать нельзя.

— Если бы ты был девочкой, тебя бы тоже дергали, — будничным тоном отвечает она. — К девочкам-заучкам относятся еще хуже, чем к мальчикам-заучкам, потому что все говорят, что нас на самом деле нет, а если есть, то только потому, что мы пытаемся понравиться мальчикам-заучкам. Но ни один из таких мальчиков в нашей школе мне не нравится. Я умнее их всех, так что они относятся ко мне не лучше остальных.

Роджер мрачно кивает, забыв, что его тело находится в Массачусетсе, а ее — в Калифорнии и она не видит, что он с ней соглашается. Все, о

чем она говорит, он испытал на себе. Родители и учителя ставят способных детей на пьедестал, а остальной класс собирается у его подножия и швыряет камни, стараясь их сбить. Те, кто говорит, что «словами нельзя ранить», не понимают, что иногда слова — те же камни, тяжелые, опасные камни с острыми краями; и бьют они куда больнее настоящих. Если кто-нибудь на игровой площадке бросает в тебя настоящий камень, остается синяк. Синяки заживают. Но синяки портят жизнь и самим обидчикам — из-за синяков их оставляют после уроков, вызывают в школу не слишком довольных родителей и ведут с ними за закрытыми дверями неприятные разговоры о травле и плохом поведении.

Слова почти никогда не приводят к таким последствиям. Слова можно прошептать быстро-быстро, пока никто не смотрит; они не оставляют ни крови, ни синяков. Слова исчезают бесследно. Вот что делает их такими могущественными. Вот что делает их такими важными.

Вот почему они ранят так сильно.

Доджер отворачивается от зеркала, которое, как он понимает, висит на внутренней стороне дверцы ее шкафа, — первое существенное различие между их комнатами. Стены у нее веселого

желтого цвета, почти в тон рубашке. У него стены белые. На полу у обоих ковры, но у него ковер серый, совершенно невзрачный, а у Доджер ковер с ярким контрастным узором из цветов и бабочек, так что от буйства красок аж глазам больно. Бóльшую часть оттенков он видит в первый раз. Если бы у него на полу лежал такой ковер, он не смог бы заснуть. Не смог бы отвести взгляд.

(Пройдет довольно много времени, прежде чем он осознает, *насколько* много оттенков он впервые в жизни увидел в ее комнате, и начнет догадываться, что это значит.)

У него все стены в книжных полках, и каждая плотно забита всеми бумажками, когда-либо попадавшими ему в руки; у нее полки выше и глубже и завалены плюшевыми игрушками, куклами и прочими атрибутами беззаботного детства. Он удивляется, неужели взрослые — а в ее жизни точно присутствуют взрослые, она упоминала своих родителей, а к родителям обычно прилагаются тетушки с дядюшками и бабушки с дедушками — до сих пор не заметили, какой слой пыли покрывает все эти игрушки, особенно по сравнению с куда более аккуратно расставленными коробками с деревянными геометрическими фигурами, пластмассовыми

деталькими «Лего» и разными другими конструкторами. В углу комнаты Доджер построила башню из ярко-синих кубиков, и башня эта гораздо выше, чем, по его мнению, должна позволять гравитация.

Доджер смотрит на башню и самодовольно улыбается.

— Я придумала, как правильно расположить детали основания, чтобы конструкция вышла максимально устойчивой, — говорит она. — Думаю, я смогу надстроить еще шесть-семь этажей, прежде чем она развалится. На выходных проверю. Когда закончу, свяжусь с тобой, чтобы ты мог посмотреть.

— Окей, — отвечает Роджер, ощущая священный трепет. Вот бы тоже так уметь… — Гм. Я получил «отлично» по математике.

— Ты уже говорил.

— Я не хочу, чтобы учительница подумала, что я списал.

— Ты не списал, — убежденно говорит Доджер.

Она идет к кровати и садится, одну ногу поджимает, а другой болтает в воздухе. Роджер — только пассажир, не водитель, но он болезненно чувствует все ее движения, как будто кто-то записывает каждое изменение на бумаге, а потом зачитывает

описание вслух, но с небольшой задержкой.

— В правилах ничего нет насчет голосов в голове, которые диктуют тебе ответы. Я проверила.

— Мне кажется, правила полагают, что все голоса у тебя в голове — твои собственные, — говорит Роджер.

Доджер пожимает плечами.

— Я не виновата, что правила не учитывают другие возможности.

— Не виновата. — Роджер делает маленькую паузу, а затем продолжает: — Если это не списывание, можешь помочь мне с математикой? Только не просто сделать ее за меня. Ну, то есть как. Мне нравится, когда ты делаешь ее за меня. Но может, ты поможешь мне в ней разобраться? Мне нужно научиться делать домашку самому.

— Если ты поможешь мне с литературой. И с правописанием. — Доджер кривится. — Ненавижу правописание. В нем нет никакой логики.

— Есть, если знать правила, — говорит Роджер. Он готов взлететь от облегчения. Так им станет намного проще, и, если она права насчет того, что это не списывание, в такой договоренности нет ничего плохого. Они могут помочь друг другу. Помочь заполнить пробелы. Он знает подходящие слова: кооперация, симбиоз, взаимовыгода. Слов

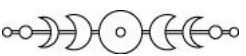
так много, и он научит ее всем словам на свете — главное, чтобы она оставалась его другом.

— Окей, — говорит Доджер, внезапно смутившись. — Давай так и сделаем.

— Окей, — говорит Роджер и добавляет: — Я должен идти. Мне пора ужинать. Поговорим попозже?

— Окей, — снова говорит Доджер.

Роджер открывает глаза у себя в комнате в Массачусетсе. Мама зовет его к столу. Захватив с собой работу по математике, он спешит вниз — рассказать маме, как прошел день.



Доджер чувствует, как Роджер покидает ее сознание: как будто у нее из уха вынули ватный шарик, и неожиданную пустоту тут же спешит заполнить окружающий мир. Она ложится на спину и закрывает глаза, борясь с желанием позвать его по имени и нырнуть в его жизнь — точно так же, как он только что нырнул в ее. Это трудно. Но в конце концов она побеждает. Ей не привыкать к одиночеству.

Родители Доджер никогда не назвали бы ее одинокой, если бы кто-нибудь их об этом спросил.

Конечно, она довольно много времени проводит одна, но у нее есть друзья. Они в этом уверены. Абсолютно уверены. Если бы Доджер когда-нибудь потрудилась объяснить родителям, насколько они заблуждаются, они бы ужаснулись.

Может, ей бы и удалось завести друзей, если бы она, как Роджер, разбиралась в книгах, языках, правописании и всяких таких вещах. Начитанной девочкой быть нормально — настолько, насколько для девочки вообще нормально использовать собственные мозги по назначению. Но иметь способности к математике — не то же самое. Способности к математике бывают только у тощих очкариков с карманными протекторами[7] и тонной научных фактов в голове. По крайней мере, так пишут в книгах. И показывают по телевизору. Об этом ей при каждом удобном случае напоминают одноклассники — например, каждый раз, когда она заканчивает очередной учебник по математике раньше всех. Доджер терпеть не могут даже те мальчики, у которых тоже хорошо с математикой, потому что она умнее, а с таким очень сложно смириться.

---

[7] Примечания: 7

Карманный протектор — пластиковый вкладыш, позволяющий носить ручку или линейку в нагрудном кармане, не повреждая ткань рубашки. Считается атрибутом «ботаника».

Она научилась делать вид, что ей все равно. Она не из тех, кто смешит класс (шутки и остроумные замечания — не ее конек), но при этом она громкая, нахальная и говорит без обиняков. Ее вызывали к директору, потому что она кривлялась и шумела громче половины мальчишек в классе, и так она заработала какое-никакое уважение, но в столовой она все еще сидит одна. Она не нравится своей учительнице, потому что нарушает порядок. А вот библиотекарша ее любит и позволяет ей прятаться в прохладной темноте. Доджер выживет. Она это точно знает. Она выживет — и выживет, победно улыбаясь, потому что Роджер вернулся. Роджер вернулся, он существует на самом деле, и она больше не одинока.

Дверь в ее комнату открывается. Доджер садится, разворачивается лицом к двери и видит маму. Та машет зажатым в руке листочком.

— Это что? — спрашивает мама.

Доджер напрягается.

— Это мое, — отвечает она. — Он лежал у меня в портфеле.

— Портфель ты, как всегда, бросила на лестнице, — говорит мама. — Я его подняла, и из него выпал этот листочек. Девяносто? Серьезно?

— Я готовилась.

Ложь легко слетает с ее губ. Так бывает всегда, когда соврать очень нужно. (Доджер так и не полюбит метафоры — даже после того, как они оба научатся произносить это слово правильно, — и многие годы будет пытаться объяснить Роджеру причины этой нелюбви, чтобы он понял, что врать нужно только тогда, когда это вопрос жизни и смерти, потому что иначе ложь становится менее убедительной, а неубедительная ложь тебя уже не спасет. Она всегда будет врать убедительнее, чем он. А он всегда будет лучше схватывать метафоры. Некоторые вещи настолько глубоко проникают в самую твою суть, что их уже не изменить, как бы ты этого ни хотел.)

— Готовилась? Точно?

Мать внимательно изучает ее лицо. Доджер отвечает честным взглядом: она абсолютно уверена, что ее обман не раскроют. Иногда ей кажется, что то, что ее удочерили, — огромная удача, потому что так проще обманывать родителей. Все ее знакомые утверждают, что родителей трудно обмануть, потому что они вечно говорят что-нибудь вроде «у тебя мамины глаза, а она всегда щурится, когда врет» или «о! щеки покраснели — значит, ты меня обманываешь».

У Доджер глаза свои собственные, не похожие ни на чьи, разве что, может быть, на глаза Роджера…

Ладно, она выдает желаемое за действительное. У нее свои собственные глаза, и сейчас они невинно распахнуты, и в них нет ничего, кроме детского восторга и триумфа.

Наконец мама сдается. Хезер Чезвич работает продавцом-консультантом неполный день (она начинает после того, как посадит Доджер на школьный автобус, а заканчивает так, чтобы вернуться домой за полчаса до нее), но все равно устает, и у нее не хватает энергии на долгое противостояние.

— Я же говорила: постараешься как следует, и все обязательно получится. Так ведь?

— Так, — соглашается Доджер. — Я тебя послушалась, и все получилось.

Она не язвит. Язвить она начнет позже — когда получит от мира больше пинков.

— Отец будет доволен.

Доджер оживляется.

— Папа придет к ужину?

Хезер смотрит, как лицо ее маленькой девочки озаряется надеждой, и где-то глубоко — там, куда никогда не добирается свет, — отмирает еще одна

частичка ее души.

— Не думаю, что он сегодня вернется к ужину, милая. У него занятия, — отвечает Хезер, и Доджер тут же мрачнеет. Хезер с трудом выдавливает улыбку. — А сейчас, может, покажешь мне эту самую работу по правописанию?

Доджер показывает ей тест, и время течет дальше.

Фиолетовые звездочки

Лента времени: 17:02 PST[8], 9 февраля 1995 года (два года спустя)

— Ты уверена, что в Калифорнии вообще бывает февраль? — спрашивает Роджер.

Доджер скользит вниз по насыпи, притормаживая внешней стороной стоп, и ныряет в заросли ежевики в овраге позади дома. Она стирает туфли до дыр; ей приходится менять их в пять раз чаще, чем ему, хотя родители покупают им обувь одного бренда. Еще несколько месяцев назад у них был одинаковый размер, но с тех пор ее рост сильно скакнул уже несколько раз, и ее мама начала задумчиво поглядывать в сторону спортивной обуви, у которой, возможно, будет хотя бы полшанса продержаться дольше одного месяца.

— Календарь утверждает, что да, а календари не врут, — говорит Доджер. При спуске она хватается за колючие ветки, сдирая кожу с ладоней.

Роджер сочувственно морщится, хотя сам не чувствует этой боли — только ее идею. Когда-то

---

[8] Примечания: 8
Стандартное тихоокеанское время (UTC-8).

они могли ощущать тела друг друга: он мог почувствовать ее прикосновение к своему плечу, а она всегда знала, болит ли у него голова, — но сейчас такое происходит все реже. Он даже благодарен за это. Делиться все же стоит не всем.

Доджер бледнее его (они оба проводят мало времени на солнце, только она как бы играет с солнцем в прятки, а он просто вздыхает, когда оно выходит из-за облаков), поэтому у нее синяки заметнее. Порой она выглядит словно девочка-цветок, раскрашенный белым, фиолетовым и заживающим желтым, и кажется, будто эти поразительные цвета существуют только в Калифорнии. Она только смеется, когда он говорит ей быть аккуратнее. Никого больше не заботит ее содранная кожа, так зачем волноваться ей?

Он знает очень много слов, которыми можно описать очень много вещей. Его словарный запас безмерно вырос, и этому, пусть и косвенно, поспособствовала девочка, в чьей голове он сейчас находится. С тех пор как его баллы по математике начали расти, учителя стали с пониманием относиться к тому, что ему скучно. Обращаться со всесторонне развитым юным гением гораздо проще, чем с ребенком, гениальным только в одном предмете. Последние два года ему разре-

шается читать сколько угодно и что угодно при условии, что его оценки по всем предметам будут на высоте. Он изучает немецкий, французский и китайский. Он узнал множество новых понятий и слов, чтобы закрепить эти понятия на поверхности своей души, вечной и неизменной. Без слов многое ускользает — невозможно удержать то, что невозможно описать.

Он не знает, как сказать Доджер, чтобы она заботилась о себе. Она его лучший друг, и она знает это, но он не знает, как заставить ее понять, что, причиняя боль себе, она причиняет боль и ему. У него нет слов, чтобы передать ей очертания своего страха, и поэтому иногда он просто ничего не говорит. Хотя молчание для них — не самое естественное состояние. Для Роджера оно и вовсе непривычно и невыносимо, ведь для него слово — и жизнь, и смерть.

Доджер добралась до дна оврага и протискивается сквозь заросли ежевики. Год назад пробираться было легче, и даже полгода назад, до того, как ее бедра стали шире (хотя и не настолько, чтобы это было заметно, пока она не пытается куда-нибудь пролезть), и рубашки на ней сидят по-другому, так что теперь, когда она готовится ко сну, Роджер отворачивается. Он

всегда знал, что она девочка и что, если бы она жила в Массачусетсе, их давно бы прозвали женихом и невестой. Он не чувствует к ней ничего такого, и она не чувствует ничего такого к нему; он это знает так же хорошо, как цвет ее волос или форму собственного носа. Но даже если не чувствуешь ничего такого, это не значит, что можно смотреть.

— Ты еще здесь? — спрашивает она, хотя точно знает ответ. Каждый из них отчетливо ощущает присутствие другого, а еще острее — отсутствие. Почти каждую ночь он не спит до тех пор, пока она не ляжет в постель, так что они засыпают вместе, а когда просыпается он, просыпается и она. Они живут с постоянным и непреложным чувством *присутствия* на периферии сознания. Иногда им приходится прикладывать усилия, чтобы отключиться и разделиться. И все же время от времени ей важно убедиться, что все в порядке.

— Я тут, — отвечает Роджер.

У него заведен будильник: через полчаса он должен спуститься вниз. Сегодня они семьей играют в «Монополию». Он не зовет с собой Доджер, потому что с ней он бы всех их разнес, но это нечестно: одно дело — иметь в голове репетитора

и совсем другое — использовать его, чтобы обыграть маму в настолки.

(Мелинда Миддлтон относится к настольным играм крайне серьезно. Она играет в «Кэнди-Лэнд» с той же страстью, с какой иные играют в покер: крепко держит карты в руках, слегка хмурится, поджимает губы. Роджер думает, что вообще-то это забавно, хотя на самом деле ему скорее страшновато.)

— Отлично, — говорит Доджер и, скрестив ноги, садится на землю и кладет рюкзак на колени. Она достает оттуда блокнот, открывает его и смотрит на страницу так, будто что-то на ней читает. На самом деле она показывает свои записи ему.

Бумага испещрена какими-то закорючками, математическими символами и пугающим количеством букв. Чисел практически нет. В этом вся Доджер: она считает, что числа не имеют никакого отношения к *настоящей* математике. И страшнее всего, что, похоже, она права. Она все еще помогает ему с математикой, но сама уже перешла на университетский уровень — и даже выше.

У нее под кроватью лежат ксерокопии половины материалов справочного отдела местной библиотеки; они поглощают почти все ее кар-

манные деньги. Рядом, вероятно, тоже половина материалов справочного отдела *его* местной библиотеки, Доджер переписала их от руки в Калифорнии, пока он в Массачусетсе водил глазами по строчкам, не представляя, что они значат.

— Я ничего не понимаю, — говорит он.

— Все нормально. Я и не ждала. — Доджер постукивает по верхней части страницы, где ее рукой выписано уравнение. Недавно она открыла для себя гелевые ручки, и теперь ее математические записи выглядят так, будто на бумагу в виде фигур, символов и непонятных выводов выплеснулась радуга. — Это очень известная задача ученого по имени Монро. За ее решение назначена награда. Ну, целая куча денег. Ее пытаются решить уже шестьдесят лет, и до сих пор никто не смог.

— А ты решила?

— Решила.

Доджер улыбается. На секунду она затихает, на секунду становится безмятежной.

Иногда Роджеру кажется, что такой видит ее только он, и он знает, как ему повезло, хотя было бы здорово, если бы у нее был еще кто-нибудь, кому она могла бы так доверять. Ведь он очень далеко. Они могут никогда не встретиться. Может

быть, они вообще живут в разных мирах. Как только ты говоришь: «У меня есть подруга, я общаюсь с ней у себя в голове, я полностью уверен, что она существует, она знает то, чего не знаю я, а это точно значит, что она существует», — уже не так трудно сказать: «Я думаю, она живет в другом измерении». Если с ней когда-нибудь что-то случится, он ничем не сможет ей помочь. Он живо представляет, как звонит в полицию и пытается объяснить, что его воображаемая подруга, которая существует на самом деле, упала и сломала ногу. Скорее всего, его заберут в психушку, причем так быстро, что от него останутся только ботинки — как в мультике.

— Можешь мне рассказать?

— Нет. — В этом нет ничего обидного: просто она знает, что он не поймет, так же как он знает, что она не поняла бы, если бы он взялся объяснять этимологию какого-нибудь слова, хотя они оба его используют. Они бережно относятся к пределам друг друга, то есть прежде всего знают, *где* эти пределы находятся. — Но если я подам заявку и покажу свои расчеты… — Ее пальцы скользят по странице, как водомерки по поверхности пруда, — одновременно нерешительно и по-хозяйски.

— То награду дадут тебе?

Доджер довольно улыбается. Он чувствует ее улыбку.

— Должны дать. Я решила задачу, а по правилам любой может принять участие, если решит задачу и подаст заявку на рассмотрение. Это куча денег, Роджер.

— И сколько?

— Десять тысяч долларов.

На мгновение Роджер теряет дар речи, пораженный этой цифрой. Десять тысяч долларов — это куча книг, куча ксерокопий; о такой сумме даже взрослые только мечтают. У Доджер может появиться домашний компьютер — такая дорогущая машина, которая считает быстрее калькулятора и даже быстрее, чем Доджер; или приборы, которые позволят ей понять, как устроена вселенная (она показывала ему такие в научных каталогах).

— Я подумала, что если подам заявку и получу деньги… Я могла бы сказать, что ты мой друг по переписке. Что мы познакомились в прошлом году в шахматном лагере. Если ты пришлешь мне пару писем, будет понятно, откуда я знаю твой адрес, ну, чтобы не было странно. — Ее голос звучит неожиданно смущенно, как будто она

сама не верит, что говорит все это вслух. — Десять тысяч долларов — это куча денег. Держу пари, родители не станут возражать, если часть я потрачу на то, чтобы купить билеты на самолет и съездить навестить друга. Мы могли бы приехать в Кембридж. Я и мои родители. Папа говорит, что на восточном побережье много исторических мест, где он хотел бы побывать, а маме нравится все, что нравится ему, и я бы с тобой встретилась. И ты бы встретился со мной. По-настоящему, не в голове.

Роджер молчит. Он переваривает услышанное. Все это слишком быстро, и что, если он отправит письмо, а оно так и не дойдет? Они уже предполагали, что они живут в разных измерениях и общаются через какую-то червоточину или складку в пространстве. И если они попытаются установить контакт — ведь проще простого, общаясь мысленно, обменяться номерами телефона или адресами, — есть шанс, что их ментальная связь разорвется и они останутся друг без друга.

В последние два года у Роджера стали появляться друзья. Он знает слова, которых от него ждут, и больше не боится кому-то не понравиться, потому что знает, что рядом всегда будет Доджер; если одноклассники скажут, что не хотят тратить

на него время, вечное одиночество ему не грозит. Он не уверен, что сохранит это спокойствие, если ее потеряет. А Доджер…

Он не все время у нее в голове. Она ходит в школу, принимает ванну и прочее, как и он; иногда им приходится существовать поодиночке. Но ни разу, возникая у нее в голове, он не заставал ее за разговором, хоть немного похожим на дружеский, и, когда он спрашивал ее об этом, она отмалчивалась. Похоже, кроме него, у нее нет друзей. Это немного пугает.

— Роджер? — шепчет она.

— Ты уверена? — Он качает головой. Она не почувствует этого движения, но оно ему необходимо. Если он откроет глаза, связь разорвется. Он многое научился делать с закрытыми глазами. — Что, если… Помнишь, мы с тобой говорили о червоточинах и всяком таком? Что, если это правда?

— Не думаю, что одно письмо может нарушить квантовую запутанность, — отвечает Доджер. — Если ты его отправишь, а я не получу, мы будем знать, что живем в разных измерениях, и тогда больше пытаться не будем. Разве ты не хочешь встретиться по-настоящему?

Он не хочет. Эта связь между ними — такая

странная и хрупкая, и это лучшая вещь в его жизни, но она поражает его и пугает до дрожи. Это *ненормально*. Доджер не волнует, считают ее нормальной или нет. А Роджера волнует. Ему нравится, когда к нему относятся так же, как к остальным детям, когда считают его просто умным ребенком, а не каким-нибудь уродцем, которому место в цирке. Что, если встреча прервет их ментальную связь, и тогда он снова превратится в однобокого гения, который спорит с профессорами о глагольных временах, но при этом ходит на математику для отстающих? Или если у них получится как в «Звездном пути», где прикосновение к тому, кто может читать твои мысли, делает связь более устойчивой, и они с Доджер уже не смогут отключиться друг от друга?

Он молчал слишком долго. В его поле зрения мелькает рука: Доджер вытирает глаза. Она плачет. Она спросила, хочет ли он с ней встретиться, а он не ответил, и теперь она плачет.

— Додж…

— Забудь. — Она захлопывает блокнот, сминая страницы. На обложке — от края до края — фиолетовыми и серебряными чернилами нарисованы блестящие звездочки: россыпь созвездий; она

рисует их, когда нужно чем-нибудь занять руки. И от этого напоминания, что, пока его нет рядом, она все равно *есть*, что она *не* его воображаемый друг, о котором можно вспомнить или забыть, становится еще хуже. — Глупая была идея, ясно? Потрачу деньги на «Мир Диснея» или еще что-нибудь такое. Американские горки — та же математика, просто по ним можно кататься.

— Прости.

— Тебе пора, Роджер. Ты же сегодня играешь в настолки с родителями, разве нет? — Она поднимается, снова вытирает глаза. — Может быть, я упрошу папу сыграть со мной в шахматы. Ты все равно не любишь смотреть, как мы играем.

Роджер молчит. Он хорошо изучил, как меняется ее настроение. Когда она так расстроена, до нее не достучаться, и, может быть, сейчас это даже к лучшему — у него есть время придумать, что сказать, чтобы она не плакала. Это не значит, что ему плевать на нее и ее чувства, — он ее любит, как, наверное, любил бы сестру, — но порой лучше ничего не менять и оставить все как есть. Порой, если что-то поменять, это может вывести мир из равновесия.

— Ну? — требовательно спрашивает она.

— Я вернусь к девяти, — говорит он и, открыв

глаза, видит потолок собственной спальни.

Вместо яркого калифорнийского полдня — снег за окном и серо-коричневые обои, которые он выбрал для своей комнаты, когда мама в последний раз делала ремонт.

Осторожно приподнявшись, Роджер проверяет, насколько затекло тело. Навещая Доджер, он не покидает свое тело, но все же он связан с ним меньше, чем положено обычному человеку. Он может вовсе забыть о своем теле, если отсутствует слишком долго. Иногда, вернувшись, он обнаруживает, что больше часа неудобно лежал на руке, и она жутко зудит и жжется, пока снова не придет в норму. Он уже не раз прикусывал губу, сдерживая стон, чтобы не привлечь внимание родителей. Мама и так уже начала опасаться, что у него нарколепсия. Ему пришлось сказать, что иногда у него просто болит голова, лишь бы уговорить ее не вести его к врачу.

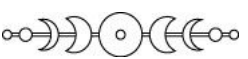
(Это даже не совсем ложь: иногда у него действительно болит голова, и он не раз обращался к школьной медсестре, так что та охотно подтвердила его родителям, что ничего серьезного нет, просто дети так перегружают свой мозг, что иногда это вызывает боли. Если он просто посреди дня засыпает в темной комнате, беспокоиться

не стоит. Роджеру не нравится, как она на него смотрит — с жалостью, как будто он уже практически инвалид и она, не давая отправить его к врачу, пытается спасти остатки его детства, — но родители успокаиваются и больше об этом не думают, и за это он ей благодарен.)

Он все еще сидит на кровати, потирая локоть, когда дверь распахивается и появляется отец. На нем брюки цвета хаки и белая рубашка, будто он только что вернулся из офиса.

— Роджер? — зовет он. — Готов к игре, дружище?

— Да, папа, — отвечает Роджер, улыбаясь во весь рот. Он соскакивает с кровати, ссора с Доджер уже почти забыта. Он вернется к ней позже, а сейчас лучше пусть мозг сам обдумает ситуацию, пока Роджер занимается другими делами. Все будет хорошо. Так всегда бывает. Они с Доджер уже ссорились раньше, и всегда все заканчивалось хорошо. Почему в этот раз должно быть по-другому?



Доджер сидит за кухонным столом, положив перед собой блокнот, и пытается донести до роди-

телей свою мысль. У нее отчаянно горят кончики ушей, а щеки пылают: как бы она ни старалась, всегда находятся идеи, для которых у нее не хватает слов, мысли, которые у нее не получается выразить. И она хочет, чтобы Роджер пришел ей на помощь, и она ненавидит себя за свою слабость, за то, что он ей так нужен; и ненавидит его за то, что его здесь нет.

Отец, нахмурившись, смотрит в ее записи. Он уже несколько лет не вникал в ее «независимые исследования»; как всякий родитель, гордящийся своей дочерью, он с довольным видом прикрепляет к холодильнику ее школьные работы, но это уже точно не математика. Это поэма, написанная на незнакомом для него языке, и, глядя на исписанные листки, он чувствует себя маленьким и ненужным, как будто она ушла расшифровывать вселенную без него.

— Ты точно не скопировала это из какой-нибудь книги в библиотеке? — спрашивает он в третий раз. — Мы не рассердимся. Нет ничего плохого в том, чтобы скопировать что-нибудь чужое для собственных исследований. Плохо, только если ты пытаешься выдать чужое за свое.

Доджер думает о пачках копировальной бумаги у себя под кроватью, выпрямляется и качает

головой.

— Нет, папочка, — говорит она. — Я ничего ниоткуда не копировала. Только уравнение наверху, оно написано фиолетовой ручкой. Это задача, которую пытались решить в институте Монро, и я ее решила. Я правда сделала все сама. Если хочешь, можем пойти в университет, и я повторю решение на глазах у какого-нибудь профессора математики.

Она не совсем понимает разницу между учителями и профессорами, за исключением того, что профессора знают гораздо больше учителей. Профессора — как волшебники: они создают вселенную. Если она покажет свое решение им, они точно не станут ее оскорблять, не то что мистер Блэкмор. Тот думает, что девочки не могут быть математиками. Когда он проверяет ее работы, он ни секунды не сомневается, что она списывает. Профессор бы так не подумал, ему бы это даже в голову не пришло.

(Если честно, где-то глубоко-глубоко внутри она вынашивает мечту, что, когда настоящий профессор увидит ее работу, он восхищенно воскликнет: «Эта девочка — гений!» — и заберет ее из начальной школы в университет, где она сможет заниматься математикой сколько захочет,

и никто не будет шептаться у нее за спиной, не будет «случайно» бросаться в нее чем-нибудь за обедом, или потешаться над ее именем, или заявлять, что девочки должны любить кукол, а не десятичные дроби. Нужно только добраться до одного из профессорских кабинетов, и тогда для нее наконец откроется будущее.)

— Говоришь, за решение назначена денежная премия? — Питер Чезвич большую часть жизни провел в стенах университета, и идея награды за решение сложной задачи его не удивляет; на него самого раз-другой падала манна небесная, обычно за переводческие проекты или успешную разгадку какой-нибудь тайны прошлого. Он никогда не смотрел в сторону точных наук: математика — не самая сильная его сторона. Каракули в дочкином блокноте (фиолетовой ручкой, о как!) могут быть просто набором символов.

И все же…

И все же он достаточно хорошо знает свою дочь, чтобы понимать, что она всегда будет умнее, чем он, особенно когда дело касается математики. Они живут безбедно: его преподавательской зарплаты и того, что платят Хезер в магазине, достаточно, чтобы не нуждаться в деньгах. Но безбедно — не то же, что богато, и эта премия

могла бы кое-что изменить.

Доджер кивает так энергично, что кажется, будто еще чуть-чуть, и голова у нее просто отвалится.

— Десять тысяч долларов, — говорит она и, неожиданно смутившись, добавляет: — Я тут подумала, мы могли бы всей семьей съездить в Кембридж.

— Почему в Кембридж?

— Там живет мой друг по переписке, — отвечает Доджер. Она все еще лучшая лгунья в этом доме: в голосе нет ни крупицы фальши. — Было бы здорово с ним встретиться.

Хезер и Питер обмениваются взглядами. Их девятилетняя дочь рассуждает о том, чтобы полететь на другой конец страны, чтобы встретиться с мальчиком, а они почему-то чувствуют только облегчение. В мире есть кто-то, с кем Доджер хочет повидаться. И это не знаменитый математик и не ведущий научно-популярной передачи. Хотя…

— А сколько лет твоему другу по переписке? — спрашивает Питер. Они стараются контролировать, чем она занята, но, если нужно, она умеет быть такой изворотливой. С нее станется написать какому-нибудь престарелому математику из Гарварда, а потом попытаться

устроить так, чтобы родители помогли ей с ним встретиться. Доджер еще слишком мала, и Питер не переживает, что кто-нибудь попытается ей воспользоваться (хотя он считает, что Доджер красивая девочка, и придет день, когда к уже имеющимся страхам добавится еще одна паранойя), но это не значит, что он не против ее переписки с незнакомым взрослым.

— Девять, — отвечает Доджер. — Как и мне.

У них с Роджером не только одинаковые глаза, они и родились в один день. С математической точки зрения это значит, что им было суждено стать друзьями, как двум половинкам одного уравнения, созданным, чтобы дополнять друг друга. Но про день рождения она решает не говорить. Одно дело — решать свои проблемы, и совсем другое — самой их себе создавать. Второе ей дается гораздо лучше первого, но она учится. Учится изо всех сил.

– *Если* я попрошу кого-нибудь из моих коллег посмотреть на твое решение и *если* оно будет удостоено этой премии, тогда мы это обсудим, — наконец говорит Питер. — И бóльшую часть премии, если ты ее получишь, нужно будет отложить на учебу в университете.

Поскольку Доджер его дочь, если она поступит

в Стэнфорд, за обучение платить не придется. Но нужно учесть остальные расходы: книги, тетради и все прочее, — и это при условии, что она будет жить дома, с ними, а не снимет отдельное жилье. Когда он был молод и еще только мечтал о семье, он и предположить не мог, насколько это дорого — воспитывать умного ребенка.

Но оно того стоит. На лице Доджер расцветает улыбка.

— Я могу встретиться с кем-нибудь из профессоров и поговорить о математике? Правда?

— Если я смогу это устроить, — отвечает Питер. Мысленно он уже рассматривает варианты, перебирает и отсеивает имена. Ему нужен кто-то, кто отнесется к Доджер серьезно, несмотря на ее возраст, кто увидит в ее работе ровно то, что в ней есть, и не позволит предрассудкам о способностях девятилетних девочек повлиять на вердикт. Он закрывает ее блокнот.

— Я его пока заберу, хорошо?

Доджер хочется ответить «нет»; хочется объяснить, что блокнот нужен ей, чтобы спокойно уснуть. Но она закусывает губу и кивает.

Питер улыбается.

— Даже если ты не получишь премию, малышка, я все равно тобой горжусь. Сыграем в

шахматы?

— Я расставлю фигуры, — отвечает она, вскакивает со стула и вприпрыжку бежит за доской, бежит в будущее, наполненное профессорами и наградами, в будущее, где она наконец-то встретится с Роджером, и он поймет, что им было предначертано стать лучшими друзьями, друзьями на всю жизнь.

Вечером, добравшись до кровати, она сразу же засыпает. И уже не слышит, как Роджер пытается установить контакт. Она уже слишком далеко.

Изоляция

Лента времени: 9:35 PST, 11 февраля 1995 года (два дня спустя)

Девять тридцать утра. Сейчас Доджер должна быть в школе, но отец забрал ее, написав записку с извинениями, и теперь она идет рядом с ним — шагает навстречу другому миру. В отутюженном платье и бледно-розовом свитере она чувствует себя маленькой и неуклюжей. Она сама на себя не похожа: она привыкла одеваться совсем не так, и держаться совсем не так, и вообще… Она — это джинсы, блузки с короткими рукавами, кроссовки и футболки, разбитые коленки… А сейчас Доджер одета будто для похода в церковь на Пасху с бабушкой и дедушкой, на ней даже те же жмущие лакированные туфли. Будто ее нарядили для маскарада. Будто выставляют напоказ.

Но, как ни странно, она рада этому дискомфорту: он притупляет ее благоговение. Отец за руку ведет ее по коридорам Стэнфорда. Она здесь не впервые — он брал ее к себе на работу еще совсем маленькой, и Доджер знает эти коридоры и кампус как свои пять пальцев, — но она ни разу

не бывала здесь *по делу*. Сейчас она собирается показать свою работу *настоящему математику*, и это даже круче, чем показать ее Бэтмену. Поэтому, хотя ее бесит это платье, бесит, что как раз когда ей нужно показать, чего она стоит, она сама на себя не похожа, — она рада, что на это можно отвлечься. Так ее руки почти не дрожат.

— Не забудь, о чем мы с тобой говорили, Доджер, — говорит отец. — Отвечай на все вопросы, которые задаст профессор, и только на них. Не вздумай болтать о том, до чего ему нет дела.

— Да, папочка.

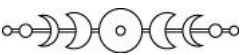
— Он может попросить тебя посчитать что-нибудь на доске. Если попросит, не бойся и посчитай. Он просто хочет убедиться, что мы его не обманываем.

Ей кажется, что, если профессор Вернон попросит ее что-то посчитать на настоящей университетской доске, она в то же мгновение умрет от счастья. Она будет лежать в гробу, широко улыбаясь, и, возможно, все даже порадуются, что она ушла именно так. По крайней мере, все будут знать, что она умерла счастливой.

— Да, папочка.

— Не перечь ему и не спрашивай о его работе, если он сам об этом не заговорит.

— Да, папочка, — говорит она, и тут оказывается, что они пришли, они правда *пришли*, они у двери в класс, и человек, похожий на ее дедушку, уже ждет их, снисходительно улыбаясь, как взрослый, готовый увидеть, как ребенок покажет ему весьма впечатляющий фокус. Ноги Доджер вдруг будто наливаются свинцом, но она делает усилие, переставляет их и заходит в класс, навстречу своему будущему.



— Ну? — спрашивает Питер.

Профессор Вернон качает головой. Он напоминает лысеющего страуса — высокий, худой, с непропорционально длинными руками и ногами. Он много кого видел в этих стенах: гениев и глупцов, тех, кому плевать на математику, и тех, кому она необходима как воздух. Каждого он старался научить как можно лучше, поддерживал их всем, чем было нужно. Но такого он не видел никогда.

— Задачи она решает правильно, — отвечает он. — Не пользуется шпаргалками, не пасует перед заданиями, которые видит впервые в жизни. Возможно, в третьем номере она ошиблась, но

скажу честно: я бы на всякий случай заглянул в учебник. Если ты говоришь, что она сама решила уравнение Монро, — я готов в это поверить. Она его решила. — Он качает головой. — Никогда не думал, что мне доведется такое увидеть. Тебе нужно перевести ее в класс с углубленным изучением математики.

— Она и так уже там.

— Значит, с еще более углубленным. Ей необходимы наставники, книги… Она гений, Питер. Такие умы, как она, рождаются раз в поколение, и то не факт. Говоришь, она сама узнала о премии?

— Она сначала решила задачу, а потом рассказала нам о премии, — говорит Питер. — Она хочет только одного: потратить часть денег, чтобы съездить в Кембридж повидаться с другом по переписке. Я страшно рад, что она не попросила купить ей пони.

Профессор Вернон на мгновение замирает, а затем спрашивает:

— Кембридж? Неужели?

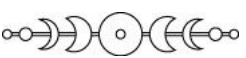
— Ага… Она утверждает, что познакомилась с этим мальчиком прошлым летом, в шахматном лагере. Думаю, мы разрешим ей поехать. Доджер нелегко завести друзей среди сверстников. Такая поездка может пойти ей на пользу.

Питер не говорит — сейчас это ни к чему, — что, скорее всего, у ее друга по переписке те же проблемы. Поэтому, если свести этих детей вместе, они точно ничего не потеряют, а вот приобрести могут очень многое.

Доджер закончила решать задачки, которые дал ей профессор Вернон. Она поворачивается к ним, на руках и носу у нее следы мела, щеки пылают от гордости и напряжения.

— Проверите? — спрашивает она.

— Пожалуй, проверю, — отвечает профессор Вернон и окидывает взглядом ее вычисления, идеально отображающие тонкий слой бесконечности.



Чуть позже, когда Питер с дочерью уходят, профессор Вернон снова смотрит на доску. Девочка уже гораздо умнее, чем он ожидал. Он годами ждал этого «звонка» — новостей о том, что Доджер сделала что-нибудь из ряда вон выходящее для своего возраста, — но он и представить себе не мог, что это будет что-то настолько неожиданное, настолько судьбоносное. Если бы Питер не упомянул о друге по переписке…

Неважно. Мальчик был упомянут. И профессору Вернону не нужно гадать, с кем переписывается Доджер; он также знает, что ни один из них не написал ни единого письма. Доктрина ищет сама себя. Так происходило во всех итерациях, даже в неудачных — тех, что милосердно удалили из программы. Пара Миддлтон — Чезвич уже находила друг друга, и только благодаря преданной Риду няне алхимики смогли вмешаться, пока не стало слишком поздно.

Конгресс следит за ними, следит неусыпно. Они знают, что воплощенная Доктрина предоставлена самой себе, растет и развивается на свободе: дай им только шанс, и они ей завладеют. Дети пока еще слишком малы, чтобы впутывать их в эти разборки. Им нужно повзрослеть. Им нужно узнать, как много они должны человеку, который их создал.

Девочка телом и душой стремится к поставленным целям, слабое звено — не она. Откровенно говоря, он не хочет, чтобы она оказалась слабым звеном. У нее незаурядный ум. Профессор Вернон хочет побыть в тихой гавани ее благоговения, пока Рид не призовет ее в Невозможный город, где ей уготована роль ручного зверька. Профессор Вернон стал алхимиком, потому что

жаждал власти; он стал математиком, потому что полюбил этот предмет. Возможность обучать девочку, которая однажды *сама* станет законами математики, слишком заманчива, чтобы от нее отказаться. Но вот мальчик…

Любой может научиться читать словарь. На этой стадии половина Доктрины, воплощенная в мальчике, — всего лишь эйдетическая память и любовь к текстам. На него можно надавить. Его можно использовать, чтобы прервать их общение, пока все не зашло слишком далеко — пока половинки не соединились сами по себе. Да.

В конце концов, он ведь защищает саму девочку. На этой стадии развития она еще слишком уязвима, и контакт с мальчиком может опустить ее до его уровня. Чтобы парить, ей нужна свобода.

Наметив план действий и найдя для себя оправдание, профессор Вернон отводит взгляд от доски. Пришла пора сделать звонок.

На проводе

Лента времени: 13:51 CST, 11 февраля 1995 года (сразу после)

— Ясно, — говорит Рид. — Что ж, ваша верность не останется незамеченной; да, я подумаю о том, чтобы позволить вам быть наставником девочки. Благодарю за вашу преданность.

Он вешает трубку на рычаг, не дожидаясь, когда человек на том конце провода закончит благодарить его, запинаясь от ужаса. Вернон не ожидал, что к телефону подойдет сам Рид, он думал, что сообщит неприятные новости какому-нибудь подмастерью или, еще лучше, лаборанту. Именно из-за *таких* моментов Рид и старается по возможности всегда быть на другом конце провода. Ничто так не пугает подчиненного, как необходимость общаться с тем, кто действительно может причинить боль.

В висках стучит гнев; в груди бушует непрошеный, неожиданный страх. Схватившись за край стола и опустив голову, он ждет, когда припадок пройдет.

Краем глаза заметив движение, Рид поднимает

взгляд и видит девочку. Она немного старше его кукушат, но только немного. Пройдет время, и она сможет сойти за их сверстницу.

Девочка одета в бесформенное ситцевое платье в цветочек, у нее рыжевато-золотистые волосы — в бутылке этот цвет выглядит гораздо лучше, чем на голове. Она смотрит на него испуганно и серьезно. Она боится его, и он это знает. Одного этого достаточно, чтобы его паника рассеялась, по крайней мере частично. Она боится его, и все же она здесь, смотрит на него и ждет.

— В чем дело? — спрашивает он.

— Что-то сломалось, — отвечает она голосом раненого животного, полным боли и страха. — Что-то не так.

Конечно. Девочка из небольшого проекта Ли, второстепенное воплощение простой управляемой силы. Она не первое из таких воплощений и вряд ли будет последним.

— Что сломалось, дитя? — спрашивает он.

Она поднимает дрожащую руку и показывает на стену. Он недоуменно хмурится, но затем замирает. Там, за стеной, — астролябия.

— Она все крутится, и крутится, и крутится, но никак не вернется в правильное положение, — говорит она. — Это *больно*. Так не должно быть.

— Нет, не должно, — соглашается он и осторожно спрашивает: — Ты знаешь, как ее починить?

Она удивленно открывает рот. Закрывает снова. Наконец качает головой и говорит:

— Она слишком большая. Я не могу увидеть, как далеко уходит поломка.

— Но ее *можно* починить?

На этот раз она кивает.

Рид улыбается.

— Иди сюда, девочка. — Он протягивает руку.

Ее страх — будто маяк, сияющий свет, на который почти невозможно смотреть, но все-таки она послушно подходит к нему и берет его за руку.

— Куда мы идем? — спрашивает она.

— К твоей создательнице. У меня есть для нее задание.

Он выходит из лаборатории, и девочка молча идет рядом, ее босые ноги неслышно ступают по кафелю. Очаровательная малышка, хотя и диковатая: Ли не хватает простых социальных навыков, необходимых для воспитания детей; кроме того, Ли, как сорока, слишком легко отвлекается на последние достижения алхимиков по части созидания или разрушения. Возможно, пора более активно включиться в жизнь этих второстепенных воплощений. Когда девочка станет

старше, а ее создательница наконец станет ему не нужна, иметь под рукой само олицетворение Порядка будет не так уж плохо. В самой идее, что Ли своими руками создала себе преемника, есть что-то приятное и поэтичное.

Да. Об этом стоит подумать.

Ли в своей лаборатории отмеряет алкагест в вольфрамовую колбу, которую держит угрюмый темноволосый мальчик; все его движения кажутся какими-то дергаными. Увидев свою пару, девочка вырывает руку из руки Рида, пересекает комнату и тихонько встает рядом с мальчиком, наблюдая, как драгоценная пожирающая плоть жидкость капля за каплей перетекает из одного сосуда в другой. Рид ничего не говорит. Субординацию важно соблюдать, но алкагесту нет дела до того, главный ты или нет. И достойных, и недостойных он уничтожит одинаково охотно.

Плечи Ли чуть напряжены — и это единственный признак того, что она заметила его присутствие. Закончив начатое, она осторожно ставит контейнер с алкагестом обратно на полку и забирает у мальчика колбу.

— Эрин, Даррен, бегите к себе, — командует она. Их имена образуют несовершенную рифму, лишь слегка неточную, и, конечно, это сделано

намеренно: воплощение Хаоса не вынесло бы совершенства. Наконец она смотрит на Рида. — Мне нужно работать, а дети будут мешать.

Девочка — Эрин — хватает мальчика за руку, и они бегут прочь от этих опасных взрослых, подгоняемые инстинктом самосохранения, так быстро, как только способны их маленькие тела.

Рид поднимает бровь.

— Прячешь их от меня?

— Они еще не созрели. Эрин полезна, но Даррен… Он мне сопротивляется. Я могу использовать его только в задачах, сопряженных со смертельной опасностью, потому что он боится, что Эрин останется одна. В остальных случаях он все портит. — Ли ставит колбу в подставку. — Зачем вы пришли?

Дело с кукушатами довольно срочное. Но все же он задает еще один вопрос:

— Они пара, но не связаны, правильно?

— Да, это разные воплощения. Порядок может выжить без Хаоса. Просто будет несчастлив. — Ее глаза темнеют. — А что?

— Если убрать мальчика, девочка созреет быстрее?

Ли медлит пару секунд, прежде чем ответить:

— Возможно. А что?

— Она мне понадобится. И довольно скоро.

— Как скажете. Так зачем вы пришли?

— Третья пара кукушат опять установила контакт.

Ли открывает было рот, чтобы возразить, но Рид жестом останавливает ее.

— Это проверенная информация. Об этом сообщил профессор Вернон, а он все эти годы ждал, когда девочка проявит свой потенциал. Он не стал бы бить ложную тревогу.

Ли хмурится.

— Что вам нужно от меня?

— Исправь это. Пока Конгресс не узнал, что они связались друг с другом с разных концов континента; не хочется потерять эту пару из-за старых дураков, которые не знают, когда нужно держать руки при себе.

— Рано или поздно все равно придется с ними разобраться.

Разобраться с кукушатами или с Конгрессом — неважно, ее слова равно относятся и к тем, и к другим.

— Да. Но сейчас мне нужно, чтобы ты разорвала связь. Причем основательно, так, чтобы им даже в голову не пришло попытаться ее наладить, пока мы не будем готовы.

— А их можно ломать?

Если их разделить, они в самом деле могут сломаться. Придется рискнуть.

— Только в крайнем случае. Начни с Миддлтона. Его родители проследят, чтобы он ходил по струнке, когда поймут, что поставлено на кон. Если это не сработает, можешь навестить девочку.

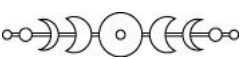
— Да будет воля ваша, — говорит Ли, склоняя голову.

— Когда вернешься, поговорим насчет… Даррена? Так его зовут?

Ее кивок — образец неприязни.

— Отлично. Возможно, он больше не нужен.

Рид хочет, чтобы девочка, способная наблюдать за движением астролябии, даже не видя ее, созрела как можно скорее. Она ему пригодится.



Если у тебя есть цель, власть и готовность разрушить мир ради этой цели, есть много способов быстро добраться куда угодно. От Огайо до Массачусетса путь неблизкий, но, когда два часа спустя Роджер возвращается из школы, его родители, оба, сидят в гостиной, в руках у них чашки кофе, а на лицах застыло скорбное выражение. Запах

кофе почти невыносим. (Годы спустя, когда он будет чувствовать себя неуютно без чашки кофе в руке, а его зубы приобретут желтоватый оттенок, он вспомнит, где все началось: именно тогда кофе стал символом зрелости и авторитета, который нужно было завоевать и присвоить себе. Но все это в далеком будущем, а сейчас он робеет и дрожит.)

В комнате есть еще один человек — незнакомая женщина, невероятно красивая; короткие волосы зачесаны назад, не как у милой библиотекарши, а скорее как у школьного психолога, чья задача — объяснить, почему тебе не дадут того, чего ты, по-твоему, хочешь, и что на самом деле ты вообще этого не хотел. На ней практичный брючный костюм и столь же практичная нитка жемчуга, и он никогда в жизни так не боялся незнакомого человека.

— Роджер.

Мама хочет встать, но рука отца прижимает ее обратно к дивану. Ее лицо побледнело и осунулось; кажется, она плакала.

Сердце Роджера замирает. Он еще очень юн — паника ему неведома. Страх — да, но черед паники придет позже, когда он потеряет эластичность мышления.

— Что-то с дедушкой? — спрашивает он взволнованно. — У него снова был инсульт?

Роджер любит дедушку с бабушкой. Они живут далеко, во Флориде (но не там, где «Мир Диснея», который Роджер считает пустой тратой времени, которого и так мало, чтобы побыть с бабушкой и дедушкой), и он видит их всего дважды в год, но любит яркой, всепоглощающей любовью.

— Нет, сынок, — отвечает отец, указывая на единственный свободный стул в комнате — *не* на свободное место на диване, где Роджер мог бы прижаться к маме и укрыться от всего, что может причинить ему боль. — Садись.

Сердце снова замирает, и начинает кружиться голова. Может быть, так себя чувствуют люди, когда умирают?

Может быть, это у него сейчас инсульт, и скоро они пожалеют, что так напугали его, — когда у него начнутся судороги, и он перестанет дышать, и губы посинеют, и они осознают, что вот у них был сын, единственный сын, а сейчас он мертв, и все потому, что они его напугали.

На негнущихся ногах он пересекает комнату и садится. Он не знает, куда деть руки, они вдруг сделались огромными и неуклюжими. В конце концов он просто кладет их на колени и, переводя

взгляд с отца на мать, ждет, чтобы кто-нибудь объяснил ему, что происходит.

— Роджер, это доктор Барроу, — говорит мама, бросая взгляд на женщину с практичной прической. При этом ее слегка передергивает. Доктор вряд ли это заметила, но доктор не знает Мелинду Миддлтон так хорошо, как Роджер. Он всю жизнь изучал ее лицо и сейчас различает гримасу отвращения так же явственно, как и испуг. — Доктор Барроу пришла, потому что получила тревожный звонок от медсестры из твоей школы. В нашем соглашении с агентством по усыновлению, где мы… где мы тебя нашли, указано, что, если возникает подозрение, что с тобой что-то не так, она имеет право прийти и обсудить это с нами.

— Ради твоей безопасности, — говорит доктор Барроу ядовито-масляным голосом. (Он не помнит этот голос, но знает, точно знает его и боится.) Она поворачивается к Роджеру с легкой участливой улыбкой, но ее глаза не улыбаются. — Здравствуй, Роджер. Приятно познакомиться.

— Здравствуйте, — машинально отвечает он: воспитание берет верх над замешательством. Он настороженно смотрит на нее, ожидая плохих новостей. Он ясно видит, что его родители в ужасе. Его мама очень смелая. А папа — самый смелый

из всех, кого он знает. Если они так испугались, значит, случилось что-то по-настоящему плохое.

— Роджер, ты знаешь, что тебя усыновили?

— Да.

— Твои родители когда-нибудь рассказывали тебе об обстоятельствах, при которых это произошло?

— Нет.

— Пожалуйста, не беспокойся, я здесь не для того, чтобы вернуть тебя твоей биологической матери, — такого никогда не случится. Но тебя отдали в эту семью на некоторых условиях. Одно из условий гласит, что, если в какой-то момент появятся признаки того, что твое душевное здоровье под угрозой, мы будем вынуждены забрать тебя из этой семьи и передать в новую. — Доктор Барроу продолжает смотреть на него с фальшивым участием; руки у нее заняты кружкой с кофе.

Его родители прижались друг к другу, их почти что трясет.

— Роджер, нам поступил весьма тревожный звонок. Медсестра из твоей школы утверждает, что ты разговариваешь сам с собой. И это не похоже на игру, в какую часто играют дети, ты в самом деле *разговариваешь* сам с собой, как будто

беседуешь с кем-то, кого нет рядом. Ты хочешь об этом что-нибудь рассказать?

Его мгновенно захлестывает горячий, всепоглощающий ужас. Он не хочет, чтобы его забрали, он даже не подозревал, что такое может случиться. Он здесь счастлив: у него есть своя семья, свои вещи, свой привычный маленький мир. Если он солжет, она сможет доказать, что он лжет: наверняка в школе найдется кто-то, кто видел, как он разговаривал с Доджер. Ложь только подтвердит правоту этой женщины, и его семья будет в опасности. Поэтому единственный вариант — пойти менее привлекательным путем.

— Я не разговаривал сам с собой, — говорит Роджер и видит, что отец расслабился, совсем чуть-чуть, но этого достаточно, чтобы придать ему уверенности: он на верном пути. Он сосредотачивается на докторе Барроу и торжественно заявляет: — Я говорил с моей подругой Доджер. Она живет в Калифорнии, и мы общаемся через квантовую запутанность. Поэтому я слышу ее голос у себя в голове, а она — мой.

Мама, судорожно всхлипнув, утыкается лбом в папино плечо. Теперь на лице доктора Барроу появилось выражение понимания и, что куда тревожнее, жалости.

— Роджер, солнышко, — говорит она, — что ж ты сразу не сказал. Что ж ты сразу никому не сказал об этой галлюцинации. Ведь взрослые в твоей жизни для того, чтобы о тебе заботиться.

— Пожалуйста, — стонет мама, поднимая голову, — пожалуйста, мы не знали, мы ничего такого не замечали, пожалуйста. Мы ему поможем. Мы сделаем все, чтобы это прекратилось. Только не забирайте у нас нашего мальчика, пожалуйста.

— Мам? — тонким голосом зовет Роджер.

— Нужно будет провести тесты, — говорит доктор Барроу. — Возможно, его придется ненадолго госпитализировать. Мы бы хотели по возможности избежать длительного лечения, чтобы не подвергать такой блестящий ум, как у вашего мальчика, риску побочных эффектов от нейролептических препаратов.

Раздается еще один стон. Роджер с удивлением и ужасом понимает, что он исходит от папы.

— Но, если Роджер готов работать вместе с нами и избавиться от этой галлюцинации, думаю, забирать ребенка из дома будет нарушением его интересов. — Доктор Барроу вновь переводит острый сверкающий взгляд на Роджера. — Итак, Роджер? Что для тебя важнее — несуществующая девочка или твоя семья?

— Я никуда не хочу уезжать! — Он сам не понимает, как оказался между родителей, но, пулей пролетев через комнату, он вцепился в них так крепко, как никогда в своей жизни ни за что не цеплялся. Здесь его место, здесь его *дом*, и да, он любит Доджер, но семья важнее, чем лучший друг. Она поймет. Она должна понять. Это несопоставимые величины.

Он поворачивает залитое слезами лицо к доктору Барроу.

— Моя семья. Моя семья важнее всего на свете. Я сделаю все, что вы скажете. Девочка ненастоящая, я просто и-играл и заигрался, мне очень жаль, простите, я больше никогда не буду с ней разговаривать, простите. Не забирайте меня.

Доктор Барроу улыбается.

Откажи мне

Лента времени: 23:17 PST, 11 февраля 1995 года (несколько часов спустя)

Когда Ли возвращается, все еще обряженная в нелепый костюм, надетый, чтобы съездить к Роджеру Миддлтону и заставить его бояться любой тени — тени Рида, — тот уже ее ждет.

— Итак? — требовательно спрашивает он.

— Дело сделано, — отвечает Ли. Она останавливается посреди коридора и смотрит на Рида. — Он не станет снова выходить на контакт. Он слишком напуган. Нам бы стоило забрать его из приемной семьи. Вернуть сюда. *Сломать*. У этой пары все еще есть потенциал — чертовски большой потенциал, если они без нашей подсказки поняли, как выйти на невероятную дорогу, — но их необходимо направлять. Их необходимо *контролировать*.

— Звучит так, будто ты сомневаешься в моих решениях, Ли. Ты знаешь, что бывает, когда ты сомневаешься в моих решениях.

Ли хмурится, от нее веет разочарованием.

— Они *дети*, Рид. Беспокойные. Непредсказуе-

мые. Их нужно заставить повиноваться. — Сама Ли не была ребенком. Женщины, из которых ее собрали, когда-то были детьми, но для существа, составленного из их тел, их воспоминания бледны, призрачны, почти невесомы. — Вы хотите распоряжаться моими детьми. Почему мне нельзя участвовать в воспитании ваших?

— Твое здесь только то, что я позволяю тебе иметь. Ни больше ни меньше, — холодно говорит Рид. — Эти дети никогда не были твоими, Ли, только номинально.

— Я… — Ли делает шаг назад. Она чувствует, что играет с огнем. — Я не так выразилась. Простите.

— Хорошая девочка. — Его улыбка сверкает, как лезвие ножа. — А что до моих кукушат, пока в них еще слишком много реальности. Нам нужно, чтобы они пересекли границу вымысла. Чтобы они превратились в нечто большее. Только тогда они найдут невероятную дорогу и приведут нас в Невозможный город. Разве ты не хочешь попасть в Невозможный город?

Видно, что Ли задели его слова.

— Конечно, хочу.

— Невозможный город станет явью, только если мы восстановим проект Бейкер, — продолжает Рид. Он говорит спокойно, но по глазам

видно, что терпение его на исходе. — Когда она описала, как этот город должен быть устроен с алхимической точки зрения, ей не было равных, никто не мог с ней поспорить, и на нее ополчился весь этот чертов Совет. Баум, Лавкрафт, Твен из кожи вон лезли, стараясь переписать ее учение, и преуспели. Мы не можем идти против того, во что все верят. Чтобы изменить мир, нужен рычаг побольше.

— Мы можем обойтись и без…

— Нет.

Это слово — стена. Ли упирается в нее и не может пройти дальше. Рид подходит к ней.

— Мы не можем обойтись без Невозможного города. Город — это ключ. Мы возьмем его и подчиним себе, иначе, даже захватив всю страну, мы будем знать, что в нашей обороне дыра размером с каньон. Город *должен* стать нашим, иначе все наши труды напрасны, а чтобы войти в город, мы *должны* изменить правила. Нам необходима Доктрина. Мы сделали очень многое, мы можем получить богатство, власть, бессмертие, но без Невозможного города мы никогда не станем богами. Разве ты не хочешь стать богом?

Ли Барроу — возможно, последнее существо в мире, которому можно доверить божественную

силу или позволить менять законы вселенной — вздыхает.

— Хочу.

— Тогда оставь их в покое. Верь мне.

— Мне нужно пустить кому-нибудь кровь.

Рид кивает.

— Да на здоровье.

Ли улыбается.

Шах и мат

Лента времени: 16:35 EST, 19 июня 2000 года (пять лет в изоляции)

Когда их команда по академическому десятиборью получила билеты на игру гроссмейстеров, всем было ясно, что это значимое событие. Им говорили, что это настоящий праздник, спорт для умных, поэтому о том, чтобы отказаться от поездки, не могло быть и речи. Роджеру даже не нравятся шахматы (слишком много чисел, слишком многое зависит от знания типичных позиций), но ему нравятся товарищи по команде, и особенно Элисон О'Нил, которая ходит на углубленную физику и математику, играет в шахматы, а еще иногда опускает глаза и загадочно улыбается ему уголком рта. Элисон в восторге от предстоящей игры еще с тех пор, как куратор только предположил, что им, возможно, удастся поехать, и, поскольку Элисон в восторге, Роджер полагает, что и он сможет найти в себе толику энтузиазма.

Роджеру Миддлтону четырнадцать — будет через две недели, но это, в общем, одно и то же, —

и за последние восемнадцать месяцев девочки очень изменились. Или он сам изменился. Он знает подходящие слова: пубертат, гормоны, переходный возраст, — но в этих словах нет и крупицы от того возбуждения, что охватывает его, когда Элисон касается его запястья или когда он улавливает запах ее шампуня. Все меняется. И он как будто не против.

Их места расположены недалеко от входа, в зоне, отведенной для местных гениев из средних и старших классов, которых может вдохновить горстка людей, несколько часов переставляющая фигуры по шахматной доске. Здесь все как на стадионе, только меньше, и организаторы мудро устроили по четыре матча одновременно, каждый в своем секторе арены и со своим комментатором, поясняющим ход игры. Пока они занимают свои места, игра в их секторе — пожилой китаец против юного латиноамериканца — как раз завершается. Мужчина двигает фигуру. Комментатор объявляет «шах и мат», соперники жмут друг другу руки и уходят, а доску готовят к новой игре.

— Оу, — говорит Роджер. — Как-то мы не вовремя.

Элисон морщит нос.

— Шутишь? Мы увидим игру целиком! Нам так повезло!

Затем она берет его под руку, и Роджер ни за что, даже мысленно, не решился бы отстраниться.

Помощники уже приготовили стол к игре, и вот они исчезают, открывая путь следующей паре игроков. Первый — белый мужчина, кажется, ровесник их учителя; на нем рубашка, вельветовые брюки и красный галстук-бабочка, и все вместе выглядит довольно нелепо. Порядок игры, видимо, определен заранее, потому что он сразу садится за доску со стороны черных.

Его соперница — девочка-подросток с белой, словно фарфоровой кожей, подстриженная «под пажа»: волосы обрамляют лицо и не лезут в глаза. Она выглядит так, будто целый год не выходила на солнце. Похоже, на ней форма какой-то частной школы, только непонятно какой: серая плиссированная юбка, белая блузка, короткий синий галстук. На ногах лакированные туфли, и они скрипят при ходьбе.

Роджер понимает, что слишком пристально ее разглядывает, понимает, что не должен этого делать, но не может отвести взгляд. Он ее знает. Он смотрит, как Доджер — девочка, от которой он отвернулся пять лет назад, — занимает место

рядом с белыми фигурами. Она бьет по часам, двигает первую фигуру, и игра начинается.

Он понимает, что Элисон что-то рассказывает, но впервые с тех пор, как он понял, как она красива, он не слышит ни слова из того, что она говорит. Все его внимание сосредоточено на Доджер: каждый раз, когда приходит ее очередь, ее руки двигаются так быстро, что за ними невозможно уследить. Если Роджер встанет рядом с ней, он будет примерно на дюйм выше («Когда она успела?» — лихорадочно думает он, вспоминая, как мир взлетал на головокружительную высоту каждый раз, когда он смотрел на него ее глазами; за этой мыслью следует другая, приводящая в отчаяние: «Как же много я упустил»), и плечи у него шире, но они все еще удивительно похожи. У них одинаковые глаза. Он мало понимает в шахматах, но все же видит, что она сильна, по-настоящему сильна; это показательная игра настоящих мастеров, и Доджер загоняет в угол мужчину вдвое старше себя, неустанно преследуя его фигуры по всей доске. Она играет так, будто на кону ее жизнь, холодно и безжалостно, с ровным выражением лица. Она не улыбается, даже когда перестает играть и начинает выигрывать.

Их партия заканчивается в два раза быстрее,

чем остальные три. Даже когда соперник Доджер признает поражение и встает пожать ей руку, ее взгляд не отрывается от доски, она словно продолжает анализировать игру, выискивая ошибки, чтобы в следующий раз сыграть еще быстрее, четче, безупречнее. Она ни разу не взглянула на зрителей.

Неожиданно Роджер обнаруживает, что Элисон трогает его за локоть. Он поворачивается к ней и видит, что она смотрит на Доджер с холодной ненавистью.

— Понравилась игра? — спрашивает она.

— Да, — отвечает он и улыбается ей, надеясь, что улыбка выглядит достаточно искренней, достаточно убедительной, потому что не знает, что еще можно сделать. Доджер не существует. И никогда не существовало. Он в этом уверен, как и в том, что, если он позволит себе усомниться, его жизнь будет разрушена. — Научишь меня играть?

И Элисон неожиданно снова улыбается, и все будет хорошо.

Когда он бросает взгляд обратно на арену, Доджер уже ушла. Если подумать, это и к лучшему. Ему надо жить своей жизнью.

Они шли уже довольно долго – достаточно долго, чтобы на туфлях Эйвери появились царапины, а Циб успела забраться на три дерева и с каждого упасть, – когда Кварц жестом дал им понять, что надо остановиться. Обычно смешливое лицо этого будто хрустального человека вдруг стало угрюмым.

– Что вы, по-вашему, сейчас делаете? – спросил он.

– Мы идем в Невозможный город, чтобы Королева жезлов отправила нас домой, – ответил Эйвери и нахмурился, потому что в этой фразе будто бы не было никакого смысла.

– Нет, не идете, – сказал Кварц. – Чтобы попасть в Невозможный город, вам нужно идти по невероятной дороге.

– Мы и идем! – возмутилась Циб.

– А вот и нет, – возразил Кварц. – Все, что вы делали до сих пор, было обычным и вероятным. Если вы хотите попасть на невероятную дорогу, нужно сначала ее найти.

Циб и Эйвери переглянулись. Похоже, все оказалось еще сложнее, чем они думали…

А. Дебора Бейкер «За лесоградной стеной»

Книга VII
Конец...

Я утешаюсь тем, что с окончаньем дняОт мук освободит ваш приговор меня[9].

Уильям Шекспир «Комедия ошибок»

Шахматы – это жизнь.

Бобби Фишер

[9] Примечания: 9
Перевод П. И. Вейнберга.

Волеизъявление

Лента времени: опоздание в пять минут, тридцать секунд до конца света

Так много крови.

Доджер не шевелится уже примерно минуту, ее рука вытянута, будто она вот-вот продолжит собственной кровью писать цифры на выщербленном кирпиче; на лице выражение тихого смирения. Она дышит, но совсем слабо, и эти вдохи — медленные, едва различимые — все меньше существуют в реальности и все больше — в его воображении.

Ему нужно закончить уравнение, которое она писала, когда упала, нужно восстановить ход ее мыслей и довести дело до конца, но он не может. Доджер не занималась с ним математикой с тех пор, как им было девять, с тех пор, как его убедили — лживыми угрозами, которым никогда не суждено было сбыться, — прекратить с ней общение. Он — гений. Он знает все слова: вундеркинд, полиглот, самородок — но она была гением в совсем другой области, и он просто не понимает все эти символы, расходящиеся от ее

неподвижных пальцев.

Они проиграли. Они даже не догадывались, что это была игра, и все-таки проиграли. Они лишились детства, которое могли бы провести вместе, лишились равновесия, которое могли бы найти друг в друге, а теперь лишатся и жизни, и все потому, что он не знает, как закончить расчеты, покрывшие все вокруг; а они уже высыхают, красный превращается в коричневый, и грудь его сестры вздымается все слабее и слабее и вот-вот замрет навсегда. Он не может удержать их на невероятной дороге. Не в одиночку. Ни один из них не смог бы совершить это путешествие в одиночку.

Когда она перестанет дышать, его собственное сердце последует за ней в темноту. Он знает это так же твердо, как все, что когда-либо знал, как разницу между мифом и чудом, между легендой и ложью. Конец близок.

Звуки стрельбы снаружи совсем не похожи на те, что можно услышать в кино, — не такие громкие и впечатляющие. Словно шепот во время грозы, но, чтобы их убить, достаточно и этого шепота. В общем грохоте иногда угадывается пистолет Эрин, и либо у нее не слишком хороший глушитель, либо его вовсе нет, но Роджер отчет-

ливо слышит каждый ее выстрел.

И слышит, когда ее пистолет замолкает.

Что ж, значит, это конец. Они проиграли, все кончено. Эрин мертва, Доджер истекает кровью, и он никогда не попадет в Невозможный город и никогда не вернется домой. Это конец их пути. Он тянется к сестре и, не заботясь о том, что может ей навредить, крепко прижимает к себе — так, как должен был прижать уже очень давно. Все равно он ее не убьет. Она уже мертва. Просто еще не знает об этом.

— Доджер. Эй, Додж. Ну же, очнись. Мне нужна твоя помощь. Нам нужно остановить кровотечение.

Ее глаза по-прежнему закрыты. Только поверхностное дыхание подсказывает, что она еще с ним.

Так много крови.

— Давай, Додж. Ты что, решила со мной поквитаться? Не оставляй меня, мы же не соревнуемся, кто кого.

Его собственные раны не так тяжелы. Одна пуля пролетела возле головы, оторвав кусочек уха. Кровь лилась ручьем, но артерии не задело, и, если бы он не чувствовал, как неминуемая смерть Доджер нависла над ним черной тучей,

он бы решил, что выкарабкается. Но теперь уже слишком поздно.

— Не уходи. Ты не можешь просто уйти. Я только снова тебя нашел. Слышишь? Ты не можешь уйти. Ты мне нужна.

Ее глаза по-прежнему закрыты.

Так много крови.

Если не можешь выиграть, опрокинь доску. Он не помнит, кто это сказал. Может быть, его первая девушка, Элисон, которой одинаково нравились шахматы и ссоры по пустякам. Может быть, кто-то другой. Это неважно, потому что они шли к этому с самого начала. Это единственный способ. Ее грудь едва вздымается, и крови так много, *так много крови*, и неважно, сколько слов он знает. Отсюда ее вытащат именно слова.

— Я не справлюсь один. Прости. Я не справлюсь.

Он наклоняется к ней, почти к самому уху, обрамленному прядью коротких, пропитанных кровью волос. Он двигается осторожно, стараясь не запачкать кровью лицо в крови. Когда они умрут, надо, чтобы один из них был как можно чище.

— Доджер, — шепчет он. — Не умирай. Это приказ. Это команда. Это требование. Делай что

угодно, ломай что угодно, только *не умирай*. Это приказ. Это…

Это ее веки — они вздрагивают, но им не хватает сил, чтобы распахнуться: высохшая кровь, перемешанная со слезами, приклеила ресницы к щекам.

Это тишина — выстрелов больше не слышно. Они не смолкли постепенно, а просто прекратились, будто кто-то нашел, где у мира кнопка выключения звука.

Это мир становится белым.

Это конец.

Мы ошиблись мы ошиблись мы ошиблись мы ошиблись мы

Сова смотрела на Эйвери и Циб. Эйвери и Циб смотрели на сову. Они сразу заметили ее длинные когти, острый клюв и огромные оранжевые глаза. Смотреть прямо в эти глаза было все равно что играть в гляделки со всей хэллоуинской нечистью.

Эйвери мысленно предположил, что эта сова не стала бы раздавать лакричные конфетки или яблоки в карамели. Скорее уж дохлых горностаев и глубокие

царапины.

– Вы ужасно шумите, – наконец сказала сова. – Если вы собрались препираться весь день, не могли бы вы делать это под деревом у кого-нибудь другого?

У совы был мягкий и приятный голос, словно у няни. Циб и Эйвери растерялись и синхронно моргнули.

– Я не знала, что совы умеют разговаривать, – сказала Циб.

– Конечно, совы умеют разговаривать, – сказала сова. – Все умеют разговаривать. Просто нужно научиться лучше слушать…

А. Дебора Бейкер «За лесоградной стеной»

Книга II
Перезагрузка

Ни одна физическая теория локальных скрытых параметров не может воспроизвести все предсказания квантовой механики.

Теорема Белла

Звонили из вашего дома.

Городская страшилка

Шах и мат

Лента времени: 16:52 EST, 19 июня 2000 года (пять лет в изоляции)

Доджер играет в шахматы так же, как когда-то скатывалась в овраг за домом, — быстро и решительно, словно опасаясь, что даже небольшая потеря темпа может стать фатальной. Каждое движение — атака. Когда Доджер не касается фигур, она застывает и будто вовсе не дышит — как хищник, чье спокойствие — одна видимость. Она — мраморная статуя, которая притворяется девочкой и оживает, только когда позволяют правила игры.

Соперник делает ход; она отвечает стремительно, без малейшего колебания, словно опытная участница дебатов, защищающая какой-нибудь недоказуемый тезис. За игрой следит целая толпа зрителей, но это не имеет значения. (Так же как не имеет значения, что тренер просил ее — практически умолял — быть помедленнее, хоть немного потянуть с ответными ходами, чтобы зрителям было на что посмотреть. «Если им хочется яркого зрелища, пусть идут в океанариум», — отвечала

она каждый раз, когда он затрагивал эту тему, и, не меняя ответа, не меняла и стиля игры — безжалостного, нацеленного только на результат. Рок-звездой ей не стать, но, во всяком случае, она уйдет в небытие, держа в каждой руке по трофею. Этого ей вполне достаточно.) Значение имеет только победа.

Побеждать она может без посторонней помощи.

Последняя фигура передвинута; противник кладет своего короля, признавая ее победу. Она наконец поднимает на него взгляд и протягивает руку для обязательного традиционного рукопожатия. Кто-то в толпе — огромной, безликой, чудовищной толпе — меняет позу, и это почему-то привлекает ее внимание.

Она машинально пожимает руку соперника холодными вялыми пальцами, а затем отстраняется от него и совершает немыслимый поступок. Доджер Чезвич, которая однажды сыграла три игры подряд с сильнейшим пищевым отравлением, так что она выходила между ходами, и ее рвало, которой нужно готовиться к следующей игре, которая все шесть долгих недель турнира (ее соперник слышал, как она называла этот турнир «выставкой гениев» без малейшей иронии

в голосе) обращала внимание только на доску… Доджер Чезвич уходит.

Затем она переходит на бег, но это уже даже не так удивительно. В конце концов, сценарий все равно нарушен, подумаешь — чуть больше, чуть меньше…

Она бежит, не отрывая взгляда от паренька с длинноватыми каштановыми волосами и слегка загорелой кожей, на которой ярко выделяются многолетние веснушки. Очки кажутся слишком большими для его лица, и в них он похож на растерянную мультяшную сову, которая внезапно влезает в серию, говорит что-нибудь умное и сразу же исчезает. На нем футболка с цитатой из Шекспира и джинсы, а на локте — властная рука стоящей рядом блондинки. Все в блондинке буквально кричит: «Прочь, он мой!» — и, если бы у Доджер было достаточно слов, она смогла бы как-нибудь ей объяснить, что он ей не нужен, вернее, нужен, но не *так*. Но слов у нее нет и никогда не будет. Вместо слов у нее в голове числа, вероятности, целая вселенная различных возможностей — и, согласно теории вероятностей, шанс, что она права, один на миллион.

Это не он. *Это не он*. Просто кто-то очень похожий, вернее, она думает, что сейчас — через

пять лет после того, как он перестал отвечать ей, перестал выходить на связь, — он выглядел бы именно так. Она знает, что это не он, и все же перестает бежать, только ударившись об ограждение — со всего маху, так, что перехватывает дыхание. Пальцы судорожно хватаются за низкие перила, не дающие маленьким детям случайно упасть под ноги конькобежцам, акробатам и на кого там еще можно поглазеть на этой неделе в перерывах между шахматными партиями, которые вряд ли занимают много времени.

Он встает. Затем делает шаг навстречу.

Она открывает рот. Она хочет произнести его имя. Она хочет выкрикнуть его, чтобы выплеснуть пять лет бессонных ночей, пять лет борьбы за то, чтобы стать лучшей во всем, потому что это она виновата в том, что он замолчал. У нее не получается издать ни звука. Она пытается изо всех сил, но не может даже пискнуть. Она может только смотреть ему в глаза и надеяться, что он услышит в ее молчании крик.

— Доджер.

Его голос звучит как-то сдавленно, будто ему так же больно говорить, как ей — молчать. Блондинка все еще держит его под локоть, но, когда он стряхивает ее руку, она уходит, даже не пытаясь

спорить, только на ее лице постепенно проступает обида. Доджер ее не знает, но она знает про нее все: единственная умная девочка на целый класс умных мальчиков (не то чтобы девочки реже бывают умными, нет, просто их чаще поощряют скрывать свой ум), она так же плохо социализирована, как и ее одноклассники, и просто не знает, как себя вести, когда на ее территорию заходит другая девочка. Доджер встречала таких девочек сотни раз и сама не превратилась в одну из них только потому, что ее совершенно не волновало, кому достанутся мальчики. На это просто не было времени. В ее мире слишком много места занято математикой.

Она вцепилась в перила и не сводит глаз с мальчика, который назвал ее по имени. «Конечно, он знает, как меня зовут, — молча ругает она себя. — Они же объявили меня в начале игры, они объявляют меня перед каждой игрой, глупая, глупая…»

— Доджер, — снова говорит мальчик и выходит в проход. Ноги у него дрожат, он побледнел; кажется, что он вот-вот упадет в обморок.

Ограждение слишком высоко, чтобы Доджер смогла через него перелезть, но она все равно пытается, встает на цыпочки, хватается за край

и подтягивается, будто в самом деле собирается перемахнуть на трибуны. Поверженный соперник все еще стоит у нее за спиной, наблюдая за происходящим, и он уже не один: к нему присоединились несколько других игроков — все хотят поглазеть на спектакль, который устроила Доджер Чезвич, девочка-несмеяна: она морщится от боли, пытаясь дотянуться до невзрачного мальчика, который выглядит так, будто увидел привидение.

Она начинает издавать высокий пронзительный звук, как койот, угодивший лапой в капкан. От него сводит скулы, но, похоже, она этого не замечает.

Зато замечает Роджер.

— Доджер, — наконец кричит он и срывается на бег, больше похожий на беспорядочное мельтешение костлявых конечностей — проклятье, которое преследует большинство парней от тринадцати до тридцати. Доджер все еще пытается вскарабкаться на ограждение, когда он подбегает, перегибается через перила и так порывисто хватает ее за руки, что у них просто не остается времени хорошенько подумать. Он просто здесь, он крепко ее держит, а она смотрит на него широко распахнутыми глазами, и в них столько

потрясения и такое беспросветное одиночество, что это кажется преступлением. Это и есть преступление — на суде души, где невинных карают вместе с виновными.

— Это ты, — всхлипывает она, высвобождая запертый голос, и он с каждым словом становится все громче и громче. — Это *ты*, Роджер, это *ты* что ты здесь *делаешь* ты узнал что это я и пришел посмотреть на мою игру прости меня я не знаю за что но прости меня я не хотела я больше никогда так не буду ты только…

— Подожди, — говорит он.

В его голосе слышатся одновременно извинение и сожаление, и она сразу же замолкает и только смотрит на него огромными печальными глазами. Утром у нее на пальцах ног появятся синяки оттого, что она слишком долго стоит на носках туфель, которые совершенно для этого не предназначены. Но сейчас ее это не волнует. Сейчас ничто не может ее волновать.

Роджер неловко смеется.

— Ого! — говорит он. — Как ты выросла.

Доджер моргает. Затем — как-то, где-то — находит в себе силы улыбнуться в ответ.

— По-моему, ты теперь выше, — говорит она. — Догнал меня наконец.

— Так бывает.

Блондинка, оправившись от шока, сбегает по ступенькам и встает у Роджера за спиной. Она окидывает Доджер оценивающим взглядом. Изучает соперницу. Доджер ранит такое отношение, как и рассеянность на лице Роджера. Он не понимает многозначительных взглядов, которыми обмениваются девочки, и Доджер задается вопросом, есть ли у мальчиков такой же тайный язык, который она просто не замечает и, может быть, никогда и не заметит.

«Если такой язык есть, он его выучит», — свирепо думает она, и ни разу в жизни она не была так уверена в истинности своей мысли.

— Привет, — говорит блондинка, вмешиваясь в разговор. — Я Элисон. Вы с Роджером знакомы? Откуда?

Она снова берет его за руку, слегка касаясь пальцами запястья. Если она еще не его девушка, то завтра точно ей станет.

Доджер хочет за нее порадоваться и порадоваться за него. Роджеру будет хорошо, если у него будет девушка. Она помнит, как он растерянно говорил, что девочки выбивают его из колеи, и чувствовалось, что он на самом деле чего-то хочет, но даже приблизительно не может объ-

яснить, чего именно. Она помнит, как сильно его это раздражало: даже тогда ему уже хотелось иметь для всего название. По крайней мере, теперь он знает, что хочет *девушку*, и есть девушка, которая как раз претендует на это место. И даже если для этого должна была появиться другая девушка — «соперница», хотя кого-кого, а Доджер соперницей уж точно не назовешь, — возможно, она и правда ему подходит. Роджер слишком умен, чтобы влюбиться в девушку, которая ему не подходит.

— Мы в детстве были друзьями по переписке, — говорит она, и ложь слетает с языка так легко, что вполне могла бы оказаться правдой, потому что все равно не существует слов, чтобы описать, чем они были друг для друга на самом деле. Он был голосом у нее в голове, голосом, который научил ее не просто читать слова, а считывать смыслы, он был ее лучшим другом, тем, кто не давал ей сойти с ума.

Он первый разбил ей сердце, и это тоже был важный урок. Именно Роджер показал ей, что мир жесток, а ей было крайне необходимо это усвоить.

— Да, — говорит Роджер, подхватывая ее реплику. Это всегда хорошо ему удавалось. Она впервые

увидела со стороны, как слегка раздуваются его ноздри, когда он решает, в какую сторону повести разговор, как он по-особому располагает плечи, перед тем как солгать. Он — открытая книга, но мало кто умеет ее читать. Наверное, она должна гордиться тем, что входит в число избранных. Но сейчас она чувствует лишь усталость. — Мы, э-э, да, мы переписывались. Несколько лет. А потом просто… наверное, потеряли связь.

Она хочет на него накричать, напомнить, что это он замолчал, бросил ее одну в этом слишком шумном, слишком жестком, слишком беспощадном мире. Но она не кричит. Она опускается на пятки, и ее пальцы выскальзывают из его рук. Когда их пальцы разъединяются, она ничего не чувствует, так же как ничего не чувствовала, когда они соприкоснулись. Они касались друг друга. Теперь не касаются. Линейное время может многое, но к подобным вещам оно сочувствия не испытывает.

— Ты специально пришел? Посмотреть на мою игру? — спрашивает Доджер.

К ее стыду и радости (потому что с чего ей это вообще пришло в голову? Почему это даже на секунду могло прийти ей в голову? Но даже если он пришел не специально, она не обязана пере-

ставать злиться: математика говорит, что она может держаться за свою злость сколько захочет), Роджер качает головой.

— Нет. Нашему классу достались билеты, и эта поездка идет в зачет, а еще Элисон играет в шахматы.

— А! — Доджер переключает внимание на блондинку — Элисон, — позволяя себе ровно секунду, отвратительно самовлюбленную секунду посмотреть на эту девушку так же, как та смотрела на нее, — как соперница; как конкурентка в игре, которую общество навязывает им с самого рождения, и неважно, хотят ли они играть.

«Элисон начнет разыгрывать один из закрытых дебютов: она не станет жертвовать фигурами, даже если в конечном счете это сослужит ей плохую службу, — решает она. — Мат в десять ходов или и того меньше. Даже жаль тратить время, чтобы ее унизить». Это холодная мысль, и Доджер становится стыдно прежде, чем она успевает додумать ее до конца.

Она улыбается и думает про себя, что эта улыбка ничем не хуже тех, что обычно появляются у нее на лице. Она не задумывается о том, почему ее фальшивые улыбки выглядят так же, как настоящие.

— Ух ты. Похоже, нам просто повезло. Приятно познакомиться, Элисон.

— И мне тоже, — нехотя отвечает Элисон, пользуясь моментом знакомства, чтобы снова взять Роджера под руку, еще более явно обозначая свои притязания. — Мне кажется, я в первый раз встречаю человека с именем «Доджер».

— Мой папа преподает историю Америки, — говорит Доджер, отточенным движением пожимая плечами, — она делает так всякий раз, когда люди говорят что-то про ее имя, а она не знает, что им ответить. История Америки ни при чем: таково было условие удочерения, выдвинутое ее биологической матерью, которую она никогда не видела и вообще редко ей интересовалась. Эта женщина подарила ей жизнь и отказалась от нее, а Доджер считает, что отказаться от нее можно только один раз.

И Роджер уже это сделал.

Она выпрямляется, все еще продолжая улыбаться отработанной фальшивой улыбкой.

— Рада была тебя видеть, Роджер. Надеюсь, вам понравилась игра и вам дадут кучу зачетных баллов. У меня через час следующая партия, так что я лучше пойду готовиться.

Роджер беспомощно смотрит, как она разво-

рачивается и уходит — напряженная, с высоко поднятой головой. Он понимает, что снова теряет ее, но не знает, как ее остановить. Он не может ничего сказать вслух, пока рядом Элисон: в лучшем случае он прослывет ненормальным, а в худшем — этаким стремным бывшим. Ни того ни другого он не хочет.

Но еще он не хочет, чтобы Доджер ушла.

Поэтому он закрывает глаза и нащупывает в темноте дверь, которую не искал долгие годы, дверь, которую он запретил себе искать, когда его семья оказалась под угрозой. Но теперь ему уже не девять, а четырнадцать; он гораздо больше знает о том, как устроен мир, он много читал о законах усыновления и о контрактах, потому что усыновление — это часть его жизни, и ему хотелось ее понимать. Какой бы контракт ни подписали его родители, ни один суд в мире не может его у них забрать, если все его преступление состоит в том, что он с кем-то поговорил, особенно если этот кто-то стоит *прямо перед ним*. Она настоящая — реально, взаправду настоящая, и значит, оттого что он с ней говорит, он не становится сумасшедшим, а если он не сумасшедший, нет ничего плохого в том, чтобы признать ее существование.

Он «стучится». Она не открывает. Она не позволяет ему войти. И поэтому он ломится изо всех сил. Пытается силой пробить себе путь.

Может, дело в квантовой запутанности, а может, и нет, но под настойчивыми ударами его мысленных рук дверь поддается, и мир окрашивается в яркие цвета, и он видит арену снизу. Угол зрения Доджер раздражающе неправильный. У него начинает кружиться голова. Если бы контакт не прерывался, он бы привык к такой перспективе, как раньше привыкал видеть мир с большей высоты — когда они были маленькими и выше была она.

(И еще он ужасный, неизлечимый дальтоник. Когда был младше, он этого не понимал, и, возможно, никогда и не понял бы, если бы не то, что *она* дальтоником не была: когда он смотрит ее глазами, он видит тысячи оттенков, которых обычно нет в его жизни, и он немного обижается на нее за то, что ей досталось столько цветов, а ему нет, хотя он жадно бросается сопоставлять эти цвета с их академическими названиями, которые раньше были только идеями, никак не привязанными к реальному миру.)

— Пожалуйста, не уходи, — шепчет он как можно мягче, и его голос звучит у нее в голове так же

громко и ясно, как раньше.

Доджер спотыкается, но не падает: шок нарушает координацию, но ей удается справиться. Она останавливается и, продолжая стоять спиной к зрителям, спрашивает:

— Почему это? Ты же ушел. Теперь моя очередь.

— Потому что мне очень жаль, я не должен был так поступать, и, пожалуйста… Не уходи.

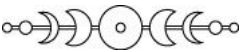
— Мне нужно идти. Мне скоро снова играть. Мы в одном часовом поясе; выходи на связь в девять.

И она уходит, на этот раз быстрым шагом, как будто опасается, что кто-то попытается ее догнать.

Роджер не хочет быть тем, от кого нужно убегать. Он отступает, открывает глаза и с привычной высоты смотрит, как она исчезает за дверью в задней части арены. Элисон тянет его за руку. Он поворачивается и по ее взгляду понимает, что их отношения изменились: появление другой девушки заставило Элисон посмотреть на него так, как он смотрел на нее уже целую вечность. Часть его ликует. Другая часть растеряна и смущена: он не знает, как справиться с той бешеной скоростью, с которой меняется все вокруг.

— Хочешь газировку? — спрашивает он, и

в награду на ее лице расцветает улыбка, и быть может, в конце концов все не так уж и сложно.



Доджер в этот день играет еще три партии и выигрывает все три, хотя две победы даются не так просто, и ей это не нравится; после третьей партии, когда она собирает вещи, к ней подходит организатор — поблагодарить за то, что она вспомнила о зрителях и сделала игру интереснее. Доджер, перед которой после каждого хода соперника расстилаются математические вероятности, а в голове каждый раз, когда она берет пешку, будто разворачивается карта, ничего не отвечает. Она не может играться с соперниками, как просят организаторы, и не может отвлекаться во время каждой партии; и то и другое было бы несправедливо по отношению и к ней самой, и к тем, с кем она играет. Когда она садится за стол, ей нужно быть уверенной, что люди, которым она бросает вызов, будут сражаться изо всех сил. Иначе это было бы просто жестоко.

(Это ее первый шахматный турнир. Она участвует в нем ради зачета в колледже и еще потому, что папа пообещал, что, если она в этом семестре

сделает что-нибудь вне учебной программы, он разрешит ей прослушать один из курсов профессора Вернона. Она обожает профессора Вернона. Он стал ее наставником, и она думает, что переживала бы потерю Роджера куда тяжелее, если бы не возможность обратиться за поддержкой к профессору Вернону. Но также это ее последний турнир. Она могла бы стать любимицей публики, людям такое нравится — маленькая девочка, которая никогда не улыбается и уничтожает всех своих соперников, — но саму ее такой успех вряд ли порадовал бы, а без радости она не видит в этом никакого смысла. Шахматы — это священнодействие, а не фокус, совершаемый на потеху публике, которая с тем же удовольствием наблюдала бы за тюленем, вращающим мячик на кончике носа.)

Вечером она возвращается в отель. Так как она младше всех остальных участников, ей выделили собственную комнату, смежную с той, в которой спит сопровождающая. Первые две ночи она должна была оставлять дверь между комнатами открытой, чтобы сопровождающая в любой момент могла убедиться, что Доджер в постели и с ней все в порядке. Но потом Доджер стала жаловаться, что ей сложно заснуть, и, вся-

чески подчеркивая нежелание покидать свою комнату после комендантского часа, обеспечила себе некоторые привилегии, и прежде всего — возможность закрывать дверь, так что теперь у нее есть необходимое уединение.

Она аккуратно переодевается, меняя форму для соревнований на фланелевые пижамные штаны и выцветшую футболку с «Парком юрского периода». Динозавры норм, но по большому счету она носит эту футболку в честь доктора Яна Малькольма, вымышленного математика и рок-звезды, который не раз снился ей в путаных подростковых снах. Она столько лет носит эту футболку, что швы местами уже разошлись. Так что вид у нее непривлекательный, и это явно не то, что следует надевать, когда приглашаешь мальчика к себе в комнату и тем более к себе *в голову*. Но футболка уютная, в ней комфортно. Здесь и сейчас только это и важно.

Ей хочется разозлиться. Хочется закрыться от него и влепить ему тем самым по самое не хочу, как выражается папа, чтобы он понял, как сильно он ее ранил и что она не из тех девушек, которые готовы все простить, только позови. Но она не может. Как бы сильно он ее ни ранил, как бы больно ей ни было до сих пор, скучала она по нему в два

раза сильнее. У нее нет слов, чтобы описать, что она сейчас чувствует, — а ведь было время, когда, если она не могла найти какое-нибудь слово, она позвала бы Роджера, и он помог бы ей восполнить недостающий кусочек словесной мозаики. Последние пять лет она справлялась в одиночку. И он тоже, но обойтись без математики проще, чем без слов. Слова повсюду. Слова ранят.

Она аккуратно вытягивается на кровати, закрывает глаза и складывает руки на животе. Такое чувство, будто она снимает с себя мерку для собственного гроба. Ей должно быть не по себе, но здесь и сейчас это просто параметры, и с ними все становится лучше. Шесть футов на три фута на два фута — размеры мира. Глубокий вдох, выдох, мир заполняется воздухом. Пусть все остальное уйдет. Пусть все остальное исчезнет.

Она лежит уже довольно долго *(семнадцать минут тридцать одну секунду)*, когда мир наконец смещается и с той стороны глаз появляется новая тяжесть.

— Ты опоздал, — говорит она. Она не говорит «привет», а говорит только то, что чувствует: он опоздал. Опоздал на семнадцать минут и пять лет, и она была в одиночестве слишком долго.

— Мне пришлось сказать, что у меня разболе-

лась голова, чтобы объяснить, почему я так рано ложусь спать, — говорит Роджер извиняющимся тоном.

Доджер расслабляется и ненавидит себя за это. Ей так сильно хочется на него разозлиться, но она чувствует только проклятое облегчение, будто ей повезло, что он все-таки решил вернуться, хотя до этого сам же решил уйти. Ей хочется кричать, бушевать, отгородиться от него и посмотреть, как ему это понравится. Но она ничего такого не делает. Все это рискует закончиться плохой математикой, порождающей уравнения, которых ее сердце может просто не выдержать.

— Я не только про сегодняшний день, — говорит она, и в ее голосе слышится лишь подобие, лишь тень того гнева, которым она бы хотела его наполнить. Он звучит слабо, потерянно и одиноко.

Роджер вздыхает.

— Прости.

— Почему ты бросил меня?

— Они сказали… Эта психолог пришла к нам домой и сказала, что кто-то в школе видел, как я разговариваю сам с собой. Она сказала, что это значит, что со мной что-то не так, и что по контракту об усыновлении, который подписывали

мои родители, меня могут забрать и поместить в другую семью.

Доджер хмурится.

— Ты что, *поверил* ей? Роджер, это же глупо. Усыновление так не работает. Зачем бы им забирать больного ребенка обратно? Даже для здоровых детей сложно найти приемную семью.

Он снова вздыхает. Когда он начинает говорить, его голос звучит разбито, и она впервые осознает, что не только она одна все эти пять лет была одинока.

— Сейчас я это понимаю. Я прочитал кучу юридической литературы и теперь точно знаю, что такой контракт нельзя привести в исполнение, даже если они правда его подписали, а я ни разу его не видел. Но мои родители думали, что можно. Они ошибались, но, наверное, у родителей страх иногда затуманивает разум, а они ужасно боялись ту женщину, Додж, и это была моя вина: ведь это из-за меня она пришла к нам домой и так их испугала. Мне было *девять*. Я сделал неправильный выбор. Прости.

— Я не спала три месяца.

Признание настолько простое, настолько неприукрашенное, что Роджер замирает и пытается подобрать ключ, который помог бы постичь

смысл ее слов. Но ключа нет. А он не привык, чтобы слова не имели смысла.

— Что ты имеешь в виду?

— Только то, что сказала. Я не спала три месяца, потому что ждала, что ты вот-вот перестанешь злиться и снова начнешь со мной разговаривать, и я не хотела пропустить этот момент. — Голос Доджер звучит отстраненно. — Я не могла лечь в кровать, потому что тогда я начинала засыпать, так что я сидела за столом и колола пальцы канцелярскими кнопками, чтобы боль не давала мне спать. Родители заметили через месяц, когда у меня появились галлюцинации. Они умоляли меня поспать. В конце концов меня отвели к врачу, и он прописал мне таблетки, которые должны были меня вырубить. Прошел еще месяц, пока они догадались, что я их выплевываю, и еще месяц, прежде чем они заставили меня прекратить причинять себе боль. Но к тому времени я уже почти сдалась. Я не спала просто потому, что забыла, как это делается. И все время думала, что, наверное, я сделала что-то не так, и поэтому ты ушел. Я думала, я все это заслужила.

— Доджер, прости. Ты не… Я не… Они угрожали моей семье. — Роджер уже отвык тихо разговаривать сам с собой, и ему пришлось приложить

ощутимые усилия, чтобы на последнем слове не сорваться на полную громкость. — Они сказали, что меня заберут. Ты была моим лучшим другом. Ты вообще самый лучший друг, который у меня когда-либо был. Но ты бы сделала то же, если бы они пришли в твою семью. Тебе бы пришлось.

— Нет, не пришлось бы, — возражает она. — Я бы соврала. Я бы сказала: «Ой, но это же просто игра, я и не думала, что кто-то может из-за этого беспокоиться», — и я бы пообещала никогда больше так не делать и просто стала бы осторожнее. Я сказала бы им, что все в прошлом, а сама продолжила бы общаться, потому что ты был мне важен. Я думала, что тоже тебе важна. Ты ведь все время это говорил. Так что я бы солгала ради тебя, потому что лучше так, чем оставлять тебя в одиночестве.

Роджер молчит.

— А ты так и сделал, Роджер. Оставил меня одну. Ты бросил меня, даже… даже не объяснив ничего, не сказав, что все наладится. Ты говорил, мы друзья навсегда, и я тебе поверила. Я никогда никому не верю, но тебе я поверила, а ты оставил меня одну. Ты решил за меня, что я больше не заслуживаю быть твоим другом. Может, это эгоистично — злиться на тебя, потому что ты боялся

за свою семью, и мы были маленькими, и ты думал, что я сильнее, чем оказалось. Не знаю. Мне плевать. Ты меня бросил. И я не могу тебя за это простить, как бы сильно тебе этого ни хотелось. И неважно, как сильно я сама этого хочу.

Доджер замолкает. Слезы жгут ей глаза, размывая зрение. Все, что доступно взгляду Роджера, нечетко, смазано, как на плохой акварели. Все кажется зыбким. Все началось с девочки, которая заговорила у него в голове, а он думал, что она ненастоящая; может, и правильно, что сейчас все кажется нереальным. Может, так и должно быть.

— Прости, — говорит он. — У меня нет других слов, только эти. Я поступил так, как был должен — как мне тогда казалось. Я знаю, что я ошибся. Но я не могу вернуть все эти годы назад. Время так не работает.

Доджер смутно подозревает, что время *могло бы* так работать, если только она поймет, как подкрутить числа. Ей все больше начинает казаться, что время — это замысловатая головоломка, и у нее есть к ней ключ; он спрятан где-то между дыханием и биением сердца, и это такая же часть ее тела, как кровь, кости и костный мозг. Она ничего не отвечает. Теперь ее очередь молча ждать, что скажет Роджер. Она произнесла длинную

речь и выдохлась. Слова никогда не были — и не будут — ее сильной стороной.

— Но не только тебе было больно, и не только ты пострадала оттого, что я закрыл дверь. Я оставил тебя одну. Но я тоже остался один.

Доджер знает, что это неправда, она видела доказательство — девочку, которая смотрела на нее с подозрением и по-хозяйски держала Роджера за локоть, будто стоило ей ослабить хватку, как она бы его потеряла. Но говорить об этом не стоит. Потому что, если она признается, что никто ни разу не смотрел на нее так, как эта девушка смотрела на Роджера, может показаться, что она жалуется, особенно если она попытается объяснить, как много времени проводила сама с собой, дрожащая, загнанная в ловушку, на грани собственной жизни.

И это неважно. Он попросил прощения. Он воспользовался магией извинений. Доджер закрывает глаза, погружая их обоих в темноту.

— Ладно, — говорит она. — Но больше так не делай.

На другом конце города Роджер улыбается.

— Зуб даю, и провалиться мне на этом месте, — говорит он; и теперь все будет хорошо.

Калибровка

Лента времени: 12:01 CST, 20 июня 2000 года (следующий день)

— Магистр Дэниелс. Какой приятный сюрприз.

Сюрприз далеко не приятный. Это беда, опасность, катастрофа во всех смыслах этого слова. Рид стоит на пороге с совершенно прямой спиной, совершенно неподвижно, закрывая собой проход, насколько это возможно при его худощавой комплекции. Как часто он жалел, что Асфодель не нашла времени создать ему более мощное тело: он высокий, стройный, привлекательный, но это все не те характеристики, что заставляют принимать тебя всерьез. Если алхимики, сопровождающие магистра Дэниелса, захотят отодвинуть его с дороги, им это удастся.

(Ли могла бы их остановить. Когда ему нужно, маленькая Ли становится стремительной и абсолютно смертоносной и режет, словно скальпель, который использовал ее создатель, собирая ее по кусочкам. Но сейчас Ли внутри, в глубине лаборатории, обеспечивает защиту экспериментам, которые эти люди не должны увидеть, запирает

двери, которые нельзя открывать. Эти люди вообще не должны были здесь оказаться. Эти люди вообще не должны были найти это место.)

— Неужели, Джеймс? — Голос магистра Дэниелса звучит мягко и устало. Ему не нравится быть здесь, в Огайо, посреди отливающих изумрудом кукурузных полей под сапфировым небом.

Он предпочитает не покидать свои комнаты, где преобладают оттенки сепии, а стены пропитаны духом значительности совершавшихся в них событий.

— Похоже, здесь, в этой глубинке, ты хранишь от меня какие-то тайны. Похоже, нам следовало лучше за тобой приглядывать. Но мы недоглядели, и ты сам себе навредил, и за это прими мои искренние извинения. Мы были обязаны относиться к тебе лучше. Мы в долгу перед тобой и перед Асфодель.

— Перед магистром Бейкер.

Впервые магистр Дэниелс выглядит растерянно.

— Прости?

— Для вас она — магистр Бейкер, из ваших уст ее имя должно звучать только так. Она была величайшим алхимиком своего времени. И с тех пор ее никто не превзошел.

Алхимиков, сопровождающих магистра Дэниелса (Рид не знает их имен, и ему нет до них дела; им нет места в его грандиозных планах), его слова сперва удивляют, затем оскорбляют. Один из них делает шаг вперед.

— Не забывайся, — резко бросает он. — Мы позволили тебе примкнуть к нашим рядам, но это не дает тебе право лгать.

— Я не лгу. Я говорю только чистую, золотую правду, которую вы так долго безуспешно пытались превратить в примитивный свинец. — Рид бросает на Дэниелса убийственный взгляд. — Если вам обязательно нужно о ней говорить, говорите с уважением, которого она заслуживает.

— Она никогда не была магистром нашего ордена, Джеймс, — мягко говорит Дэниелс.

— Потому что вы ей в этом отказали. Потому что *вы* и люди вроде вас разрушили все ее замыслы, до которых смогли дотянуться, лишь бы не признавать, что и вас, и все ваши стремления превзошла какая-то женщина! Потому что вы…

— Это ты ее убил, — говорит Дэниелс.

Рид замолкает.

— Если в этом и есть доля нашей вины, если мы хоть как-то ответственны за ее смерть, то

только потому, что позволили ей создать тебя. Обращение мертвых в живых всегда давалось женскому полу гораздо легче. Так что, сотворив тебя, она ничего не доказала, а лишь окончательно подтвердила, что мы в ней не ошибались. Талантливая — да. Одаренная — вне всяких сомнений. Но она была дилетанткой. Она едва отплывала от берега и не представляла, какие опасности таятся в глубинах.

Дэниелс улыбается. Наверное, он думает, что проявляет доброту. Наверное, для него эта речь — своеобразное отпущение грехов: «Ты убил свою создательницу и наставницу, но, видишь ли, ты всегда был выше ее. Она тебе только мешала».

Рид стискивает челюсти до боли в зубах и пытается представить, как будет звучать смерть Дэниелса.

— Ты был ножом. Она своей рукой тебя наточила. Это странная, изощренная форма самоубийства, но это все же самоубийство. Обычная ошибка таких, как она.

— И каких же? — Голос Рида звучит так, будто кто-то пилит кости ржавой пилой.

— Слабых. Недалеких. — Глаза магистра Дэниелса вспыхивают. — Но мы здесь не для того, чтобы обсуждать *мисс* Бейкер, как бы ты ни ста-

рался нас отвлечь. Мы здесь, чтобы поговорить о тебе. Ты правда хранишь тайны, Рид?

— Я сказал вам, что воплотил Доктрину. Мы просто ждем, когда она созреет.

— Но ты не даешь нам проверить ее состояние. Почему?

— Условия для правильного созревания…

— Мы знаем, что значит тонкая работа. Мы тоже в своем роде люди науки. Нас вполне можно подпустить к твоему эксперименту.

Магистр Дэниелс делает шаг вперед, оба сопровождающих встают у него по бокам.

— Позволь нам войти, Рид. Мы все на одном пути к просветлению.

Но — нет, не все. Рид уже давно сошел с пути просветления. Невероятная дорога — это совсем другое. Невозможный город не несет просветления, он дает нечто гораздо большее, потому что просветленным не нужна власть, а Город — само воплощение власти. Тот, кто владеет Невозможным городом, владеет всем миром.

— Я не приглашал вас в свое святилище, — отвечает он. — Уходите, и я прощу вам это вторжение.

— Я не могу уйти, дитя, — говорит магистр Дэниелс.

— Что ж, мне жаль, — Рид подает знак, и из кукурузы выходит подросток. Он очень худой, даже тощий, у него темные волосы и недоверчивый взгляд. Руки безвольно висят по бокам, словно плети. На вид ему лет четырнадцать.

— Что это? — удивленно спрашивает магистр Дэниелс. — Ты не сообщил мне, что взял ученика.

— Даррен, — спокойно говорит Рид, — убей их всех.

Мальчик кивает и делает стремительный бросок.

То, что происходит дальше, было бы даже забавно, если бы не было столь смертельно серьезно. Первый алхимик достает что-то из кармана пальто — флакон, наполненный каким-то ужасным дымом, который клубится, словно живой. Он швыряет флакон в мальчика, но того почему-то уже нет на прежнем месте, почему-то мальчик оказывается в другой стороне, и вот уже его рука с ужасающей быстротой швыряет флакон обратно к его создателю. Флакон ударяется о его ребра, разбивается, и вырвавшийся на свободу дым пожирает всю его плоть до самых костей, а он все кричит, и кричит, и…

Второй алхимик в ужасе смотрит на товарища,

который упал на колени и раздирает себе лицо, на глазах становящееся все меньше и меньше. Пауза длится всего несколько секунд. Несколько секунд — это достаточно долго. Даррен уже рядом с ним, неожиданно в его руке возникает нож, и вот уже горло второго алхимика — открытая книга, и открытая так широко, что все ее содержимое выплескивается на землю.

Рид не двигается с места. Магистр Дэниелс не двигается с места.

Даррен разворачивается и, метнувшись к магистру Дэниелсу, заносит над ним нож, чтобы выполнить поручение до конца. Старик зачерпывает из кармана горсть пыли и бросает ее мальчику в глаза. Даррен коротко вскрикивает и в судорогах падает навзничь. И больше не встает.

— Ты меня разочаровал, — говорит магистр Дэниелс, снова поворачиваясь к Риду.

Но Рид исчез.

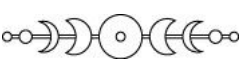
Времени хватает только на то, чтобы осознать и смириться, и вот уже острие из закаленного серебра со спины пронзает старика в самое сердце; иссохшее тело, обмякнув, беззвучно падает рядом с остальными трупами. Один только Рид, слегка задыхаясь, остается стоять; на руках у

него кровь.

Он смотрит на Даррена, и в его глазах проскальзывает что-то похожее на сожаление. Этого не должно было случиться. Придется извиняться перед Ли, оправдываться перед его парой. И все же у девочки огромный потенциал, а мальчик был годен только на то, чтобы убивать.

— Ты даже не догадывался, сколько в твоем ордене людей, верных мне, — говорит он трупу мужчины, который собирался лишить его того, что принадлежит ему по праву рождения. — Самолет, который должен был доставить тебя домой, разобьется. Так загадочно. Так печально. Тело так и не найдут, и ты будешь забыт.

Это самое страшное проклятие из всех, что он знает. С чувством глубокого удовлетворения он разворачивается и идет к сараю, откуда можно попасть в его владения. Он заходит внутрь и спускается вниз.



Воздух под землей холоднее, чем на поверхности, и пахнет не кукурузой, а химикатами. Рид расслабляется. Здесь его королевство, подземный лабиринт лабораторий, камер и странных алхи-

мических алтарей. Здесь он уже победил.

— Ну что? — требовательно спрашивает Ли, возникая из темного дверного проема, словно дурной сон. — Все кончено? Мне нужен Даррен. У Эрин что-то вроде панической атаки, и только он может ее успокоить.

Благодаря годам практики ему удается не вздрогнуть. Важно никогда не показывать страха перед такими, как Ли. Она чует его за версту. И не прощает. Она бы мгновенно проглотила его, если бы только могла: этакая змея, пожирающая солнце. Она — его личный Фенрир, готовый в любой момент устроить конец света, и он в равной степени любит ее и боится.

Без нее он не смог бы продвинуться так далеко, и они оба это понимают. Асфодель дала ему знания и указала путь, но ему не хватало необузданной силы кого-нибудь вроде Ли Барроу, созданной, чтобы служить проводником для энергии звезд.

Она смотрит на него и замирает, ее лицо темнеет, как небо перед грозой.

— Где он?

— Это была отличная работа, — отвечает он. — Ты должна собой гордиться.

Ее лицо становится еще темнее.

— Ты *сломал* его, — обвиняет она его.

— Прежде чем Дэниелс с ним расправился, он убил двух подмастерьев, практически магистров, и, даже умирая, дал мне возможность, которая была мне нужна. Зрелище было поистине впечатляющее.

Ли колеблется: в ней борются гнев оттого, что с ее собственностью так обошлись, и гордость. В конце концов она, нахмурившись, сообщает:

— С вашими кукушатами что-то произошло. Сразу с двумя парами. Если это не синергия, то я не знаю, что это.

Сердце в груди у Рида подпрыгивает. Кукушата делают успехи как раз в тот день, когда пал барьер на пути к его собственному успеху.

— Что за пары?

— Средняя — Сет и Бет; младшая — Роджер и Доджер.

Произнося имена, она морщит нос. У Ли есть свои странности, и ненависть к рифмованным именам кукушат — самая незначительная.

— Что случилось со средней парой?

— Несчастный случай. — Ее голос остается ровным, но в глазах плещется безмолвная ярость. — Бет — у которой контроль в паре — убедила семью поехать на каникулы в «Мир Диснея».

Разумеется, это была уловка.

— Разумеется, — соглашается Рид.

Это были дети Земли и Воздуха. Бет поместили в семью в центральной части Канады, в Саскачеван, а Сета — в семью в самой южной точке Флориды, на остров Ки-Уэст. И если она убедила приемных родителей поехать во Флориду, это могло означать только одно: они каким-то образом установили контакт — и пытались встретиться.

— Похоже, это и правда несчастный случай. Отец вел арендованную машину, слишком устал после перелета и не справился с управлением. Они перевернулись и разбились в полумиле от «самого счастливого места в мире». — Ли горько улыбается, и в этой улыбке столько же радости, сколько холодного праведного гнева. — Бет погибла на месте. У Сета случилась аневризма во время презентации на школьном академическом совете. Бедного парня обвиняли в плагиате. Он умер, даже не успев упасть на пол.

— Что с телами? — вопрос звучит резко, и Ли, заметив это, берет себя в руки.

— Уже на пути сюда, — отвечает она уже более спокойно. — Девочка довольно сильно изуродована, но мы сможем получить достаточно ткани

для анализов. Мальчик полностью цел, за исключением кровоизлияния в мозг. По крайней мере, теперь мы точно знаем, что, если убить кого-нибудь одного из пары, есть немалый шанс, что тем самым мы убьем и второго. Через несколько лет это значительно облегчит задачу снайперам. — Она делает паузу, а затем добавляет: — Теперь понятно, почему Эрин в таком состоянии. Но она была не так сильно привязана к своей паре и, скорее всего, выживет.

— Ты сказала, что есть новости и по поводу младшей пары.

— Роджер Миддлтон и Доджер Чезвич. Да. Они восстановили контакт.

Повисает тишина. Не легкая приятная тишина между друзьями и даже не колюче-проволочная тишина между врагами. У этой тишины зубы и когти, она готова броситься на свою добычу и уничтожить ее. Эта тишина *причиняет боль*.

— Что значит «они восстановили контакт»? — медленно спрашивает Рид.

— Чезвич участвовала в шахматном турнире. Они играли в Бостоне. Миддлтон оказался в числе зрителей. Видели, как они разговаривали после игры. Она выглядела расстроенной.

— А он?

— Он… Вы представляете выражение на лице ребенка сразу после того, как его любимый щенок превратился в кровавую лепешку посреди шоссе? Когда он не может осознать, что произошло, и просто стоит в шоке и ступоре, пока кто-нибудь не скажет, что он должен чувствовать? Он выглядел именно так. Словно его застигли врасплох. — Ли качает головой. — В их паре контроль у него, а он не может взять себя в руки, всего лишь встретив своего воображаемого друга. Мы должны убрать их, начать все заново и создать что-нибудь повыносливее. И вырастить в лабораторных условиях. Мои подопечные…

— …не являются предметом обсуждения, — резко обрывает ее Рид. — Это все? Они договорились встретиться? Их видели вместе после этого?

— Нет. Девочка ушла. Мальчик ушел с другой девочкой — она хорошенькая, совершенно натуральная, без всяких штучек, мы могли бы подстроить ее под наши нужды, если бы начали прямо сейчас, — и ей явно не понравилось, что он разговаривал с мисс Чезвич. Учитывая, как ведут себя мальчики в подростковом возрасте, возможно, ситуация разрешилась сама собой.

— Ты говоришь о единственной паре птенцов, которая смогла установить независимую связь

без физического контакта, — говорит Рид. — Они нашли друг друга, потому что были одиноки и нуждались друг в друге. Ты представляешь, какой это огромный скачок?

— Меня не волнует, какой это огромный скачок, — отвечает Ли. — В проекте не предусмотрена такая линия развития событий. Это небезопасно, это неправильно, и для успешного проявления Доктрины в этом нет необходимости. Это не то, что мы планировали. Мы не можем это контролировать. Мы должны признать их негодными экземплярами. К этой встрече нужно отнестись со всей строгостью.

Совершенно ясно, что представляет собой эта «строгость»: у Ли нет полумер. Если бы он позволил, она бы разобрала этих кукушат по кусочкам — до самых атомов, чтобы выискать место, где свинец превращается в золото, а плоть становится космическим началом вселенной. Рид холодно глядит на нее. Он не скажет ей «нет», во всяком случае прямо, потому что Ли редко бывает полностью неправа; она понимает глубинные переплетения проекта так, как понимает разве что он сам. И ее взор не застилает туман человеческого милосердия.

Но соглашаться на ее предложение он тоже не

собирается. Они потратили слишком много времени, слишком много ресурсов, чтобы оборвать все в шаге от блаженной победы. Пока проект не представляет настоящей опасности, он продолжит развиваться. Дорога к Невозможному городу всегда принимала случайных путников. Порой ему кажется, что это и есть единственный способ на ней оказаться.

— Как они осваивают свои характеристики?

Ли смотрит на него угрюмым ненавидящим взглядом и молчит.

Рид вздыхает. Иногда, как это ни тоскливо, приходится напоминать ей, кто она, и кто он, и почему она здесь находится.

— Тебя можно заменить, Ли. Это будет горькая утрата, я буду по тебе скучать, но тебя можно заменить.

— Мальчик говорит на семи языках и хочет заниматься еще больше, — говорит Ли, и ее глаза все еще горят ненавистью. — Мягкое небо у него осталось подвижным, и он может произнести любой звук. Он еще не догадался, насколько это необычно и что с точки зрения природы он урод. Может, никогда и не догадается. Смотря сколько времени он будет оставаться в рабочем состоянии. Девочка играет в шахматы на уровне

гроссмейстера. Она могла бы сделать карьеру, но ей это неинтересно; она предпочитает заниматься чистой математикой. Вероятно, она и будет ей заниматься, когда ее родители прекратят настаивать, чтобы она вела нормальную жизнь. Как будто у нее был шанс на нормальную жизнь.

Ли источает яд, и он не связан ни с чем из того, о чем она только что говорила; что-то сидит у нее внутри — холодное и нечеловечески жестокое.

Рид ничего не говорит. Он смотрит на нее и ждет.

Долго ждать не приходится.

— Это неудачный эксперимент, — наконец взрывается она. — Мальчик уже мог бы стать *королем* — он может заставить кого угодно сделать что угодно, стоит ему только щелкнуть пальцами и выразить желание вслух, — а он чем занимается? Академическое десятиборье, подружки, мертвые языки… Мы же собирались делать орудия, инструменты, а не ученых, которые боятся собственной тени. А девочка! Она социально не адаптирована, она замкнулась в себе и не способна нормально функционировать, она ни разу не смеялась с тех пор, как мы прервали контакт. Нужно вычистить это поколение и начать заново.

— Это ты предложила разорвать первоначальный контакт, Ли. Это ты обращалась к астрологическим картам Галилея и доказывала, что, если их орбиты пересекутся слишком рано, это пагубно скажется на их развитии. Я к тебе прислушался, потому что раньше ты оказывалась права. Теперь ты говоришь, что разрыв контакта мог им навредить и поэтому нужно изъять их из проекта. Так что из этого правда? Когда мы их разделили, мы послужили Доктрине во благо или во вред?

— Я говорила держать их на расстоянии друг от друга, а не отправлять в реальный мир. Если мы и помешали проявлению Доктрины, то только потому, что *они* не были сделаны должным образом, — говорит Ли. — Если кувшин лопается при охлаждении, это не значит, что его не надо было охлаждать. Обожженное изделие всегда нужно охлаждать. Но иногда в самом процессе изготовления что-то идет не так, и появляются места, где глина не схватывается, как надо. Я не виновата, что глина плохая. Я не виновата, что они не выдерживают обжига.

— Может быть, и нет, но я считаю, ты слишком торопишься признать их непригодными, — говорит Рид. Теперь он понимает, почему ей хочется

избавиться от этих кукушат, понимает гораздо лучше нее самой. Ли жаждет разрушения, возможности сломать старое и освободить место новому, потому что ее истинная цель — совершенство, та грань, за которой больше нечего улучшать. Для нее их кукушата — новый виток на спирали эволюции, но они все еще несовершенны.

— А я считаю, что вы слишком торопитесь признать их идеальными.

— Чего ты от меня хочешь?

— Давайте начнем сначала. Теперь мы знаем гораздо больше; у нас есть четкие представления о том, что мы лепим: какие нам нужны формы, какие углы. Мы можем сделать их лучше.

Все это правда. Нужно найти компромисс.

— Я позволю тебе создать следующее поколение кукушат, и пусть они тоже участвуют в гонке, но ты должна оставить все мысли об устранении этой пары. Я хочу посмотреть, чего они смогут достичь, если предоставить их самим себе. Они развиваются, становятся чем-то новым. Когда Доктрина проявится, это тоже будет нечто совершенно новое.

И в то же время это будет самая древняя вещь на свете — та нота, что зарождается сама по себе,

проникает всюду и творит реальность. Невозможно сказать, как близко эта пара кукушат подошла к воплощению, — корабль плывет в неизведанных широтах. Нет ни карты, ни компаса. Есть только проект, расстилающийся перед всеми, кто в него вовлечен, незыблемый и неизменный.

Это алхимия совершенно иного рода, и магистры могли о ней только мечтать. Парацельс, Пифагор, Бейкер — никто из них не поднялся так высоко и даже близко не подошел к осуществлению всех своих замыслов.

Мгновение Ли просто смотрит на него, но затем склоняет голову и соглашается:

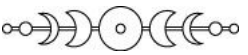
— Пусть живут.

— Хорошо. — Он наклоняется к ней и целует в лоб, воображая, что слышит, как в клетке из слоновой кости — ее скелете — шуршат перья и опавшие листья. Она опасна, эта конструкция из мертвых женщин и живых паразитов. Она яркая, гениальная, и, если он не будет осторожен, она однажды убьет его. Если он ей это позволит. — Помни о том, что предначертано. Верь.

— Я всегда верю, — отвечает она.

— А сейчас позови своих людей. Я хочу, чтобы беспорядок наверху убрали прежде, чем взлетит самолет.

Он разворачивается и уходит.



Ли Барроу умеет сохранять спокойствие. Она родилась в неподвижности, а умрет в движении. Между этими двумя крайностями — напряжение сжатой пружины, нож за миг до броска, затишье перед бурей. Она спокойно и холодно смотрит вслед уходящему Риду — своему наставнику, возлюбленному, хозяину и сопернику, все вместе под несовершенной человеческой оболочкой.

Только когда он сворачивает за угол и исчезает, она приходит в движение, потенциал превращается в действие, и, развернувшись, она, словно кошка, бежит по темному коридору. Она не включает свет. Даже если бы она не так хорошо видела в темноте, она все равно знает этот путь наизусть. Она ходит здесь каждый день уже много лет. Ей не нужны визуальные опоры, чтобы понять, куда двигаться, а если бы они были, она бы не знала, что с ними делать.

Ли знает, что в основу ее существования заложено противоречие. Она существует как человек, ученый; она помнит с полдюжины аспирантур и сверх того еще с полдюжины дополнительных

дисциплин. Ее кости были изъяты из могил или со смертного одра у тринадцати блистательных женщин — и, если их смерть была делом рук давно почившего алхимика, а не частью естественного хода природы, она им не сочувствует. Чтобы она появилась, они должны были умереть. Она — женщина-палимпсест, жительница страны Под-и-Над, вызванная к свету и блеску современного мира, и, если женщины, из которых ее сделали, не хотели умирать, им следовало быть более осторожными. Им следовало запереть двери и закрыть окна, а не впускать в них тень, которая может проскользнуть внутрь, как тать в ночи, с ножами в руках и жаждой наживы в сердце. Им следовало *знать*, что острый блестящий ум, которым они обладают, драгоценнее золота, податливее свинца. Им следовало понимать, что нужно принять меры предосторожности.

Для нее жизнь — это лаборатория, а лаборатория — это жизнь. Именно в лаборатории она пробудилась, растерянная, оглушенная криками душ бесчисленных мертвецов. В ее грудной клетке бьются крылья ворон, заключенные в плоть ее сердца; иногда ей кажется, что их перья щекочут кости, взятые у людей, коз и китов и выточенные так искусно, что она иногда жалеет, что ей нужна

кожа. Она была бы гораздо привлекательнее в виде ходящего призрака из сухожилий и костей и демонстрировала бы миру искусство своего создателя.

Эта часть лаборатории — только ее территория; даже Рид опасается сюда заходить. Никто не знает, какие ужасы она создает в своих кабинетах и что сделают эти создания, если кому-нибудь вздумается вывести их на свет. Рид — ее хозяин, она не может прямо ослушаться его приказов. Она оставит этим отвратительным кукушатам с дурацкими именами и телячьими глазами их жалкие жизни, по крайней мере пока. Пока он не поймет, как мудро то, что она предлагает.

Однажды он поймет, почему она так сильно их ненавидит, всех из этого ужасного поколения, выращенного вдали от лаборатории, под всевидящим оком неумолимого солнца. Однажды он поймет, что она все время была права. А пока…

Она открывает дверь в свою лабораторию — белую комнату с множеством ярких ламп на потолке. Внутри корчится и воет привязанная к стулу Эрин, а несколько лаборантов с серьезными лицами стоят вокруг нее и что-то записывают.

— Вон, — резко бросает Ли. — Рид устроил беспорядок у двери. Приберитесь.

Они уходят, не сказав ни слова. Они знают свое место. Быстро подойдя к девушке, Ли опускается на колени и касается ее лица. Эрин замирает.

Перед лицом боли, природу которой она не может понять, она отчетливо чувствует опасность.

— Привет, дорогая, — говорит Ли и улыбается. — Пора.

Срыв

Лента времени: 8:15 EST, 5 сентября 2003 года (три года спустя)

В сентябре Кембридж прекрасен. Погода не всегда благоволит — в иной год весь месяц напролет идет дождь, порой можно поскользнуться на обледеневшем тротуаре, — но осенний город великолепен. Прислонившись к старому клену у ограды кампуса, Роджер курит и смотрит, как в двери вливается поток девятиклассников; звучит предупреждающий звонок, Роджер ухмыляется. Ученик выпускного класса, да еще и один из самых умных в школе, обладает определенными привилегиями. Например, можно начинать день со свободного урока. Он находится на территории школы, не прогуливает и не опаздывает, так что может заниматься, чем хочет.

Большинство ребят ставят свободный урок в конце дня — чтобы побыстрее уйти домой. Он их понимает. Но у него по утрам есть важное дело, которое нельзя перенести, поэтому он предпочел освободить первый урок. Кроме того, на последнем, седьмом уроке он ходит на американскую

историю вместе с Элисон — она решила в последний год взять как можно больше предметов, — и ему нравится, что есть повод провести время с ней. Хотя обоих вполне удовлетворяют их отношения, они собираются поступать в разные университеты и хорошо понимают, что у их пары нет шансов выжить после окончания школы. Они не влюблены. Может, когда-то были, но эти чувства уже давно переросли в дружбу и физическое влечение. Им этого более чем достаточно.

Роджер делает последнюю затяжку и, бросив окурок на землю, растирает его каблуком. Затем спокойно закрывает глаза. 8:20 здесь — 5:20 в Калифорнии, Доджер должна проснуться через три… две…

— Доброе утро, засранец, — сонно бормочет она. Она всегда такая, когда просыпается.

Им не слишком удаются попытки ложиться спать вовремя, но он, во всяком случае, старается отводить на сон по крайней мере пять часов в сутки — хотя бы для того, чтобы не забывать, как спрягаются неправильные глаголы. А Доджер, когда он последний раз ее спрашивал, спала в лучшем случае три. Неизвестно, сколько еще она продержится с таким графиком. При этом он не сомневается, что никакие его слова не заставят

ее спать больше.

Теперь они ссорятся чаще, чем в детстве. Отчасти потому, что стали другими: менее гибкими, более взрослыми; они уже не готовы принимать на веру все, что им говорят. Отчасти потому, что она так и не простила его за то, как он оборвал контакт. Она говорит, что простила, но он знает, что она врет, а она знает, что он это знает, но никто из них ничего с этим не делает, потому что они сомневаются, что с этим можно что-то сделать. У них особенная связь, и это хорошо звучит на словах, но на деле от этого не легче: они не телепаты — он не может прочитать ее мысли и подобрать правильные слова, чтобы она поверила, что он сожалеет, что всегда будет сожалеть и что он бы все изменил, если бы только мог. Она тоже не может видеть его мысли. Они могут только проникать в головы друг друга, словно по самой необъяснимой телефонной связи на свете.

(По крайней мере, теперь они могут друг от друга отгородиться. Запереть ментальные двери, навесить ментальные замки и обрести хоть какое-то уединение. В детстве у них это не получалось. Да и сейчас приходится прилагать усилия. Простого «не хочу» недостаточно. Нужно активно сопротивляться, а это утомительно. И еще они не

чувствуют друг друга так же, как раньше. Он не чувствует, что она устала. Она не чувствует, что он кивает. Что-то исчезло в долгой пропасти их разлуки, и он не знает, хочет ли это вернуть.)

Если бы они смогли провести хоть какое-то время рядом, в одном и том же месте, все было бы иначе. Он в этом уверен. Она все еще его лучший друг, и, если бы они могли просто побыть в одной комнате, даже не разговаривая, ничего не делая — просто сосуществуя, они могли бы оставить прошлое позади. Он знает, что у них получилось бы.

— Доброе, — отвечает он. — Мы снова забыли поспать?

— Ну, я не прямо забыла, — говорит Доджер. — Просто у меня были другие дела.

— Другие дела?

— По телевизору показывали все части «Кошмара на улице Вязов».

Роджер вздыхает.

— Ты говоришь, что не читаешь книги, потому что в книгах сплошной обман. Как тебе могут нравиться стремные фильмы ужасов? Ты пытаешься наказать меня за мои грехи?

— А то, — отвечает Доджер. — В любом случае ты же не видишь мои кошмары. Как бы ты узнал,

что я пытаюсь тебя наказать? Просто радуйся, что мне хоть что-то нравится.

— Когда ты столько не спишь, ты совсем не подарок.

— Это правда. — Она зевает. — Кто сейчас за главного?

— Ты. Я уже в школе.

— Везучий хрен, гуляешь целый урок. — Она открывает глаза, и его взору предстает потолок. Пластиковых звезд больше нет, теперь это темно-синее поле, расчерченное светящейся краской. Доджер нарисовала у себя на потолке карту звездного неба. Это чудесно. Иногда, когда Роджер не может заснуть, он просит ее выключить свет и дать ему посчитать нарисованные звезды. Каждый раз он проваливается в сон раньше, чем успевает досчитать до конца.

— У тебя тоже мог бы быть свободный урок, если бы ты полдня не сидела в Стэнфорде.

— А ты бы, конечно, отказался от такой возможности. Ассистировать профессору Вернону, пока он учит будущих гениев, — представляешь? Рай на земле!

Поле зрения сдвигается: Доджер сползает с кровати и начинает рыться в одежде, сваленной на захламленном полу.

— Хотя, пожалуй, тебя бы это не соблазнило.

— Конкретно это нет, но если бы дело касалось языков… Я тебя понимаю. Просто мне хочется, чтобы ты при этом еще и высыпалась.

— Кто бы говорил, *мамочка*.

С тех пор как они снова стали общаться — поклявшись не разрывать контакт ни при каких обстоятельствах, за исключением комы, смерти или зубрежки накануне экзамена, — они прекрасно научились одеваться не глядя. В спальнях у них нет зеркал. Роджер предвидит, что в универе это может стать проблемой. В общагах почти наверняка будут зеркала на дверцах шкафов, или соседи по комнате захотят повесить их на стену. Ближе к делу они с этим как-нибудь разберутся. Конечно, если оба переживут последний год школы, что кажется одновременно и абсолютно вероятным, и совершенно невозможным.

Для кота, который полжизни провел в приюте, клетка — единственная реальность. Он не представляет, что однажды его могут забрать. Роджер считает, что школа похожа на такую клетку. Да, здесь учат, и он это ценит, и ценит время, усилия и заботу, которые взрослые тратят на то, чтобы вбить знания в его черепушку. Он знает, что их работа не самая легкая, учитывая

набор обязательных предметов, который им приходится каждый день расстилать перед своими учениками. Он был бы лучшим выпускником, если бы не физкультура, которая испортила ему средний балл — не настолько, чтобы окончательно утопить, но все же достаточно, чтобы двое опередили его в общем рейтинге. Одна из них — Элисон, и это хоть как-то его успокаивает.

Доджер отделалась легче. У нее в Калифорнии после девятого класса можно было выбрать аэробику или плавание, так что ей не пришлось участвовать в ужасных командных играх и бегать на длинную дистанцию. Она не слишком хорошо сдала национальный стандарт физподготовки, но кто вообще сдает его хорошо? Только качки и те, у кого интеллект от рождения в каких угодно частях тела, только не в мозгах. Он не может винить их за то, что они сбили кривую распределения оценок, — он сам сбивает ее на доброй половине уроков. Но это не значит, что он не может чуточку злиться.

— Какие планы на сегодня? — Роджеру опять хочется курить. Но Доджер бесится, когда он курит, находясь у нее в голове. Она говорит, что, пусть даже она не чувствует ни запаха, ни вкуса, грубо навязывать другим свои дурные привычки.

Он вполне может подождать пять минут до конца утренней связи. Дружба важнее. Она возникла задолго до этой дурной привычки и, он надеется, будет оставаться частью его жизни еще долгие годы после того, как он решит отбросить никотиновую зависимость, как ненужный костыль.

— Занятия, опять занятия, домашка, а потом шахматы в YMCA[10], — отвечает Доджер.

Она идет в ванную по знакомому небольшому проходу. Родители уже привыкли к тому, что все ее бытовые хлопоты сопровождаются бормотанием; когда однажды они не выдержали и спросили, почему она разговаривает сама с собой, Доджер, улыбнувшись, беспечно ответила, что пытается вывести особенно заковыристые формулы. Иногда они пытаются на нее надавить, и тогда она начинает вслух сыпать числами и математическими понятиями, и они сдаются. Роджер каждый раз жалеет, что у него нет под рукой попкорна.

— У меня занятие с детьми из средней школы, которые хотят научиться играть в шахматы, и это пригодится для поступления.

---

[10] Примечания: 10

Young Men's Christian Association (Ассоциация молодых христиан), — волонтерская организация, занимающаяся физическим, интеллектуальным и духовным развитием молодых людей.

— Я думал, ты собираешься поступать в Стэнфорд.

Она пожимает плечами и тянется за расческой; в зеркале над раковиной отражается ее лицо. У нее все еще стрижка «под пажа» — как в тот день, когда он увидел ее на шахматном турнире: достаточно короткая прическа, чтобы не морочиться с уходом за волосами, и достаточно длинная, чтобы люди не забывали, что она девочка. Не то чтобы в этом была необходимость: он ни разу за ней не подглядывал, но она теперь взрослая девушка, как он — взрослый парень. Она может сколько угодно носить бесформенные свитера и рваные джинсы, но женские формы не скроешь.

— Если я пойду в Стэнфорд, я так и останусь дочкой профессора Чезвича, — отвечает она, нещадно расчесывая волосы. Роджер сочувственно морщится, хоть и не чувствуя, но угадывая ее боль. — И еще я всегда буду гениальной девочкой, которая не захотела закончить школу раньше. Здесь таких не особенно любят. Хоть сто раз скажи: «Для социального развития мне необходимо находиться среди сверстников», — их волнует только то, что я могла бы уже быть на полпути к получению степени.

— Извини, — говорит Роджер.

— Да ладно. — Доджер бросает расческу в корзину, достает зубную щетку и выдавливает на нее мятную пасту. — Твои родители не позволили тебе уйти из старших классов, и это правильно. Нам обоим нужно было больше времени, а ты бы еще слишком сильно скучал по Элисон, если бы вам пришлось расстаться до того, как закончилась влюбленность. Теперь ты рассказывай, чем сегодня займешься, мне надо чистить зубы.

Она засовывает щетку в рот прежде, чем он успевает возразить, что все еще влюблен в Элисон, но, хотя сейчас его очередь говорить, он молчит. Потому что Доджер права. Когда они с Элисон расстанутся, он точно не станет плакать. А год назад — мог бы. А еще год назад это был бы конец света. Все меняется.

— Занятиями, — начинает он. — На завтра не должно быть много домашки, а ту, что будет, я могу закончить к пяти. Вернее, должен закончить к пяти, потому что папа возьмет меня с собой на футбол.

Доджер вопросительно мычит, не вынимая изо рта зубной щетки. Роджер улыбается.

— «Ред Сокс» против «Джайентс», — отвечает он. — Наши против ваших. Думаю, мы наконец точно узнаем, кто лучше, а, девочка из Кали-

форнии? Непременно пришлю извинительный букет, когда мы втопчем вас в грязь.

Она сплевывает, прополаскивает рот и чинно произносит:

— Сперва тебе придется узнать, где я живу. Так что придумай угрозу получше.

Роджер колеблется.

— Ну, ты можешь дать мне свой адрес, — наконец говорит он.

— Неа, — отвечает Доджер. — Попробуй еще раз.

С того шахматного турнира они будто поменялись ролями. Теперь Роджер предлагал ей свой домашний адрес, телефонный номер, даже номер почтового ящика, арендованного на деньги, сэкономленные с тех, что давали ему на еду, — лишь бы у нее была возможность связаться с ним не только вот так: когда ее голос шепчет у него в голове, а ее глаза смотрят на мир его глазами. Всякий раз она отказывалась. Отказывалась и, более того, свои контакты тоже не давала. Он знает каждый дюйм ее дома, от заедающего шпингалета на задней двери до расшатанного плинтуса в комнате с компьютером, где она прячет вещи, которые хочет скрыть от родителей: бритвенные лезвия, купленные в ближайшей аптеке, пыль-

ные журналы, таблетки кофеина, тщательно свернутый бумажный пакетик с чем-то похожим на орегано (это не орегано), — но, если бы он вдруг оказался в Пало-Альто, он не смог бы найти этот дом. Когда Доджер, разговаривая с ним, идет по дорожке, она смотрит на небо, на траву, на что угодно, только не на что-нибудь, что могло бы дать ему хоть какой-то ориентир, и уж точно не на табличку с адресом.

Она все еще избегает его. И это пугает так сильно, что у него нет для этого слов — и это тоже пугает, потому что у него должны быть слова для всего. Доджер что-то скрывает. Он не знает что. И не знает, как это узнать.

— А куда, если не в Стэнфорд? — спрашивает он.

— Не знаю. В Кембридже очень хотят, чтобы я к ним приехала. Еще MIT. И всегда есть Йель. Я понимаю, странно держать его как запасной вариант — это же Йель! — но их математический факультет меня как-то не вдохновляет. Может, отправлюсь в Браун. Или — сюрприз! — поеду в Оксфорд. Мне нравится британская кухня. Их еду по большей части даже жевать не нужно. — Она приглаживает волосы и критически смотрит на свое отражение. — Окей. Лучше уже не будет.

Слушай, мне пора бежать. Свяжемся, как вернешься с матча?

— Конечно, — отвечает Роджер. — Удачно провести день!

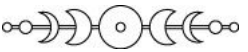
Уголки ее губ трогает улыбка, такая слабая, что только годы близкого знакомства позволяют Роджеру ее заметить.

— Конечно, — отвечает она. — Как скажешь.

Роджер открывает глаза. Небо потяжелело; наверное, скоро будет дождь. Он покидает место под деревом и спешит ко входу в школу, а мысли о далеких друзьях и невозможных способах связи быстро выветриваются из головы.

Это потом он будет спрашивать себя, как он мог не обратить внимания на ее интонации, на тихую окончательность с виду самого обычного разговора. Это потом он будет себя винить, зная, что все это из-за него. Это потом он поймет, насколько она была сломлена. Но только потом. Время — забавная штука, оно не прощает того, чего мы не замечаем. А здесь и сейчас он бежит, спасаясь от дождя, и у него нет времени беспокоиться о девушке, живущей на другом конце страны. У него нет времени думать о том, как много они могут потерять. Он просто бежит.

В некотором смысле они оба бегут.



Когда ощущение присутствия Роджера исчезает, Доджер закрывает глаза и немного ждет, чтобы убедиться, что она на самом деле одна. Бывает, она думает, что он ушел, а он возвращается — например, о чем-нибудь ей напомнить: о какой-нибудь предстоящей встрече, или событии, или спортивном мероприятии, если ему хочется, чтобы она о нем знала. Так трогательно, что он старается держать ее в курсе своей жизни. Похоже, он думает, что без спасательного круга его существования ей не выжить. И почему бы ему так не думать? Ведь она сама ему это сказала, когда они снова стали общаться. Сказала, что без него она словно была потеряна. Сказала, что осталась одна. Конечно, он переживает, что она может не выдержать. Он знает, что это возможно.

Но он не знает, насколько она по-прежнему одинока. Когда они были детьми, ей было достаточно иметь одного друга, пусть даже воображаемого, но, когда в ответ на ее предложение встретиться он просто разорвал связь, она усвоила урок. Роджер уверяет, что он не такой хороший лжец, как она, что та женщина в самом деле угрожала

забрать его из семьи, что он так поступил из страха и отчаяния, — но хороший лжец сказал бы то же самое, разве нет? Она не знает. И не может узнать.

Но зато она может видеть, как он счастлив, как он радуется, что у него есть друзья и девушка, в которую он уже не влюблен, но она все равно ему нравится. Она видит, как он *хорошо адаптирован*, говоря языком тех взрослых, что изучают ее психическое здоровье, проверяя, не разъедает ли гениальность, будто кислота, плоть ее души. Они думают, что она тоже вполне адаптирована. Да, она одинока, но без нарушений.

Но Доджер — такая разная. И самое главное, она очень хорошая лгунья.

Она идет по коридору в компьютерную комнату, зная, что мать сидит на кухне с чашкой кофе и утренней газетой и прислушивается к шагам дочери над головой. Пойти в компьютерную комнату в это время — норма; не слишком надолго, чтобы не опоздать в школу, но это вполне ожидаемо. Никаких отклонений от заведенного порядка. Она использует те же переменные, что и каждый день с начала учебного года. Это важно.

Расшатанный плинтус отходит от стены легко и беззвучно. Она давно планировала этот день,

и она это знает, хотя весь год старалась себя обмануть. Иначе зачем бы ей так тщательно шлифовать края плинтуса до идеального беззвучного скольжения? Конечно, она планировала именно это.

Доджер ужасно, невыносимо устала.

Она не стала бы называть то, что чувствует, именно так, но в глубине души она знает, что «устала» — верное слово, может быть, единственно верное. Она *устала*. Устала быть слишком умной и постоянно замедляться ради того, что уже не соответствует ее уровню. Устала от взрослых, которые смотрят на нее как на цирковой номер, и от детей, которые смотрят на нее как на циркового уродца.

(Это не совсем одно и то же: для взрослых она силач, пожиратель огня, девочка, танцующая на трапеции без страховки. А для детей — бородатая женщина, девочка с клешнями вместо рук. Взрослые косятся на нее и шепчутся о том, что она умеет. А дети — о том, какая она сама. Все они правы, и все ошибаются, и у нее не осталось сил, чтобы пытаться что-то им объяснить.) Она устала быть одинокой, и оттого, что в ее жизни снова появился Роджер, стало только хуже, хотя должно было стать лучше, потому что она всегда думала,

что он такой же, как она, но он оказался не такой, он *не такой*. У него есть друзья, есть знакомые, есть жизнь. А у нее — числа, фигуры и функции, которыми она может переопределить небо.

И чисел было бы вполне достаточно, если бы она не обнаружила в глубине сознания дверь, и эта дверь не привела бы ее к мальчику того же возраста — с точностью до дня, — который не мог сделать домашку по математике. Возможно, чисел и дальше было бы достаточно, если бы он не захлопнул и не запер эту дверь. Он отгородился от нее, и у него появилось время изменить мир, в котором он жил. Она могла бы приспособиться к тому, что он лучше разбирается в людях, если бы она могла за этим наблюдать, если бы все происходило постепенно, как с той лягушкой в кипятке. Но вышло по-другому. Он от нее закрылся и повысил температуру, пока ее не было рядом, и теперь, вернувшись, она не может этого вынести.

Это ее недостаток, она это знает. Ее слабость. Это нормально. Она девочка-математик. Она знает, что у уравнения всегда есть решение, и ценит это. Она видит, куда приведут эти числа.

Один за другим она достает из пространства за плинтусом свои трофеи: пачку лезвий, пузырек

с обезболивающим, украденным по одной-две таблетки из открытых аптечек и сумочек, оставленных без присмотра, гель для местного обезболивания. Она тщательно проработала план. Она *хорошо* умеет делать все *идеально*.

Она укладывает трофеи в рюкзак, возвращает плинтус на место и встает. Скоро — уже очень скоро — Роджеру больше не придется за нее переживать, а она не будет переживать, что однажды ее одиночество его оттолкнет. Она больше ни о чем не будет переживать.

Еще один только раз ей нужно сделать все идеально, и она будет свободна. Чувство облегчения пересиливает страх, она закидывает рюкзак на плечи и идет к двери. Время завтракать. Время прощаться.

Идеальный план

Лента времени: 10:37 EST, 5 сентября 2003 года (то же утро, тот же день, уже почти слишком поздно)

У Роджера литература; его любимая учительница — мисс Браун (конечно, его сердце уже не замирает так, как замирало во втором классе рядом с мисс Льюис, но он полагает, что это нормально, потому что невозможно никого любить так же, как учительницу во втором классе) — как раз анализирует «Короля Лира», когда мир становится белым, и все исчезает, и он висит в пустоте и кричит от ужаса. Ему не больно, нет — для боли нужны нервы, кожа, тело. Это какая-то антиболь, боль, порожденная отсутствием, и поэтому она ранит гораздо сильнее.

Затем по краям белизны проступает обжигающее золото. Теперь края *существуют* и превращаются в подобие рамки вокруг места, которое он раньше никогда не видел. Горизонт в огненных всполохах; дорога с радужными переливами, словно мыльный пузырь, тянется до самого горизонта.

Девочка с рыжими волосами (он может различить цвет ее волос) лежит ничком в пыли, глаза полуприкрыты, ее собственная боль уходит по мере того, как из нее вытекает кровь. Кровь серая, серая, как всегда, когда он один, без Доджер, но он все равно знает, что это кровь, он это знает. Она уходит. Она уходит. Но пока еще не ушла.

«Невозможный город в огне», — бессвязно думает он и открывает глаза.

Он распластался на полу, вокруг ошеломленные одноклассники. Затылок болит. Должно быть, он ударился головой о кафель по меньшей мере один раз, когда упал, но, может быть, и больше, потому что руки и ноги тоже болят, как если бы он бился в припадке. Джинсы спереди мокрые. По-хорошему, обнаружив это, он должен был бы почувствовать стыд или злость, или то и другое сразу. Но здесь и сейчас он способен только на тихое смятение. Такое ощущение, будто через мозг только что пропустили несколько тысяч вольт, и в голове все перемешалось.

Мисс Льюис опустилась возле него на колени, волосы обрамляют лицо точно так же, как в его снах, в широко раскрытых глазах — испуг.

— Роджер, с тобой все в порядке? — спрашивает она. — Ты меня слышишь?

— Я люблю вас, мисс Льюис, — мечтательно отвечает он, но перед ним уже не мисс Льюис, а мисс Браун, и это не второй класс, и у него только что был припадок. Это единственное, что он знает наверняка. Такое ощущение, что его мозг пытается перезагрузиться, осознать падение, которого он не помнит, и удар, которого не почувствовал. На мгновение Роджера охватывает абсолютный ужас — а что, если это был инсульт? Что, если у него был инсульт, и он потерял что-нибудь важное, и этого уже не вернуть? Что, если в нем теперь чего-то недостает, чего-то, что было еще сегодня утром? Испуг быстро проходит. Он в порядке. Он точно знает, что он в порядке, и так же точно знает — насколько он может сейчас что-то точно знать, — что если он сейчас же что-нибудь не предпримет, то он уже *не будет* в порядке. В такой ситуации медлить непозволительно.

Тело говорит ему, что он в порядке, но мисс Браун этого не знает. Ее сковывает страх.

— Роджер, ты знаешь, где ты?

— В классе. — Он с трудом ворочает языком, затем пытается сесть, с облегчением обнаруживая, что может это сделать. Тело реагирует нормально. Если бы не влажное пятно на джинсах и не боль в тех местах, которыми он приложился об

пол, он бы сказал, что все тип-топ, у него нет никаких проблем, все работает. Он *в порядке*.

— Роджер, тебе лучше пока не двигаться. — Мисс Браун неуверенным жестом показывает, чтобы он лег обратно. Испуганные одноклассники молча наблюдают за происходящим. Видимо, припадок был по-настоящему сильным, потому что в нормальной ситуации хоть кто-нибудь стал бы хихикать над тем, что он обмочился. — Пожалуйста. Я позвонила в администрацию, они вызовут скорую помощь…

И хотя математика — не самая сильная его сторона, его знаний хватает, чтобы сложить время на дорогу, время на анализы и время на госпитализацию, там, возможно, его накачают успокоительным… Все это встанет между ним и телефонным звонком, если он послушает учительницу. Цифра, которая у него выходит, жестока в своей простоте, она гласит: «Слишком долго». Он не может поступить, как ему велели. Если он послушается, Доджер умрет.

«Невозможный город в огне», — думает он снова, и, хотя он не понимает, что *значат* эти слова, он понимает смысл фразы. Если Доджер умрет, умрет и он.

— После припадка лучше всего пройтись, если

есть силы, — решительно говорит он, и кажется, он никогда еще не лгал так убедительно. Он поднимается на ноги, с гордостью чувствуя, что колени практически не дрожат, и пулей вылетает за дверь, пока мисс Браун не успела его остановить. Прежде чем дверь захлопывается, он успевает заметить ее лицо — белое как мел, увенчанное огромными по-детски испуганными глазами. Он чувствует себя виноватым, на самом деле чувствует себя виноватым, но, как любит говорить Доджер, *времени* нет.

Правило «не покидать кампус без разрешения» распространяется на всех учеников независимо от возраста, но это чрезвычайная ситуация, и у него уже все равно будут неприятности, когда мисс Браун придет в себя, побежит следом и обнаружит, что в администрации его нет. Он сломя голову мчится на улицу. Дождь временно прекратился, но даже если бы он шел — это не имело бы никакого значения. Роджеру нужно добраться до телефона. Секунды утекают слишком быстро — не уследить, не поймать, — и мир вокруг кажется перенасыщенным, слишком ярким, острым — вплоть до воздуха, раздражающего кожу.

«Вот как Доджер видит время», — думает он; его лихорадит. Доджер истекает кровью внутри него,

так же как где-то там, в пыли. Все зыбко. Все стремится куда-то прочь. Время подходит к концу. Он чувствует это всеми фибрами души, как чувствует тень, которая притаилась на краю сознания и грозит другим, более тяжелым припадком. В таком состоянии ему точно нельзя было никуда бежать. Вместо этого надо было ехать в больницу. Но *времени нет, время подходит к концу, времени нет* — настойчиво вертится в сознании мешанина из слов, которые будто летят кувырком и едва успевают собраться в строчки; и он знает, что в больнице ему не помогут. Он не может объяснить, откуда он это знает; он просто знает.

Прямо сейчас он осознает, что у него есть выбор — бежать сразу после припадка или отправиться в больницу, — и правильный выбор ведет на улицу. Если выбрать второе — они оба умрут.

Он бежит по тротуару — кажется, со скоростью сто миль в час, — пытаясь расслабиться в движении, выровнять дыхание, успокоиться от самого процесса бега. И не может.

Даже собственное тело начинает казаться ему неправильным. Оно слишком длинное, слишком нескладное, кожа слишком туго обтягивает кости. Он не хочет думать о том, что это может значить, и поэтому просто бежит как можно

быстрее, насколько хватает сил.

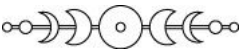
Небо с тучами, предвещающими новый дождь, напоминает набухший синяк. Воздух наэлектризован. Это день Франкенштейна, вот-вот полыхнут молнии. Роджер, не глядя по сторонам, бросается через дорогу, сзади гудят, но он бежит дальше, даже не оглянувшись. Он не может позволить себе оглянуться. Он не из тех детей, кому богатые родители дают с собой мобильные, и он не знаком ни с кем из таких детей достаточно близко, чтобы одолжить у кого-нибудь телефон — по крайней мере, не после внезапного припадка, не когда у него почти не осталось времени. На Гарвардской площади, в полумиле отсюда, есть телефонная будка, а у него в кармане горсть монет по двадцать пять центов — когда они с Элисон идут куда-нибудь вместе в пятницу вечером, он платит ими за парковку. Она поймет, если он одолжит пару долларов. Она поймет, что он помогал другу.

(А может, и не поймет, потому что нормальному человеку все это не объяснить: он с трудом объясняет это даже себе, хотя в его сознании происходящее горит так ярко, что освещает даже самые потаенные уголки. «Тут обитают чудовища», — думает он и знает, что, если он выживет,

если *они* выживут, свиданий по пятницам больше не будет. Элисон никогда не поймет, почему он сбежал из кампуса, когда ему явно была нужна медицинская помощь, почему он подверг себя такой опасности, ради чего он рисковал разбить ей сердце. В их общем языке просто нет слов, чтобы объяснить, почему он все это сделал, так что это будет последний гвоздь в крышке гроба, который они все это время мастерили, чтобы с почестями похоронить их любовь.)

Роджер уже на перекрестке Массачусетс-авеню и Кеннеди-стрит, и, когда он подбегает к телефонной будке, небеса наконец разверзаются и начинается дождь. Он даже благодарен этому: в сентябрьском ливне никто не заметит, что ты обмочился. Вода равнодушно-холодная, но это неважно: пока сохраняется чувствительность в пальцах, он способен опустить четвертак в автомат, он может…

Если первый припадок был подобен вспышке молнии, то второй — будто раскат грома. Он чувствует, как подгибаются колени, как щека впечатывается в кирпичный тротуар так сильно, что наверняка останутся синяки в пол-лица, мир становится сапфирово-синим, а потом наступает темнота, и он уже ничего не чувствует.



Когда Роджер открывает глаза, дождь уже прекратился и тень на задворках сознания практически исчезла. Люди идут по тротуару — некоторые все еще держат над головой зонтики, — глядя на него со спокойным безразличием, будто не смогли найти по телевизору ничего более интересного. На этот раз сесть гораздо труднее — как и должно быть после серьезного припадка. Вокруг, поблескивая серебром под завесой дождевых капель, рассыпаны монеты. Любопытство и осторожность, должно быть, не смогли пересилить друг друга, поэтому его никто не ограбил. Он старается собрать как можно больше монет; руки у него дрожат, а колени болят — в течение часа им дважды как следует досталось.

Поднявшись на ноги, он плетется к телефонной будке, шатаясь, будто пьяный. Идти немного, но даже это расстояние его выматывает; он останавливается, опирается рукой о шершавую кирпичную стену и, опустив голову, пытается сделать глубокий вдох, чтобы, когда он дозвонится, его голос не походил на голос сумасшедшего. Все расплывчато и странно. Неподалеку притаился третий приступ, сильнее всех предыдущих,

он подкрадывается все ближе, словно монстр из ужастиков Доджер. Скоро он до него доберется, и тогда свет погаснет навсегда. Слова закончатся навсегда.

За этой гранью слова уже не смогут ему помочь.

А может, и смогут.

– *Доджер*, — шипит он, и впервые в жизни ему глубоко плевать на то, что кто-то может услышать или осудить его за то, что он разговаривает с воображаемым другом.

Он ныряет в пустоту, в пространство, которое они создали друг для друга, туда, где она позволяла ему видеть ее глазами, а он позволял ей видеть своими.

— Доджер, *что ты натворила*?

Она не отвечает словами: слова никогда не были ее сильной стороной, и, если слова сейчас ускользают даже от него, должно быть, у нее их совсем не осталось. Вместо этого ее веки приоткрываются, и он видит густо переплетенные заросли ежевики с последними ягодками прошедшего лета; кажется, что в Калифорнии вегетационный период длится вечно — неохотно закончившись, он, едва позволяет погода, тут же начинается снова. Калифорния — словно другая

планета, ну или та же, но населенная существами, непостижимыми, как число пи.

— Доджер. Ответь мне.

Она молчит. Они почти никогда не ощущали, что чувствует другой, но, возможно, это чувство говорит само за себя: глубокая удовлетворенность, смешанная с горьким «прости»; это чувство пробирает его до костей, вышибая воздух из груди. Она закрывает глаза. Но недостаточно быстро. Он видит кровь на кончиках ее пальцев (ее глазами, так что кровь красная, красная-красная-красная); эта вытянутая рука — единственная часть тела, попадающая в ее поле зрения, и он понимает, что она предвидела, что он выйдет на связь, что он предпримет эту неистовую попытку достучаться до нее, и с математической точностью скрыла все, что могло бы сказать ему, что она сделала, куда именно и как глубоко надавила бритвой. Кончики пальцев — случайность. А еще он понимает, что она потеряла так много крови, что даже не поняла, что он их увидел. Она вряд ли хочет, чтобы ее спасали.

Она вряд ли подозревает, что забирает вместе с собой и его, и, даже если он сейчас ей об этом скажет, она вряд ли сможет что-нибудь сделать. Все уже зашло слишком далеко.

— На хрен эту квантовую запутанность, — бормочет он и, открыв глаза, снимает телефонную трубку.

Получить номер Стэнфордского университета легко: оператор счастлив его сообщить, даже с удовольствием соединяет Роджера за дополнительный четвертак. Зрение расплывается по краям, те немногие цвета, что обычно ему доступны, словно стираются из мира, как будто Доджер, выходя за порог, забирает даже эти остатки с собой. Он закрывает глаза, но не чтобы дотянуться до нее, а чтобы исключить еще один отвлекающий фактор — мир словно нарочно стремится все больше его отвлечь. Сейчас он не может позволить себе потерять нить разговора. Слишком поздно слишком поздно она уже перешла черту либо спасение придет к ней (а заодно и к нему) прямо сейчас либо уже никогда.

— Твоя принцесса в другом замке, — говорит он и смеется, и все еще пытается взять смех под контроль, когда гудки прекращаются.

— Администрация Стэнфорда, чем я могу помочь вам? — спрашивает резкий женский голос. Этот голос человека, у которого нет времени на ерунду, и он без раздумий повесит трубку, если дать хоть малейший повод.

Роджер открывает глаза. Глядя на свои все более расплывающиеся ноги, он говорит самым вежливым тоном, какой способен выжать на остатках своей энергии:

— Здравствуйте, мэм. Мне необходимо поговорить с профессором Чезвичем.

— Приемные часы профессора Чезвича с восьми до десяти утра в будние дни. Сейчас он недоступен для общения со студентами. Я могу перенаправить вас на его голосовую почту.

Черт. *Черт*. Снова эти дурацкие часовые пояса. Голосовая почта не дойдет вовремя, он это знает, он знал бы это, даже если бы не увидел глазами Доджер кровь у нее на пальцах. Время поджимает.

— Мэм, простите, но вдруг есть какой-нибудь способ соединить меня с ним прямо сейчас, это важно. Я одноклассник его дочери, а Доджер до сих пор нет в школе.

— Не думаю, что это достаточно важный повод…

– *Пожалуйста.*

За сотни миль от него, на другом конце континента, что почти то же самое, что на другом конце света, Пэтси Синклер замирает. Отчаяние в голосе мальчика шокирует само по себе, но еще

в его голосе звучит приказ, и какая-то ее часть хочет на него откликнуться. Хочет сделать все, о чем он попросит. И это *громкая* часть. Похоже, к ней стоит прислушаться.

Пэтси Синклер работает секретарем уже тридцать лет. И она прекрасно справляется; она знает, как отделить зерна от плевел, и следит за тем, чтобы разные чудики и ненормальные не доставали опекаемых ею преподавателей. Она слышала всякое: от отличников, отчаянно пытающихся избежать ответственности за плагиат, до двоечников, вымаливающих еще один шанс. Но этот мальчик… Этот мальчик говорит так, будто он умирает. Или умирает кто-то другой.

Когда она начинает говорить снова, ее голос звучит мягче, любезнее; он успокаивает.

— Успокойся, сынок. Что случилось?

— Пожалуйста. Доджер говорила, что хочет причинить себе вред, но мы не думали, что она действительно это сделает, но ее нет, и я думаю, случилось что-то ужасное. Пожалуйста, можете набрать его номер?

— Хорошо, — отвечает она с придыханием.

И Роджер понимает, что она сдалась. Может быть, когда Доджер нет рядом, лжец из него не такой уж плохой.

(Может быть, дело в чем-то еще. Но, что бы это ни было, сейчас не время.)

На линии что-то щелкает. Идут гудки. Зрение продолжает размываться, создавая сужающийся тоннель, ведущий вниз, вниз, вниз, в темноту. Будто кроличья нора. Вот-вот появится Доджер в жилете и с часами Белого кролика и скажет ему, что он опаздывает. Все рушится. Все разваливается на части.

«У меня нет кровотечения, но налицо все признаки потери крови», — думает он, и третий, последний припадок подступает еще ближе, словно собака, тянущаяся к руке хозяина. Он не ее хозяин, но собака этого не знает. Она будет любить его до самой смерти. «Мы не должны были попасть в Страну чудес», — думает он, и Невозможный город в огне, и скоро все закончится.

Идут гудки, а затем — о чудо! — кто-то берет трубку.

— Кабинет профессора Чезвича, это профессор Чезвич, слушаю вас.

— Сэр, я друг вашей дочери, сейчас она умирает от потери крови в овраге за вашим домом. — Он слишком устал, чтобы лгать. Он должен напугать этого человека, чтобы тот немедленно начал действовать. — У нее есть место за ежевичными

кустами. Она ходит туда с самого детства. Еще не слишком поздно, но она уже потеряла много крови. Вам нужно поторопиться.

— Кто это? — в голосе профессора Чезвича звучит гнев, но еще страх — достаточно сильный, так что у этого звонка все-таки есть шанс сработать.

— Друг. Пожалуйста. Я знаю, вы не хотите мне верить, я знаю, это звучит как бред сумасшедшего, но ради Доджер вы должны добраться до дома как можно скорее. Вы должны спасти ее. Вы должны добраться домой и спасти ее.

Профессор Чезвич что-то лопочет и хочет узнать что-то еще, но Роджер аккуратно кладет трубку на рычаг. Вот и все; он сделал все, что мог. Он пытался. Он отдал последние силы, но он пытался.

— Сколько раз мы будем это делать, Додж? — бормочет он. Окончания слов — будто кашица, оплывают и падают с ложки. Она его не слышит. Связь не ощущается, нет никаких признаков, что дверь еще существует. Все в порядке. Все в порядке. Он пытался. Он пытался… пытался…

На него обрушивается третий приступ — запредельно огромный. Все прочее уходит, а затем уходит и *он*, и это нормально. Все в порядке. Он пытался.

Он пытался.

Спасение

Лента времени: 7:51 PST, 5 сентября 2003 года (тот же день тот же день тот же день)

Питер Чезвич не из тех, кого легко напугать. Он никогда не боялся. Он смотрит ужастики вместе с дочерью и смеется над резиновыми монстрами и преувеличенно жуткими сценами; новости вызывают отвращение, но не *страх*. Это другие люди боятся, а он — нет.

Но, когда он огибает дом и видит мигающие сирены на полицейских машинах, припаркованных за углом, у него едва не останавливается сердце.

Подъездная дорожка к дому перекрыта, поэтому он втыкает машину в первое попавшееся свободное место, наехав передним колесом на поребрик. Но ему все равно. Он уже выскочил из машины и бежит ко входу в дом, а когда полицейский заступает ему дорогу, он ревет: «Я ее *отец*!» с таким неимоверным отчаянием, что мужчина пропускает его и не пытается спорить, не просит успокоиться.

Это плохо. Он знал, что все плохо, с того самого

момента, как мальчик с новоанглийским акцентом повесил трубку (он выследит его, о да, он найдет его и сначала поблагодарит, а потом даст в челюсть так, чтобы у него треснули зубы, потому что он знал, он *знал* и не позвонил, пока не стало слишком поздно). Он знал, что все плохо, когда позвонил домой, и Хезер сказала, что не знает, где Доджер, что она рано ушла в школу и поцеловала ее на прощание, чего не делала с восьмого класса. Каждый знак на пути, начавшемся с того звонка, говорил ему, что все плохо, и он верил им всем.

Он просто не верил, что все *настолько* плохо. Так плохо, что во дворе стоят целых трое полицейских; так плохо, что там, где, вероятно, стояла машина скорой помощи, — пустота. Насколько быстро они увезли ее? Они увезли *ее* или просто тело — пустую, покинутую, бесполезную оболочку? Она донор органов. Она решила поступить со своим телом именно так, как только стала достаточно взрослой, чтобы самой принимать такие решения. Они бы постарались доставить ее в больницу как можно скорее, независимо от того, жива она или мертва.

Мысль о том, что сердце его дочери бьется в чьей-то чужой груди, заставляет его пошатнуться, и ему приходится опереться о дверной косяк

под сочувствующими взглядами полицейских. Ни один из них не пытается его поддержать. Это плохо. Очень-очень плохо.

Хезер, видимо, не поехала в машине скорой помощи, а решила дождаться его. Она на кухне, руки у нее пусты, на полу разбитая чашка с кофе. Она в тупом недоумении смотрит на эту чашку, будто не может понять, как она там оказалась: почему сработала гравитация, почему законы вселенной продолжили работать, а не просто *отключились* в ту самую секунду, когда все это началось. Вселенная должна была ее предупредить. Вселенная хоть как-то должна была ее предупредить.

Внутри еще один полицейский. У него в руках точно такая же чашка, как та, что лежит на полу; он смотрит на онемевшую дрожащую женщину с настороженным хладнокровием человека, который много раз видел, что делает с людьми горе. Он будет здесь столько, сколько потребуется, но самому ему не хочется здесь находиться.

— Хезер.

Питер останавливается у разбросанных в луже осколков. Жена не сводит глаз с пола, словно не услышала его голос.

— Хезер, — снова говорит он, уже громче.

Она поднимает взгляд. Перед тем как он позво-

нил, крича, чтобы она пошла на задний двор и нашла их дочь, она успела накраситься, и тушь прочертила на щеках толстые грязные линии. Она даже не попыталась их стереть. А какой в этом смысл?

— Она жива?

Тот же пустой взгляд, щеки в грязных разводах, молчанье.

— Доджер жива?

— Да, — отвечает она и отшатывается, испугавшись звука своего голоса, сиплого и надтреснутого. Затем повторяет еще раз: — Да.

— О господи, слава богу. — Питера нельзя назвать религиозным человеком, но он еле сдерживается, чтобы не упасть на колени. Вместо этого он поворачивается к полицейскому и спрашивает: — Куда увезли мою девочку?

— Мистер Чезвич? — спрашивает полицейский.

Питер кивает, и полицейский ставит чашку с кофе на стол, подальше от края.

— У вашей дочери серьезные повреждения, которые она, по всей видимости, нанесла себе сама. В последнее время она не казалась подавленной? Может, ссорилась с кем-то в школе или у нее возникли какие-то неожиданные проблемы? Она

ни о чем таком не говорила?

— Ни слова.

Но на самом деле она о таком *говорила*, ведь так? Тому мальчику, который позвонил ему на работу. Мальчику, который мог спасти ее жизнь. Мальчику, который даже не назвал своего имени.

— Вы уверены, что она сделала это сама? — спрашивает он медленно, словно пробирается по минному полю, и какое-то из предложений может взорваться и всех их убить.

Полицейский тут же подбирается.

— Почему вы спрашиваете?

Питер сбивчиво объясняет, что ему позвонил мальчик с новоанглийским акцентом. Мальчик, о котором он раньше не слышал, но тот знал, что Доджер в беде, и *абсолютно точно* описал, где она, хотя Пэтти сказал, что звонит из школы.

Когда он заканчивает рассказ, лицо полицейского становится непроницаемым.

— Что скажете? — спрашивает Питер.

— Мне кажется, пора отвезти вас с женой в больницу, — отвечает полицейский. — Вам нужно быть там.

Он ничего не объясняет. Это не его работа. Но он видел, как их дочь, белую, как бумага, с обеими

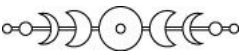
руками, забинтованными от запястья до локтя, погрузили в скорую. Он надеется, что отец прав и на девочку напал неизвестный мальчик, а потом позвонил — то ли из угрызений совести, то ли чтобы позлорадствовать: ему трудно представить, что такая хрупкая девочка могла нанести себе такие раны сама, хотя все улики указывают именно на это. Но для ее семьи было бы лучше, если бы на нее кто-то напал. В таком случае кого-то можно было бы привлечь к ответственности, чтобы он заплатил за содеянное. Но если девочка сделала это сама, что ж…

Она будет расплачиваться годами, если вообще выживет. Неудачная попытка самоубийства всегда влечет за собой последствия. Судя по тому, как медики готовили ее к транспортировке, ее жизнь висит на волоске — объяснять это тоже не его работа. Пусть больничный персонал сам разбирается и со скорбящими родителями, и с последствиями трагедии. Он просто доставит их, куда необходимо.

— Хорошо, — говорит Питер.

Он ступает в кофейную лужицу и успокаивающе кладет руку на плечо жены. По крайней мере, он пытается сделать этот жест успокаивающим. Она не реагирует на его присутствие. Вообще.

— Пойдем, — говорит он.



Доджер открывает глаза и видит белый потолок в тускло освещенной комнате; ее первая мысль — смерть до ужаса похожа на пробуждение после желудочного гриппа. Все как бы в отдалении, зыбкое, будто это не реальность, а искусные декорации, сконструированные эльфами, пока она ничего не видела.

Ее вторая мысль — если это и правда смерть, слишком много всего вокруг пикает и мигает. Она пытается сесть и обнаруживает, что у нее нет сил; будто ее мышцы, как и весь остальной мир, тоже заменили на бутафорию. Что-то странно давит на правую руку. Она поворачивает голову. Вся рука от плеча до запястья забинтована; у сгиба локтя под бинты заныривает линия капельницы. С ее губ срывается стон, в котором смешались отчаяние и разочарование. Она не из тех, кто легко справляется с провалами, а уж с таким… После такого в прежнее русло уже не вернуться. Она больше не будет гением-себе-на-уме, а превратится в девочку-которая-хотела-покончить-с-собой. Хотела, но не смогла. Даже это она не смогла

сделать правильно.

Доджер закрывает глаза и гадает, как много крови она потеряла. «Может быть, все-таки достаточно много, и после переливания крови у меня будет сердечный приступ от шока», — с надеждой думает она. Она не знает, бывает ли такое на самом деле, но звучит неплохо, и, по крайней мере сейчас, ей проще в это поверить. Проще справиться с разочарованием от того, что она не смогла даже правильно умереть.

— Доджер? — Голос матери надломлен.

Доджер снова открывает глаза, поворачивая голову на звук.

— Мама? — хрипит она.

— Ты очнулась! — Мать стремительно пересекает комнату и останавливается возле самой кровати; ее руки мельтешат перед лицом, словно она не знает, куда их деть.

Она смыла с лица тушь, но бледность осталась; они одинаково бледны — мать и дочь. Из обеих словно выкачали всю кровь.

— Ты очнулась, — повторяет она.

— Да, — шепчет Доджер, закрывая глаза. — Кажется.

Она так устала. Она даже не уверена, что все это происходит на самом деле, может быть, она

умирает, и ей снится кошмарный сон. Но она все равно напрягается. Сейчас начнутся крики. Но нет.

— Полицейские сказали нам, что случилось. Этот мальчик из Новой Англии… Они его найдут. Просто скажи, как его зовут, и они найдут его.

Глаза Доджер снова распахиваются. Она удивленно смотрит на мать.

— Что?

— Представляешь, он позвонил отцу. После того как он затащил тебя в овраг и изрезал, он позвонил твоему отцу на работу и сказал ему, что ты там лежишь и истекаешь кровью. Если бы меня не было дома… — Хезер Чезвич вздрагивает. Она видит это будущее удивительно ясно. Мир, из которого ушли краски. — Доджер, тебе так повезло. Нам всем так повезло. Просто скажи полиции, как его зовут, и мы его поймаем, и он больше никогда не совершит ничего подобного.

— О, — шепчет Доджер. Она закрывает глаза и не торопится их открывать.

«Вот как ты расплатился за то, что бросил меня одну; ты спас меня, когда я не хотела, чтобы меня спасали», — думает она, и это истинная правда, круг замкнулся. Он оставил ее, и она долго-долго падала, но, когда она действительно в нем нуж-

далась, он ее поймал. Он ее поймал. Он ловит ее прямо сейчас.

— Я не знаю, как его зовут, — лжет она, и мать верит ей.

И, когда приходит отец, он тоже ей верит, потому что Доджер Чезвич — очень хорошая лгунья; потому что ее история лучше правды, по крайней мере на этот раз. По крайней мере сейчас. А может быть, останется такой навсегда. В полиции ей верят не до конца, но записывают ее показания и обещают держать ухо востро. Она будет жить. Их дело сделано.

Через неделю ее выписывают из больницы. Она едет домой, и по внутренней стороне обеих рук у нее бегут швы, будто уравнения, которые она никогда не сможет решить, а когда швы снимут, останутся едва заметные шрамы, которые просто так даже не разглядишь. Она всю жизнь будет знать, что они там есть, но, наверное, это и хорошо. Может быть, ей необходимо постоянное напоминание о том, что она не может прыгнуть в пропасть, потому что кто-то непременно ее поймает, неважно, хочет она этого или нет.

Она то и дело слышит, как Роджер ее зовет, — почти целый год. Она не отвечает. Полиция ищет мальчика из Новой Англии, а она точно знает,

где он, и не отвечает ему. В конце концов он перестает выходить на связь. И это тоже совершенно правильно; это тоже означает, что круг замкнулся.

Пройдет пять лет, прежде чем они встретятся снова.

И этих пяти лет даже близко не будет достаточно.

Циб обхватила колени и наблюдала, как хмурый Эйвери, засунув руки в карманы, вышагивает взад-вперед по радужному переливу невероятной дороги.

– Ты уже перестал на меня злиться? – окликнула она его.

– Нет, – угрюмо ответил он. – Ты не должна была так поступать.

– Нам нужно было что-то отдать Шмеледведю, чтобы он нас пропустил. Мою рогатку или твою линейку отдавать было нельзя. А от того, что мы отдали блеск с твоих ботинок, нам хуже не стало.

– Мне стало хуже, – возразил Эйвери. Он наконец прекратил вышагивать и повернулся к ней.

Без блеска его ботинки стали самыми обычными кожаными ботинками, как у любого ребенка на детской площадке. В них больше не отражалась его рубашка, и оттого она казалась менее накрахмаленной; волосы казались чуть менее причесанными. Теперь он выглядел как самый обычный мальчишка.

Циб почувствовала, как ребра щекочет страх. Сможет ли эта дорога привести их домой, если они по пути потеряют самих себя?

А. Дебора Бейкер «За лесоградной стеной»

Книга III
Аспирантура

Хаос: настоящее определяет будущее, но приблизительное настоящее не определяет его даже приблизительно.

Эдвард Лоренц

Время на все есть; свой час для беседы, свой час для покоя[11].

Гомер «Одиссея»

[11] Примечания: 11
Перевод В. А. Жуковского.

Родственный визит

Лента времени: 0:00 PST, 6 сентября 2003 года (полночь)

Мужчина в пурпурной мантии идет по больнице при свете свечей, но никто не останавливает его и не спрашивает, куда он направляется. Никто даже не смотрит в его сторону. Он невидим или почти невидим, но разницы фактически нет, и все благодаря облитой воском руке, которую он несет. Из-под ногтей вырастают фитили, горящие ровным голубым светом.

Рид полагает, что Даррену было бы приятно узнать, что каждая часть его тела послужила на пользу дела. Но судить трудно — мальчик всегда был себе на уме.

Рид идет, цокая каблуками по полированному полу, пока не доходит до отдельной палаты. Дверь закрыта. Хорошо. Он хочет видеть девочку. Он не видел никого из них с того дня, как они родились, а сегодня они едва не потеряли и эту пару.

Рид открывает дверь свободной рукой и проскальзывает внутрь, в комнату, где спит Доджер.

Она подключена к аппаратам, которые от-

слеживают ее состояние, и выглядит такой маленькой, что почти теряется среди простыней. Ему кажется, что это самое подходящее место, чтобы на нее посмотреть: больница, в конце концов, довольно похожа на лабораторию — стерильная, сверкающая, идеальная. *Девочка* тоже идеальна. Глаза у нее закрыты, на фоне бледных щек выделяются рыжие ресницы, и она так похожа на Асфодель, что даже в своем черством, ожесточенном сердце он чувствует укол сожаления: если бы он не убил свою наставницу и не присвоил себе все, что она любила, все было бы совсем по-другому.

Наследственность — это не только кровь. Это созвучные вибрации вселенной, рождающиеся там, где атом становится алхимией. Асфодель создала его, а он создал это надломленное дитя: Доджер — внучка Асфодель в самом прямом смысле этого слова, ее Циб, которая наконец обрела плоть и теперь лежит на белых простынях с бинтами на руках, ожидая его одобрения.

— Здравствуй, дитя, — говорит он и проводит пальцами свободной руки по щеке Доджер.

Девочка всхлипывает и ворочается во сне, но не просыпается. Рука славы работает, и работает исправно.

— Ты поставила меня перед дилеммой, — продолжает он. — Ты пыталась убить себя. И у тебя почти получилось. Либо ты слаба, либо ты неудачница — но, боюсь, ты в любом случае не подходишь для дела, для которого тебя создали. Двое из вас уже сошли с дистанции. Еще двое не подают никаких надежд, а только упорно пытаются выжить. В тебе слишком много огня и слишком мало небесной тверди. Зачем мне тебя оставлять?

Сет и Бет мертвы, препарированы, развеяны в прах; Энди и Сэнди еще живы, но они заурядны и лишены чувств. Их скоро снимут с дистанции, если только не произойдет неожиданных и значительных изменений. Доджер и Роджер — последняя надежда этого поколения кукушат, но, глядя на Доджер, довольно трудно представить, что эта надежда когда-нибудь принесет плоды. Возможно, пришло время начать все сначала.

Но, когда эта пара сделала первый вдох, астролябия завертелась в обратную сторону. Их рождение запустило последнюю стадию его плана, и он *хочет*, чтобы это были они, да, именно они. Даже если у них не хватит сил привести его в Невозможный город, он хочет, чтобы они изъявили Доктрину, всю целиком.

— Так зачем? — снова задает он вопрос, и это уже не вопрос, а приказ.

Доджер, маленькая и несчастная, вздыхает во сне.

— Небо горит золотом, а дорога такая длинная, — говорит она. — Он не сможет добраться туда без меня.

— Он? — Рид придвигается ближе. — Кто?

— Там есть башня, — говорит она. — В центре города. Башня, созданная из расчетов. Если я разгадаю их, я пойму, как устроена вселенная. Пожалуйста, можно мне их разгадать?

Рид колеблется. У нее цифры, а не слова; она может говорить неточно.

— А ты сможешь? — спрашивает он.

Ее глаза по-прежнему закрыты, дыхание ровное, она смеется.

— Я могу, могу, я знаю, что могу, но мне нужно туда попасть, можно? Пожалуйста-пожалуйста, можно?

— Ты разгадаешь их для меня?

— Я разгадаю их для себя. Мне все равно, что случится после.

Все-таки она не Асфодель, у нее нет амбиций бабушки, на которую она так невероятно похожа. И она — не он, хотя все, чего он когда-либо

хотел, — это узнать тайны Города, найти потерянные слова в золотой библиотеке и числа, сокрытые в алмазной башне. Она хочет раскрыть все эти тайны просто для того, чтобы знать, что она это сделала, а затем уйти прочь.

Она идеальна.

— Пока что дорога твоя, — отвечает он и, наклонившись, целует ее в висок. — Мой подарок тебе, дочь моя, поможет тебе пережить предстоящие дни, пока ты будешь выздоравливать: ничего из этого не было правдой. Мальчик — просто сон. Когда ты проснешься, он исчезнет.

Доджер стонет во сне, потом затихает.

Утром на месте поцелуя появится волдырь. Через неделю он лопнет, но будет воспаляться еще почти целый год и только потом кое-как заживет. Но это неважно.

Когда наступает утро, она по-прежнему жива; она спит, а в комнате никого нет.

Все продолжается отсюда.

Ориентационная неделя

Лента времени: 08:35 PST, 15 августа 2008 года (пять лет спустя)

Склонившись над рулем велосипеда и усиленно крутя педали, Доджер с сердитым видом въезжает на территорию кампуса. Она знает, что опаздывает, — на триста семь секунд, которые превращаются в триста восемь, когда ей приходится крутануть руль, чтобы не задавить белку. В триста девять — когда она перескакивает через поребрик и шины каким-то чудом становятся в нужное положение. Она бы совсем не расстроилась, если бы случилось иначе. Доджер не станет причинять себе вред намеренно (лезвия, кошмары и сеансы групповой терапии для жертв насилия — это прошлое, а не будущее), но синяки и царапины могут вызвать хоть немного сочувствия, а слова «простите, я до четырех утра спорила с математиками, живущими на другом конце света» просто выставят ее чудачкой.

(Порой ей кажется, что бритвенные лезвия не так уж далеко в прошлом. Она преобразовала свои порывы к саморазрушению в «здоровые»

формы — гоняет на велосипеде среди машин или не спит, пока не появятся галлюцинации, — но это не значит, что порывы исчезли. Просто их стало труднее заметить со стороны. Она научилась лгать еще лучше, лучше, чем сама от себя ожидала, даже когда убеждала родителей, что с ней все в порядке. Здоровый калифорнийский образ жизни как метафора для суицидальной депрессии. Роджер отругал бы ее за это; сказал бы, что не для того учил ее, что такое метафора — метафо́ра, — чтобы она ими злоупотребляла. Но какая разница, что думает Роджер. Она больше никогда его не увидит.)

На триста семнадцатой секунде она тормозит у библиотечного крыльца; шины с визгом проскальзывают по заросшей сланцевой дорожке. Конечно, вся остальная группа, собравшаяся на ознакомительную экскурсию, уже на месте, и конечно, ждут только ее: девочку, чей показатель опозданий пока равняется ста процентам. Она сократит его до пятидесяти, когда придет вовремя на следующую встречу, потом до тридцати трех, двадцати пяти, и он будет все уменьшаться и уменьшаться, пока не станет пренебрежимо малым… Но это неважно. Все все равно будут помнить, что в первый раз она опоздала. Это ее

не радует, но она изображает улыбку, спрыгивает с велосипеда и пристраивает его у основания крыльца.

— Простите, — говорит она. — Я совсем забыла о времени.

— О времени, о пространстве, о том, где ты оставила ключи… — говорит одна из таких же аспиранток и смеется, и ее смех пугающе похож на брачный крик кукабуры. Это красивая брюнетка со смуглой кожей и длинными волосами; на ней толстовка с геометрическим узором из оранжевых, розовых и канареечно-желтых квадратов. Может быть, она — тот второй математик, которого обещали Доджер, когда она записывалась в эту экскурсионную группу. Было бы здорово. Математики женского пола *существуют*, просто встречаются реже, чем ей хотелось бы, и у большинства из них нет чувства юмора.

Всего их шестеро, включая девушку в примечательной толстовке. Высокий бритоголовый парень с по меньшей мере одиннадцатью татуировками, молодая китаянка — она не оторвала взгляда от мобильного, даже когда велосипед Доджер с визгом проехался по дорожке, — пухленькая блондинка с розовыми прядками и восторженным выражением лица, как будто

кампус — самое удивительное место, какое она видела в своей жизни, и крепкий загорелый мужчина с кустистой бородкой и в футболке с надписью, предлагающей людям спросить у него, как пройти на улицу Сезам. Все выглядят куда бодрее, чем Доджер, но еще — и это важнее — они выглядят как ее единомышленники. Они отмечены печатью приветливой утомленности (именно такая у нее ассоциируется с аспирантами) и спокойного смирения с неизбежным (оно у нее ассоциируется с людьми, которых она почти никогда не бесит). Может быть, они смогут подружиться.

— Мы ждем еще одного человека, — говорит парень с татуировками. У него удивительно мягкий голос, и в нем слышится легкий новошотландский акцент. На парне кожаный жилет — целая Страна чудес из значков, булавок и нашивок с панк-группами, о которых она никогда не слышала. Как будто она встретила путешественника во времени, который перенесся из прошлого на несколько десятков лет вперед, а заодно перескочил через пару континентов. — Так что ты не последняя. Меня зовут Кот.

— Родители назвали его по-другому, — сообщает девушка, которая торчит в телефоне.

— Тебя родители тоже назвали не Джессикой, — парирует Кот. В его голосе нет раздражения — этот диалог явно происходит не в первый раз.

— Нет, они просто дали мне имя, которое белые люди не в состоянии выговорить. Мне надоело слышать, как его коверкают, поэтому все зовут меня Джессика, и мы страшно довольны тем, какие мы прогрессивные. — Джессика наконец поднимает взгляд. — А знаешь, что белые люди вполне в состоянии выговорить? «Том».

— Но я *не похож* на Тома, — протестует Кот.

— На Кота ты тоже не слишком похож. У тебя нет хвоста.

Доджер фыркает, чтобы не рассмеяться, и поднимает руку, как на уроке, чтобы привлечь внимание.

— Если кому-то от этого станет легче, меня родители назвали «Доджер», — говорит она.

— Ух ты, круто, — говорит Кот. — На такое имя я согласен.

— Походи с таким именем в среднюю школу и тогда уже соглашайся, — мягко говорит Доджер.

— Смита, — говорит девушка в примечательной толстовке, прикладывая руку к груди.

— Дэйв, — говорит мужчина с бородой.

— Я… м… Лорен? — По акценту блондинки

понятно, что она со Среднего Запада; в конце предложения интонация идет вверх, как будто это вопрос. — Я биохимик.

— Круто, — говорит Доджер. — Мы все естественники?

— Химия, — отзывается Дэйв.

— Генетика, — говорит Смита. — Так что если тебе нужен биологически точный велоцираптор — это не ко мне. А вот если какое-нибудь кошмарное порождение науки, свернувшей на кривую дорожку, то дай мне пару лет, и я его тебе преподнесу.

— Круто, — снова говорит Доджер. Ей кажется, что это слово придется повторить еще много раз.

Она не против. Это же аспирантура. Если здесь не круто, значит, она где-то сделала неправильный выбор. Ей *не очень* нужна степень. Ей не хочется преподавать — она просто не может представить себя на месте отца и не собирается провести всю жизнь в кабинете, — а с теми наградами, что у нее уже есть, с тем, чего она уже добилась, чего достигла, она могла бы сделать научную карьеру и без дальнейшего обучения. Но она хочет учиться. Она зависима от знаний больше, чем от всего, чем можно напичкать тело, она это знает наверняка: она перепробовала все,

что есть, и даже кое-что, чего *нет* (спасибо новаторам с химического факультета). Ничто из этого не сравнится с процессом получения знаний.

(Это не совсем правда. Она никогда не курила. Запах сигарет навевает мысли о Кембридже, а думать о Кембридже — значит думать о том, чего никогда не было, о том, что едва не погубило ее, когда она была еще слишком маленькой и не знала, как удержаться на плаву. Так что она избегает сигарет и всего, что может напомнить об этой части прошлого. Да и не то чтобы никотин так уж стимулировал нейроны. На самом деле их стимулирует ритуал, а ритуалов у нее предостаточно.)

Джессика, снова оторвав взгляд от мобильного и прищурившись, с подозрением рассматривает Доджер.

— Доджер, — говорит Джессика.

— Да, — отвечает Доджер.

— Доджер *Чезвич*.

— Да.

— Ты решила задачу Монро, когда тебе было… девять?

— Где-то так, — отвечает Доджер.

— Никогда в это не верила, — говорит Джессика. — Кто тебе помог?

— Никто, — отвечает Доджер. — Дай угадаю:

математика?

Джессика кивает.

— Прикладная и определенно вычислительная. А ты?

— До сих пор мечусь между динамическими системами и теорией вероятностей, но, может, не буду пытаться свалить отсюда через четыре года, а задержусь еще на год и проработаю оба направления. Но на самом деле сейчас мне хочется заняться теорией хаоса и теорией игр. Так что я вообще не знаю, куда меня занесет. — Доджер широко разводит руками. — В каком-то смысле я здесь как раз за этим. Чтобы было время понять, чего я хочу.

— Теория хаоса… Это же то, чем занимался чувак из «Парка юрского периода»? — спрашивает Кот.

— Вроде того, — отвечает Доджер и мысленно благодарит себя за то, что не надела футболку с соответствующим принтом.

Она раз за разом меняла их по мере того, как росла, — Господи, спасибо за «Хот Топик»: там всегда рады потворствовать ностальгическим настроениям. Остальные дети предпочитали Санта-Клаусов и пасхальных зайчиков. А она — Яна Малькольма и мир, где математики могли

стать рок-звездами.

— Я все еще не верю, что ты сделала это сама, — говорит Джессика.

Доджер пожимает плечами.

— Дело твое.

Она привыкла к такой реакции, и это уже почти не ранит. В математическом сообществе царит дух соперничества, здесь полно гонок — кто первым решит задачу, над которой ученые ломают головы многие годы. Она решила восемь таких задач и опубликовала решения шести из них. Одни считают ее лгуньей, другие — мистификаторшей, а третьи — особенно словоохотливые — актрисой, нанятой, чтобы прикрывать революционный ИИ. Доджер не совсем понимает, в чем была бы идея, но мысль по-своему очаровательна.

— И где же наш опаздывающий? — спрашивает Дэйв. — Я рад ходить на экскурсии по кампусу и «выстраивать связи с коллегами-одногодками», но только если из-за этого я не опоздаю во все остальные места, где меня ждут. Социальная активность — одно дело, но это уже просто глупо.

— Думаю, мы подружимся, — сообщает ему Доджер.

Дэйв широко улыбается ей в ответ.

Начинают вырисовываться социальные моде-

ли: кто пришел сюда по желанию, а кто — потому что «так надо». Кто настороже и выискивает потенциальных соперников, а кто искренне хочет поговорить хоть с кем-нибудь в незнакомом кампусе. Доджер стала лучше считывать подоплеку поведения в подобных ситуациях, она просчитывает их, как уравнения. Идеального инструмента для прогнозирования из этого все равно не получится: к сожалению, люди — не числа, — но можно просчитать вероятности. Это тоже помогает лгать лучше. Последние месяцы средней школы она провела в рубашках с длинными рукавами, за спиной у нее каждый день шептались о «таинственном нападении», и она всегда помнила, какой узкий мостик отделяет ее от шепотков о «гениальной девочке, которая хотела покончить с собой, потому что не смогла вынести давления». Социальная изоляция перестала работать.

В университет она пришла совершенно другим человеком. Она улыбалась, смеялась, общалась — и тщательно записывала реакции окружающих на каждое свое действие. Она подошла к социальному взаимодействию так, словно это была еще одна задача, которую нужно решить, еще одна награда, которую нужно завоевать. Теперь у нее

есть друзья — после выпуска они разъехались по разным городам, но поклялись поддерживать связь в интернете. Есть люди, которые заметят, если она исчезнет.

Ей хотелось бы, чтобы дружба значила для нее больше, чтобы она по-настоящему переживала за своих друзей так же, как они, по-видимому, переживают за нее, но никто в этом мире не получает всего, что хочет. Поэтому пока она может симулировать отношения достаточно правдоподобно, чтобы люди отвечали ей взаимностью, — ей этого достаточно. Этого должно быть достаточно.

Она может подружиться с Дэйвом и Смитой, если потратит немного времени на то, чтобы установить с ними связь. Наверное, так она и поступит. Друзья полезны, и она, следуя правилам дружбы, старается отдавать столько же, сколько получает. Если, когда они болеют, она приносит им суп не из сочувствия, а потому, что этого требуют правила, что это меняет? Они по-прежнему получают суп. Она по-прежнему получает взаимодействие с людьми. Уравнение сходится.

Лорен — неизвестная величина. Кот, вероятно, *мог* бы стать другом, но он уже почти пять минут не сводит глаз с ее груди, а Доджер это уже перестало казаться плюсом. Раньше, когда она

пыталась наладить социальное взаимодействие, ей нравилось, если парни ненадолго зависали, глядя на ее грудь, — это был словно чит-код для нахождения общего языка. Но по мере того, как она выстраивала математику общения, ей расхотелось прибегать к уловкам.

С Джессикой, похоже, будет непросто. Это нормально. Доджер нравятся трудные задачи.

— Где ты училась в бакалавриате? — спрашивает Смита.

— В Стэнфорде, — отвечает Доджер. Сейчас почти все вокруг задают этот вопрос, и она без паузы делает обратную подачу: — А ты?

— В Брауне.

Остальные тоже рассказывают, кто откуда, минуты текут, и вот опоздание Доджер уже полностью затмевается ожиданием их гида, который, похоже, идет на рекорд.

— Если бы именно этот парень не показывал нам кампус, я бы предложил его не ждать, — говорит Кот.

Все согласно бурчат, включая Джессику и Доджер, и, возможно, это первый и последний раз, когда они в чем-то согласны. (Не то чтобы это было плохо. Конкуренция побуждает работать лучше. Не совсем мирно, но с каких пор мир име-

ет отношение к маршу научного прогресса?)

— А может, нам правда его не ждать? — Лорен немного наклоняет голову, будто ей стыдно за свое предложение. — Давайте потеряемся тут все вместе? Будет прикольно?

Эта ее манера говорить — будто она постоянно во всем сомневается — наверняка скоро приестся. Но они на разных дисциплинах, так что их пути вряд ли будут часто пересекаться, кроме того, сегодня — время Приветливой Доджер, Дружелюбной Доджер, Доджер-которой-не-плевать. Она нацепляет широкую улыбку и говорит:

— Кажется, я видела «Старбакс» прямо рядом с кампусом.

— Я точно видел! — раздается новый голос.

Все разом оборачиваются и видят высокого тощего мужчину, который идет в их сторону. Он шатен, волосы у него как раз такой длины, чтобы их можно было собрать в хвост; очки в проволочной оправе имеют такое же отношение к моде, как грязь под ногами. В руках у него стаканчик со знакомой зеленой русалкой, которая отлично дополняет сине-золотую толстовку Калифорнийского университета в Беркли. Он словно сошел со страниц брошюры для студентов, и у Доджер от его вида моментально сводит челюсти. В нем

есть что-то до боли знакомое. Со временем она научилась опасаться того, что кажется слишком знакомым.

— Ты наш гид? — спрашивает Смита. — Ты опоздал, и тут уже назрел бунт.

— Ну, это не первый бунт в моей жизни, — говорит мужчина. — Что-то в моей внешности побуждает людей восставать против меня. Даже когда меня с моей внешностью рядом нет, они все равно бунтуют. Я Роджер Миддлтон, и я открою вам врата, ведущие к чудесам кампуса Калифорнийского университета в Беркли. Пожалуйста, смотрите под ноги, простите меня за мое опоздание и не кормите белок, потому что бывает такое, что они грабят людей, чтобы… Мисс? Вы куда?

Все снова поворачиваются, на этот раз к Доджер, которая уже схватила велосипед и как раз перекидывает ногу через сиденье, крепко сжимая руками руль. Она краснеет, увидев, что они — и *он* — смотрят на нее.

Затем снова изображает улыбку, как будто та и не исчезала с ее лица.

— Простите, я внезапно вспомнила, что не покормила кота перед тем, как уйти. Еще увидимся, ладно?

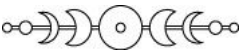
Кот достался ей вместе с квартирой, и она его

сегодня уже кормила, но это неважно. Что значит еще одна ложь перед лицом всей той лжи, что она уже нагородила, которую она выдает каждый раз, когда изображает искреннюю улыбку, вместо того чтобы открыть рот и закричать? Ложь — ничто. Это валюта, которой она расплачивается за оставшуюся ей жизнь.

Но теперь лжи недостаточно. Роджер побледнел, как только она заговорила, и как он мог не побледнеть? Он не мог увидеть цвет ее волос — самую яркую ее черту — своими собственными глазами, но ее голос все детство звучал у него в голове. Они будто выросли друг у друга в кармане, только рука и перчатка менялись местами, когда возникала необходимость, и он знает ее голос как никто другой — даже лучше, чем она сама, потому что он слышал ее голос не только через ее уши, но и через свои. Она никак не может от него спрятаться. И никогда не могла. И не должна, потому что он не настоящий, не настоящий, *не настоящий*.

Он просто сон, который однажды едва ее не убил, и ей нельзя снова заснуть. Не теперь, когда она столького добилась. Она не дает ему ответить. Просто машет, отталкивается и жмет, жмет на педали изо всех сил, чтобы как можно быстрее

уехать — но слишком медленно, это всегда будет слишком медленно.



Роджер, застыв, стоит перед библиотекой, в полном онемении глядя на стремительно удаляющуюся спину Доджер. «Конечно, она здесь», — полубессознательно думает он. Он ждал, что она вернется в его жизнь, с того самого момента, когда очнулся — промокший, весь в крови — на тротуаре Гарвардской площади. Припадок следовал за припадком: его тело боролось за то, чтобы выжить, пока тело Доджер боролось за то, чтобы умереть. В конце концов он выстоял, и выжили они оба. Он знал это, потому что «загадочное нападение» неизвестного подростка на «совсем еще юное калифорнийское математическое дарование» попало во все газеты даже в Массачусетсе. Говорилось там и о том, что у парня, кем бы он ни был, был новоанглийский акцент, но толку от этого было мало, потому что больше опереться властям было не на что.

Роджеру понадобилось постыдно много времени, чтобы догадаться, что ищут именно *его*, что Доджер убедила полицию, что это *он* на нее

напал. В свое оправдание он мог сказать, что в это время ему пришлось разгребать кучу проблем. Когда мисс Браун позвонила в администрацию, чтобы спросить о его самочувствии, она узнала, что он там даже не появлялся. Когда стало ясно, что его вообще нет на территории кампуса, из школы позвонили родителям, и после недолгих поисков его нашли возле телефонной будки. Он сидел, прислонившись к стене, прижимая к носу свернутый носовой платок — это был платок Элисон, который он в какой-то момент небрежно сунул в карман и благополучно про него забыл, и вот теперь он оказался так кстати, — потому что из носа все еще шла кровь.

На него кричали. Читали нотации. Сделали кучу рентгеновских снимков и МРТ и обнаружили, что отчего-то произошло кровоизлияние в мозг, совсем небольшое, но достаточное, чтобы вызвать такие припадки. В то время он не знал подходящих слов. Теперь знает: аневризма, гематома, экхимоз. В то время он переживал только о последствиях повреждения мозга — вдруг он потеряет ту тонкую, невыразимую грань, которая делает его тем, кто он есть. Потом, когда стало ясно, что ничего такого не случилось, он начал беспокоиться о Доджер, звать ее, ждать ответа.

Роджер точно знал, что она жива. Но она ни разу не ответила, так что он начал подозревать, что, быть может, именно это и потерял: не физиологические способности, а сверхъестественные. То, что она с собой сделала, разрушило квантовую запутанность, и, хотя ему удалось спасти Доджер, он не смог удержать их вместе.

Элисон пришла навестить его в больнице только через неделю — принесла коробку со всеми его вещами, которые накопились у нее дома за время их отношений. Ей не нужно было говорить, что все кончено, — ему было достаточно одного взгляда на коробку, чтобы понять, что это значит. К ее чести, она не кричала. К его чести, он не пытался оправдаться. Она просто аккуратно поставила коробку рядом с кроватью, повернулась и ушла.

И вот теперь, пять лет спустя, он стоит в окружении блестящих аспирантов, которые прибыли со всех уголков страны или даже света, и смотрит вслед уезжающей Доджер. Он мог бы попытаться ее позвать — закрыть глаза, назвать ее по имени и надеяться, что она его услышит, — но это был бы верный способ заполучить репутацию маньяка или одержимого бывшего. К тому же она на велосипеде. Даже если они все еще могут связываться, как раньше, она может не справиться

с шоком, услышав его у себя в голове, потерять управление и свалиться с велосипеда. Не лучший способ возобновить отношения, которые и так были в лучшем случае… непростыми.

Прежде чем повернуться к остальным членам своей экскурсионной группы, Роджер делает большой глоток кофе.

— Не думал, что мы потеряем одного из вас так скоро. Если кто-то еще хочет от меня убежать, лучше сделайте это прямо сейчас, чтобы моему эго не пришлось страдать несколько раз. Был бы вам премного благодарен. Есть желающие? Нет? В таком случае попытка номер два: меня зовут Роджер Миддлтон, и я открою вам врата, ведущие к чудесам кампуса. Поднимите руки, кто из вас уже здесь бывал.

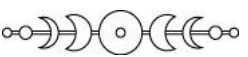
Они поднимают руки. Все здесь не впервые: они уже приходили сюда вместе с другими абитуриентами, присматривались к месту, пытаясь выбрать, какой именно кампус осветить своим блестящим умом.

Роджер здесь уже пятый год; он плавно перешел от одной ступени к другой, чтобы не разгребать все свои вещи для переезда обратно в Массачусетс, пока это не станет абсолютно необходимо. Даже переездов из общежития в

общежитие, а затем в собственную квартиру за пределами кампуса ему хватило, чтобы всерьез задуматься над идеей остаться в Калифорнии. Здесь нет настоящих времен года — нормальным февралем Калифорния так и не обзавелась, — и во все подряд добавляют авокадо, но, если он останется здесь, ему не нужно будет паковать книги, которые он тщательно собирал все пять лет. Это стоит того.

— Отлично, все уже были, — говорит он. — В таком случае кто из вас желает осмотреть лаборатории и библиотеку, а кто хочет пойти на Телеграф-авеню и познакомиться с разнообразной пищей, которая не позволит вашему духу расстаться с телом, пока вы будете здесь обретаться?

Как и ожидалось, все предпочитают буррито, а не доски и мел. Улыбаясь, Роджер ведет их к выходу из кампуса. Это единственное, что ему сейчас остается. Только продолжать улыбаться.



Доджер делит квартиру с еще двумя аспирантками: Кэндис изучает психологию развития ребенка, и поэтому в квартире повсюду валяются

деревянные кубики, а Эрин изучает теологию и живет по странному графику — с тех пор как все они заехали в эту квартиру, Доджер видела ее только дважды. Когда она добирается до дома, обеих соседок нет. Это хорошо. Это очень-очень хорошо. Ей нужно подумать.

Прислонив велосипед к стене, Доджер идет по коридору с множеством книжных полок в свою комнату — маленькую белую коробку со столом и кроватью, отодвинутыми подальше от блестящих стен. Первое, что сделала Доджер, когда переехала, — получила разрешение выкрасить стены глянцевой белой краской, превратив их таким образом в гигантскую маркерную доску. Вся ее одежда умещается в шкаф, а книги она хранит на общих книжных полках в коридоре. В этой комнате она живет. Она не может жить там, где не может работать.

Она снимает колпачок с маркера, подходит к ближайшей стене и начинает писать.

Типичная сцена из ужастика: неуравновешенный гений день за днем исписывает стены, гоняясь за решением задачи, которой на самом деле не существует. Доджер это прекрасно знает. Но в ужастиках гении никогда не покупают специальную краску и никогда не стирают напи-

санное; а она делает и то, и другое. С появлением камер на мобильных телефонах стало гораздо проще сохранять выкладки на более долговечном носителе. Она работает, не жалея места, потом фотографирует, умещая все, что нужно, на маленьком фото, переносит его на компьютер и затем уже работает виртуально, выполняя преобразования и вычисления в пространстве, где размер не имеет значения, чернила не размажутся, а мел не сотрется. Так что это просто ритуал, который помогает ей успокоиться, и она не видит в этом ничего плохого.

Она все еще пишет, когда входная дверь открывается и слышится голос Кэндис:

— Привет, кто дома?

— Привет, Кэнди, — отзывается Доджер, продолжая писать.

Она сняла свитер. От запястий до локтей тоненькими белыми линиями бегут шрамы, которые расскажут свою страшную историю любому, кто их заметит. Ей забавно наблюдать, насколько по-разному люди реагируют на эту историю. Некоторые, увидев шрамы и взглянув на ее лицо, немедленно вспоминают статьи в газетах, где ее называли жертвой жестокого нападения. Другие видят шрамы и понимают, что

случилось на самом деле, даже если читали те же самые статьи. Она обнаружила, что обычно у таких людей есть собственные шрамы; это люди, у которых есть причины знать, что они означают. Люди, у которых нет причин осуждать.

В коридоре слышатся мягкие шаги (Кэндис из тех, кто питается мюсли и скидывает обувь, как только заходит в дом), и на пороге возникает Кэндис собственной персоной, невысокая и пухленькая, — такие женщины просто созданы для джинсов и вязаных свитеров. Ее темно-русые волосы чуть темнее глаз. Она любит говорить, что пережила индустрию диет и теперь учится быть толстой и счастливой, но, похоже, ей гораздо уютнее в своем теле, чем Доджер когда-либо было в своем.

Кэндис переводит взгляд на стены. Две из них уже исписаны числами, и Доджер подбирается к третьей.

— Мне стоит хотя бы попытаться спросить, как прошла экскурсия, или лучше осторожненько сбежать с глаз долой и надеяться, что ты не сделаешь рабочую поверхность для алгебры из *меня*?

— Если ты считаешь, что это алгебра, тебе пора добавить к учебной нагрузке математику для отстающих, — говорит Доджер, закрывая маркер

колпачком. — Это все неверные выкладки. Пытаюсь решить кое-что, что никак не решается, к тому же я где-то там облажалась, — она машет рукой в сторону первой стены, покрытой каракулями из непонятных черных символов, — так что придется начать все сначала.

— Если ты знаешь, что напортачила, зачем идешь дальше?

Доджер пожимает плечами.

— Даже в неверном ответе можно найти что-нибудь интересное. Поэтому я продолжу рассуждение, пока это возможно, а когда оно зайдет в тупик, найду, где ошиблась. Это меня успокаивает. Есть с чем поиграть. Разве ты изучаешь психологию развития не потому, что тебе нравятся *игрушки*?

— Вот именно, игрушки, а не числа на стене и риск потерять наш залог, — отвечает Кэндис. — И ты не ответила на мой первый вопрос. Как экскурсия?

— Я не пошла, — ложь сама слетает с языка. Доджер *так* в этом хороша. — Я всю ночь общалась с австралийскими учеными, которые занимаются вычислительной математикой. Они работают над рядом доказательств и вот-вот переплюнут всех, включая меня, и им хотелось позлорадство-

вать. К тому времени, как до меня дошло, что давно пора спать, как раз зазвонил будильник. Мне показалось, что знакомиться с новыми однокурсниками, когда я ходячий невыспавшийся кошмар, — не лучшая идея.

Кэндис качает головой.

— Прямо сейчас ты не слишком похожа на ходячий кошмар.

— Я вздремнула. Плюс пара литров газировки. Так что в целом я уже в норме. И вообще, кто ставит ознакомительную экскурсию для аспирантов в восемь тридцать утра? Они что, не знают, что большинство аспирантов ведет ночной образ жизни?

— Люди, которые больше не ведут ночной образ жизни и при этом недовольны тем, что им вообще нужен сон, — спокойным голосом отвечает Кэндис, но ее взгляд остается цепким и острым.

Доджер не в первый раз думает, что жить в квартире с человеком, который изучает психологию развития, — тактическая ошибка. Она улыбается своей самой ослепительной улыбкой, стараясь загнать воспоминание об изумленном лице Роджера в самый дальний угол памяти. Это по его вине она ошиблась в вычислениях, из-за него она никак не может *сосредоточиться*.

Она никогда не должна была снова его встретить. Потому что она никогда не встречалась с ним раньше. Он *ненастоящий*. Он ненастоящий, потому что если бы он был настоящим, то, захлопнув дверь между ними, она причинила бы ему боль. Он не может быть настоящим, потому что если он настоящий, а она так с ним поступила, то она просто чудовище.

Он не может быть настоящим.

— Думаю, я просто не была к этому готова, — говорит она наконец.

Кэндис бросает взгляд на шрам на левой руке Доджер, и Доджер подавляет желание закрыть его ладонью. Кэндис — одна из тех, кто с первого взгляда понял, что это за шрамы и что все, что писали в газетах, — просто детская попытка это скрыть, и неважно, насколько охотно все в нее поверили.

— Хочешь чая? — спрашивает она. — Может быть, тебе станет лучше. Когда я чувствую себя не очень, чай всегда помогает.

— Было бы великолепно, — отвечает Доджер и улыбается, и Кэндис улыбается в ответ, а затем поворачивается и исчезает, оставляя Доджер наедине с неверными уравнениями и числами, которые не складываются, но уходят все дальше в

будущее, в котором не будут найдены ни решения этих уравнений, ни правильные числа.

Воссоединение

Лента времени: 14:12 PST, 18 августа 2008 года (три дня спустя)

Роджер не подозревал, что есть столько вариантов быть математиком. В математике чрезвычайно много областей, и сами эти области еще делятся по направлениям; фрактальная паутина специализаций тянется за собственным хвостом в глубины каталога предлагаемых курсов. Будто заглядываешь за ворота ада. Бесконечные кабинеты математики с бесконечным количеством математиков, каждый из которых рад объяснить в мельчайших, вызывающих зубную боль подробностях, почему ни в коем случае не следовало ограничиваться общим курсом математики в бакалавриате.

Но Доджер Чезвич хорошо известна в математических кругах: Доджер Чезвич — девочка, которая решила уравнение Монро. (Воспоминание о том, как она робко показывает ему свою работу, написанную гелевой ручкой в блокноте в линеечку, ранит меньше, чем раньше, потому что теперь он снова ее *увидит* и скажет, что был

неправ, когда от нее отвернулся, но и она тоже была неправа, и она же математик — разве она не понимает, что теперь счет сравнялся? Разве она не понимает, что пора прекратить играть в прятки?) То, что она выбрала аспирантуру в Беркли, — важное событие для Беркли. Конечно, не настолько значительное, как если бы удалось заполучить настоящую знаменитость или кого-нибудь, чьи родители могут себе позволить подарить университету новую библиотеку, но все равно событие. Кто-то точно должен был похвастаться, что заполучил ее на свою специальность.

Кто-то так и сделал. В одном из бюллетеней шахматного клуба он находит упоминание о «новой студентке Д. Чезвич, которая будет изучать теорию игр на нашем славном математическом факультете». Вооружившись именем, описанием, датой рождения и специализацией, он без проблем нашел ее научного руководителя и так же без проблем представился ее братом, который хочет сделать ей сюрприз. Это ложь, но весьма правдоподобная: они достаточно похожи, чтобы сойти за брата с сестрой. У них одинаковые глаза. Они родились в один и тот же день, но попали в приемные семьи на противоположных концах

континента. И давным-давно (хотя в это уже верится с трудом, потому что больше этого не случалось) они могли разговаривать друг с другом, просто закрыв глаза.

Когда Роджер не ленится потратить время и понять, чего именно он хочет, люди обычно идут ему навстречу. Прошло три дня с той экскурсии по кампусу (которая, после того как Доджер сбежала, в итоге прошла вне кампуса), и вот он стоит на пороге ее квартиры с шахматной доской под мышкой, пытаясь собраться с духом и постучать.

— Привет.

Он поднимает взгляд. На балконе стоит девушка. Невысокая, с классными формами, образец американской красоты: она идеально смотрелась бы и болельщицей на бейсбольном матче, и в коротких шортах в кузове пикапа. Его личная жизнь — этакая череда открыток Норманна Роквелла, и эта девушка отлично вписалась бы в нее, не нарушая закономерности. Волосы пепельного цвета, светлые глаза, и смотрит она так, будто он представляет собой интересный новый вид насекомого, который нужно поместить в банку и как можно дольше изучать.

— Привет, — отвечает он.

Девушка оценивающе смотрит на него.

— Ты не ко мне, потому что я тебя не знаю. Кэнди тоже не вариант — у нее есть парень, и он сложен как танк «Шерман». И ты точно пришел не к Доджер. У нее парня нет и не будет. Я не уверена, что она вообще понимает, зачем людям в трусах что-то кроме выпускного отверстия для отходов.

Он вопросительно поднимает бровь.

— Ты давно здесь живешь?

— Неделю. Но я наблюдательна. И быстро просекаю, что к чему. — Облокотившись на перила, девушка делает затяжку и пускает дым в его направлении. Затем постукивает сигаретой о перила, и пепел падает точно в кусты под балконом — результат долгой практики. — Это шахматная доска?

— Да, — отвечает Роджер, пытаясь не принюхиваться к воздуху, как голодная собака. В последний раз он курил восемь дней назад. Личное достижение, которым он мог бы гордиться, но в данный момент он не чувствует гордости. Он чувствует, что пытает сам себя без всякой на то причины.

— То есть ты все-таки к Доджер.

— Да.

— Зачем? — Ее взгляд вполне способен пригвоз-

дить к тротуару. — Доджер не из тех, кто хочет иметь друзей. Она говорит, что хочет, но она врет. Она хорошо умеет врать.

— Откуда ты знаешь — может, она просто нервничает?

— Потому что я наблюдательна. — Девушка снова затягивается, все еще пристально разглядывая его. — Как тебя зовут?

— Роджер.

— Ваши имена рифмуются. Мило. Если бы вы были братом и сестрой, могли бы подать в суд на родителей. — Она выпускает дым через нос. — Последний шанс, Роджер. Если не постучишь, сможешь спокойно уйти. Уверена на все сто, она не хочет тебя видеть. Последние дни она похожа на привидение. Уйдешь и, возможно, никогда больше ее не увидишь.

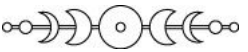
— Спасибо за совет…? — Он подвешивает вопрос в воздухе и ждет ответа.

Ее губы кривятся в подобии того, что с натяжкой можно назвать улыбкой.

— Эрин, — отзывается она. — Не говори потом, что я не предупреждала.

Она роняет сигарету, растирает ее каблуком и скрывается внутри.

Роджер нажимает кнопку звонка.



Расписание у Доджер составлено крупными блоками: достаточно большие промежутки свободного времени перемежаются с интенсивными рабочими часами — она проводит занятия вместо профессоров, у которых есть дела поважнее, проверяет студенческие работы и пытается не слишком придираться к бакалаврам. Они не виноваты, что они пока только в начале пути, который она уже прошла, и, может быть, если она будет почаще себе об этом напоминать, ей перестанет хотеться чем-нибудь в них швырнуть. И так нужно терпеть, что, занимая место преподавателя, ей приходится одеваться как взрослой или, по крайней мере, надевать что-то отличное от пижамы. Дресс-коды отравляют ее существование.

(Несколько человек, посмотрев на ее расписание, сказали, что это чушь, что так *не работает*: у нее не может быть столько свободного времени. Она не понимает, чего они так дергаются. Она просто меняла местами числа, пока они не встали так, как ей хотелось. Не то чтобы это было *сложно*.)

Кто-то звонит в дверь. Она отрывается от ком-

пьютера. Соседок нет дома, и Доджер совершенно уверена, что если бы она заказала пиццу, то не забыла бы об этом, хотя бы потому, что тогда она должна была бы заметить и принять, что голодна. Осознание потребностей собственного тела никогда не было ее сильной стороной. Вывод: это не пицца.

Вообще вариантов может — или должно — быть не слишком много. Они не просто так живут вне кампуса. Они никому не давали своего адреса, и с той недавней поры, как они здесь поселились, каждый стук в дверь — это приключение. Она уже открывала трем соседям, продавцу кексов с марихуаной и измученной девчонке-подростку с коробкой котят. Кто знает, что за дверью сегодня? Она аккуратно сохраняет файл и встает, приготовившись к новым неожиданностям.

Когда Доджер открывает дверь, она улыбается. Это первое, что замечает Роджер. Как бы она ни изменилась за последние пять лет, она все еще может улыбаться. Когда она видит его, ее лицо окаменевает, улыбка превращается в острый стеклянный осколок. Об нее можно порезаться.

— Пожалуйста, не закрывай дверь, — говорит он.

Стеклянная улыбка исчезает. Просто чудо, что

он не слышит, как она разбивается об пол.

— Ты не настоящий.

Роджер моргает.

— Это что-то новенькое.

— Ты ненастоящий. Ты просто мой воображаемый друг, я тебя выдумала, а если я тебя выдумала, ты ненастоящий, а если ты ненастоящий, ты не можешь стоять здесь. Что ты тут делаешь?

— Я могу войти? — Он надеется, что по голосу не слышно, как он нервничает. Хотя, возможно, это было бы лучше: ей было бы сложнее притворяться, что ему не так же больно, как и ей. Он заставляет себя улыбнуться, стараясь одновременно показать, что он безобиден и полон надежды. Что он не представляет опасности. — Конечно, мы можем продолжать стоять на крыльце, если хочешь, — это Беркли, тут люди по воскресеньям делают вид, что они вампиры, так что вряд ли кому-то есть дело до пары мидвичских кукушат, — но, наверное, будет проще, если я войду.

— Все кукушата в Мидвиче были блондинами, — отвечает Доджер. Ее голос почти не изменился. Он стал чуть ниже, но к тому моменту, как они перестали общаться, подростковые изменения уже почти закончились. — Ты шатен.

Я рыжая. И мы не дети сексистов-инопланетян, которые обожают деревни. И вообще, тебя не существует.

— Вот и слава богу, потому что они хотели, чтобы кукушата в паре производили потомство, — это я к твоей фразе про инопланетян, а не к тому, что я не существую, — говорит Роджер. — Откуда ты вообще это знаешь?

— Даже гениальным математикам приходится писать сочинения. Нам нельзя пропускать занятия по литературе только потому, что мы считаем ее *ерундой*.

Голос Доджер дрожит.

Сердце Роджера сжимается.

— Доджер. Пожалуйста. Можно мне войти?

Она не хочет его впускать, это совершенно ясно: она скользит взглядом по улице, пытаясь найти хоть кого-то, кто может дать ей повод ему отказать. То, что она чувствует в этом необходимость, одновременно ранит и оскорбляет его. Ведь, что бы она ни наговорила полиции, он и пальцем к ней не прикоснулся — когда она решила наложить на себя руки, он был на другом конце континента. Он всегда старался ее защитить — за исключением того раза, когда бросил ее, чтобы защитить себя.

Это была жертва. Вот что каждый из них сделал по меньшей мере однажды: пожертвовал другим ради собственного спасения. Возможно, все дело в этом.

— Я принес шахматы, — говорит он, протягивая ей доску. — Правда, не смог найти фигуры, но уверен, у тебя найдется что-нибудь подходящее.

Теперь уголок ее рта кривится: как будто она вот-вот опять улыбнется. На этот раз более искренне. Роджер понемногу начинает разбираться в ее улыбках, собирая воедино все, что помнит о ней из детства, все, что помнит с того единственного раза, когда они столкнулись лицом к лицу: когда Доджер лжет, она улыбается широко. Когда она на самом деле счастлива, она улыбается только левой половинкой губ, будто пытается убедиться, что может сама решать, кто это увидит.

— Ты думал, у меня нет шахматной доски? — спрашивает она, и непохоже, что она сердится, или боится, или устала — ничего подобного. Похоже на то, что перед ним Доджер. Похоже на то, что перед ним его лучший друг.

Он знает подходящие слова: облегчение, успокоение, удовлетворенность. Ни одно из них и близко не стоит с охватившим его чувством

невесомости — будто все проблемы мира разом свалились с его плеч. Он догадывается, что, наверное, это какое-то клише, но люди, которые любят навешивать ярлыки, порой забывают, что если что-то становится клише — значит, это происходит снова и снова во всех уголках света.

— На самом деле нет, — отвечает он. — Так можно я снова буду существовать и войду?

— Полагаю, Бог любит троицу, — отвечает она, открывает дверь пошире, чтобы он мог пройти, и вжимается спиной в стену, чтобы избежать даже случайного физического контакта.

Роджер слегка жалеет об этом. Он сам первый высказал идею, что их квантовая запутанность — или что бы там ни было — может стать сильнее от физического контакта, и эта гипотеза висит между ними, будто острый меч. Он не хочет ее касаться. Но хочет, чтобы она не пугалась одной только мысли, что он мог бы ее коснуться.

Как только дверь закрывается, он прочищает горло и спрашивает:

— Беркли?

— У вас отличный факультет математики, — отвечает она, подкрепляя свои слова одобрительным жестом. — Мне хотелось поработать с профессором Конг. У нее революционные

исследования в теории игр. Ну и, конечно, Научно-исследовательский институт математических наук. Чувствуешь себя ребенком в магазине сладостей. Кухня здесь.

Доджер поворачивается к нему спиной — проявляет доверие или хочет показать, кто здесь главный, он не уверен, — и идет вперед, видимо, не сомневаясь, что он последует за ней.

Он действительно идет следом, попутно изучая обстановку, пытаясь собрать словарь женщины, в которую превратилась Доджер. Если он сможет ее читать, он начнет ее понимать. Проблема в том, что он не знает, какие из вещей ее, а какие — ее соседок. То, что у Доджер есть соседки, — очевидно: квартира слишком большая, чтобы она могла позволить себе снимать ее в одиночку, и Доджер, которую он знал, ни за что не притащила бы в универ полное собрание «Под-и-Над». Вот книги по математике, скорее всего, ее. Книги по шахматам. Он не уверен насчет книг по социальной инженерии и самосовершенствованию, но что-то в том, как она идет (плечи назад, подбородок вверх, будто она тренировалась поддерживать эту позу), наводит его на подозрение, что они тоже принадлежат Доджер.

Девушка на балконе сказала (и Роджер подо-

зревает, что она права), что Доджер не стремится обзавестись друзьями, а просто хочет, чтобы окружающие в это верили. Вполне похоже на ту Доджер, какой она была, когда они контактировали в последний раз.

Кухня в конце коридора маленькая, но светлая, окна занимают почти всю стену. За окном виднеется забетонированный внутренний дворик около двух метров в ширину, и каждый пятачок под завязку заставлен ящиками с растениями. Десятки суккулентов в десятке вариаций, десятке различных оттенков серого. На заборе сидит рыжий кот — натуральный разбойник с единственным зеленым глазом. Кот смотрит на Роджера. Роджер смотрит на кота.

— Это старина Билл, — говорит Доджер, убирая охапку газет со складного столика, втиснутого в уголок для завтрака. — Он достался нам вместе с квартирой. Хозяйка просила кормить его, когда вспомним, и звонить ей, если его собьет машина или случится еще что-нибудь. Он милашка. Только пытается заставить нас пустить его внутрь, когда на улице дождь. Так что я не то чтобы полностью соврала, когда сказала, что должна покормить кота, даже если он на самом деле не мой.

— Хороший котик, — дежурным тоном говорит Роджер. Он любит кошек. Кошки себе на уме, и он их за это уважает. — Тебе помочь?

— Лучше не надо. — Доджер продолжает уборку, опустив голову; волосы закрывают ее лицо. Он знает, что волосы у нее рыжие, почти красные, цвета заката, цвета опасности, хотя сам сейчас не может его различить. Вся ее внешность словно создана для того, чтобы привлекать внимание, но он знает, что ей не нравится, когда на нее смотрят.

— Ты когда-нибудь думала покрасить волосы в другой цвет? — не подумав, спрашивает он и тут же жалеет об этом. Предполагается, что в их паре именно он владеет словом, а то, что он выдал сейчас, наверняка ее расстроит. Просто, когда они в одной комнате, ему кажется, что все переворачивается вверх дном, будто законы природы повернулись на двадцать градусов влево.

(Он знает, что никогда никому не сможет рассказать об этом чувстве, потому что ему скажут, что он влюбился и что «надо просто трахнуть эту девчонку и выбросить это из головы». Но он не влюблен в Доджер. Он любит ее, любит с того самого момента, когда понял, что она настоящий человек, а не воображаемый друг, но это не зна-

чит, что он *влюблен*. Просто, когда они вместе, ему кажется, что он наконец видит мир во всей его полноте и что, если ему удастся удерживать эту полноту бытия достаточно долго, он узнает, по каким правилам он на самом деле устроен.)

Доджер поворачивает голову — ровно настолько, чтобы откинуть волосы с глаз, — и Роджер видит, что она на него смотрит.

— По-твоему, стоит? — с искренним любопытством спрашивает она. Она смотрит на него так, будто действительно его *видит*, будто он на самом деле существует.

Ему не нравится, что он испытывает за это благодарность.

— Нет, — отвечает он. — Ну, я помню, что они классные. Просто знаю, что ты не любишь, когда на тебя пялятся.

Она слегка озадаченно поднимает руку и касается головы.

— Что значит — ты помнишь? — Ее глаза расширяются. — А! Твой дальтонизм!

— Ага, — говорит он, чувствуя, как его охватывает странное облегчение. Она может знать, что он дальтоник, только если помнит, как смотрела на мир его глазами и видела, что для него этот мир не такой, каким она привыкла видеть его

сама. Значит, она должна вспомнить, что все это не было странной детской галлюцинацией. — То есть я знаю, что они рыжие, просто они… для меня они не рыжие, понимаешь?

— Да. — Она опускает руку. — Я думала об этом. Особенно после… после. Мне не нравилось, что я такая заметная. Но я так и не решилась. Сама не знаю почему. Просто это казалось… неправильным.

— Тогда ты не смогла бы должным образом управлять огнем. — Эти слова вылетают сами собой, и Роджер замирает, уставившись на Доджер так же, как она уставилась на него. Он сказал чистую правду, он знает это, хотя не знает откуда. (И разве так было не всегда? Вся его жизнь полна фактов, в истинности которых он абсолютно не сомневается, хотя никаких доказательств у него нет. Это ненаучно. Это недостойно ученого. Но дело обстоит именно так.)

Доджер качает головой; видно, что она выбита из колеи.

— Кажется, ты прав, — говорит она едва слышно. Она испугана, и Роджер за это слегка себя ненавидит. Доджер не должна быть испуганной. Из них двоих именно она должна быть храброй. Это компенсация за то, что она еще и самая

хрупкая.

Между ними повисает тишина. Если они позволят ей продлиться слишком долго, то уже не смогут освободиться. Роджер делает первое, что приходит в голову, — ставит шахматную доску на прибранную часть столика и спрашивает:

— Принесешь фигуры?

Она смеется — все будет хорошо. По крайней мере, сейчас все будет хорошо.

— Нет, принесу полный набор, — отвечает она. — Вместе с доской. Сразу ясно, что ты дилетант. Реально, Роджер.

Она проносится мимо него, в последний момент извернувшись так, чтобы не коснуться его плечом. Интересно, сколько нужно времени, чтобы физический контакт перестал вызывать у них дискомфорт. Интересно, смогут ли они так долго друг друга выносить. Меньше всего он хочет ее оттолкнуть или, наоборот, подтолкнуть к чему-то такому, что не обратить вспять. Доджер в футболке, и он заметил у нее на руках шрамы.

Сложно не думать, что он причастен к тому, что они там появились. Он знает, что он тут ни при чем. Но это ничего не меняет. Разум — несовершенный механизм, он получает информацию и делает с ней, что вздумается. Роджер не смог

заметить вовремя, что Доджер одинока, а она чувствовала, что не нужна ему, события следовали своим чередом. Это не его вина. Это не могла быть его вина. Но он не понял, что что-то не так, а должен был понять. Непонятно, каким образом, но должен был.

Когда Доджер возвращается, Роджер уже вышел за стеклянную дверь, примостился на бетонной ступеньке, которую они называют крыльцом, и чешет старину Билла за ушами. Потрепанный котяра извивается, подставляя всего себя умелым пальцам Роджера, и мурчит так громко, что Доджер слышит его за несколько шагов.

— У тебя есть кот? — спрашивает она и кладет шахматы на стол.

— Сейчас нет, — отвечает он. — Общежитие не слишком подходит для того, чтобы заводить питомцев, а я только что переехал из кампуса. Но у моей последней девушки была кошка. Девушка взяла справку у психиатра, что ей нужна зоотерапия, а мы в основном проводили время у нее в комнате.

— О, — говорит Доджер. — Как ее звали?

— Цукини.

Доджер моргает.

Оглянувшись, Роджер видит выражение ее

лица и разражается смехом.

— О господи, ну у тебя и лицо. Не девушку, Додж, а кошку. Кошку звали Цукини. То, что я сперва подумал про кошку, объясняет, почему мы расстались. Мы оба слишком уставали, и я приходил к ней погладить кошку, чтобы успокоить нервы. В конце концов Келли решила, что ей нужен парень, который будет гладить ее, а не Цукини, и наши пути разошлись. По-дружески.

Он умеет расставаться по-дружески. Все его отношения заканчивались по-дружески, включая отношения с Элисон, у которых было больше всего шансов закончиться ужасно неправильно, и всякий раз, когда они с Элисон встречались в коридоре или на занятиях, они были предельно вежливы друг с другом.

Расставаться по-дружески — одно из его величайших умений.

Доджер — исключение. Каждое их расставание невероятно травмировало их обоих. Он в последний раз треплет старину Билла, встает и, отступив на шаг назад, закрывает стеклянную дверь у него перед носом, но здоровенный котяра все равно пытается проникнуть внутрь — он подходит вплотную к стеклу и мяукает, не отрывая взгляда от Роджера.

— Тебе конец, — говорит Доджер, расставляя фигуры. Она делает это быстрыми, ловкими, отточенными движениями, практически не глядя на доску. Если вообще возможно на ощупь почувствовать разницу в цвете у двух пешек, абсолютно идентичных во всем остальном, то ровно это Доджер и делает. — Он чует лохов за версту, так что тебе конец. Была рада знакомству.

— Ну, мы оба знаем, что это не всегда было так.

Доджер на мгновение замирает, но потом начинает снова расставлять фигуры, и ее руки двигаются очень быстро, как бывает только на автопилоте.

— Может, и нет, но вежливо — притвориться, что да, — говорит она.

Затем ставит последнюю фигуру, убирает коробку из-под обуви, в которой они лежали, и садится, выбрав дальний от Роджера стул. Получается, она села у края с черными. Он знает, что обычно перед игрой соперники договариваются, кто какими играет. Но он не собирается спорить. Если она выбирает цвет, основываясь на том, чтобы сохранить дистанцию, он не собирается на нее давить.

Роджер садится. Он хмурится, прищурившись, разглядывает шахматы, затем берет слона и про-

катывает его по ладони.

— Не тот ли это набор, который ты держала в овраге? — спрашивает он. — Помню, как однажды ты думала, что потеряла слона. Ты несколько дней страдала. А потом пошел дождь, смыл грязь, и ты его нашла, и с тех пор хранила шахматы в своей комнате, потому что неполный набор никуда не годится.

— А ты все время говорил, что, даже если фигура и правда потерялась, всегда можно найти новую. Ты сказал, что, если понадобится, обойдешь все «Гудвиллы» в Массачусетсе.

— На самом деле я надеялся, что мне не придется этого делать, — говорит Роджер. — Я ненавидел, когда ты плачешь, но не представлял, как объяснить родителям, что мне нужно купить одну шахматную фигуру и отправить ее по почте какой-то девочке в Калифорнии.

— По крайней мере, у тебя был бы мой адрес.

— Да, я бы вряд ли смог обойтись без него.

— Возможно, для нас обоих было бы лучше, если бы я его не нашла. — Она наконец поднимает взгляд. У них в самом деле одинаковые глаза. Он носит очки, а она нет, но радужки у них идентичны. Это как найти человека с такими же отпечатками пальцев. — Тогда у меня был бы

обратный адрес. Я могла бы писать тебе письма. Заставить тебя со мной говорить.

— Доджер, нам было девять.

— Девятилетние тоже люди и тоже могут чувствовать боль. Это научный факт. — Она снова опускает взгляд на доску. — Твой ход, Роджер.

И он ходит, и она ходит, и на несколько минут воцаряется тишина: они сосредоточены на игре.

Роджер не спешит с ответными ходами; он выстраивает оборону, надеясь, что это поможет ему продержаться хотя бы какое-то время.

Доджер словно не думает о защите. Доджер так активно нападает, что это почти вульгарно и в то же время как будто поэтично, и в этом нет противоречия — вообще никакого. Когда она подростком надевала черно-белый школьный наряд и играла по всей стране с мастерами и гроссмейстерами, она была хороша, но все-таки играла как подросток; врожденное понимание игры давало ей достаточно, чтобы быть ремесленником. Но в ее распоряжении не было того опыта, который сделал бы ее художником. Теперь у нее есть этот опыт. Каждый ее ход безжалостен и нацелен на то, чтобы закончить игру как можно быстрее. Они не просто играют на разных сторонах доски, они играют в разные игры: он оттягивает конец,

она — приближает.

— Ты хороша, — говорит он.

— Я всегда была хороша, — парирует она.

Потянувшись за пешкой, Роджер останавливается, немного медлит, а затем отводит руку назад и кладет ее на колени. И ждет.

Как он и ожидал, Доджер все еще не обладает терпением: неподвижность для нее — проклятие. Она может остановиться, когда требуется, может преобразовать физическое движение в ментальное; каждый, кто заставал ее за занятиями математикой, знает, что она часами может сидеть неподвижно, если ее ум занят подходящей задачей. Но то, что происходит сейчас, — это не задача. Это взаимодействие, один человек отвечает другому, и он отказывается продолжать только ради ее удовольствия.

Секунды превращаются в минуты, и Доджер не выдерживает. Она поднимает голову, сощурив глаза. Кровь прилила к щекам, и в первый раз с начала игры Доджер по-настоящему здесь: она не думает ни о чем другом.

— Я знаю, что ты не настолько плох, — говорит она. — Делай ход.

— А что, если я не хочу?

— Тогда сдавайся и объяви, что я победила.

— А что, если я и этого не хочу делать? — Роджер показывает ей пустые руки, потом кладет их на стол. — Я хочу поговорить. Я пришел, потому что хотел поговорить.

— Так говори.

— Я пытался. Ты не ответила. Я не уйду, пока ты со мной не поговоришь, Доджер. Я спас тебе жизнь. Ты должна со мной хотя бы поговорить.

Доджер моргает, кровь мало-помалу отливает от щек, пока ее лицо снова не превращается в восковую маску математика. Тогда она смеется, качая головой.

— В самом деле? — спрашивает она и смеется так, что глотает слоги, но смысл ясен. — Значит, вот с чего ты решил зайти? «Я спас тебе жизнь»? Я тебя об этом не просила, Роджер. Я из кожи вон лезла, стараясь устроить все так, чтобы, когда я спустилась в овраг и сделала все, что нужно, ты этого не увидел. Ты не должен был узнать.

— Если бы ты не была так чертовски занята тем, чтобы отгородиться от меня, ты могла бы хоть на секунду задуматься о том, *как* я узнал. — Глаза у Роджера сверкают. Он пытается сдерживать гнев, но его терпения хватит настолько, насколько хватит. — Квантовая запутанность, помнишь? Я говорю, а ты слышишь на другом конце стра-

ны, опа! Оказалось, она годится не только на то, чтобы подсказывать правильные ответы на контрольной.

Доджер хмурится. В отличие от улыбки, когда она хмурится, она использует рот целиком, так что все ее лицо приобретает недоуменное выражение.

— Что ты имеешь в виду? Ты почувствовал, что я режу руки? Но до этого ты никогда не чувствовал, что я с собой делаю.

(И слава богу. Когда они восстановили контакт, оба страшно боялись, что будут улавливать некоторые вещи. Некоторые *личные* вещи. Роджеру *нравились* девочки, но одной только мысли о том, что девочка — любая девочка, а *эта* девочка в особенности — будет рядом, когда он один под одеялом, хватало, чтобы омрачалось даже подростковое либидо. Они провели немало опытов и экспериментов, пока не уверились, что сквозь пустоту между ними проникают только мысли. Чувства, эмоциональные и нет, не могли совершить этот прыжок. За исключением того случая, когда она подошла к самой грани. Травма может творить чудеса.)

— Я имею в виду, что, когда *твое* сердце начало барахлить, потому что ты потеряла слишком

много крови, мое тоже дало сбой, — мрачно говорит он.

Она не касается фигур, и он тоже.

— У меня случился припадок во время занятия. Я потерял сознание и ударился головой об пол, а когда очнулся, я знал, что ты что-то с собой сделала. Я знал, что ты ранила себя, но я был в тысяче миль и никак не мог тебе помочь. Я звал тебя. Я кричал. Ты не отвечала.

Доджер отворачивается, отказываясь на него смотреть. Ну и что. Шлюзы открыты: история льется наружу, хочет он того или нет. Слишком много лет он провел, не имея возможности злиться на нее, потому что она была слишком далеко, потому что она не желала с ним разговаривать, потому что, если честно, он не был уверен, что она выжила. Что ж, она выжила, она здесь, рядом, сидит на другой стороне стола и шарахается от него, как будто это его рука держала лезвие бритвы.

Может быть, в этом есть доля его вины. Может быть, он не обратил внимания на какие-то признаки, может быть, когда в девять лет он прервал контакт, он пошатнул основы ее существования. Может быть, все люди друг с другом связаны. Но, в конце концов, он не заставлял ее глотать

пузырек обезболивающего и вскрывать вены. Да, он ничего не заметил. Но ему было семнадцать.

В какой-то момент нужно перестать винить себя, и этот момент наконец настал.

— У меня было три припадка — так твой мозг старался утащить меня с собой ко всем чертям. *Три*. Третий случился сразу после того, как я дозвонился до твоего отца. Я отключился посреди Гарвардской площади, один, под дождем. Чудо, что я не очнулся в тюрьме: меня запросто могли принять за пьяного.

Чудо, что он вообще очнулся. Он не раз думал, что во время одного из припадков запросто мог перевернуться и захлебнуться под проливным сентябрьским дождем. В списке глупых способов умереть этот стоял достаточно высоко.

Доджер смотрит на него с нескрываемым ужасом.

— Я не знала, — шепчет она, и он не сомневается, что она говорит правду, но это неважно.

— Не знала, что это случилось или что это *могло* случиться? — спрашивает он.

— И то и другое. Ни того ни другого. Клянусь, Роджер, я не знала, что, причиняя боль себе, могу причинить боль тебе. Я бы никогда…

— Ты бы все равно это сделала, — мягко говорит

он, и она замолкает. — Додж, ты мой лучший друг. Всегда была и всегда будешь. Даже когда мы не общаемся — а у меня такое чувство, что мы уже больше времени провели не общаясь, чем общаясь, — ты все равно мой лучший друг. Черт подери, если бы не ты, я бы не сдал экзамены за второй класс! Ты в самом деле думала, что мне будет не больно потерять тебя? Ну же, только честно, как есть? Мне было охренительно больно чуть тебя не потерять. А потом ты наглухо отгородилась от меня, и я начал думать, что ты или все-таки умерла, или пробыла без кислорода так долго, что у тебя повредился мозг и ты больше не можешь меня слышать.

— Я тебя слышала, — шепчет она, опустив голову. — Я всегда тебя слышу.

— Так почему же, черт подери, ты ни разу не ответила?

— Я злилась, — говорит она. — Я очнулась в больнице, и мне сказали, что какой-то мальчик из Новой Англии позвонил моему отцу на работу, чтобы похвастаться, что он изрезал меня бритвой и оставил умирать, и я сразу поняла, что это был ты. Я знала, что причина была другая, что ты не стал бы звонить, чтобы *порадоваться*, что я умираю, — но я знала, что ты позвонил и опять все

испортил. Поэтому я злилась. И я была благодарна, потому что после того, как я не умерла, я уже не хотела умирать. Я хотела, чтобы мне удалось умереть. А умирать не хотела. Я сказала себе, что ты мне приснился, что ты был просто кошмаром, который никак не может развеяться, и каким-то образом я… я в это поверила.

Столько всего она хотела бы, но не может выразить словами! Как рыдала мать, и как больно было знать, что именно из-за нее мать выглядит невозможно потерянно. Как целыми днями бушевал отец, срываясь по малейшему поводу, снова и снова названивая в полицию, чтобы наорать там на всех за то, что они ни черта не делают, раз не могут найти парня, который изувечил его дочь. Что в полиции с самого начала знали, что это была попытка самоубийства, и просто поддакивали. Что однажды она застала родителей на кухне, когда они думали, что она их не слышит, а они там сидели в обнимку и рыдали. Когда она задумала вскрыть себе вены, ей казалось, что это самое простое решение — исключить себя из уравнения. Но она даже не догадывалась, как много подформул от нее зависит, пока не оказалась в шаге от того, чтобы было уже слишком поздно.

— Понимаешь, я не хотела быть тебе бла-

годарной, — продолжает она тихим ровным голосом. — Я все это время так на тебя *злилась*.

— Потому что я перестал с тобой разговаривать, когда мы были детьми? Я думал, что мы… Ну, я думал, что ты приняла мои извинения.

— Конечно, я приняла твои извинения. А что еще мне оставалось? — Она качает головой. — Ведь если кто-то говорит: «Прости», — а ты в ответ не говоришь: «Все в порядке, я не сержусь», — то ты плохой человек. Особенно если ты девочка. Я так сильно по тебе скучала, что думала, все наладится. Я думала, что спокойно могу сказать: «Мы в порядке», — и так и будет. Но числа никак не сходились. Я не могла понять, как это может быть, что ты значишь для меня так много, а я для тебя так мало.

— Ты всегда значила для меня больше, чем все на свете, Доджер, — говорит Роджер. — Просто моя семья нуждалась во мне больше, чем ты. Когда мы были детьми, ты всегда мчалась вперед, быстрее, чем я. И никогда не смотрела под ноги. Я решил, что тебе без меня будет лучше, чем мне без тебя.

— Я не боялась упасть, потому что знала, что ты всегда меня поймаешь. Ты был словно подушка безопасности. Словно гарантия, что я не смогу

пораниться слишком сильно.

— И, когда я тебя поймал, ты меня бросила, — говорит Роджер. — Что это значит?

— Что я слишком глупая для умного человека? — По щеке у нее скатывается слеза. Она смахивает ее тыльной стороной ладони. — Когда мы снова встретились, я думала, что ты будешь так же потерян, как и я, но ты был в порядке. У тебя были друзья, девушка, а у меня только толстый блокнот с извинениями, которых должно было хватить, чтобы ты снова меня полюбил. Я не знала, как поступить. Так что я все взвесила и решила, что тебе будет лучше без меня.

— Мне никогда не было лучше без тебя, Додж, — говорит Роджер.

Она всхлипывает, и все, и все — он многое может вынести, но только не вид плачущей Доджер. Не задумываясь о последствиях своего поступка, он падает на колени у ее стула, обнимает ее, и вот она уже уткнулась носом в его плечо. В таком положении никак нельзя избежать прикосновений голой кожей, и пусть: если от этого их квантовая запутанность станет еще сильнее, что ж, однажды Доджер и так уже чуть его не убила. Возможно, если бы квантовая запутанность была сильнее уже тогда, он смог бы почувствовать, что

она берет бритву, и все не зашло бы так далеко.

— Элисон бросила меня, потому что я сбежал из кампуса после первого припадка. Она не хотела быть в отношениях с человеком, который может так поступить с собой или с ней. Я не винил ее тогда и не виню сейчас. Мы расстались довольно по-дружески.

— Это хорошо, — бормочет Доджер ему в плечо, не поднимая головы. Она вцепилась в него изо всех сил, держится так, будто ей кажется, что все это сон, который скоро закончится, и она упадет. — Если бы вы остались вместе, в конце концов она рассказала бы полиции, что они ищут именно тебя. Она испугалась бы.

Роджер не спрашивает, откуда она это знает: ее слова внезапно вызывают у него сильнейшее дежавю, или, возможно, дежа антандю, как будто она описывает что-то, чему он однажды, очень давно, был свидетелем и что не хотел бы увидеть снова. «Мы уже были в этой точке, — думает он словно в бреду и затем: — Мы ошиблись».

Доджер ослабляет хватку и отстраняется, блестящие от слез глаза широко распахнуты. Она скорее удивлена, чем испугана, и это хорошо. Потому что Роджер в ужасе, так пусть хотя бы один из них не боится.

— Откуда я это знаю? — спрашивает Доджер. — Я действительно это знаю. Это не догадка, не подозрение, это именно *знание*.

— Я не знаю, — говорит он. — Но, пожалуйста, Доджер. Пожалуйста, никогда больше не думай, что мне без тебя лучше. Ты вообще представляешь, сколько раз мне пришлось пересдавать математику, чтобы закончить школу? Я едва не стал первым человеком в истории школы, который уже поступил в Беркли, но не смог выпуститься с первой попытки.

Доджер хихикает, шмыгает соплями, затем вытирает нос тыльной стороной ладони и говорит:

— Меня учителя пожалели, потому что я была очевидно травмирована, и по литературе и истории у меня были не экзамены, а зачеты. Я чуть не провалилась, но в итоге все-таки сдала, и все равно бы меня взяли в Стэнфорд. Папа-преподаватель и моя фотография во всех газетах.

— Видишь, если бы ты нормально со мной говорила, тебе не пришлось бы выглядеть жалко, чтобы сдать экзамены.

— Я вовсе не выглядела жалко, я… Окей, я выглядела жалко. Но это сработало, и не тебе меня критиковать.

Доджер ухмыляется, левый уголок рта ползет

вверх, а правый остается на месте. Затем, без всякого предупреждения, она вдруг обнимает Роджера и крепко его стискивает.

— Я так по тебе скучала.

— Я тоже по тебе скучал, — говорит он и просто остается на месте и обнимает Доджер, и она его обнимает, пока звук хлопнувшей входной двери не обрывает этот момент.

Роджер отстраняется. Доджер оборачивается на звук, глаза у нее сперва удивленно распахиваются, потом подозрительно щурятся.

— Кэндис, — зовет она, — это ты?

Из коридора не доносится ни звука — не слышно ни шагов, ни намека на движение.

— Наверное, твоя другая соседка вышла, — говорит Роджер.

Доджер удивленно моргает.

— Эрин? Она не дома.

— Уже не дома, потому что только что вышла, — подтверждает Роджер. — Но, когда я пришел, она была здесь. Курила на балконе. У вас двухэтажная квартира?

— Формально, — отвечает Доджер. — Наверху спальня Эрин, основная ванная и балкон. У Эрин самая маленькая комната наверху, потому что она курит. Она сказала, что готова терпеть тес-

ноту ради возможности спокойно покурить на улице посреди ночи. Поскольку в договоре аренды сказано, что в помещении курить нельзя, а то нам не вернут залог, мы решили, что это хороший вариант. Да и мне не хотелось бы подниматься по лестнице каждый раз, когда я соберусь поспать. Но ее никогда нет дома.

— Сегодня была, — говорит Роджер. — Она сказала мне, что ты не хочешь заводить друзей и что, если я уйду, так и не постучав в дверь, я тебя больше никогда не увижу. А когда я сказал, что я все равно постучу, она сказала, чтобы я не говорил потом, что она меня не предупреждала. У тебя интересный вкус на соседей, Додж.

— Да, но она была права, так что обижаться мне не на что, — говорит Доджер. — Я действительно не хочу заводить друзей.

Роджер вопросительно поднимает бровь:

— А я тогда тебе кто?

— Роджер, — отвечает она, лучезарно улыбаясь. — Ты мне Роджер. А теперь давай. Надо закончить партию. По-моему, я слишком долго не надирала тебе задницу.

Он смеется, и она смеется, и он садится обратно за стол, и, хотя между ними пока что не совсем полный порядок — его еще долго не будет, — все

начинает налаживаться. Мир возвращается на истинный путь.

Экспериментирование

Лента времени: 17:09 PST, 3 сентября 2008 года (шестнадцать дней спустя)

Восстанавливать былую дружбу всегда нелегко. Заниматься этим в первый месяц аспирантуры, когда за каждым углом поджидают новые знания и новые обязанности, практически невозможно. Научник Роджера две недели кряду поручает ему проводить вводные экскурсии по кампусу, снова и снова напоминая, что волонтерство дает определенные привилегии в библиотечной системе. Стоит потерять немного времени, чтобы потом брать любые справочные материалы на дом, не беспокоясь о том, наложены ли на них ограничения. Что касается Доджер, она исследует кампус, находит, где можно безопасно пристегнуть велосипед, изучает, где и чем можно питаться, хотя в основном довольствуется пиццей: это быстро, дешево и дает все необходимые питательные вещества, во всяком случае, если добавить дополнительную порцию артишоков.

И все же они выкраивают время, чтобы встретиться — в «Старбаксе» недалеко от кампуса, или

возле библиотеки, или на главной университетской площади. По возможности они избегают прикосновений. Они беспокоятся меньше, чем раньше, меньше переживают, что случится что-то ужасное. Они не говорят о том, как он много курит и какой он худой. Не говорят о ее шрамах и о том, что она слишком быстро гоняет на велике. Впервые со времени их знакомства они чувствуют, что у них есть друг от друга секреты, и это немного больно, но одновременно успокаивает. Значит, все происходит на самом деле.

Через две недели Роджер снова стоит на знакомом пороге и жмет на кнопку звонка. Слышится тонкий звук, словно там, за дверью, его вылетел поприветствовать пчелиный рой.

Дверь открывает незнакомая девушка — невысокая, пухленькая, прекрасно сложенная, с искусно уложенными каштановыми волосами. Она хмурится.

— Чем могу помочь?

— Кэндис, полагаю? — говорит он вместо ответа. — Доджер дома?

Хмурое выражение сменяется озадаченным. Он не похож на математика: нет никаких явных признаков — ни калькулятора, ни гиковатой футболки с математическим каламбуром. Некоторые

первокурсники даже таскают с собой антиквариат вроде логарифмических линеек, чтобы им подобные наверняка их заметили. Занимательная форма университетской клановости. Келли — его бывшая с кошкой — писала статьи по этой теме: документировала, как образуются клики среди студентов и старшеклассников.

— Кто-то записал ее на вечеринку для новеньких? — спрашивает она. — Потому что, если ты пришел, чтобы ее сопровождать, подожди, пока я сбегаю за телефоном. Хочу запечатлеть, как она пойдет всеми оттенками красного, пока будет на тебя орать.

— Я не поклонник, — говорит он. — Я лучший друг.

— У Доджер нет друзей, — говорит Кэндис.

— Брат, — говорит Доджер, подходя к Кэндис сзади. Пространство довольно узкое, чтобы в нем можно было разминуться, но Доджер удается ее обойти, причем удивительно элегантно.

Повернувшись к Кэндис лицом, она по-хозяйски кладет руку Роджеру на плечо и говорит:

— Мы собираемся часто видеться, потому что впервые учимся в одном месте. Так что будь полюбезнее. Или, по меньшей мере, не веди себя совсем ужасно.

— Ужасы — это привилегия Эрин, — отвечает Кэндис. — Я не знала, что у тебя есть брат.

— Я кладезь тайн, — торжественно говорит Доджер.

Кэндис качает головой и, сказав: «Приятно познакомиться», уходит прочь по коридору. Роджер удивленно смотрит на Доджер.

— Кладезь тайн? — спрашивает он. — Я думал, слова — моя стихия.

— Можешь разменять доллар?

— Да…

— Ну а я могу время от времени придумывать остроумные фразы. Но обещаю, если мне понадобится что-нибудь перевести с греческого — обращусь к тебе. Какой у нас план?

— Встречи в кампусе — это круто и все такое, но я надеялся, что мы сможем хоть немного посидеть и поговорить. Относительно наедине. — Роджер оглядывается на улицу, затем снова смотрит на Доджер. — Это значит, что тебе нужно меня впустить.

— Да, но, видишь ли, у меня целых две соседки, так что… насколько ты мне доверяешь?

Это простой вопрос. Но после всего, через что они прошли, ответить на него непросто. И все-таки он может дать только один ответ:

— Полностью.

Доджер ухмыляется.

— Отлично. Иди за мной.

Она разворачивается и ведет его через коридор. Роджер идет следом, закрыв за собой входную дверь. Доджер, похоже, нет дела до того, не останется ли дверь открытой нараспашку, но он готов поспорить, что ее соседкам — есть, а он совсем не хочет их злить.

Дверь Кэндис закрыта — по крайней мере, он полагает, что это дверь Кэндис, потому что следующая дверь открыта, и ему видно, что стены за ней исписаны уравнениями, а прямо посреди комнаты стоит кровать. И если это не комната Доджер, он будет глубоко шокирован.

Доджер, не останавливаясь, чтобы познакомить его с местными достопримечательностями, ведет его дальше, к задней двери, за которой старина Билл опять сидит на заборе в ожидании, что кто-нибудь пройдет мимо и обратит на него внимание.

— По-моему, здесь недостаточно места, чтобы мы могли сесть комфортно, — говорит Роджер.

— А мы и не собираемся здесь сидеть, — сообщает Доджер. — Закрой дверь, чтобы Билл не проскочил.

Она тащит стремянку от забора к стене. Роджер делает, как ему сказано, и с нарастающим трепетом наблюдает, как она раскладывает стремянку и приставляет ее к стене здания. Стремянка не достает до верха. Зато достает как раз до основания старой ржавой пожарной лестницы, прикрученной прямо к крыше.

— Вперед, — говорит Доджер и лезет наверх.

В их паре именно ей всегда нравился риск. Когда Роджеру понадобилось освоить езду на велосипеде, он заранее знал, чего делать *не* следует: этому способствовали наблюдения за многочисленными падениями Доджер. Также она гораздо лучше умеет оценивать риски. Когда она говорит, что что-то безопасно, обычно это значит, что так и есть, потому что она уже все проверила и вычеркнула действительно опасные варианты. Он со вздохом ставит ногу на первую ступеньку.

Это далеко не самая устойчивая конструкция из тех, по которым ему приходилось лазать. И ей *далеко* до самой устойчивой конструкции из тех, по которым на его глазах лазала *Доджер*, так что через пару ступенек он останавливается и смотрит, как она перебирается на привинченную лестницу (он примечает, где и под каким углом она делает перехват), переступает через край

крыши и исчезает. Затем снова показывается ее голова, на лице сияет улыбка.

— Ну? — спрашивает она сверху. — Ты идешь?

Роджер медлит. Роджер спускается на ступеньку вниз.

— Еще нет, — отвечает он.

Улыбка Доджер увядает, воодушевление сменяется замешательством. Порой, когда они вместе, у него возникает стойкое ощущение, что они еще дети. Он взрослый мужчина, он не может жить без кофе, он жаждет сигарет в те короткие периоды (как сейчас), когда ему удается не курить; он прошел путь от школьных подружек и нетерпеливых ласк через рубашку до любовниц, которые ценят в нем в том числе умение выслушать и отточенный язык лингвиста. Но стоит оказаться рядом с Доджер, и откуда ни возьмись возникают настольные игры и лазанье по крышам. Все то, чем занимаются дети.

(Они должны были расти вместе — он знает это на глубинном, почти первобытном уровне, на подкорке сознания. Они должны были расти вместе, всегда быть рядом, компенсируя слабости друг друга и укрепляя сильные стороны. Но этого не случилось. По какой-то причине этого не случилось, и теперь, когда они вместе, они как

будто пытаются наверстать потерянные годы, используя чит-коды, чтобы получить необходимый опыт, а не играя по-настоящему. Ему не нравятся знания, всплывающие из источника, который он не может обнаружить; не нравится не знать собственный разум. Но он все сильнее уверен в том, что только это их и спасет. Еще бы знать от чего.)

— Пора попробовать, — говорит он. — Можешь отойти подальше от края крыши?

Улыбка так и не возвращается. Вместо этого лицо Доджер становится пустым, приобретает то абсолютно нейтральное выражение, которое он наблюдал у нее во время того давнего шахматного турнира. Оно ничего не выражает: это лицо фарфоровой куклы.

— Ты уверен? — спрашивает она. — Мы только нашли друг друга и…

— Мы нашли друг друга две недели назад. Пора. Если все ушло, значит, ушло, но мы должны знать точно, — говорит он. — Лучше понять это в контролируемых обстоятельствах, чем когда я перевернусь на машине и начну кричать у тебя в голове посреди занятий.

— Согласна, — говорит она. Лицо у нее все такое же пустое. — Но если это не сработает, ты поднимешься, ладно?

— Ладно, — говорит он.

Она отходит от края крыши, голова исчезает. Он перебирается в самый дальний от лестницы угол садика и садится на кирпичную оградку, окаймляющую кусок земли с суккулентами. Билл спрыгивает с забора и трется о его ноги, громко мурча, чтобы этот человек наверняка понял, чего он от него хочет.

— Мне нравятся, когда котики трутся о ноги, — говорит Роджер и гладит кота, давая Доджер время добраться до дальнего угла крыши. Затем закрывает глаза.

Навыки могут атрофироваться: он знает это по собственному опыту. Он водит машину, но запросто свалится с велосипеда, а когда он в последний раз пробовал встать на ролики, едва не свернул себе шею. Если навык не используется, он сворачивается, возвращаясь в зачаточное состояние, и развернуть его обратно не так-то просто. Он и не ждет, что все произойдет будто по щелчку. И он не знает, как на эксперимент повлияет то, что они так близко. Даже сейчас расстояние между ними все еще меньше, чем в тот день, когда они впервые встретились вживую, а еще они прикасались друг к другу, и это могло усилить квантовую запутанность. Он не контролирует

условия эксперимента.

— Доджер, ты меня слышишь? — спрашивает он. — Ты здесь?

Ответа нет. Есть ощущение, что он делает ровно то, что делает: сидит с закрытыми глазами на чужом дворе, гладит кота и чувствует себя все более нелепо.

Возможно, в этом и проблема. Раньше это не воспринималось нелепо. Даже когда их связь казалась невозможной, она никогда не казалась глупостью: казалось, что мир работает правильно, что все цилиндры в его механизме впервые вращаются гладко, как надо. Роджер вызывает в памяти это ощущение и погружается в неподвижность, отрешаясь от всего, даже от темноты за закрытыми веками.

— Привет, Додж, — говорит он.

Щелчок. Ощущение как во время второго припадка в старшей школе, того самого, что на одно безболезненное мгновение вышиб мир из реальности. Будто удар молнии или потеря сознания, и при этом ни то ни другое; будто его разум — это сломанная кость, которую силой вправили на место.

Его глаза по-прежнему закрыты, но он видит свет и размытые цветовые пятна. Доджер часто

моргает, и с каждым взмахом ресниц мир становится все четче, и вот он уже видит Дерби-стрит сверху; таким он не видел мир уже много лет. Все вокруг окрашивается неожиданно яркими красками, но предметы немного размыты по краям; не то чтобы Доджер нужны очки, но с ними она бы видела четче.

Она поднимает руку так, чтобы она сама и, соответственно, он могли ее видеть.

— Привет, Роджер, — говорит она, и он слышит ее голос, как она сама его слышит: немного искаженный от прохождения через кости; и это правильно, это похоже на возвращение домой.

Он едва переводит дух. Он не должен так себя чувствовать, и тем не менее.

— Привет, — говорит он. И улыбается, как идиот. Он сомневался, что у них все еще может получиться. — Я вижу твою руку.

— Знаю. — Она поднимает ее к лицу, а затем начинает быстро сгибать пальцы, то одни, то другие. — Сколько я показываю пальцев?

— Три, пять, два, четыре, три, один — это не очень хороший жест, Доджер. Если бы кто-нибудь тебя сейчас увидел, то запустил бы в тебя чем-нибудь.

— Если в Массачусетсе за такое швыряются, я

туда больше никогда не поеду.

— Просто у нас, на восточном побережье, живут вежливые люди.

— Ты сочиняешь, а теперь я тоже хочу проверить, — говорит она и закрывает глаза.

Роджер знает, что будет дальше, — он делает вдох, открывает глаза и говорит:

— Видишь, как выглядит этот кот, когда ты дальтоник.

Билл услужливо трется головой о колено Роджера.

— Ух, — говорит Доджер, и он слышит ее так, будто она стоит у него за плечом, а не говорит из пространства у него за ушами. — Надо же. Ну а теперь ты залезешь на крышу? Мне совсем не хочется, чтобы мои соседки подумали, что у тебя не все дома, и вызвали полицию.

— А что, есть шанс?

— Хрен знает. Раньше я ничего такого не делала.

Роджер качает головой.

— Вряд ли кто-то вообще так делает.

Доджер ничего не отвечает. С помощью какого-то ментального механизма, который они оба понимают, но не могут объяснить, она закрыла дверь; беседа окончена, по крайней мере до тех

пор, пока он не заберется на крышу. При этой мысли Роджер улыбается. Она всегда любила, чтобы последнее слово оставалось за ней.

Билл идет за ним к лестнице и жалобно мяукает, когда Роджер начинает подниматься вверх.

Роджер оглядывается на кота.

— Если ты серьезно считаешь, что я поверю, будто ты не способен забраться на крышу, когда тебе этого захочется, то ты, видимо, думаешь, что я очень глупый человек.

Кот снова мяукает.

— Ясно, ты думаешь, что все люди глупые, — говорит Роджер и возобновляет подъем. — Захочешь — заберешься.

Стремянка устойчива — в отличие от лестницы, приваренной к крыше. Когда Роджер перебирается на нее, она сдвигается в сторону, и он сразу вспоминает о существовании гравитации. Падать будет больно, хотя тут и не так высоко, чтобы разбиться насмерть. Он крепко стискивает зубы и не размыкает их, пока не переваливается через край крыши на надежную твердую поверхность. А затем застывает, еще не успев как следует разогнуться, и смотрит на открывшийся вид.

Доджер и ее соседки постарались на славу. Пока он смотрел ее глазами, она направляла взгляд

исключительно на улицу, видимо, хотела увидеть выражение его лица, когда он впервые сюда залезет. Она ухмыляется ему, сидя на складном стуле на краю крыши. Лишь этот стул выглядит так, будто его принесли только на время. Кроме него здесь есть полный комплект мебели для патио, огромный брезентовый зонт и дюжина растений в горшках. На столе шахматная доска с недоигранной партией.

— Как?..

— У Кэндис есть друзья на инженерном, — поясняет Доджер. — Они проводят здесь довольно много времени, поэтому были только рады придумать, как затащить сюда мебель. Было весело. Я сделала для них пару расчетов, помогла найти правильные углы и все такое. Один из парней попытался ко мне подкатить — в метафорическом смысле, не в физическом. Кэндис спасла ситуацию.

— Так ты ни с кем, э-э-э, сейчас не встречаешься?

Выражение тревоги на лице Доджер выглядит так комично, что Роджер разражается смехом и смеется только сильнее, когда тревога сменяется раздражением.

— Прости-прости. — Он закрывается руками,

ему уже больно смеяться. — У тебя на лице был *ужас*. Я видел много разных выражений на лицах у девушек, когда они думали, что я приглашаю их на свидание, но впервые за всю свою жизнь я вызвал настоящий ужас. Я не приглашаю тебя на свидание. И не предлагаю встречаться. У меня сейчас никого нет, и мне хорошо. И я люблю тебя, но не *так*. Ты мне как сестра.

— Думаю, с точки зрения статистики это разумнее, чем кажется, — говорит она.

Роджер моргает.

— Что, прости?

— Ой, да ладно, как будто ты сам никогда об этом не думал. Мы родились в один день, у нас очень странные закрытые условия усыновления, при которых наши родители *ничего* не знают о наших биологических родителях, у нас одинаковые глаза, и, хотя квантовая запутанность — это довольно экстремальное проявление, самое близкое, что я нашла к тому, как мы разговариваем друг с другом, — это недоказанные сообщения о близнецах, один из которых всегда знал, что думает другой, даже когда они находились на расстоянии нескольких миль. — Доджер пожимает плечами. — Чтобы это проверить, нужно сделать тест или что-то такое, но держу пари, что

мы брат и сестра.

— А ты… ты хочешь сдать кровь на анализ?

Роджер опускается на ближайший стул и нисколько не удивляется, когда ему на колени запрыгивает Билл. Доджер не сказала ничего, о чем он уже не думал бы сам, но, когда твои мысли высказывает другой человек, их не так-то просто проигнорировать.

— Нет.

— Почему нет?

— А вдруг результаты покажут, что мы не родственники? Я не знаю, как по-другому справляться с… чем бы, черт подери, это ни было. Пока я считаю, что то, что между нами происходит, — просто экстремальное проявление феномена близнецов, мы не уроды. Просто регулятор выкрутили на максимум. Но что, если… — Она делает паузу. — Это глупо, конечно, потому что мы оба побывали в больнице. Если бы с нами было что-то не так, врачи бы об этом узнали. Но они же не проверяли нашу кровь на наличие инопланетных белков, или странных механизмов, или еще чего-то такого, потому что тогда они просто спасали наши жизни. Они нас просто лечили. Что, если обнаружится, что в нас что-то *не так*? Мы пойдем просто сдать анализы, а откроем ящик Пандоры.

— Ты много об этом думала.

Доджер пожимает плечами.

— У меня было много времени.

— Так ты не продолжила заниматься шахматами?

— Нет. — Она качает головой. — Я бы могла, но это никогда не было… Некоторые люди, с которыми я играла, тратили всю жизнь, совершенствуя свои навыки. Они мерили свою ценность тем, насколько хорошо могли двигать фигуры. А я просто знаю, куда надо их двигать. Я чувствовала, что жульничаю. Как когда я помогала тебе играть в «Монополию», а ты злился, потому что это было нечестно по отношению к твоей семье.

— Твое «помогала» — это гудела у меня в голове, как паровой каток, потому что игра шла слишком медленно.

Доджер снова пожимает плечами, на этот раз она улыбается, даже почти застенчиво.

— Я самая нетерпеливая из всех терпеливых людей, каких тебе доведется встретить.

— Думаю, это правда, — говорит Роджер.

Беседа иссякла. На это есть причина: им обоим не слишком уютно оттого, что то, что раньше позволяло им разговаривать друг с другом на расстоянии, осталось с ними и во взрослой жизни.

Может быть, на самом деле было бы *проще*, если бы она не ответила, если бы она оставила его просто посидеть в тишине в их садике и позволила бы умереть этой части их общего прошлого.

Но квантовую запутанность — или что бы это ни было — не так-то просто отбросить. Они все равно должны были оказаться в этой точке, как бы далеко ни уехали, как бы быстро ни бежали. Сейчас он видит это так же ясно, как то, что оживление сходит с ее лица, уступая место терпеливому выжиданию, — так может смотреть только по-настоящему нетерпеливый человек. Доджер — своего рода хищник, она способна и на абсолютную неподвижность, если думает, что ей это нужно, и на столь же абсолютный бросок.

Доджер, со своей стороны, следит за тем, не отвернется ли он, не сбежит ли; она измеряет каждое мимолетное движение, малейшее отклонение от равновесия и сверяет с чек-листом, составленным на основе наблюдений за другими людьми — людьми, которые не были Роджером, ее возможным близнецом, с которым они связаны квантовой запутанностью, и, соответственно, не были тем самым образцом, ради которого список и составлялся. Его способ продвижения по жизни — медленный, но непрерывный — вызывает у

нее ступор: сама она всю жизнь провела в рывках и остановках, в забегах и перерывах между забегами. Он вполне может сбить ее с ног, просто продолжая идти вперед, когда она выдохнется после очередного спринта.

Они уравновешивают друг друга. Это всегда было так.

— Значит, никаких тестов, — говорит Роджер. — Я не думаю, что мы инопланетные киборги или что-то в этом роде, но, полагаю, это не самый странный вариант из возможных.

— Самый странный вариант включает словосочетание «мидвичские кукушки», — отзывается Доджер.

— Не думаю, что книга — это часть тщательно продуманного прикрытия. В ней все слишком гипертрофировано.

— Нет, «гипертрофировано» — это про ремейк фильма. А книга довольно сухая.

— Все еще не любишь читать, да?

Доджер улыбается.

— Художественная литература — это не мое. Захочешь хорошую эпиграмму на спирали — обращайся. До сих пор читаешь все, до чего можешь дотянуться?

— Книги созданы из слов. — Роджер делает

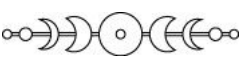
паузу, чувствуя, что только что открыл что-то важное. Рывки и остановки Доджер и его собственное неуклонное движение вперед — все это каким-то образом связано с их специализациями. Он буквально ощущает это. Но он не может ухватить идею за хвост, так что она ускользает, и он говорит просто: — Я рад, что ты рядом. Я скучал по тебе. Обещаешь, что мы не сделаем этого снова?

— Чего?

— Что мы не расстанемся.

Ее улыбка быстрая, яркая, практически ослепляющая.

— По-моему, мы уже прошли эту часть уравнения, разве нет?



Тем вечером, после того как Роджер ушел, Доджер стоит в своей комнате и стирает со стены недавно написанные выражения. Она все еще пытается выловить ошибку, которую допустила в тот день, когда встретила Роджера, выяснить, где именно вычисления отклонились от истинного пути. В этой путанице чисел и символов кроется что-то важное — она знает это, как и то, что, если она попытается уснуть в комнате, ис-

писанной неверными выкладками, ей всю ночь будут сниться кошмары и она будет абсолютно бесполезна на курсе теории игр, на котором она ассистирует. Смысл пребывания здесь — в учебе. Она может многому научиться, если будет лишать себя сна, но, как и все прочее в ее жизни, это уравнение чувствительно к параметрам, и решение найдено методом проб, ошибок и нескольких обмороков. Так что сегодня ночью она будет спать.

Позади нее раздается негромкий стук. Дверь открыта; таково правило, которое пришлось ввести после того, как Кэндис нашла ее в углу в полуобморочном состоянии: она лежала, скрючившись, и была начисто дезориентирована от испарений очистителя.

— Я проветриваю как надо, Кэнди, — говорит она.

— Это не Кэнди, — отзывается Эрин.

Доджер поворачивается. Моргает.

Это Эрин: пять-футов-семь-дюймов, загар дочери фермера со Среднего Запада, россыпь веснушек на носу (рядом с ней Доджер выглядит как жертва пейнтбола), рыжевато-золотистые волосы, глаза цвета южноамериканской бабочки морфо, включая черный контур вокруг радужки,

достаточно толстый, чтобы выглядеть неестественно. Джинсы, белый топ и такое тело, которое будто специально создали для того, чтобы удовлетворить фокус-группу одного из девчачьих журналов, в которых одежда — лишь условность и в каждом имени есть по меньшей мере одна буква «и». Она совершенно не похожа на стереотипную аспирантку богословского факультета; если на то пошло, кажется, что когда-нибудь она будет ездить с проповедями по стране, вознося хвалу Господу за Его дары при полном макияже.

Доджер не испытывает неприязни к Эрин, но она ей не доверяет. Отчего-то при виде нее у Доджер сводит скулы и возникает отдаленное чувство, будто они знакомы, будто встречались раньше, но договорились об этом забыть.

— Что-то случилось, Эрин? — спрашивает она, не замечая, что повысила тон и замедлила речь — так разговаривают с маленьким ребенком или опасным животным.

Зато Эрин замечает. Эрин замечает больше, чем другие, и ей это нравится; нравится, что по большому счету она может перемещаться по этому миру, не привлекая внимания, к которому не готова. (Нет, конечно, на нее смотрят. Она привлекательна и живет в университетском городке

в окружении людей, в которых одновременно бушуют последние подростковые гормональные бури и ощущение свободы. На нее *обращают внимание*. Но обращать на себя внимание и привлекать внимание — это не одно и то же: когда на тебя обращают внимание, ты можешь этим воспользоваться, а когда ты привлекаешь внимание — это может тебя убить. Тонкая разница. Роджер бы понял; Роджер был создан для того, чтобы понимать тонкие смысловые различия. Проклятые кукушата в настолько привилегированном положении, что даже не понимают, как им повезло.)

— Твой друг — кто он? — спрашивает она, прислонившись к дверному проему и фактически отрезав Доджер путь к отступлению. Чтобы выйти, рыжая должна будет коснуться ее, а Эрин знает, что она не станет этого делать. Доджер не терпит прикосновений. — Вы провели вместе кучу времени. Я не подозревала, что ты можешь так долго выносить чье-то общество.

Вот оно: тот самый момент, когда нужно дать ответ, когда нужно все изложить словами и так, чтобы другому человеку было понятно. Доджер медлит. Эрин прищуривается и ждет. Один кукушонок опасен. Двое, да еще и вместе, — это практически конец света, такой, каким все его

представляют. Если они еще не приняли…

— Мой брат, Роджер… — отвечает Доджер. — Мы давно не виделись, и нам нужно было наверстать упущенное.

Эрин поднимает бровь.

— Я не знала, что у тебя есть брат.

— Это… сложно, — говорит Доджер. — Мы росли порознь.

За исключением кратких периодов, когда они росли вместе. Слишком коротких, разделенных молчанием, недоверием и непониманием. Они должны были быть рядом дольше. Они должны были быть рядом *всегда*.

— Хм. И вы оба решили поступить в Беркли? Почему? Воссоединение семьи? Сняли бы квартиру вместе, и нам бы не пришлось терпеть тебя каждое утро, пока ты не выпьешь кофе.

— Он по утрам еще хуже, чем я.

— Тогда вам точно надо было жить вместе. — Эрин продолжает пристально изучать Доджер, оценивая ее ответы. — Кто старше?

— Роджер.

Быстрый ответ: ни малейшей паузы на обдумывание. Если бы она задумалась, она бы мучилась над тем, какой вариант верный и имеет ли это значение. У Доджер первый ответ практически

всегда и есть правильный. Инстинктивная математика не лжет.

— Хм. У него забавный акцент. Откуда он?

— Из Кембриджа.

Доджер понимает, что любому, кто помнит про «нападение», покажется странным, что она общается с парнем из Бостона. Прошлое никогда не остается в прошлом. Оно словно сидит в засаде, готовое в любой момент атаковать настоящее.

— Вау. Когда ваши родители разошлись, они реально разошлись. — Эрин не двигается с места, внимательно наблюдая за Доджер. — Он с кем-нибудь встречается?

— Так, то с одной, то с другой.

Доджер не хочет, чтобы Эрин встречалась с Роджером. Это не совсем чувство собственничества: ее не беспокоит, что у Роджера есть девушки, не так, как когда они были подростками и она пыталась проработать собственное сложное отношение к этой теме. (Элисон и ей подобные не нравились Доджер в первую очередь потому, что она боялась, что Роджер найдет кого-нибудь, кого полюбит больше, того, кто захватит его с физической стороны, а не квантовой связью. Но это было давно и больше ее не волнует.)

— Оу, жаль. Впрочем, если он будет часто здесь

бывать, может, я смогу его убедить, что должна быть одной из них.

Эрин отлипает от дверного проема, кажется, что глаза у нее потемнели. Она смотрит на Доджер, и Доджер старается не съежиться под этим черно-синим взглядом.

— Да? — наконец не выдерживает она.

— Будь осторожна, — говорит Эрин, и впервые ее голос совершенно серьезен, невероятно, безапелляционно серьезен. — Я знаю, восстанавливать мосты — прекрасное дело, но ты должна помнить, зачем ты здесь. Ради своего образования. Чтобы вооружиться для будущего. Оно уже наступает, и когда оно наступит, ему будет все равно, как часто вы с братом заплетали друг другу косички или как много вы хохотали. Будет важно только, есть ли у вас необходимое оружие. Так что будь *осторожна*. А теперь извини, я иду мыть посуду. Вы тут живете как свиньи.

Она поворачивается и уходит прочь, а Доджер только озадаченно хлопает глазами ей вслед.

Мгновение спустя она снова принимается стирать записи со стены.

Отчет

Лента времени: 11:19 CST, 4 сентября 2008 года (следующий день)

— Магистр Дэниелс терпел твои глупости, но я не он, и все это продолжалось слишком долго, — выплевывает новый первосвященник Алхимического конгресса. Бесполезный титул. Религиозные аспекты того, чем они занимаются, давно канули в Лету, а на смену им пришли скептицизм и стоический научный метод. — То, что, по твоим словам, ты пытаешься сделать…

— Я ничего не пытаюсь сделать, — говорит Рид спокойным, ровным голосом. — Я предстал перед магистром Дэниелсом, чтобы сообщить ему, что все уже сделано, и попросить снова принять меня в ваши ряды, чтобы вы могли разделить со мной грядущую победу. Я сделал это, чтобы почтить память Асфодель, а не из-за каких-то обязательств. Сейчас я здесь, чтобы сказать вам, как сказал и ему, что я *воплотил* Доктрину Этоса, что я *изменил* механизм, управляющий вселенной. Я сделаю то, чего не делал никто со времен Асфодель. Я открою двери Невозможного города

и верну магию в этот мир.

— Тебя сконструировали, ты просто… *вещь*, — возражает один из младших алхимиков, чье имя он так и не удосужился узнать, да и не хотел. — Ты не можешь достичь того, ради чего алхимики лучше тебя жили и умирали, так и не добившись успеха.

— Магия никогда не покидала этот мир, — возражает другой. — Магия — естественный закон, как и гравитация. Она сохраняется.

Рид обращается именно к этому, менее раздражающему алхимику:

— Магия *ослабла*. Века чудес были размолоты в порошок жерновами осторожности и рациональности. Мы отступили слишком далеко. Мы позволили вере обратиться против нас. Это изменится.

Первосвященник качает головой.

— Будь благоразумен, Рид. Люди не готовы.

— Люди — овцы. Они будут делать, что им скажут, особенно когда поймут, что мир не таков, как они привыкли думать. — Рид улыбается. — Невозможный город откроется. Мир станет другим.

Они смотрят друг другу в глаза, эти двое, разделенные невозможной идеологической пропастью, и весь Конгресс задержал дыхание и

зачарованно замер.

Невозможный город. Его не всегда называли так. Когда-то он был Олимпом, Авалоном, Островами мертвых — вершиной алхимии, пиком всех человеческих знаний, всего человеческого потенциала. Город, о котором все мечтали, но никто никогда не владел, никто не контролировал. Место, где улицы были вымощены золотом, где текли алкагестовые реки, а деревья цвели панацеей. Со временем он все сильнее отдалялся от изведанного, от истины, пока не осталось ни одной дороги, так что пути назад уже не было. Именно Асфодель Бейкер снова обратила внимание мира на этот далекий идеал, чтобы заново открыть единственную тропинку. Невероятную дорогу, которая может привести ищущих домой.

— Невозможный город — это миф, — говорит наконец первосвященник.

— Увидим, — отвечает Рид. — Нарушил ли я какие-нибудь договоры? Какие-нибудь законы? Я стремлюсь открыть Невозможный город для всех нас, в память о магистре Дэниелсе, в память об Асфодель. Дети, которых я создал, — плоть от плоти моей, и значит, они моя собственность. Я иду во свете к этой цели.

Первосвященник прищуривается.

— Если Город тебе откроется…

— Он будет принадлежать нам всем, согласно моему договору с магистром Дэниелсом.

Рид лжет. Рид всегда лжет. Но если он сможет еще немного удерживать Конгресс на расстоянии, потом они его уже не остановят. Возможно, они и сейчас уже не могут этого сделать. Какая прекрасная мысль — возможно, они и так уже ничего не могут. Возможно, он и так уже правит миром.

Они ничего не могут ему предъявить, ничего не могут сделать: он был слишком осторожен. Даже смерть магистра Дэниелса и его помощников хорошо скрыта. Когда собрание заканчивается, он выходит из дверей Конгресса свободным человеком, упиваясь своим успехом.

Ли ждет его снаружи. Она выглядит как школьная учительница, которая стоит у стола директора и ждет, что хулиганов из ее класса наконец-то накажут как следует.

Он одаривает ее улыбкой.

— День идет великолепно. Надеюсь, ты здесь не для того, чтобы его испортить?

— Они установили связь.

Рид по опыту знает, что Ли, что бы она ни имела в виду, не оставит его в покое, пока не получит

удовлетворительный ответ, а в ее случае это означает, что кто-то начнет истекать кровью.

— Пойдем со мной, — говорит он, продолжая идти по коридору, подальше от дверей, подальше от посторонних ушей.

Здесь они в меньшей безопасности, чем на своей территории, но иногда он вынужден любезничать с «коллегами», чтобы они и дальше верили, будто он все еще хочет принадлежать к их братии. Настанет день, и он разрушит эту иллюзию, и будет смеяться, потому что в этой чепухе никогда не было необходимости. Только воля и готовность сделать то, что должно.

Когда они отошли достаточно далеко, чтобы не сработала сигнализация, он достает из кармана монету и начинает перебирать ее пальцами; монета крутится: глаз-пирамида-глаз… Пока она в движении, их никто не услышит.

— Кто установил связь?

— Последние птенцы из вашего неудачного гнездовья, — выплевывает Ли. — Миддлтон и Чезвич. Они поступили в один и тот же университет и столкнулись сразу же по приезде в кампус.

— Я думал, ты приставила к ним смотрителей.

Это сказано мягким тоном, но обвиняющий подтекст очевиден: если его кукушата вступили

в контакт, это случилось только потому, что Ли не справилась со своей работой. Она не смогла разлучить их, отвлечь, чтобы они дозревали в отдельных клетках. Они разделили их целой страной, но эти дети сходятся снова и снова, будто бы назло своим создателям.

— Ту, которая присматривала за Миддлтоном, пришлось… убрать… из программы из-за неспособности удержать его внимание, — говорит Ли с удивительной для нее степенью деликатности. — Я думала, вы убедили девочку, что ее «брат» — просто плод воображения.

— Навязанные идеи никогда не выдерживают столкновения с реальностью. — Рид одним взмахом руки отбрасывает мысль о своей ответственности за случившееся. — А что с той, которая присматривает за Чезвич?

— Делает все возможное, но ее возможности не безграничны. Они по своей природе представляют хаос, а она управляет порядком. Когда они вместе, она не в состоянии справиться.

Рид хмурится.

— Как это произошло?

Ли качает головой.

— Они встретились случайно, но после того, как Миддлтон понял, что Чезвич в Беркли, он вы-

следил ее. Судя по всему, он был твердо намерен заставить ее поговорить с ним.

— Они все еще способны общаться невербально?

— Не знаю. — Это признание явно далось ей нелегко. — После столь продолжительного времени порознь эта способность должна была атрофироваться, но мы не ожидали, что они сблизились настолько, что Чезвич сможет позвать на помощь даже после того, как вскроет свои проклятые вены.

Ли не пытается скрыть разочарование. По мнению Ли, кукушонок, пытавшийся покончить с собой, — слаб, и таким в программе не место. Если бы событиям было позволено развиваться естественным образом, Чезвич должна была истечь кровью, а Миддлтон — умереть от шока, и с этим поколением кукушат было бы покончено. Она могла бы закрыть книгу этого провального эксперимента, а не продолжать расходовать время и ресурсы на то, чтобы отслеживать их прогресс.

Для Ли нет ничего более ужасного, чем пустая трата времени. Время — самый ценный ресурс.

— Скажи оставшемуся смотрителю быть начеку. Нам нужна вся информация, какую только можно получить, о том, как они взаимодейству-

ют… И скажи ей, чтобы не вмешивалась. — Рид убирает руки за спину, монета все еще танцует между костяшек. — Я хочу увидеть, как они будут развиваться без препятствий. Они уже должны быть достаточно взрослыми, чтобы иметь отчетливое собственное «я», которое не позволит им слиться друг с другом настолько, что они станут бесполезны.

— Сэр…

— Ли. — Он смотрит на нее, и на этот раз его взгляд безжалостен. — Разве я до сих пор не был прав? Разве я тебя не кормил? Не одевал, не содержал, не давал тебе материалы для твоих экспериментов, не скрывал следы твоих менее… приглядных интересов? Я мог просто выбросить тебя как неудавшуюся Еву, когда нашел в той лаборатории, но я принял тебя как свою и поручился за твою стабильность перед Конгрессом. Я взял за тебя *ответственность* и взамен попросил лишь одно — чтобы ты повиновалась мне без вопросов. Доверься мне. Верь в меня, и я приведу тебя к свету.

— Простите. — Она склоняет голову знакомым не совсем человеческим движением, прижимая подбородок к грудине и обнажая дополнительные позвонки на шее. — Я скажу своей девочке,

чтобы наблюдала, но не вмешивалась.

— Хорошо. Очень хорошо. Как твое поколение?

Неожиданно Ли снова улыбается.

— Хорошо, — эхом отзывается она. — Очень хорошо. Двое из них отказались от идеи раздельных тел. Они считают себя единой мыслеформой с четырьмя руками и четырьмя ногами, которую иногда нужно кормить. Еще двое совершили ритуальную форму убийства-самоубийства, хотя мы их даже не просили. Все они развиваются прекрасно.

Рид не указывает ей на то, что она только что описала потерю двух подопытных как «развиваются прекрасно». Вместо этого он смотрит на нее и говорит:

— Я думал, у тебя три пары. В ритуалах важна кратность трем.

Роджер и Доджер начали как одна пара из трех и на много лет пережили своих собратьев. Из пар, что он создал после них, осталось две, и ни одна пока не показала ничего настолько же многообещающего, как Роджер и Доджер, но и не доставила таких же проблем.

— Жаль, что вы не захотели утвердить вариант с двенадцатью парами, — отвечает Ли, качая головой. — Третья пара хорошо помогает мне в

лаборатории. Они безропотно выполняют все, что им поручают. В девочке воплотился язык, она переводит для меня мои старые рабочие журналы, но не ради удовольствия. Она должна *работать*. Она все делает добросовестно, не жалуясь, но и не находя в этом радости. Мальчик — воплощенная математика, и с ним все ровно так же, когда я поручаю ему что-то связанное с измерениями или вычислениями. Его работа всегда безупречна. Но в ней нет вдохновения. Я думаю, они недостаточно пропеклись.

— Если хочешь, можешь пустить их в переработку.

Это редкое удовольствие — разобрать на части что-то живое, не пытаясь найти оправдание. К его удивлению, Ли отвечает:

— Пока не хочу, если только это не приказ. Пока моя первая пара жива, вы не разрешите запустить новую партию, а последняя пара — интересная контрольная группа. Подопытные в первой паре переплелись настолько, что стали бесполезны для ритуалов, хотя и представляют собой увлекательную головоломку, а вторые практически не коснулись Доктрины. Я хочу понять почему. Я дам им еще полгода, и, если никто за это время не покажет полезных результатов, просто поставлю

их друг против друга и посмотрю, кто выживет. Будет интересно узнать, что случится, если одного из пары убьют. У меня есть теория.

— У тебя всегда есть теория, — говорит Рид. — В паре Миддлтон — Чезвич мы ближе всего подобрались к управляемой воплощенной Доктрине. Даже попытки девочки навредить себе сработали в нашу пользу: он будет ее защищать, поэтому ее можно превратить в рычаг давления. Не спускай с них глаз. Если они проявят признаки следующей стадии сближения, возможно, нам придется вмешаться. А пока можем оставить их в покое. Посмотрим, что они станут делать, если дать им шанс существовать вместе без внешней угрозы.

Ли хмурится. Совсем чуть-чуть. Но больше, чем обычно позволяет себе в присутствии хозяина и работодателя. Как и все неудачные эксперименты, она слишком хорошо представляет, что значит навлечь на себя гнев своего надсмотрщика.

— Хорошо. — Ее ответ звучит не слишком любезно. Рид не станет наказывать ее за это; что-то человеческое просыпается в ней настолько редко, что он поощряет это при каждом удобном случае. Возможно, если бы человеческого в ней было немного больше, она была бы менее жесто-

кой. Не менее одаренной, но менее… склонной к «несчастным случаям» в лаборатории. — Я позвоню Эрин и выдам ей новые инструкции.

— Очень хорошо, — говорит он.

Они идут бок о бок по коридорам Конгресса, прочь от старых дураков, мечтающих о Невозможном городе, который никогда не увидят, и невероятной дороге, которая никогда еще не была настолько достижима, настолько близка.

Пастораль

Лента времени: 17:20 PST, 16 ноября 2008 года (два мирных месяца)

— Когда тебя ждут дома?

Доджер стоит у дальней стены с маркером для доски, добавляя числа в уже начатые колонки символов. У нее невероятно аккуратный почерк, больше похожий на машинный шрифт, обработанный человеческой рукой, чем на что-то естественное; каждый символ занимает ровно столько же места, как и все остальные, и со всех сторон идеально совпадает по размеру с соседями. Роджер и не ожидал ничего другого. Он сидит в позе лотоса у нее на кровати. В комнате не предполагается опоры для спины; загадка ее утренних занятий йогой раскрыта. Он практически уверен, что без них она давно потянула бы мышцы, пытаясь каждое утро сделать домашнюю работу, не говоря уже об остальной части дня. В комнате пахнет маркерами и чистящим средством; единственного окна не хватает, чтобы эти запахи выветрились. Старина Билл сидит снаружи на подоконнике, всем своим видом демонстрируя,

что *мог бы* попасть внутрь, если бы захотел, но *предпочитает* остаться снаружи. Небо серое, в воздухе пахнет дождем, и мир никогда еще не был таким идеальным.

— Улетаю в воскресенье утром, — терпеливо говорит он. Доджер и так уже это знает: она помогла ему найти билеты, обнаружив с помощью математических заклинаний лучший вариант праздничного рейса между Беркли и Кембриджем. (Ладно, между Сан-Франциско и Бостоном: может быть, в математике она настоящая волшебница, но создавать аэропорты из ничего не входит ни в круг ее умений, ни в круг интересов. Да и куда бы они их *впихнули*?) — Меня не будет шесть дней, вернусь в субботу после Дня благодарения. Ты все еще можешь приехать к нам, если хочешь.

— Чтобы собственные родители убили меня за то, что я неблагодарный ребенок? Нет уж, спасибо. — Она добавляет еще ряд чисел. — Я поеду домой, в Пало-Альто, съем индейку, которую папа пожарит во фритюре, и буду довольна. Правда. Он хорош в делах, для которых нужно неправдоподобно много огня. Не забудь о часовых поясах: я встаю не раньше девяти, для тебя это будет полдень.

— Помнится, когда-то ты вставала в пять.

— Да, потому что ты вставал и был готов бежать общаться в восемь, и еще потому, что меня тиранически заставляли ложиться спать в страшную рань, неподходящую для моего развивающегося разума. — Она улыбается ему через плечо. — Теперь у меня другой распорядок.

Он поднимает голову и улыбается в ответ. Они все больше синхронизируются; не настолько, чтобы она переживала, что квантовая запутанность становится сильнее, но достаточно, чтобы она снова по-настоящему поверила, что он подхватит ее, если она упадет. (Квантовая запутанность — по-прежнему лучший способ описать их ситуацию, хотя они осторожно расспрашивали знакомых физиков. То, что с ними происходит, — если и не уникальный случай в анналах человеческой истории, то уж точно необычный и аномальный. В том числе поэтому они так осторожны в поисках дополнительной информации. Исследовать странный феномен, не выходя из собственной комфортной квартиры, — это одно. Делать это, находясь в чужой лаборатории, — совсем другое.)

— А я научился считать часы, — говорит Роджер. — Я не буду тебя будить. Хотя могу отругать,

если ты все еще будешь бодрствовать, когда я буду ложиться. Ты должна спать хоть иногда, Додж. Отсутствие сна плохо на тебе сказывается.

— Говорит парень, который не спал три дня, потому что читал и анализировал кучу книг на шумерском. Ради удовольствия.

— Я *получал* удовольствие. — Он разворачивается к ней лицом. — У меня есть к тебе вопрос, если у тебя найдется минутка.

— Это «найдется минутка» в смысле «можешь продолжать работать» или в смысле «пожалуйста, положи маркер, мне нужно все твое внимание, это очень важно»?

Доджер продолжает писать. На уровне глаз место на стене заканчивается; вскоре ей придется встать на колени, а в итоге — лечь на живот: числа и символы разматываются из маркера, словно нить из клубка; она Шахерезада математического мира. Роджер почти никогда не знает, над чем она работает. Несколько раз она пробовала объяснить, но он сумел уловить смысл только в самых общих чертах. И перестал спрашивать. Ему достаточно видеть, что, когда она этим занимается, она счастлива.

— Последнее, если ты не возражаешь.

Доджер останавливается.

— Дай я это допишу, — отвечает она и строчит с удвоенной скоростью, пока не доходит до конца строки. Затем надевает колпачок на маркер и поворачивается, одновременно опускаясь на пол. Будто журавль пристраивается в гнездо — невозможное количество материи укладывается в невозможно маленькое пространство. Она наклоняет голову и спрашивает: — Хочешь предложить съехаться? Потому что я думаю, что это плохая идея. Я немного почитала — не только про физику, но и про математику, — и у меня есть опасения…

— Многие из которых не дают мне спать по ночам, уж поверь, — перебивает Роджер. — Я не хочу съезжаться с тобой по тысяче причин. Это одна из них. Другая — как объяснять твое присутствие девушкам, которых я привожу домой.

— Почти все на кампусе считают, что я твоя сестра. Но это неважно. Если с девушкой стоит встречаться, она поверит, когда мы скажем, что между нами ничего нет.

— Я с тобой согласен. Но двадцать лет романтических комедий — нет, и они сильно усложняют ситуацию, когда я, скажем, привожу девушку домой, а ты как раз выходишь из душа, так что первое, что она видит в моей шикарной холостяц-

кой берлоге, — мою мокрую полуголую рыжую сестру.

— Все знают, что рыжие — ненасытные секс-машины, — ровным тоном говорит Доджер. — С нашими-то веснушками, любовью к математике и вечным стремлением не ходить на свидания, потому что на них уходит слишком много времени, которое можно провести с большей пользой.

— Не все отказываются от свиданий во время учебы в университете.

— Не всем нравится иметь свободное время.

Роджер пожимает плечами.

— Каждый развлекается по-своему. Мы можем вернуться к теме?

— Я и не знала, что мы ушли от темы. Я даже не знаю, *что* это за тема.

— Ты не дала мне сказать, — протестует он. — Это про моих родителей.

Доджер замирает. Роджер терпеливо ждет. Он уже видел такое несколько раз и понимает, что происходит. Слова — точно не ее сильная сторона. Она может достаточно легко поддерживать беседу, она не *глупа*, но иногда тонкие языковые смыслы от нее ускользают. Когда это случается, а она знает, что это важно, она отключается, блокирует все лишнее и погружается в суть про-

блемы. *О чем он на самом деле спрашивает? Зачем он об этом спрашивает? Что будет, когда она ответит*?

(Он делает нечто подобное, когда нужно произвести более сложные расчеты, чем просто разменять деньги. Келли любила пошутить про «чаевой паралич», когда он на пять минут переставал реагировать на внешний мир, пытаясь сосчитать, сколько прилично оставить, исходя из суммы чека. Но самое интересное в этом явлении — то, чего он не мог обнаружить, пока был один, а Доджер оставалась только призраком из прошлого, который, возможно, никогда не явится снова, — это то, что, когда она так отключается, он чувствует в глубине сознания слабое покалывание, будто силится что-то вспомнить. Это не совсем дежавю — скорее уж жамевю, чувство, будто он знает что-то, что точно никогда раньше не видел. Доджер переживает из-за квантовой запутанности больше, чем он, — перемена их детских позиций произошла незаметно. Он не хочет еще больше пугать ее рассказом об этом ощущении. Однажды ему все равно придется это сделать.)

Наконец, она наклоняет голову и спрашивает:

— Чего ты надеешься добиться?

— Я хочу рассказать им о тебе. Может быть, в моих документах по усыновлению упоминается сестра. Это проще, чем сдать генетический тест. Не придется вовлекать посторонних.

Доджер медленно, но заметно мрачнеет.

— Я реально думала, что ты собираешься спросить о чем-то, ну не знаю, типа можно ли тебе пригласить Эрин на свидание.

— О нет. Встречаться с Эрин — все равно что встречаться с блендером. Да, он делает великолепные смузи, но однажды, когда ты будешь занят своими делами, он включится сам собой, и — хоп — у тебя нет руки.

Доджер поднимает бровь.

— Мда-а, первое — твои метафоры стали еще более странными, второе — тебе больше не разрешается брать фильмы ужасов из моей коллекции. Пусть я представляю твоих девушек как смутную, аморфную массу, но не надо превращать их в кухонные приборы.

— Ну ты же понимаешь, что я имею в виду, — говорит Роджер. — Проще было бы сравнить ее с диким животным, но мне показалось, что это клише.

— Боже упаси вас от *клише*, мистер-будущий-профессор-литературы, — иронизирует

Доджер. — А то окажется, что одно-единственное клише — это стартовый наркотик для твидовых пиджаков и брюк цвета хаки, и вот уже ты преподаешь Керуака и строишь глазки симпатичной студентке в первом ряду, которая заводит тебя настолько, что ты хочешь одним триумфальным движением трахнуть всю Центральную Америку.

Роджер моргает.

— И долго ты это придумывала?

— Около недели, — признается Доджер.

— Тебе стало лучше?

— Немного. — Она все еще улыбается точно так же, как когда ей было девять, — в тех редких случаях, когда она расслаблена настолько, чтобы вообще улыбаться во весь рот. Но даже когда она улыбается вот так, во все лицо, один уголок ее рта немного вздернут, и Роджер понимает, что ее настоящая улыбка тоже кроется где-то там. Затем улыбка сходит на нет. — Я не против, если ты хочешь рассказать обо мне своим родителям. Просто… будь осторожен.

— Буду, — обещает он. — Я всегда осторожен.

— Не всегда, — говорит Доджер.

Роджер задерживает дыхание, изучая ее. Непохоже, что она расстроена. Вроде бы она вы-

глядит… спокойной. Как будто наконец пережила их разлуку. Он выдыхает.

— Знаешь, ты суперклассная сестра!

— И была бы еще намного круче, если бы мы росли вместе.

Он делает паузу.

— Ты передумала насчет анализа крови?

— Размышляю об этом, — признается она. — Если бы мы получили доказательства, что мы брат и сестра, я могла бы познакомить тебя со своими родителями. А ты как-нибудь познакомил бы меня со своими. Нас будет гораздо труднее разделить снова, если весь ближайший круг у нас будет общим.

Ее отец вряд ли хорошо отнесется к тому, что она заявится домой с парнем из Бостона; прошли годы, но Роджер абсолютно уверен, что профессор Чезвич узнает его голос. А как иначе? Есть вещи, которые не забываются, и голос парня, который позвонил и сказал, что твоя дочь умирает от потери крови, — явно вверху этого списка. С другой стороны, если у них будут доказательства, что они брат и сестра…

— А если тест покажет, что мы ошибаемся? — спрашивает он. — Что тогда?

— С каждой новой единицей данных это кажет-

ся все менее вероятным, — говорит Доджер. — У нас одинаковые глаза. У нас схожее телосложение. Мы родились в один день — в один *час*. Если ты дома сможешь найти свое свидетельство о рождении, посмотри, не указан ли там штат рождения. Мой — Огайо. Все это можно подделать, но, если собрать все данные вместе, они становятся весьма убедительными. У нас одна и та же группа крови. Рыжие и каштановые волосы часто встречаются в одной семье.

— Это для тебя важно, да? — спрашивает Роджер.

— Да.

— Почему?

— Потому что, если мы родственники, тебе больше не смогут сказать, чтобы ты от меня отказался. — Доджер совершенно спокойна, точна в каждом слове: она все просчитала. — Нельзя сбежать от семьи.

Она имеет в виду не только его, но и себя, даже в большей степени. Он бросил ее ненадолго. Она попыталась бросить его навсегда. И все же.

— Но если мы не брат и сестра?

— Ты все равно мой брат. Квантовая запутанность сильнее крови.

— Знаешь ли, в оригинальной цитате…

— Это неважно, и у меня под рукой много всего, чем я могу в тебя запустить, так что не будь таким занудой, — весело говорит она. — Если мы не биологические брат и сестра, можно исключить один из пунктов из списка причин нашей квантовой запутанности. А если брат и сестра, то мы могли бы начать поиски аналогичных случаев и обнаружить возможные последствия. Я не собираюсь снова причинять себе вред, но вдруг с одним из нас произойдет несчастный случай? Мы уже знаем, что когда один из нас близок к смерти — близок к смерти и второй, но возможно ли, что ты все-таки переживешь мою смерть или наоборот? Нам нужно знать, насколько мы рискуем друг другом, когда делаем что-то опасное.

— И что тогда? Обложимся мягкими подушками? Я не могу просить тебя перестать жить своей жизнью только потому, что это опасно для меня.

И наоборот — но он точно знает, что она никогда не попросит его об этом: это было ясно по тому, как она реагировала всякий раз, когда давление становилось невыносимым. Если они найдут доказательства, что все травмы потенциально могут передаваться, она не станет осторожнее. Она превратится в параноика, запрет все двери и никого не будет впускать.

— Я не *знаю*. — Она не скрывает разочарования. — Это терра инкогнита, и у нас под рукой нет физика, который помог бы нам во всем разобраться. Может быть, если мы поймем, от чего отталкиваться, мы сможем такого найти. Убедить его, что нам нужна помощь, но мы не хотим становиться научным проектом. Все начинается с анализа крови. Так что, мы можем пойти сдать кровь?

— Конечно, — говорит Роджер.

Плечи Доджер расслабляются.

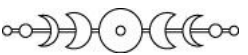
— Когда? — спрашивает она.

— Может быть, после Дня благодарения…

Остаток вечера проходит в разговорах, тема сменяет тему, все они легкие, большинство — приятные. Это прекрасно — просто сидеть и разговаривать; каждый из них уже не раз подумал, что вот так все и должно было быть с самого начала. Именно так должен был быть устроен мир. Безусловно, доля напряжения тоже есть, но это напряжение от встречи двух сознаний, конфликт различающихся базовых интересов, а не напряжение мира, который вот-вот станет ужасно сложным.

Конечно, долго это не продлится. Но никто из них этого не осознает, а даже если бы осознава-

ли, это бы никак не изменило сам момент, его уютность, точку опоры, которую он представляет в запутанной структуре их жизней. Это один из тех моментов, вокруг которых будет вращаться все остальное, даже когда мир начнет рушиться. Один из тех моментов, что будут сиять.



По будням Роджер уходит в одиннадцать. В основном они встречаются у Доджер, потому что у нее есть склонность писать на стенах: он может снабдить ее рулоном бумаги, но всегда есть шанс, что она расслабится настолько, что забудет, что *его* стены — совсем не маркерная доска. А ему нравится залог, который он оставил при съеме квартиры. И особенно нравится, что, когда съедет, он получит его обратно, а значит, сможет использовать снова, заехав в новую квартиру. К осени конкуренция за съемное жилье для аспирантов обостряется: новоприбывшие ученые вступают в борьбу со «старичками» за места поближе к кампусу, а еще лучше — поближе к фудкорту Дерби. Ему нравится его нынешняя квартира, но он уже положил глаз на местечко над музыкальным магазином «Амеба Рекордс», которое должно

освободиться летом. Так что защита залога — первостепенная задача, по крайней мере пока.

Еще ему нравится идти пешком от Доджер до себя, особенно поздним вечером, когда в городе тихо и прохладно, а кампус источает забавную смесь запахов бетона и леса. Это напоминает ему о доме. Большей части Калифорнии присуща очень специфическая палитра запахов, комбинация эвкалипта, олеандра и жаркой пустыни, маскирующейся под рай на земле. А вот Беркли… Беркли пахнет студенческим городком, каковым и является, и, хотя это не совсем Кембридж (ничто не может быть «совсем Кембриджем»), иногда Беркли подбирается к Кембриджу очень близко, особенно к середине ночи.

(Кроме того, если домой — пешком — нужно добираться именно ему, значит, Доджер не будет разъезжать на велосипеде посреди ночи. Она прекрасно управляется с великом, как будто ездила на нем всю жизнь, но несчастные случаи никто не отменял, и, пока они не знают наверняка, как работает их запутанность, он предпочел бы, чтобы обошлось без падений. Он предпочел бы, чтобы без падений обошлось и *после* того, как они узнают, как работает их запутанность, он предпочел бы, чтобы она всегда оставалась

здоровой, чтобы она всю жизнь оставалась вместе с ним — просто прямо сейчас он не знает, что может случиться. Он не готов признать вслух, но это его пугает. Это сильно его пугает.)

Сейчас, когда он один, он может признаться себе, насколько идея начать процесс тестирования его воодушевляет. Все начинается с крови: они с Доджер пришли к этому заключению независимо друг от друга, и значит, это правильный вывод. Даже *точный,* что не совсем то же самое и что не менее важно. Математические расчеты Доджер не работают, если нарушена правильная последовательность действий, если не найти правильный путь через уравнение. Аналогично выглядит вопрос о квантовой запутанности. Им нужно найти правильную последовательность действий, каждый шаг должен быть на своем месте, или все может рухнуть. А он не хочет, чтобы все рухнуло.

Проблемы Доджер более заметны, и это понятно: она всегда была на виду, словно яркий плакат, привлекающий внимание всех снайперов на свете, словно птица, притворяющаяся, что у нее сломано крыло, чтобы отвлечь хищников от гнезда, — но это не значит, что проблемы есть только у нее. Роджер всю жизнь пытается найти

баланс между тем, чтобы быть самым умным, и искренним желанием нравиться окружающим. Он хочет говорить и о фонемах, и о количестве звуков, которое способно произвести человеческое тело, и о бейсболе, и о том, как трудно в этом городе найти приличный чаудер, — он хочет говорить обо всем этом одновременно, но *не может*. Половина умных людей, с которыми он знаком, настолько помешана на идее быть умными, на мысли о том, что ум — это главное в их жизни, что стоит ему заговорить о бейсболе, как они чуть ли не подпрыгивают, стараясь поскорее объявить, что бейсбол — это скучно. По-плебейски. Что они никогда не падут так низко.

Он знает подходящие слова: баланс, равновесие, паритет. Он всегда думал, что это просто прекрасная мечта, к которой можно стремиться, но нельзя достичь. Сейчас, впервые в жизни, он ощущает, что эти слова описывают что-то возможное. Что им всего-то нужно понять, кто они и *зачем* они, и тогда они смогут двигаться дальше.

Он так глубоко погружается в собственные мысли, что не замечает, как рядом с ним возникает другой человек и начинает идти нога в ногу. Шаги бесшумны, серая одежда сливается с городскими улицами, тускло освещенными лу-

ной. Только заметив краем глаза отблеск светлых волос, Роджер понимает, что рядом кто-то есть, и только повернув голову, понимает, что это Эрин.

— О, — говорит он. — Привет?

— У тебя странное чувство направления, — говорит Эрин. — Если ты хотел попасть домой за разумное время, мы должны были повернуть два квартала назад.

— Я наслаждаюсь прогулкой, — слегка смущается он.

Соседки у Доджер странные, каждая по-своему. Грубоватая Кэндис, вечно покрытая пятнами краски, скорее привлекает его, а Эрин, по-кошачьи текучая и холодная, скорее отталкивает. В ней есть что-то, что не до конца синхронизируется с остальным миром, будто ее вставили из другой реальности. Она вовремя платит за аренду и практически не бывает дома, поэтому у Доджер нет к ней претензий, но Роджер со времени их первой встречи на балконе на всякий случай старается держаться от нее подальше. Что-то в ней не так.

— Наслаждался, — говорит она и оказывается права, поэтому он не спорит, хотя вежливо было бы попытаться.

Некоторое время они идут молча, Эрин мирно

шагает рядом с ним, Роджер выбирает самый короткий маршрут, который приведет его к дому и положит конец этой игре — или что бы это ни было — как можно скорее.

Наконец Эрин спрашивает:

— Если я дам тебе совет, ты станешь меня слушать? Или просто скажешь: «О, это странная соседка Доджер, которая никогда не показывается на глаза, так что я могу просто проигнорировать все, что она скажет, и не переживать о последствиях»?

— Я обдумаю твои слова, попытаюсь непредвзято их оценить и буду бесконечно переживать о последствиях, потому что я — это я и именно такой ерундой любит заниматься мой мозг, — отвечает Роджер.

Его голос звучит доброжелательно, но выражение лица мрачное. Эрин всегда казалась ему не от мира сего, но здесь и сейчас она еще более странная: здесь и сейчас она — рана в ткани этого мира, и она кровоточит, о, как она кровоточит.

— Не возвращайся из Бостона.

Роджер останавливается.

Эрин по инерции проходит еще несколько шагов, потом тоже останавливается и разворачивается к нему.

— Оставайся дома, — говорит она. — В Бостоне есть университеты, в которые можно перевестись. Скажи, что заболел. Уноси свою задницу подальше от невероятной дороги, пока не зашел слишком далеко, потому что Невозможный город прямо по курсу, Галчонок, и он ждет тебя. Он знает, что ты идешь. И когда он увидит, как ты выходишь из-за поворота, будет уже слишком поздно.

Роджер уставился на нее.

— Э-э-э, Эрин… Не мое дело, чем ты занимаешься в свободное время, но ты под кайфом? Я не собираюсь уходить из аспирантуры только потому, что у тебя какой-то бзик насчет Под-и-Над. И если я Галка Джек, кто тогда ты? Пшеничная Дженни?

— Мне бы очень повезло, — говорит она, и в ее голосе слышится такая ужасная, болезненная *разумность*, что он делает шаг назад, прочь от нее, прочь от того будущего, которое она представляет. — Я не иду по невероятной дороге, Галчонок; я не иду встретиться с Королевой жезлов. Я уже *встречалась* с Королем кубков, и Паж застывших вод убедилась, что я знаю, что перешла черту. Хочешь навредить себе — вперед, но подумай о Доджер. Она сейчас очень хрупкая. Такие, как

она, всегда хрупкие. У Девочки-вороны и Галки Джека много общего, но там, где ты будешь гореть, она впитает всю воду на свете и утонет под тяжестью собственных легких. Контроль у тебя. Она — просто спусковой крючок. Остановись сейчас, пока не стало слишком поздно для вас обоих.

— Теперь ты несешь совсем уже бред, — терпеливо говорит Роджер. — Я был готов не обращать внимания на разные странности, потому что ты соседка Доджер, и я не знаю, что ты сегодня курила, но ты уже пересекла не одну черту, в частности — вышла за пределы разумного. Иди домой, Эрин. Тебе нужно отоспаться. Увидимся после Дня благодарения.

— Я могу *видеть* фиксированные точки на вашей временной линии. Я не могу изменять их или перемещаться между ними, как можете вы, но я могу их *видеть*, и вы только что перешагнули через одну. Разве ты не понимаешь? Вы направляетесь через темпераменты прямиком к центру, но, как только вы туда попадете, я не смогу вас спасти. Как только вы туда попадете, *никто* не сможет вас спасти. Король кубков сразу же вас увидит. Король кубков видит всех кукушат, когда они возвращаются в родное гнездо.

— Иди домой, Эрин. — Роджер снова начинает идти, на этот раз быстрее, сразу минуя Эрин. Она остается стоять. Он благодарен ей за это, но не замедляет шаг.

— Когда придет время встретиться с Королем, не говори, что я тебя не предупреждала, — кричит она ему вслед, — не говори, что я не пыталась!

— Иди *домой,* Эрин, — говорит он и исчезает за углом.

Эрин стоит на месте и считает от ста до одного, чтобы дать ему время вернуться. Он может вернуться. Это может случиться. Некоторые люди, когда их предупреждают о надвигающейся гибели, возвращаются, чтобы узнать детали. Большинство — нет. Большинство предпочитает притвориться, что предупреждения не было, что они понятия не имели, что их ждет.

Роджер не возвращается. Почему-то она не удивлена. Она назвала его Галчонком, Галкой Джеком, потому что он и есть Галка Джек, согласно формулировке Бейкер — старой суки, тщательно зашифровавшей инструкции, чтобы указать путь следующему поколению алхимиков. Но в действительности каждый, кто идет по невероятной дороге к просвещению, — это Эйвери и Циб, и Роджер не исключение. У него

и у его сестры есть только по одному железному башмаку. Но это неважно. Пока они идут вместе, они пройдут весь путь до конца, а потом…

— Что будет, то будет, — тихо говорит она и, развернувшись, исчезает в ночи.

Снова дома

Лента времени: 19:54 EST, 22 ноября 2008 года (две недели спустя)

Дом пахнет Днем благодарения: сложной смесью индейки, начинки и клюквенного соуса, картофельного пюре и пирога — все это не должно сочетаться и каким-то удивительным образом сочетается. Пахнет праздником. Пахнет *домом*. В детстве Роджер считал, что День благодарения — лучший из всех праздников. Никто не лжет и не врывается к тебе в дом, как на Рождество, не нужно надевать вызывающий зуд костюм и тесную обувь, как на Пасху; даже с Хэллоуином бывали проблемы из-за всех этих масок и монстров. Но День благодарения… День благодарения — это всегда был накрытый стол, и семья, и возможность провести время с теми, кого любишь. День благодарения был *идеален*.

Теперь Роджер уже повзрослел, но День благодарения по-прежнему кажется идеальным. Да, мама выбирает индейку поменьше, потому что Роджер больше не подросток и его аппетита не хватает, чтобы все доесть, и да, бабушка так нико-

го и не научила готовить ее клюквенный чизкейк, так что, когда она умерла, рецепт умер вместе с ней, но ощущения за праздничным столом те же самые. День благодарения — самый безопасный праздник, когда люди становятся ближе друг другу, набивают желудки и наслаждаются единственным местом в мире, где всегда-всегда будет безопасно.

Дом кажется одновременно и меньше, и больше, чем раньше. После жизни в тесной квартире за пределами кампуса дом с задним двором и четырьмя спальнями для одной семьи — это земля обетованная: именно об этом по ночам мечтает половина его группы. Чтобы *было место.* Место для коллекций, место для бардака, место, где можно затеряться. Но протертая на обоях полоска — там, где он проводил рукой, — теперь невозможно низко. Не мог же он быть таким маленьким… И куда ни ткнуться — всюду этот контраст. Дверные ручки, когда-то слишком большие для его маленькой ладони, сейчас удобно в нее ложатся. Окна, до которых он не мог дотянуться, — на уровне глаз. Он даже достал для мамы блендер с холодильника, когда она собралась взбивать сливки; теперь он самый высокий в доме.

Его комнату переделали. Это все еще его комната, но уже не для ребенка, а для взрослого. Осталось несколько полок с его любимыми игрушками и мелочами — камень, который он нашел, когда впервые пошел на пляж с бабушкой и дедушкой, мышиные уши из первой поездки в «Мир Диснея», — но обои новые, непорванные, неистрепанные, не изрисованные мелками и фломастерами. Он смотрит на обои и вспоминает Доджер и ее белые стены, исписанные числами; у него зудят пальцы — до того хочется покрыть эту нетронутую поверхность формами глаголов и строками из классических стихотворений. Но он не станет. Это дом его родителей. Впервые в жизни он здесь гость. На самом деле нельзя снова вернуться домой. Не до конца. Сколько ни старайся.

— Роджер! — Голос матери долетает снизу, как раньше, отчетливым эхом отскакивая от стен и возвращая его в прошлое, когда он малышом цеплялся за перила и подвывал от крутизны лестницы. — Ужин почти на столе!

— Иду, ма! — кричит он в ответ, вставая со своей слишком новой кровати.

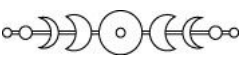
Он смотрит на открытую дверь. Затем, повинуясь порыву, встает на колени у стенного шкафа и

нажимает на половицу. Раздается щелчок. Расшатанная дощечка, под которой он прятал детские сокровища, все еще на месте.

Это была глупая идея, украденная из сотен фильмов: подцепить доску под шкафом, отшлифовать гвозди, чтобы потом свободно ее вынимать, и использовать пространство между полом и потолком первого этажа как тайник. Может быть, это и сработало как раз потому, что было настолько глупо: никто не поверил бы, что такой умный ребенок может сделать что-то настолько нехитрое. Но, как бы то ни было, когда комнату ремонтировали, его сокровища никто не нашел.

— Роджер! — На сей раз это голос отца, более громкий и настойчивый. — Иди помоги матери накрыть на стол!

— Иду! — отзывается Роджер. Детские тайны никуда не денутся, на досуге он их переберет. Вытерев руки о штаны, Роджер идет к двери и выходит из комнаты.



Ужин восхитителен. Это неудивительно: Мелинда Миддлтон всегда превосходно готовила, а ради своего мальчика, приехавшего домой на

День благодарения, расстаралась еще больше. Индейка идеальна. Пирог — еще лучше. К тому времени, как со стола унесли последние тарелки, Роджеру кажется, что он пробежал марафон калорий. Он мог бы проспать целый год, свернувшись калачиком под своим детским пледом в окружении родных стен. Отец откинулся в кресле, потягивая кофе, и выглядит абсолютно довольным. Напротив сидит мать, доедая последний кусок пирога.

Может быть, потому что ему так уютно, может быть, потому что все так вкусно поели, Роджер чувствует, что сейчас самый подходящий момент, чтобы задать вопрос. Он делает вдох и говорит:

— Если вы не против, я хотел бы поговорить с вами кое о чем.

— Почему мы должны быть против? — спрашивает отец.

Седина в его волосах, которой не было, когда Роджер уезжал в Беркли, каждый день уверенно захватывает новые территории, маршируя от макушки вниз. («По крайней мере, у него все еще есть волосы», — мелькает самовольная мысль, а за ней сразу следует вспышка стыда; какая разница, есть у Колина Миддлтона волосы или нет? У Роджера все равно нет его генов. Будущее

Роджера — загадка.)

Это зрелище вызывает нечто вроде тупого шока. Когда он успел так *постареть*? Когда они оба успели так *постареть*?

К своему счастью, не подозревая о мыслях, заполняющих голову сына, Колин продолжает:

— Мы всегда рады с тобой поговорить.

— Если только от тебя кто-нибудь не забеременел, — говорит Мелинда. — Тогда разбирайтесь сами, мы скажем тебе только: «Подумай о своем будущем» или «Подумай о ее будущем».

— Мама! — Роджер возмущен. — Ты что, правда думаешь, что со мной могло бы такое случиться?

— Всякое бывает, — отвечает Мелинда. — Не с нами, конечно. Ты спланирован идеально, до последнего дюйма.

Шок сменяется облегчением. Роджер выпрямляется, стараясь выглядеть взрослее, чем он себя чувствует в этом доме, где стены полны воспоминаний, а чердак скрипит призраками детства.

— Как раз об этом я и хотел с вами поговорить.

Нужно быть полным дураком, чтобы не заметить взгляда, которым обменялись родители. В этом быстром взгляде столько смятения и страха, что он падает в праздничную атмосферу Дня благодарения, словно камень в зеркало пруда.

Мать первой приходит в себя.

— Что ты имеешь в виду, дорогой? — спрашивает она, и в ее голосе смешались мед, сахар и страх.

Он анализирует ее слова — он ничего не может с собой поделать — и видит, что она боится. Даже ритм сбивается, и напряжение превращает вопрос, который он слышал тысячу раз, в натянутый над землей трос, о который он вот-вот споткнется.

«Они переживают, что я хочу связаться с биологическими родителями», — думает он, и это разумная причина, объясняющая неразумную реакцию: она подходит — связывает все факты и не искажает их. Это объяснение выставляет родителей в выгодном свете, независимо от того, что произойдет дальше, потому что какие приемные родители не будут беспокоиться о том, что их ребенок однажды найдет кого-нибудь, кого полюбит больше? Он мог бы попытаться объяснить им, что ни на кого их не променяет, что они были такими идеальными родителями, как будто он сам их выбрал — отца, владеющего книжным магазином, и мать-домохозяйку с гибким умом, — но на этот раз он чувствует, что ему не хватает слов. Единственный путь — вперед.

— Мы никогда не говорили о моем усыновлении, — говорит он. — Я всегда знал, что я приемный, и знаю, что женщина, которая меня родила, не хотела никак контактировать со мной после того, как усыновление было оформлено. Я видел документы. Прежде чем я продолжу, я хочу сказать, что люблю вас — вас обоих — очень сильно и что вы мои единственные родители и другие мне не нужны. Я не собираюсь искать женщину, которая от меня отказалась. Была это ее ошибка или она пыталась так обо мне позаботиться — но она дала мне лучшую семью, какая только может быть, и я благодарен ей за это, но не чувствую, что что-то ей должен.

Родители немного расслабляются, кулаки матери разжимаются и к ним снова возвращается цвет, плечи отца опускаются.

— Есть одна девушка.

Напряжение мгновенно возвращается, его нельзя не заметить: родителей будто подменили статуями, которые выглядят в точности как они. Они практически не дышат.

— Ее зовут Доджер, и ее удочерили в тот же день, что и меня. Она родилась в тот же день в том же штате. Имя ей дали биологические родители, оно было условием при удочерении. — Роджер

переводит взгляд с отца на мать, ожидая, что они что-то скажут или *сделают*, дадут хоть малейший знак, что они еще здесь. — Она милая. Думаю, она понравилась бы вам, если бы вы с ней встретились.

— Ты… встречаешься с этой девушкой? — спрашивает мать чужим голосом. Она выглядит так, будто ее сейчас стошнит, будто она не может переварить идею о том, что они с Доджер могут быть вместе.

В этом есть что-то неправильное. Что-то, что кричит, чтобы он был осторожен.

— Нет, мам, господи, нет, — говорит он с нажимом. — Доджер не в моем вкусе. То есть она девушка, и она умная, и у нее есть грудь, так что технически она в моем вкусе, но мы не встречаемся, потому что я думаю, что она моя сестра. Ну, она мне на самом деле как сестра, я и так это *знаю*, но сейчас речь о том, так ли это с биологической точки зрения. Когда вы меня усыновляли, может, в агентстве говорили что-нибудь о втором ребенке? Может у меня быть близнец?

— Иди в свою комнату, — мягко говорит отец.

— Что? — Роджер недоуменно моргает. — Папа, я не…

– *Иди* в свою *комнату*, — повторяет отец, и на

этот раз приказ в его голосе невозможно игнорировать. Колин Миддлтон в ужасе. Более того, в его ужасе есть доля смирения, будто этого момента он ждал с того самого дня, как они принесли Роджера домой. Как будто это было неизбежно.

Роджер медленно поднимается, надеясь, что мать хоть что-нибудь скажет, что хотя бы кто-нибудь из них что-нибудь объяснит. Но они неподвижны. Он отодвигает стул, встает из-за стола, поднимается по лестнице и продолжает надеяться, что они что-нибудь скажут. Но они молчат.

Лестница не казалась ему такой длинной с тех самых пор, как он был ребенком и его отправляли наверх за какой-нибудь проступок. Он знает, что на этот раз под подушкой нет заранее спрятанной книги, мама не придет с какао или шоколадным молоком и не скажет, что все мальчики иногда бывают чересчур шумными, они понимают, они все понимают, но, если он постарается быть чуточку *потише*, они будут ему очень за это благодарны. Чуточку опрятнее. Чуточку аккуратнее. *Почитай книгу, Роджер, доделай домашние задания.*

Впервые ему приходит в голову, что они реагировали на его детские выходки не так, как

обычные родители. Вряд ли другие дети получали в наказание за плохое поведение древние словари или глоссарии мертвых языков. Вряд ли за разбитую тарелку или бранное слово они получали в награду то, что любят больше всего. Он думал, что так и должно быть, и никогда не говорил об этом с другими детьми. А, наверное, следовало.

Происходит что-то неправильное. Что-то, что началось с того, как слаженно замолчали родители, когда он упомянул свое усыновление.

Роджер закрывает дверь спальни и садится на кровать. Он изучит запрятанные сокровища позже, а сейчас ему нужно убедиться, что он не нарушил какое-нибудь важное соглашение между приемными родителями и усыновленным ребенком. Закрыв глаза, он погружается в темноту за ними и кротко произносит:

— Додж? Ты здесь?

— Роджер! — Взмах ресниц, и мир окрашивается в поразительные цвета.

Доджер сейчас на заднем дворе дома своих родителей в Пало-Альто, сидит возле высокого выбеленного забора, отделяющего сад от оврага. Должно быть, они обновили забор после… несчастного случая: он стал выше, и теперь в нем

нет щели, через которую она лазала в овраг. Он узнает купальню для птиц и вьющиеся розы, за которыми так любила ухаживать Хезер Чезвич. Ему всегда нравилось, когда Доджер сидела на крыльце и смотрела на мамины розы: у них было гораздо больше оттенков, чем у роз в Бостоне.

(Тогда он еще не так много знал про дальтонизм и не понимал, что просто не способен видеть тонкие оттенки роз рядом с собственным домом; он знал только, что Калифорния раскрашена в такие насыщенные и яркие цвета, что кажется ненастоящей, как в сказке, как в Под-и-Над.)

— Разве ты не должен сейчас сидеть внизу и есть пирог? — Доджер растянулась на пластиковом шезлонге, перетащив его на другую сторону двора, подальше от отца (и барбекю).

Роджер не может чувствовать через ее кожу, но знает, что солнце теплое, а воздух — ласковый, и он никогда еще так сильно не скучал по Калифорнии. Он не знал, что в Кембридже может быть так холодно.

— Тут происходит какое-то дерьмо, — отвечает он (это явное преуменьшение) и заставляет себя улыбнуться, чтобы Доджер услышала улыбку в его голосе. Он не хочет ее беспокоить. — А как проходит твой День благодарения?

— О, просто жесть. Мама испекла клюквенный пирог, который умудрился загореться, Эрин пожарила овощи с чесноком и розмарином, и у нее *ничего* не загорелось, а у папы дважды загорелась индейка. Теперь он собрался готовить кукурузу на гриле и… Роджер? Что случилось?

Порой он забывает, насколько их связь чувствительна к звукам. Он даже не подумал, что его резкий вздох передастся на расстоянии и что она сможет отличить его от зевка.

— Как я сказал, дерьмо какое-то. Эрин будет ужинать с вами на День благодарения?

— Я знаю, это странно. Ее рейс отменили из-за плохой погоды, не могла же я оставить ее в квартире одну есть рамен и угрюмо смотреть в окно на старину Билла. Мои считают, что она классная. И она реально помогает на кухне. Не то что я. Мои таланты начинаются и заканчиваются на оладьях, поэтому мое время придет завтра утром, а сегодня я бесполезна.

— Она тебе что-нибудь говорила?

— Например, что? — В голосе Доджер слышится искреннее любопытство и искреннее замешательство.

На этот раз рушится его мир, а ее мир продолжает жить как ни в чем не бывало. Впервые он

понимает, почему она не рассказала ему, насколько несчастна, тогда, столько лет и крови назад. Быть у кого-то в голове вот так — это очень… интимно, он никогда в жизни ни с кем не был так близок. Кажется несправедливым врываться к ней и рассказывать о том, как он напуган глухой стеной родительского молчания, потому что она не просила его врываться и не может этого избежать. Он хочет ее защитить. Хочет, чтобы у нее продолжался праздник. Он расскажет ей о своих проблемах позже, словами, звучащими в воздухе, а не в пространстве между ними.

— Да неважно.

— Важно. — Доджер меняет позу. С другого конца лужайки машет ее отец. Она машет в ответ, улыбаясь, а сама шипит сквозь стиснутые зубы: — Помнишь, что случилось в *последний раз*, когда один из нас решил держать что-то в тайне? Так что давай. Что происходит?

— Я просто… Эрин?

— Да, Эрин. Что происходит с твоими *родителями*?

— Я не знаю.

Он коротко описывает, что случилось за ужином. Ему хочется отредактировать рассказ, представить родителей в лучшем свете. Но он

этого не делает. Доджер ценит факты; она говорит, что расчеты невозможны, если не знать исходных данных. Она не будет судить их по одному ужину. Она поймет.

Когда он заканчивает, она молчит. Слишком долго молчит. Он уже начинает беспокоиться, когда она говорит:

— Их реакция на предположение, что мы встречаемся, была непропорциональной.

— Чего?

— Все остальное можно списать на гиперреакцию на разговор, о котором они волновались больше двадцати лет. Моим тоже никогда не нравились разговоры об удочерении. Видимо, не так сильно, как твоим, но их передергивает всякий раз, когда я об этом упоминаю. Так что можно было бы издавать сочувственные звуки и притворяться, что у тебя все нормально, но с этой реакцией что-то не так. Твоя мать чувствовала отвращение. Ты просто сказал, что я есть, и назвал группу параметров, под которые подходят десятки девушек, ты не говорил, что у нас роман, и все же она выглядела так, будто ее вот-вот стошнит. Это непропорциональная реакция. Они обо мне знают. Знали еще до того, как ты обо мне заговорил.

— Не думаю, что…

— Просто примени логику, — говорит Доджер, и это аккуратная формулировка, мягкая формулировка, особенно для того, кто считает математику единственно истинной основой вселенной: она пытается слегка его подтолкнуть (как может, кувалдой). — Родителей, чьи усыновленные дети повзрослели, часто задевает мысль о том, что те могут начать поиски своих биологических родителей, и «правильной» реакции на это не существует. Бывают родители, которые станут помогать в поисках, бывают те, кто годами ведет с биологическими родителями тайную переписку, а бывают родители, которые будут врать тебе в лицо и говорить, что твои биологические родители умерли, хотя на самом деле они живы. Люди сложно устроены. Люди принимают решения, основываясь на имеющихся данных. Так что да, странно, что они так разволновались, но если ты никогда раньше не заводил подобные разговоры, то волнение не выбивается из статистики.

— Наверное.

— Так что дело не в этом, — Доджер садится и кладет руки на колени, — а в том, что они не должны были сразу перескакивать от «есть одна девушка» к «ты с ней встречаешься». И уж

если это произошло, им не должно было *так* от этого поплохеть. Разве что они уже знали, что существует девушка, которую ты можешь найти и с которой у тебя не должно быть интимных отношений. Вот в чем дело.

— И что мне делать? Может, поговорить с ними?

— Нет. Подожди, пока они сами не придут к тебе поговорить, и… — Доджер делает паузу. — Будь осторожен.

— Хорошо, — обещает он и открывает глаза.

На него немедленно накатывает чувство изоляции, гораздо сильнее, чем обычно; в норме они с Доджер возникают друг у друга в голове по несколько раз за день, убеждаются, что все хорошо, задают пару вопросов и снова выходят: им одинаково комфортно и вместе, и поодиночке. Однако здесь и сейчас его одиночество почти невыносимо, как будто оно слишком глубокое, чтобы быть настоящим.

Он соскальзывает с кровати, иронизируя над собой: надо же, ему кажется, что самая нереальная часть этого вечера — *отсутствие* телепатической связи с кем-то на другом конце континента. Родители ходят внизу; он слышит их шаги, до него долетают отдельные ноты повышенных

голосов. Они не то чтобы спорят, но их беседу определенно нельзя назвать спокойной. Дверь закрыта, поэтому он не может разобрать слов. И в сложившихся обстоятельствах не уверен, что хочет.

Он осторожно подходит к шкафу. На этот раз, нащупав пальцами нужную дощечку, он вынимает ее и достает сокровища из тайника. Пара книжек, для которых он был недостаточно взрослым; словарь ненормативной лексики, который он купил у букиниста на Гарвардской площади, спрятал под пиджак и помчался домой, красный как рак, поминутно оглядываясь, уверенный, что кто-то знает, что он несет домой то, чего у него быть не должно. Другие мальчишки прятали порноснимки и журналы «Пентхаус». А он — книги о происхождении слов, которых ему не полагалось знать.

Затем идет слой обычного мальчишеского мусора. Птичье гнездо, практически рассыпавшееся от времени. Окаменевшая плитка шоколада «Херши». Пара интересных камней. Несколько ракушек, кость — он не знает, откуда она взялась, — рогатка, пачка комиксов. Обычный набор обычного ребенка. Что-то сейчас кажется старомодным, но что с того? Когда-то он любил эти

вещи настолько, что спрятал их здесь, чтобы не беспокоиться, что кто-то из взрослых случайно может их выкинуть, не сознавая их значимости.

Под эфемерными останками его детства виднеется пожелтевшая от старости папка с загнутыми краями. Роджер осторожно вытаскивает ее наружу и открывает. Внутри несколько работ, которыми он особенно гордился, когда был младше: эссе о том, как он собственными глазами видел победу «Ред Сокс», рабочий лист по правописанию, где *он* поправил *учителя*, — и тонкая стопка цветных карандашных рисунков.

Первый рисунок подписан его почерком — уже тогда скрупулезным: РОДЖЕР М., 4 года. Поле, а в поле стоит мальчик, наверное, он сам, и держит за руку девочку.

Они улыбаются.

На следующем рисунке девочки нет. На поле остался только насупленный мальчик. Повсюду вокруг мальчика рукой Роджера написан один и тот же вопрос:

Сколько раз?

Сколько раз?

Сколько раз?

Этой фразой исписано и небо, и поле, все пространство, кроме несчастного маленького

мальчика.

Роджер смотрит на рисунки, пытаясь сопоставить их с воспоминаниями о своем детстве. Он не помнит, как рисовал их. В этом нет ничего необычного (сколько людей помнят, что́ рисовали в четыре года?), но они явно были ему важны, раз он их спрятал. Раз он поместил их в этот тайник. Более того, он должен был каким-то образом знать о Доджер, чтобы ее нарисовать. Он нисколько не сомневается, что на первом рисунке именно она. Пусть черты ее лица нарисованы грубо, как бывает только на детских карандашных рисунках, но левый уголок улыбки выше правого, а волосы грязно-рыжевато-коричневые — именно такого цвета для него всегда был красный карандаш, и он *знает*. И он знает, что, судя по дате, он нарисовал эту картинку за три года до того, как у Доджер разболелась голова и она поздоровалась с мальчиком на другой стороне своего сознания. Он знал.

— Роджер? — снизу его окликает мать, ее голос сочится сладостью, чистая патока. — Милый, можешь спуститься? Мы с отцом хотим кое-что тебе показать.

— Сейчас, ма! — кричит он в ответ, засовывая рисунки обратно в дыру под полом, рядом с про-

чими сокровищами.

У него звонит телефон.

Он почти забыл о нем: это артефакт из настоящего, а не из прошлого, которое сейчас окутывает этот дом, как саван. Он достает телефон из кармана и недоуменно моргает. На экране высвечивается номер Доджер. Он не понимает, зачем ей звонить, когда она может просто закрыть глаза и привлечь его внимание; может быть, она думает, что он уже снова с родителями и не сможет ответить. Неважно. Он нажимает «ответить» и подносит трубку к уху.

— Ты должен связаться с Доджер прямо сейчас, — говорит Эрин. Ни приветствия, ни паузы, чтобы удостовериться, что она не ошиблась: она точно знает, кто на другом конце провода, и у нее нет времени на любезности. Никогда не было. — Ты должен сказать следующее: «Верни нас в последнюю фиксированную точку». Скажи ей, что это приказ. Скажи ей, что это требование. Скажи ей, что это команда. И сделай это побыстрей, Галка Джек, потому что чертов Невозможный город вот-вот свалится тебе на голову.

— Эрин? Почему у тебя телефон Доджер? Она знает, что ты мне звонишь?

— Нет, и у меня нет времени объяснять тебе и

не будет, потому что ты сейчас сотрешь последнюю неделю. В этом уравнении ошибка, тупица, в этом сонете нет рифмы. Прими любую метафору, но свяжись с ней и сделай, что нужно, и быстро.

— Роджер! — Гнев в голосе отца нивелирует сладость матери. — Спускайся сюда немедленно!

Роджер наклоняется и сжимает в руке телефон, будто это может что-то изменить.

— Слушай, Эрин, я хочу, чтобы ты вернула телефон Доджер и немедленно прекратила это дерьмо, или катись к…

— Ты что-то нашел.

Он замирает.

— Я не знаю что, потому что я не настолько на тебя настроена, но это что-то, чего, по-твоему, не должно существовать. Какой-нибудь рассказ, который ты написал о своей сестре, или фотография, или рисунок. Ты нашел что-то, чего не было в этой временной линии, среди вещей, которые точно *были*. Так случилось, потому что мы уже были в этой точке раньше. Не в точности здесь, не прямо в этой точке, но плюс-минус рядом. Мы уже столько раз это делали, что я начала вспоминать, и ты должен позвонить Доджер и повторить ей все то, что я сказала тебе, *прямо сейчас*.

— Или что?

— Или эта временная линия может оказаться последней. Ты слишком взрослый для химических перезагрузок и терапии. И достаточно взрослый, чтобы потерпеть неудачу. В прошлый раз ты меня послушал.

— Откуда ты знаешь?

Эрин мрачно хмыкает.

— Мы все еще здесь, не так ли? Убирайся на хрен с невероятной дороги, или ты покойник, и Доджер вместе с тобой.

Звонок обрывается. Роджер опускает телефон, не отрывая от него взгляда. Все это бессмыслица. Так не бывает. Но картинка в его руке настоящая, а по лестнице кто-то поднимается, и все это не имеет смысла, и почему-то все это ужасно в своей бессмысленности.

Он закрывает глаза.

— Доджер?

Задний двор, цветущий сад. Перспектива меняется, когда Доджер садится.

— Роджер? Ты в порядке?

— Ты должна вернуть нас в последнюю фиксированную точку.

Шаги уже на лестничном пролете. Они стараются ступать тихо, но, в отличие от него, не знают, какие половицы скрипят. Они не выросли здесь.

— Не понимаю. Что ты хочешь, чтобы я сделала?

— Верни нас, — повторяет он. Он должен был сказать еще кое-что. Запинаясь, он произносит: — Это приказ.

— Роджер…

Ручка на двери поворачивается.

— Это требование.

Дверь открывается; поступь достаточно тяжелая, так что Роджер понимает, что это отец.

— Что ты делаешь, парень? Открой глаза.

— Это команда.

Глаза Роджера по-прежнему закрыты, когда отец хватает его за руку и оттаскивает от тайника. Роджер еще не успел их открыть, когда все перед взглядом Доджер затмевает белая вспышка, она бежит от ее зрительных нервов к его, белое захватывает черное, опрокидывая шахматную доску.

«Мы ошиблись», — думает он, и все исчезает.

Девочка приземлилась на все четыре конечности – как дикое животное, а не как ребенок. Она медленно выпрямилась, и стало ясно, что она немного выше Эйвери и немного ниже Циб. Она втиснулась в пространство между ними, как будто

оно было спроектировано по ее меркам.

У нее были черные волосы и желтые глаза, платье из черных перьев чуть выше колена. Босые ноги и такие длинные ногти, будто никто их ни разу не подстригал – специально, чтобы она могла легко лазать по всем стенам на свете.

– Ты кто? – с благоговением спросила Циб.

Эйвери пришлось подавить желание немедленно оттащить ее от девочки. Если бы он позволил, Циб осталась бы здесь навсегда, он был уверен в этом: она бы не смогла вовремя заметить опасность, а без нее он не смог бы вернуться домой.

– Я Девочка-ворона, – ответила незнакомка, склонив голову набок. – А вы кто?

– Я – Эйвери, а это Циб, – ответил Эйвери. – Можешь сказать, где мы?

– Хм, в Под-и-Над, конечно, – ответила Девочка-ворона, склонив голову в противоположную сторону. – Наверное, вы не очень умные, если даже не знаете, где вы. Это ботинки виноваты.

– Ботинки? – спросила Циб.

– Ботинки. – Девочка-ворона подняла

левую ногу и выразительно пошевелила пальцами. – Если ты не чувствуешь, куда идешь, как же ты узнаешь, где был? Небеса для крыльев, а дороги для ног – из этого состоит мир.

– Как может что-то быть одновременно и под, и над? – спросил Эйвери.

– Когда ты над деревьями, ты все еще под небом, – ответила Девочка-ворона. – Здесь, в Под-и-Над, мы одновременно и то и другое, всегда, и никогда не между…

А. Дебора Бейкер «За лесоградной стеной»

Книга IV
Усложнение

Напрасно ты желаешь получить сердце. Оно делает большинство людей несчастными. Если бы ты только знал, как тебе повезло, что у тебя нет сердца.

Л. Фрэнк Баум «Волшебник из страны Оз»

Вот карандашные наброски, Здесь все, что мы смогли представить. Дай знак, что ты меня увидел, Я стерта – это не исправить.

Мишель «Викси» Докри «Стертая»

Флегматик

Лента времени: 17:20 PST, 16 ноября 2008 года. Снова

— Когда тебя ждут дома? — Доджер стоит у дальней стены с маркером для доски, добавляя числа в уже начатые колонки символов быстрым равномерным потоком. Задав вопрос, она перестает писать и с недоуменным выражением лица поворачивается к Роджеру. — Или я уже спрашивала?

Роджер сидит в позе лотоса на кровати, на лице у него такое же недоумение. Он отвечает «да», затем «нет», затем:

— Не знаю. Не уверен. Может быть, ты слишком громко думала и я уловил?

— Но я не закрывала глаза, — с сомнением в голосе отвечает Доджер. — Если мы начинаем общаться с открытыми глазами и закрытыми ртами, то запутанность становится хуже. Возможно, нам стоит начать беспокоиться.

— Или нет, — говорит Роджер. — Может быть, у нас просто… не знаю, духовное созревание. Обычно оно приводит к большей стабильности.

— Ага, когда *заканчивается*. Не знаю, как у тебя, но я в разгар своего физического созревания однажды весь вечер без всякого повода била тарелки на кухне и ревела. Мама даже особо не рассердилась, потому что у нее была какая-то похожая история с молотком и свадебным фарфором *ее* мамы. Представляешь, что мы можем натворить во время духовного созревания? Я даже представлять не хочу. Не хочу представлять от слова «совсем».

— Мидвичским кукушатам до нас как до луны, — шутит Роджер.

— Когда снимали кино, название поменяли на «Деревню проклятых», — говорит Доджер. — И вообще, те дети не умели как следует планировать. А мы могли бы устроить конец времен.

— Мы хотя бы не странные сексисты.

— Кстати, ты когда-нибудь замечал, что если расположинить наши фамилии, то получится «Мидвич»? Миддлтон дает «мид», а Чезвич — «вич». Мидвич. Такой плохонький словесный пазл.

Роджер выпрямляется и задирает нос.

— Ты что, серьезно спрашиваешь меня, заметил ли я словесный пазл? Пусть и плохой?

— Да.

— Ты опять надышалась спирта от своих маркеров?

— Да. — Доджер невинно распахивает глаза и дарит ему ослепительную улыбку. — От них у меня вся голова распухает.

Роджер берет подушку, тщательно взвешивает ее в руке и швыряет в Доджер. Она со смехом уклоняется, и на какой-то момент он забывает о гнетущем чувстве дежавю, повисшем в воздухе. «Мы отклонились от первоначального сценария», — думает он, и это бессмыслица, но почему-то все равно успокаивает. Отклонение — это хорошо. «Мы ошиблись», — думает он; в этой фразе еще меньше смысла, и она уже совсем не успокаивает. Если на то пошло, от этой мысли он начинает нервничать только сильнее.

— Так что? — спрашивает Доджер.

Он смотрит на нее. Она закрыла маркер и выжидающе смотрит на него в ответ.

Роджер поспешно перематывает разговор обратно к той точке, с которой все пошло как-то странно. Он должен был бы просто ответить, но почему-то не смог.

— Кажется, я никуда не поеду, — отвечает он, и чувство дезориентирующей обреченности уходит. Он снова может дышать. — Сейчас не лучшее

время лететь в Бостон. Билеты возвратные, и я могу сказать, что у меня есть причина остаться в кампусе… Могу я провести День благодарения у тебя? Если нет, все нормально, я с удовольствием пожарю курицу и отчитаю ее за то, что она не индейка.

— Забавно было бы посмотреть, как ты ругаешься на свой ужин, но, конечно, ты можешь поехать ко мне в гости, — отвечает Доджер, и выжидательный взгляд сменяется озабоченным. Она роняет маркер на пол. Она всегда это делает: оставляет их вот так, по всей комнате, будто хлебные крошки, которые только и ждут, когда она снова их подберет и начнет очередное математическое путешествие в неизведанное. Доджер подходит, садится на край кровати, будто птичка на жердочку, и серьезно смотрит на него. — Что случилось? Ты же так радовался, что увидишь родителей.

— Просто мне кажется, что сейчас неподходящее время.

Он видит, как все случится, словно кино — мерцающие кадры, спроецированные домашним проектором на импровизированный экран. Каждое событие неизбежно ведет к следующему, от кукурузного хлеба, испеченного матерью, до ша-

гов по лестнице. Образы начинают размываться, и он этому рад: он не хочет видеть родителей такими. Это не те воспоминания, которые ему хотелось бы хранить.

А еще Роджер напуган. «Сколько раз?» Этот вопрос эхом отдается в голове. И на него нет хорошего ответа.

Доджер хмурится.

— Ты уверен?

— Уверен.

— Просто мои бывают слегка экспрессивны.

— Мне не помешало бы добавить экспрессивности. — Он заставляет себя улыбнуться. Он делает это для нее, и в награду ее плечи расслабляются. Она верит, что он не стал бы врать о таких вещах. Из них двоих она умеет врать гораздо лучше и иногда забывает, что это не значит, что он врать не способен: он тоже прекрасно умеет это делать, просто по-своему. — Кстати, насчет семьи, ты еще не подумала о том, чтобы сделать тест?

Доджер моргает, а затем ее лицо озаряется улыбкой.

— Подумала! Если честно, я довольно много об этом думала. Мне кажется, нам нужно его сделать. Я хочу знать, имеет наша квантовая запутанность биологические основы или мы просто

оказались не в том месте не в то время и попали под какую-нибудь космическую аномалию…

Она продолжает говорить, а он продолжает слушать, одновременно нащупывая тонкую ниточку, которая снова и снова напоминает ему, что что-то пошло не так, что что-то не сходится. Он отвечает, когда необходимо, но бóльшая часть беседы остается на ней. «Мы ошиблись», — думает он и не знает при этом в чем, и это незнание занозой сидит у него в сознании. Он хочет поговорить об этом с Доджер. И не знает как.

К концу вечера они договорились, что проведут День благодарения в Пало-Альто и что после праздников переговорят со Смитой насчет анализа крови. Возможно, она сочтет это ниже своего достоинства, но, по крайней мере, они оба с ней знакомы и достаточно ей доверяют, чтобы позволить воткнуть в себя иголку. Он уходит ровно в одиннадцать. В конце концов, завтра рабочий день.

Доджер, улыбаясь, провожает его до двери и плотно закрывает ее за ним. Только тогда у нее подгибаются колени, и она опускается на пол прямо в прихожей. Кэндис уже в постели, а Эрин не было видно несколько дней — слава богу, можно не беспокоиться, что соседки по квартире

обнаружат ее в таком состоянии. Все кружится, все кружится *с того самого момента*, как она спросила Роджера, когда он уезжает. Мир словно превратился в бесконечную карусель, которая не собирается останавливаться. Такое с ней уже случалось, но еще ни разу не было так *плохо*. Когда Роджер что-нибудь говорил, ей приходилось прилагать все усилия, чтобы продолжать улыбаться, а не выбежать из комнаты и проблеваться.

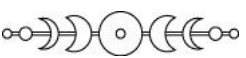
Если бы он узнал, он бы подумал, что с ней что-то не так. Что она не выдерживает или что их квантовая запутанность перегружает ее синапсы. По правде говоря, не исключено, что именно это и происходит. В какой-то момент, пока они разговаривали, раздался щелчок — как бывает, когда вставляют батарейку, — и на мгновение все стало белым. Такое тоже уже случалось. Нечасто, конечно, но достаточно раз, чтобы чувство было знакомым. Она почти рада этим моментам электрошока, потому что воспоминания о них остаются ясными и четкими, и к ним легко возвращаться, они сохраняются во времени, будто в янтаре.

(День, когда она вскрыла себе вены в овраге, — как раз одно из таких застывших воспоминаний. Понятно, что это не самое приятное воспомина-

ние. Но она все равно благодарна, что оно вот так запечатлелось в ее сознании. Каждый раз, когда ей кажется, что мир стал слишком тесным, что ей нужно открыться и выпустить наружу всю накопившуюся черноту, она вызывает в памяти этот день. Она вспоминает, что чувствовала: что ей не стало лучше, что это не было выходом, что это не решило никаких проблем, а она едва не потеряла все, что у нее было. Иногда идеальная память — это благословение, в противовес всем проклятиям этого мира.)

Не здесь, не сейчас. Она плачет, надрывные рыдания сотрясают тело, глаза начинают гореть. Сопли стекают по подбородку (возможно, даже попадают на *волосы*), но это не имеет значения, потому что мир все еще кружится, самая худшая карусель на свете качается и скачет вокруг нее. Доджер не знает, как это остановить. Она не знает, как это *остановить*. Из этого парка аттракционов нет выхода.

В конце концов слезы заканчиваются. Она сворачивается клубочком на полу прихожей и молча ждет, когда мир перестанет кружиться.



Роджер ничего этого не знает, потому что она не пытается его позвать, а он не любит ходить с закрытыми глазами. Он уже на полпути домой, когда слышит позади себя шаги. На этот раз он знает, кому они принадлежат. Он останавливается и ждет, пока Эрин его догонит. Она выглядит… как сытая кошка, будто все идет в соответствии с каким-то сложным планом, которым она ни с кем не намерена делиться. Он ненавидит ее за это самодовольное выражение на лице. И ненавидит себя за то, что сам ему поспособствовал.

— Что ты со мной сделала? — требовательно спрашивает он.

Эрин не перестает улыбаться.

— Понятия не имею, — отвечает она. — Я же не ты, Галчонок. Когда я вижу Невозможный город, я потом все забываю, если ты не отдал мне другой приказ. Кажется, на этот раз ты не позаботился о том, чтобы сохранить информацию.

— Ты несешь какой-то бред.

— Нет, — возражает она. — Это самое интересное. Видишь ли, придет утро, и все это покажется странным сном — даже наш разговор, которого не было бы, если бы не то, что случилось раньше. Твой разум вычеркнет фрагменты, которые покажутся ему бессмысленными. Он будет лгать

тебе, и ты ему это позволишь. Потому что так мир будет уютнее. Потому что так мир не будет разваливаться на части. А тебе понадобится гораздо больше кирпичей для фундамента, прежде чем ты начнешь возводить башню.

— Ты со всеми разговариваешь сплошными метафорами или это мне так везет?

Глаза Эрин темнеют.

— О, тебе везет куда больше, чем ты можешь представить. Тебе повезло, что именно меня выбрали за вами приглядывать. И тебе повезло, что они причинили мне боль. И тебе повезло, что твоя сестра — из упорных. Пистолеты отличаются хрупкостью. Чтобы держать их под контролем, необходим спусковой крючок. Другие разделенные пары не выжили. А вы выжили. *Они* хотят узнать почему. Они хотят вас понять.

— Кто это «они»? — спрашивает Роджер.

— Стражи Невозможного города. Паж застывших вод. Но особенно — Король кубков. Возможно, именно вас он искал всю свою жизнь, и он точно не из тех людей, чье внимание хочется привлекать. И в отличие от других волшебников, кого я могла бы назвать, он не шарлатан. Это не тот случай. У него все по-настоящему.

Роджер хмурится.

— Так ты знаешь, что сегодня со мной случилось, или как?

— Ты помнишь, что я имею к этому какое-то отношение, — говорит Эрин. — Это забавно. Это значит, мы бывали в этой точке уже много раз. Время — как кожа: если много раз резать одно и то же место, появляется шрам. Твоя сестра умеет разрезать время, но ей не позволяется брать в руки нож без разрешения. Ты дал ей такое разрешение, и она разрезала время. — Она наклоняет голову, спокойно глядя на него. — Ты сделал все сам.

— Потому что ты так сказала. — Он и сам не знает, почему так в этом уверен, это скорее ощущение, чем знание, — что-то трепыхается в быстро распутывающейся паутине памяти, принесенной из временной линии, которой никогда не было. — Ты сказала, что у меня нет выбора.

— Правда? Что ж, если я сказала что-то подобное, значит, на то была чертовски веская причина. — Эрин как будто трезвеет — мрачная веселость исчезает с ее лица. — Я говорю метафорами, потому что ты Галчонок, ты Галка Джек, но вместо перьев они начинили тебя словами. Все, в чем слишком много смысла, у тебя в одно ухо влетает, в другое вылетает. А метафоры цепляются за сознание и остаются. Тебе нужно то, что

останется в твоей памяти. Тебе нужно во всем этом разобраться. Я не могу тебе помочь.

— Но сейчас ты мне помогаешь.

— Нет, я просто сею семена в твоем подсознании, потому что знаю: завтра утром ты будешь думать, что все это тебе приснилось. — Эрин подходит ближе. — Я бы не делала и этого, если бы мы не были так близко к перезапуску временной линии. Когда вы, кукушата, нарушаете законы реальности, на ленте времени появляется уязвимое место — потом оно станет шрамом. Миропорядок нарушается. Но мир стремится вернуться к заведенному порядку, и в этот момент у меня больше возможностей, чем обычно. Мне хочется использовать *все* эти возможности по полной. Это то, ради чего я была создана. У нас с тобой много общего, Галчонок; мы созданы в одной лаборатории. Просто я не так важна, или, по крайней мере, так думают те, кто нас создал. Мы с тобой и твоя сумасшедшая сестра — мы изменим мир, но только если я смогу помочь тебе выжить; и пока ты не придумаешь, *как* мы это сделаем, тебе нужно казаться безобидным. Так ты не поедешь домой на День благодарения?

Роджер качает головой прежде, чем до него доходит вопрос.

— Нет, — говорит он.

— Отлично. Твоим родителям больше нельзя доверять. Они не были *опасны*, пока ты был ребенком, — разве что немного. Но сейчас они опасны. Они сдадут тебя и тем же вечером привезут к себе твою замену. Наверное, будет еще лучше, если ты сможешь остаться здесь и на Рождество. — В улыбке Эрин нет никакой радости. — Слова любят тебя. Найди такую причину, чтобы они поверили.

— О чем ты вообще *говоришь*? Если ты так много знаешь, почему не помогаешь нам?

— Как раз *помогаю*, — отвечает она, и на этот раз в ее голосе нет насмешки или отчужденности: она говорит правду, так, как она ее понимает. — Ты еще не готов вылупиться, а тем более встать и сражаться. Если вы привлечете к себе внимание сейчас, то умрете, оба. Поэтому мне нужно, чтобы вы были живы-здоровы, пока не разобьете скорлупу и не заявите свои права на то, что принадлежит вам. Вы не можете перенестись в конец истории только потому, что устали находиться посередине. Вы просто не выживете.

Роджер с минуту смотрит на нее, размышляя над ее последними словами, сопоставляя их с теми, с которых начался разговор. Наконец он

спрашивает:

— Ты так говоришь, потому что мы уже пытались это сделать?

Она улыбается острой, как бритва, улыбкой.

— Теперь ты понял. Иди домой. Ложись спать. Забудь все это, но помни, что нужно сказать родителям, что ты не приедешь. Это единственное, что действительно нужно запомнить.

— Эрин…

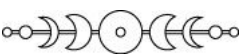
Она разворачивается на каблуках.

— Увидимся в Невозможном городе, Галчонок, — говорит она и уходит, ускользая в лабиринт улиц Беркли, и он остается один.

Роджер тупо глядит туда, где она стояла мгновение назад. Затем начинает двигаться, поначалу медленно, потом все быстрее, пока не переходит на бег, преодолевая последние два квартала до своего дома на предельной скорости. Ключ попадает в замочную скважину только с третьей попытки.

В изголовье кровати у него всегда лежит блокнот. Он пытается не забывать записывать свои сны, но чаще всего утро проходит как в тумане: где-мой-кофе, где-мои-сигареты, где-мои-брюки, занятия начинаются через пять минут. Он хватает блокнот и первый попавшийся каран-

даш, падает на матрас и принимается строчить с лихорадочной скоростью. Он пишет, пока не начинает болеть запястье. Рука горит, кажется, что она опухла и стала в три раза больше, хотя невооруженным глазом видно, что она никак не изменилась. Когда все записано: все, что он смог вспомнить, каждая деталь, каждое чувство, каждое впечатление, каждое сказанное Эрин слово, — Роджер еще какое-то время пристально смотрит на записи. Затем, полностью опустошенный, ложится на бок. И засыпает раньше, чем голова касается подушки.



Утро заявляет о себе со свойственной ему бестактностью: в окна спальни бьет солнечный свет, а шторы, которые он вчера забыл задернуть, ничем не могут его защитить. Роджер стонет и, перевернувшись на живот, зарывается лицом в подушку. Бегунок молнии на джинсах впивается в кожу, и он с удивлением обнаруживает, что полностью одет. И даже не разулся. Голова раскалывается, будто с похмелья, но прошлый вечер он провел у Доджер, а она не пьет. Может покурить траву, иногда употребить галлюциногены — это

да. Но алкоголь не в ее стиле. Он снижает самоконтроль, поэтому, когда Роджер рядом с ней, он тоже предпочитает оставаться трезвым. Когда Доджер чувствует, что у нее есть преимущество, она не знает жалости.

Все еще сонный, он садится на постели. Блокнот, в который он записывает сны, лежит не на месте: должно быть, ночью он просыпался. Роджер тянется за ним, открывает и пытается разобрать нацарапанное. Но там сплошная бессмыслица. Как будто он записал набросок антиутопического кошмара по миру книги «За лесоградной стеной», персонажи которой перемешались с его реальными знакомыми.

— Господи, Циб, не знаю, что бы я без тебя делал, — бормочет он и усмехается, и тут же его скручивает сухой кашель — это дрянь, скопившаяся за ночь в легких, сдвинулась и трещит. Когда-нибудь курение его прикончит. Эта мысль заставляет его осознать, как сильно ему нужна сигарета. Он встает, оставив блокнот на кровати, и отправляется в новый день.

Пройдет очень-очень много времени, прежде чем он осознает, что именно в этот момент определил свою роль. Но будет уже на тысячу миль слишком поздно.

Вариация

Лента времени: 13:11 PST, 22 ноября 2008 года (шесть дней спустя)

Звонок в дверь. Доджер с трудом отрывается от праздничных гирлянд, приводящих ее в восторг, кричит: «Я открою!» — и, бросив бумагу и ножницы на столе, мчится к двери.

На кухне Хезер Чезвич смеется и ставит ямс в духовку. Кажется, все эти годы она ждала, когда Доджер позовет кого-нибудь на ужин в День благодарения. Она любит свою дочь больше всего на свете и очень за нее переживает. Матери все время переживают. Доджер всегда было трудно сходиться с людьми; казалось, что она прекрасно себя чувствует, проводя большую часть времени наедине с книгами по математике или с шахматами. Шахматы поначалу казались отличным способом социализировать дочь (трудно играть в игру на двоих в одиночку), но в итоге не оправдали ожиданий Хезер. Не прошло и двух лет соревнований, как Доджер ушла из спорта, объявив, что остаться будет нечестно.

Хезер никогда не призналась бы в этом, но она

уже начала опасаться, что ее блестящая, прекрасная девочка так и останется одинокой на всю свою жизнь и даже не поймет, что были другие варианты. Поэтому неудивительно, что, когда Доджер захотела пригласить однокурсников на семейный ужин, Хезер с Питером с радостью согласились. Покупка индейки чуть большего размера — незначительная плата за то, что они теперь знают, что у Доджер наконец есть друзья.

Смех в коридоре ласкает слух, будто музыка. Вот голос Доджер — бесконечно восторженный, и с каждым вторым словом становится все выше, как будто она боится, что, если недостаточно убедительно покажет свою радость, разговор не заладится. А вот слышится незнакомый мужской голос, тенор с легкими успокаивающими нотками — они отлично сочетаются с ударными Доджер, как будто смягчая их своей разумностью. Периодически вступает третий голос, женский, глубже, чем у Доджер, и ровный, что говорит о совершенной невозмутимости и рациональном отношении к миру. Четвертый голос тоже женский, выше и нежнее, чем остальные. Вместе они сливаются в хор, который Хезер мечтала услышать с того самого дня, как принесла дочь домой из аэропорта. Это значит, что ее маленькая

девочка стала частью большого мира.

Хезер выходит на порог кухни, совершенно не смущаясь пятен клюквенного соуса на фартуке и муки на руках. Она не беспокоится, что опозорит Доджер перед друзьями, — не в День благодарения. Эти дети — аспиранты. Их заботит только еда.

— Привет, — говорит она, лучась от счастья, еще до того, как видит их. Это удачно: так ее улыбке удается застыть.

Первый женский голос, по всей видимости, принадлежит невысокой фигуристой девушке в джинсах и зеленой толстовке. У нее рыжевато-золотистые волосы — по какой-то причине они напоминают Хезер цвет крови, не отстиравшейся с хлопковой ткани: он и не розовый, и не красный, это отдельный, уникальный, безымянный оттенок, последствие кровавой расправы. Глаза у девушки голубые и холодные, радужка отчетливо окантована черным. Она, безусловно, красива, но смотрит на Хезер словно удав на кролика, и на мгновение — лишь на мгновение — Хезер четко ощущает, как бьется ее сердце, как расширяются и сокращаются мышцы и как легко этот процесс может быть нарушен.

Второй женский голос Хезер соотносит со строй-

ной индианкой. У нее смуглая кожа и черные волосы, и она прекрасна в своем слегка-чересчур-формальном желтом сарафане, таком тонком, что почти в любой другой точке страны ей было бы холодно. Вечная калифорнийская весна должна казаться ей благословением. Она тоже выглядит хищной, но по-своему: скорее сокол, чем тигр, — более безопасный и отстраненный, оценивающий мир с высоты и все-таки тоже принадлежащий этому миру.

Однако, как ни странно, проблема не в этих хищных девушках. Хезер уже встречала одноклассников Доджер — слушателей курсов для одаренных и талантливых, детей-гениев, которые слишком хорошо осознавали, что все, что они делают, измеряется и оценивается с оглядкой на их гениальность. Они — хищная раса по своей природе, эти дети золотого сечения, живущие в постоянном страхе, что мир притупит остроту их граней, измеряющие родительскую любовь количеством высших баллов, которые они могут получить. Хезер всегда старалась относиться к ним с добротой, надеясь, что они проникнутся симпатией к ее неловкой чувствительной дочери, для которой собственная гениальность была скорее игрой, чем призванием. Они могли бы

сделать друг друга лучше. Но Доджер всегда, неизбежно оказывалась либо лучше в математике, либо хуже в абстрактном мышлении, а потому ее либо избегали как конкурента, либо сбрасывали со счетов, как мертвый груз. Нет, Хезер беспокоят не эти хищницы.

Ее беспокоит парень.

Доджер высокая для девушки, а он невысок для парня, и, когда они стоят вот так, бок о бок, у них почти одинаковая комплекция. Он шатен, но глаза у него в точности такие же прозрачно-серые, как у нее, а у зрачка почти белые, настолько, что он походит на слепого — никто с такими светлыми глазами не может быть зрячим.

У них схожее телосложение, с поправкой на пол: плечи у него шире, бедра у́же, а у нее более круглое лицо, — но строение черепа у них настолько одинаковое, что у Хезер перехватывает дыхание. А их лица…

Двадцать лет Хезер Чезвич ждала, что раздастся звонок в дверь, на пороге возникнет рыжеволосая женщина с веснушками на носу и вежливо скажет, что она совершила ошибку и хочет забрать свою дочь, и надеется, что они поймут. Хезер заранее готовилась к судебным разбирательствам, подростковым истерикам и крикам «ты

не моя настоящая мать»… Ничего такого не случилось. Она почти перестала бояться призраков прошлого, а они тут как тут, в обличье вежливо улыбающегося молодого человека, который до боли похож на ее дочь.

«Ты вообще понимаешь, как сильно он на тебя похож?» — мысленно спрашивает она Доджер и заставляет себя заговорить.

— Привет, — говорит она, вытирая руку о фартук, прежде чем протянуть ее для приветствия. — Я Хезер, мама Доджер.

— Эрин, — говорит первая девушка, быстро и небрежно пожимая протянутую руку. — У вас прекрасный дом.

— Спасибо, — отвечает Хезер.

— Смита, — говорит вторая девушка. — Благодарю за приглашение. Мне так не хотелось сидеть в одиночестве.

— Ерунда, мы только рады, — отвечает Хезер. — Чем больше народа, тем веселее.

Теперь парень. Он берет ее руку и, улыбаясь, пожимает ее.

— Я Роджер, — говорит он. — Знаю, что навязался в последнюю минуту. И действительно благодарен за то, что вы меня пригласили. — Новоанглийский акцент, густой, как тесто для

оладьев, сочится из каждого слова.

Хезер снова застывает, на этот раз от страха. Много воды утекло с тех пор, как на Доджер напали, она давно полностью оправилась, но мальчика, который на нее напал, так и не нашли… а тот мальчик говорил с новоанглийским акцентом. (В газетах писали, что он из Бостона. Так было проще. Это был самый простой вариант.)

Роджер смотрит на нее с очевидной симпатией. Такое чувство, что он знает, о чем она думает, каким-то образом считывает слова, которые застряли у нее в горле, слова, которые она слишком боится произнести. Улыбка Доджер дюйм за дюймом начинает увядать.

Вопросы… Нужно задать столько вопросов, но Хезер не хочет испортить дочери праздник. Ни в коем случае. Поэтому она снова улыбается, теперь более искренне, поворачивается к Доджер и говорит:

— Папа во дворе готовит индейку, а на кухне я пока справляюсь. Почему бы вам не пойти в наш дворик? И не забудьте захватить напитки.

— Окей, мам, — говорит Доджер, на лице у нее проступает облегчение. Она подскакивает к ней, целует в щеку, а затем поворачивается к дру-

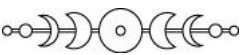
зьям: — Кофе, лимонад или рутбир?

— Рутбир, — говорит Эрин.

— Лимонад, — говорит Смита.

— Кофе, — говорит Роджер с таким благоговением, с каким люди обычно произносят имена знаменитостей и святых или названия курортов.

На этот раз Хезер улыбается искренне. Им так комфортно друг с другом — не может быть, чтобы Роджер имел какое-то отношение к тому, что случилось с ее девочкой. Просто не может быть.



Дом Чезвичей не настолько огромен, чтобы считаться поместьем, но он большой, особенно для дома, который, предположительно, содержится на зарплату профессора. Роджер смотрит на гостиную с высокими сводами, на полы из твердого дерева в прихожей и чувствует, что совершил ошибку. День благодарения должен проходить в старом доме времен английских колоний, где на полу и потолке видны следы ремонта, если знать, куда смотреть. Обои на стенах должны быть потерты, а не блестеть, как в выставочном зале.

Доджер бросает на него сочувственный взгляд.

— Когда я была маленькой, предки боялись,

что дом придется продать и переехать. У папочки был пожизненный профессорский контракт, но университет резал бюджет, а пожизненный контракт не спасет от увольнения, если закроется весь факультет. Дом достался от маминых бабушки с дедушкой. Я их уже не застала, но прадедушка был кем-то вроде яблочного барона, и у него было полно денег. Поэтому я твердо знала, что беспорядок можно устраивать только в моей комнате или во дворе.

Роджер думает об утекающей в землю крови, о беспорядке, который невозможно прибрать. Он ничего не говорит. Словами уже ничего не изменишь. Прошлое высечено в камне, а он не скульптор, он не может вернуться назад и сделать так, чтобы этого не случалось.

Что-то в этой мысли раздражает его, словно комар, настырно зудящий над ухом. Это весьма странный способ изложить положение дел. *Он* не скульптор. Но из этого следует, что скульптором может быть кто-то другой, что такие скульпторы могут существовать в этом мире.

Очевидно, ему нужно больше кофе. Он прихлебывает из кружки, пока Доджер тараторит про ремонт, про то, как часть денежных премий за решенные математические задачи все эти годы

вкладывалась в дом, всегда с ее согласия, а порой по ее настоянию, укрепляя стены, охраняющие ее безопасность. В конце коридора дверь; Доджер открывает ее, и они видят задний двор и розы, *он видит розы*, те самые, которые она показывала ему, когда они были детьми, те самые, которые казались ему такими яркими и прекрасными, как розы, растущие в Под-и-Над.

Сейчас эти розы такие же блеклые, как и любые другие. Он вздыхает. Доджер бросает на него взгляд, и он закрывает глаза, притворяясь, будто зевает, а сам смотрит ее глазами, смотрит и видит розы, такие же яркие и прекрасные, как всегда.

Интересно, а что она видит его глазами, но не видит собственными?

— Ты что, не спал ночью? — спрашивает Эрин.

Доджер смотрит на нее, и прежде, чем открыть свои глаза, Роджер тоже видит ее, под другим углом зрения, видит, что волосы у нее вовсе не пепельные, как он думал, а рыжевато-золотистые; видит, что щеки у нее слегка раскраснелись, хотя тут не так уж тепло, а они не делали ничего, что объяснило бы ее состояние. Это странно. И даже привлекательно. Она все еще опасна, но это прекрасная опасность, к которой можно привыкнуть.

Затем он открывает глаза, и цвета исчезают — мир лишается целого слоя смыслов.

— Спал, но мало, — отвечает он, улыбаясь и пожимая плечами. — Я был в предвкушении, что смогу наконец поесть настоящей еды. Попробуйте за это подать на меня в суд.

— Если из-за желания аспирантов нормально поесть стоит судиться, мы обречены, — говорит Доджер и тянет его во двор.

Там у забора — гораздо более высокого и прочного, чем во времена их детства, когда тяга Доджер к оврагу была безопасной, когда эта тяга еще не привела к катастрофе, — стоит ее отец и возится с барбекю: жарит спаржу и кукурузу к индейке.

Он приветливо машет рукой. Все четверо машут в ответ, но остаются во дворике. Лучше не подходить близко к людям, которые развлекаются с огнем, пока они не закончили, по крайней мере, если тебе не нравится, когда волосы горят.

Во дворике стоит стол, за которым все будут ужинать; раздвижные стеклянные двери ведут на кухню, где готовит Хезер. Судя по всему, они прошли длинным путем, через весь дом, чтобы ей не мешать. Такой вывод сразу приходит в голову, и он подтверждается, когда Доджер указывает

на небольшой стол на краю дворика и с улыбкой говорит:

— Я сейчас вернусь.

Она исчезает быстрее, чем кто-нибудь успевает возразить. Роджер с Эрин обмениваются взглядами.

— Сейчас мы *все* будем в блестках, — говорит Роджер.

— Поделочный герпес может в любой момент поразить кого угодно, — сухо отзывается Эрин.

— При создании поделок будьте осторожны, — говорит Смита.

Эрин смеется и все еще продолжает смеяться, когда Доджер возвращается с бельевой корзиной, полной материалов для гирлянд, и, лучась улыбкой, ставит ее на стол.

— Я устроилась в доме, но мама сказала, что, как только вы приедете, нужно будет перебраться сюда, потому что четверых она уж точно не вынесет, — беззаботно сообщает Доджер и принимается разбирать корзину. — Кто хочет нанизывать попкорн?

— А есть другие варианты? — спрашивает Роджер.

— Еще нужны бумажные гирлянды, — отвечает Доджер.

— Может, тебе стоило пригласить Кэндис? — говорит Эрин, с сомнением глядя на чашку с клюквой. — Развитием детей дошкольного возраста интересуется она. Наверное, для нее такое как выпускной экзамен.

— Кэндис вчера улетела домой, в Портленд, — отвечает Доджер. Она машет рукой в сторону неба, будто очерчивая дугу, по которой летел самолет. — И кроме того, она вегетарианка. Не думаю, что она бы оценила ту бойню, которую представляет День благодарения в нашей семье.

— Что ж, тогда от имени всех мясоедов мира хочу заранее поблагодарить тебя за эту бойню, — бурчит Роджер. — Я наделаю для тебя попкорновых гирлянд, Додж. Не может же это быть сильно сложно?

Может. Попкорн рассыпается, а клюква такая скользкая, что так и норовит выстрелить пулькой, если сжать ее слишком крепко, но, если сжать недостаточно сильно, она просто соскальзывает с иголки. Здесь есть какая-то хитрость — возможно, в детстве Роджер ее и знал, но сейчас навык утерян. Похоже, только Эрин знает толк в этом деле: у нее и материалы, и инструменты ведут себя идеально — игла каждый раз находит правильный угол. Наступает тишина, прерывае-

мая лишь клацаньем ножниц, режущих бумагу, редкими ругательствами себе под нос и долетающими от отца Доджер обрывками добродушной брани, обращенной к барбекю.

Роджер понимает, что Питер Чезвич рядом, когда за спиной раздается мужской голос — голос, который он тысячу раз слышал ушами Доджер и ровно один — своими собственными.

— Приятно видеть нормальную гирлянду. У Доджер попкорн образует последовательность Фибоначчи с клюковками между соседними числами — чтобы мы не забывали.

— Почему я нисколько не удивлена? — говорит Смита.

— Когда мне было четыре, папа, ты считал, что это мило, — говорит Доджер, поднимая глаза от бумажной гирлянды. Она морщит нос и поджимает губы, как маленькая девочка. Это одновременно и трогательно, и немного странно. Настолько расслабленной Роджер видел ее, только когда они оставались вдвоем у нее в комнате — она увлеченно писала на стенах, а он просто сидел и не отсвечивал.

— Это до сих пор мило, — говорит Питер. — Так ты познакомишь меня со своими друзьями?

Эрин и Смита уже не раз проходили подобную

процедуру, поэтому четко знают, чего от них ждут. Они поворачиваются к Питеру и улыбаются. Роджер делает то же самое. В его случае улыбка похожа на застывшую гипсовую маску, настолько тесную и тяжелую, что она в любой момент может треснуть и отвалиться. Знакомство с матерью Доджер теперь кажется ему пустяковым делом.

«Лучше бы я поехал домой», — думает он и чувствует, что ему тесно в своей коже, будто она внезапно скукожилась на два размера. Нет. Дома было бы нисколько не лучше. Он не знает, откуда он это знает, но знает точно, ох, слишком точно. Поездка домой обернулась бы концом всего сущего.

Не факт, что знакомство с отцом Доджер пройдет сильно лучше.

— Это Эрин, моя соседка по квартире, это Смита, она на биологическом, а это Роджер, мой лучший друг и самый терпимый товарищ, — говорит Доджер.

— Очень приятно познакомиться с вами, мистер Чезвич, — говорит Эрин, протягивая руку.

Питер, смеясь, показывает пятна жира на своих пальцах.

— Обычно я всей душой за соблюдение соци-

альных ритуалов, но в данный момент, полагаю, будет лучше, если я оставлю вас в том же состоянии, в каком обнаружил, — говорит он. — Я пожму вам руки после того, как у меня появится возможность умыться.

— Отличный план, — говорит Эрин.

— Добрый вечер, сэр, — говорит Смита.

Питер переключается на Роджера и внимательно его разглядывает. Даже если бы Роджер не знал, что Доджер не встречалась с мальчиками в старших классах (свидания отнимали слишком много времени, которое можно было потратить на более важные дела, например на домашку), он бы все понял по выражению лица Питера Чезвича. Для нескольких девушек Роджер был первым парнем, которого они приводили домой. Их отцы смотрели на него точно так же — со смесью надежды и подозрения, словно он мог либо спасти, либо погубить их дочерей.

«Ну и сюрприз вас ждет», — думает Роджер, вынужденно продолжая улыбаться, а вслух говорит:

— Очень приятно познакомиться с вами, сэр.

Как и Хезер, Питер замирает, кровь отливает у него от лица, превращая его в безмолвную статую, не сводящую взгляда с Роджера.

— Можешь показать, где у вас уборная? — резко спрашивает Эрин, глядя на Доджер.

— Но… — Она хочет помочь. Это слышится в ее голосе, в единственном отчаянном слоге, повисшем в воздухе. Она хочет все *исправить*. Роджер спас ей жизнь, а отец — это отец, и ей нужно, чтобы они поладили, потому что она не представляет своей жизни без любого из них. Они — необходимая составляющая будущего, каким она его видит, будущего, выстроенного по выверенным формулам, с идеально просчитанными последствиями.

— Мне очень надо, — выдавливает Эрин сквозь стиснутые зубы.

— Мне бы тоже узнать, где уборная, — говорит Смита.

Доджер вздыхает. Хочешь не хочешь, но обязанности хозяйки никто не отменял.

— Я сейчас вернусь, — говорит Доджер Роджеру и отцу, но ни тот ни другой не слышат ее. Она встает, манит девушек за собой, и все трое исчезают в доме.

Роджер не двигается. Он смотрит на Питера, ожидая неминуемого взрыва. Он мог бы попытаться выкрутиться (он весьма убедителен, когда хочет, так было всегда), но не говорит ни слова.

Попытка нарушить ход игры не приведет ни к чему хорошему, но может нанести еще больший вред. Он это знает. Он *знает*, но ему все равно приходится прикусить язык, чтобы удержать слова взаперти, не дать им вырваться наружу, чтобы они не натворили дел.

Наконец Питер задает вопрос — таким тоном, каким ведут светские беседы, например о погоде:

— Ты думал, я не узнаю твой голос? Ты думал, что можешь прийти в мой дом, сидеть рядом с моей дочерью, а я тебя и не вспомню?

— Нет, сэр, — отвечает Роджер. — Я до последнего не хотел приходить, потому что знал, что вы меня узнаете, и не хотел портить вам День благодарения. Но в конце концов мы бы все равно встретились. Этого было не избежать. Так что мне показалось, что лучше познакомиться так — чтобы вы не вызвали полицию, едва я открою рот.

— Почему ты думаешь, что я не стану звонить в полицию?

— Доджер этого не вынесет. — Простой факт — абсолютная истина. Эти слова описывают то, чего они оба хотят избежать, и поэтому они не ставят их под вопрос, хотя форма беседы меняется. Роджер не встает. Ему кажется, что, если он встанет,

это может быть похоже на вызов, хотя он вполне уверен, что Питер Чезвич выше его. — Доджер привела меня домой, чтобы познакомить с родителями, потому что вы много для нее значите, и она хочет, чтобы мы поладили.

Взгляд Питера режет, как сталь.

— То, что ты с ней сделал…

— Я спас ей жизнь, сэр. Вот что я сделал. — Роджер качает головой. — Когда я звонил, я был в Кембридже. Я знаю, что вы это знаете, потому что вы умный человек и наверняка проверили университетский журнал звонков, как только подключили полицию. Вы *знаете*, что звонок был из Массачусетса.

Более того, из телефонной будки. (Ее больше нет. В последний раз, когда Роджер ехал в Бостон мимо Гарвардской площади, он увидел, что все таксофоны демонтировали. Он почувствовал смутное ощущение потери, будто по непонятной причине исчезло что-то неотъемлемое и потому казавшееся вечным. Время идет. Позади остаются только мертвые.)

Питер уже давно понял, что Доджер сама вскрыла себе вены, что парень из Бостона был просто приличной легендой. И все же…

— Как ты узнал, если тебя там не было?

— Потому что я был ее лучшим другом, — отвечает Роджер, и это чистая правда и всегда было правдой. Даже когда они не контактировали, даже когда он заполнял пустоту, оставленную Доджер, другими людьми, он всегда-всегда оставался ее лучшим другом. Она жила с этой пустотой одна, а не затыкала ее кем-то не тем, и порой он желает стать таким же целеустремленным и сильным. — Я знал, что что-то не так. Хотите верьте, хотите нет, но это правда. Я бы никогда не причинил ей боль. Если на то пошло, я бы скорее причинил боль себе, лишь бы уберечь ее.

Питер колеблется. Очень трудно удержать в себе то, что хотел высказать целых пять лет. Но отрицать очевидное еще труднее.

— Кажется, она… счастлива.

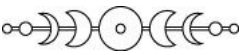
— Мы хорошо проводим время.

Выражение на лице Питера снова меняется, и Роджер понимает, как именно отец Доджер интерпретировал его последнюю фразу. С трудом удержавшись от смеха, Роджер говорит:

— Ничего такого, честное слово. В основном мы спорим о языке математики. Она довольно вспыльчива, когда дело доходит до точных формулировок.

— Вся в меня, — улыбаясь, говорит Питер, и,

возможно, все будет в порядке.



Когда Эрин выходит, а Смита следом за ней проскальзывает в ванную — канареечно-желтую и кремовую, с китами на стенах и ароматизированными ракушками на подоконнике (невозможно еще громче кричать: «Мы в Калифорнии!» — даже если постараться), Доджер ждет в коридоре. Эрин подходит к ней и вопросительно поднимает бровь.

— Что? — спрашивает она.

— Как ты думаешь, папа же не убьет Роджера? — Доджер выпаливает эту фразу на одном дыхании, слова вылетают, будто птицы из клетки.

— Вероятно, нет, — говорит Эрин. — То есть он мог бы, но от тела было бы не так просто избавиться, и ужин пришлось бы начать не скоро. Лучше не рисковать.

Доджер встревожена. Это так забавно — когда Доджер злится, она делает это со всем размахом, театрально: получается представление почище тех, что показывают по телевизору. Но сегодня Эрин действительно хочется поесть вовремя, ей

неинтересно раздувать конфликт. Проблем и так хватает. Не нужно торопить события, пусть все идет своим чередом.

— Я уверена, что все в порядке, — говорит она. — Я знаю про мальчика из Бостона — что ты так смотришь, я умею гуглить, я же должна была что-нибудь о тебе узнать, прежде чем жить с тобой в одной квартире, — но еще я знаю, что Роджера не было в Калифорнии, когда это случилось. Они с твоим папой поглядят друг другу в глаза, и все будет прекрасно. Вообще, мы как феминистки должны ненавидеть все это патриархальное дерьмо, но когда мужики распушают друг перед другом перышки — это довольно милое зрелище.

Доджер моргает, потом спрашивает:

— Ты думаешь, папа думает, что мы с Роджером встречаемся?

Эрин думает про себя, что всякий, кто понаблюдает за ними хотя бы десять секунд, сразу поймет, что они брат с сестрой, и вряд ли заподозрит что-то иное.

— С чего бы? Ведь Роджер твой брат.

Виноватый взгляд в исполнении Доджер выглядит довольно комично.

— М-м-м… Насчет этого…

— Все в порядке. Я знаю, что вас обоих усыновили. Твой отец не знает, да?

— Не знает, — подтверждает Доджер, качая головой. — У нас не было возможности ему рассказать.

Эрин улыбается.

— Кажется, за ужином будет весело.

Она все еще улыбается, когда Смита выходит из ванной. Тогда Эрин разворачивается и идет к задней двери ровно с той скоростью, чтобы Доджер пристроилась за ней, словно утенок за мамой-уткой. Она не хочет, чтобы Доджер нервничала еще больше. Как ни забавно за ней наблюдать, когда она в смятении и не знает, что делать дальше, — всему есть предел. Если зайти слишком далеко, Доджер может потерять самообладание, и последствия будут ужасны. Временная линия не выдержит еще одной перезагрузки так близко от предыдущей. Хуже того, перезагрузка может привести к тому, что Роджер отправится в Бостон, а это будет *плохо*.

Во дворе Роджер продолжает нанизывать попкорн и клюкву, а Питер вернулся к барбекю. Эрин делает шаг в сторону, чтобы Доджер это увидела, и наблюдает, как та обмякает от облегчения.

— Уф, — выдыхает Доджер. — Обошлось без

крови.

— Вот видишь, я же говорила. Им просто нужно было разложить все по полочкам. Пойдем.

Все возвращаются на свои места. Не поднимая глаз, Роджер насаживает клюкву на иглу и почти ласково говорит:

— Не думайте, что я забуду, как вы вдвоем забрали Доджер и бросили меня одного. Может, вы не осознаете всей важности своего поступка, но уверяю вас, сегодня вы нажили себе врага.

— Пожалуй, сделаю пометку в календаре, — говорит Смита. — Уверена, что буду сожалеть об этом дне.

— Разве не мило, что он считает, что умеет нагнать страху? — Эрин берет бумажную полоску. — Кто-нибудь, передайте мне клей.

— Мне кажется, это было пугающе, — говорит Доджер, протягивая Эрин клей-карандаш.

— Спасибо, — говорит Роджер, поднимает взгляд и улыбается Доджер. — Все хорошо. Нам просто нужно было обсудить пару моментов. Никто не пострадал, и мне кажется, теперь он не против, что я здесь. Или, может быть, он и против, но он не попросил меня уйти, и мне этого достаточно.

— Круто, — говорит Доджер и улыбается в от-

вет, и какое-то время слышится только шелест бумаги, клацанье ножниц и редкие ругательства, когда Роджер втыкает иголку не в попкорн, а себе в палец.

Все подпрыгивают от неожиданности, когда стеклянная дверь открывается, пропуская Хезер.

— Так, внимание, — говорит она. — Пора наводить антураж. Роджер, ты самый высокий. Доджер, ты знаешь, куда что вешать. Эрин, Смита, поможете мне накрыть на стол?

— Конечно, миссис Чезвич, — отзывается Эрин неожиданно приторным вежливым тоном. Она встает и идет за Хезер на кухню, а все остальные недоуменно смотрят ей вслед.

— Вот *это* было пугающе, — говорит Доджер.

— Значит, мне пора, — говорит Смита и рысью бежит за Эрин.

— Я не подозревал, что Эрин бывает «дружелюбной», — говорит Роджер и берет со стола свою клюквенно-попкорновую гирлянду. — Куда это повесить?

— Я покажу, — говорит Доджер и встает. Он идет за ней.

Следующие несколько минут они занимаются тем, что люди никогда по-настоящему не перерастают, даже если пытаются себя убедить,

что детство давно прошло и они нисколько не скучают по примитивным ритуалам своего прошлого. Доджер показывает нужные места, а Роджер развешивает бумажные цепочки и нити из попкорна. У них за спиной Хезер, Смита и Эрин накрывают на стол: сначала расставляют тарелки и приборы, затем сервировочные подносы, корзинки с булочками, блюда с кукурузой. Роджер и Доджер ничего этого не замечают: они поглощены процессом — им нужно сделать все идеально.

Питер несет к столу индейку, держа массивную птицу как подношение, и останавливается, не веря своим глазам. Каким-то образом они умудрились украсить крышу над крыльцом таким количеством бумажных цепочек, каким могла бы гордиться начальная школа; концы гирлянд празднично обвивают опорные балки. Доджер стоит на стремянке, Роджер поддерживает ее за бедра, чтобы она не свалилась, пока закрепляет последнюю цепочку. И в этой сцене есть что-то настолько ясное и по-простому *правильное*, что он целое мгновение уверен, что они оба выросли в этом доме: что он наблюдал за тем, как его дочь и ее брат украшают дом ко Дню благодарения, с тех самых пор, как они достаточно подросли,

чтобы не порезаться безопасными ножницами.

Мгновение проходит. Питер Чезвич произносит единственное, о чем может думать:

— Когда вы двое собирались сказать нам, что вы брат и сестра?

Доджер подпрыгивает. Все могло бы закончиться катастрофой, если бы не Роджер. Он не дает ей упасть, даже когда она оборачивается и извиняющимся тоном отвечает:

— Мы пока не совсем уверены, папа. Нам еще нужно сдать тесты. Смита их сделает, когда мы вернемся в университет.

— Это формальность, — говорит Питер. — Ты это и так знаешь, иначе не привела бы его домой.

— Я никому здесь не родственница, — говорит Эрин. — И Смита тоже.

— Вы — другое дело, — отвечает Питер. — У нас и раньше бывали одноклассницы Доджер. Правда, на большие праздники они не приходили ни разу и даже на ужин не оставались, но мы же не держали Доджер запертой в башне. Но она ни разу не привела домой парня, тем более настолько похожего на нее.

— Мы не *так* уж сильно похожи, — протестует Доджер.

— Еще как похожи, — говорит Хезер, вставая рядом с мужем. — Может быть, нет, если вы привыкли видеть себя в зеркале, но для остальных… Вы до боли похожи друг на друга.

Эрин откидывается в кресле, с интересом наблюдая за разворачивающейся сценой. Они оба выведены из равновесия, им не по себе от пристального внимания родителей. Она может многое узнать, наблюдая за их реакцией.

Часть ее задания — наблюдать за ними. Часть ее задания — защищать их. А еще одна часть — быть готовой их убрать: ей нужно обнаружить их слабости, пусть даже небольшие, и знать, как ими воспользоваться. Они прекрасно чувствуют себя в академической среде, выступая единым фронтом против любых вызовов, которые может бросить им университет. Их ранняя связь, должно быть, позволила им пережить бакалавриат с минимальным количеством слез; судя по парам кукушат, которые не установили контакт до старшей школы, если бы Роджер и Доджер в детстве не провели какое-то время вместе, они бы безнадежно отставали в тех предметах, которые не были им присущи. Конечно, Доджер никогда бы не смогла стать лингвистом, так же как Роджер — математиком, но они справились — некоторые

из других подопытных не достигли и этого. Они уравновешивают друг друга.

Это не значит, что они готовы противостоять своим родителям, — хотя если уж им суждено столкнуться с мамой и папой, то лучше пусть это будут ее родители, а не его. По крайней мере, ее родители хотят лучшего для нее, а не для эксперимента.

Смита выходит из кухни. Пока что она молча стоит в стороне, наблюдает, вникает в происходящее.

— Тебя усыновили? — спрашивает Питер, глядя на Роджера.

Этот вопрос — кладезь информации. Роджер анализирует ее, не задумываясь, считывает все оттенки, все, что Питер не смог бы сказать без нескольких кружек пива и кучи времени на раздумья. Однако в первую очередь на вопрос необходимо ответить, пока он не превратился в бомбу замедленного действия: этот вопрос определяет все.

— Да, сэр, меня усыновили, — отвечает Роджер. — Мы с Доджер сравнили документы. Мы родились в один и тот же день, сведения о биологических родителях недоступны. Я никогда не контактировал с биологическими родствен-

никами, и, честно говоря, у меня не возникало желания их искать. Я люблю своих родных. Просто, ну… — Он смотрит на Доджер, пожимая плечами.

Она подхватывает разговор. Она все еще умеет врать лучше него, даже если она не так сверхъестественно убедительна, как он; иногда дело не в словах, а в том, как они используются.

— Мы познакомились в шахматном лагере. Помните?

Глаза Хезер округляются.

— Тот друг по переписке, ради встречи с которым ты хотела поехать в Кембридж? Доджер, милая, почему ты ничего не сказала?

— Потому что я сказал ей не приезжать, — говорит Роджер. — Я был ребенком. Мне было страшно. Какая-то девочка сказала, что она думает, что у нас могут быть одни биологические родители, а дети в школе смеялись надо мной, потому что я был нежеланным ребенком. Но я *был* желанным. То, что меня усыновили, означало, что мои родители любят меня больше всего на свете. Они выбрали именно меня, а не кого-нибудь другого. Я боялся, что если снова увижу Доджер и она действительно окажется моей сестрой, как она сказала, то все изменится. Из ни-

откуда возникнут наши биологические родители и заберут нас у тех, кто нас любит.

Эрин ничего не говорит. Это не ее разговор, а Роджер гораздо ближе к истине, чем думает, то ли случайно, то ли потому, что у него есть смутные воспоминания о других, более старых временных линиях, где происходило именно это. Если кукушата встречались слишком рано, их разделяли. Эта схема никогда не менялась. Ее отголоски до сих пор витают над ними.

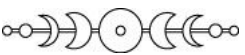
— А я подумала, что, если бы он действительно был моим братом, как мне показалось, он бы слишком сильно меня любил, чтобы сказать мне держаться подальше, — говорит Доджер, с легкостью подхватывая нить лжи. Если бы они действительно выросли вместе, они бы вселяли ужас. Они и сейчас пугают не понарошку. — Поэтому я не стала ничего говорить. Мы встретились снова, когда я поехала на шахматный турнир в Массачусетс, но потеряли связь после того, как я… порезала себе руки.

Ее щеки пылают, она смотрит в пол, будто он может отпустить ей все прошлые грехи. Она ничего не говорит о том, что солгала, когда позволила им думать, что нож держал Роджер, — в этом нет необходимости: ее молчание и есть

признание.

Питер и Хезер обмениваются взглядами. Когда они снова поворачиваются к троице, оба улыбаются, она — грустно, он — несколько натянуто.

— День благодарения — семейный день, — говорит Хезер. — Давайте садиться за стол.



Ночью, когда Эрин и Смита лежат на полу в комнате Доджер, Роджер — в комнате для гостей, а Хезер и Питер — в своей постели, Хезер поворачивается к мужу.

— Ты правда веришь, что она просто по абсолютной случайности столкнулась со своим братом-близнецом?

Слово «близнец» вошло в разговор без фанфар. Оно слишком логично, чтобы его можно было опустить: они родились в один день, у них одинаковые глаза, одинаковое строение костей, одинаково напряженная осанка, выдающая их упрямый характер. У Доджер он считывается сразу: по тому, как настороженно она держится, как реагирует на малейший звук. Роджер кажется более расслабленным, но он тоже всегда настороже, просто лучше это скрывает.

— Похоже на то, — говорит Питер.

Хезер качает головой.

— Еще и эти *имена*. Слава богу, бедные дети не росли вместе. Можешь себе представить?..

— Интересно, его родителям при усыновлении тоже поставили условие, что они не смогут изменить имя ребенка? — говорит Питер.

— Некоторым людям лучше не позволять давать имена своим детям.

— Точно, — соглашается он.

Хезер некоторое время молчит, а потом продолжает:

— Наверное, я должна чувствовать себя обманутой, потому что Доджер все так подстроила, чтобы мы не могли его не принять. Но на самом деле я чувствую облегчение. У нее есть брат. Кто-то ее возраста, кто понимает, как работает ее разум. Разве это плохо?

— Это хорошо, — говорит Питер и целует жену.

В комнате в другом конце коридора Доджер не спит и смотрит на медленно гаснущие созвездия на потолке. Светящаяся в темноте краска все еще держит заряд, хотя прошло уже столько лет; она может определить время по периоду полураспада своего искусственного неба. Она хочет поговорить с Роджером. Хочет спросить его, что

он думает об ужине, о ее родителях, о ситуации в целом.

Но не может. Смита спит, но Эрин достаточно близко и точно заметит, если Доджер начнет разговаривать сама с собой.

«Нам следовало бы лучше поработать над этим „невербальным общением“», — думает Доджер, считая звезды и пытаясь заснуть.

Эрин слушает, как дыхание Доджер выравнивается, становится глубоким и медленным по мере того, как она погружается в бессознательное состояние. Убедившись, что Доджер в самом деле уснула, она открывает глаза, откидывает волосы с лица и тихо считает до десяти на шумерском. Доджер-математик не двигается. Она еще не полностью проявилась; настанет время, когда она будет чутко реагировать даже на тех, кто будет просто думать о числах в ее присутствии, улавливая их мысли уголком сознания. Тогда Эрин не будет так рисковать, если только они все еще будут вместе, если только они все еще будут живы.

Она осторожно садится, пытаясь уловить любые признаки движения. Не обнаружив их, она встает и направляется к двери.

Воздух в доме неподвижен. Она уверена, что Роджер спит в специально отведенной для него

комнате: когда кукушата настолько близко, они должны либо постоянно быть начеку, спать по очереди, прикрывая друг друга, либо совершенно расслабиться, синхронизируясь на уровнях, которые пока что непонятны даже им самим. Эрин не терпится увидеть выражения их лиц, когда они поймут, насколько глубока их связь.

Этот дом построен не для войны. Все в нем говорит о мире, о праздности; никто из тех, кто думает о предстоящей битве, не выбрал бы кремовые ковры и обои пастельных тонов. Эрин останавливается у фотографии семьи Чезвич перед замком Спящей красавицы в «Мире Диснея». У Доджер (на вид ей около двенадцати) на голове мышиные ушки, а на лице широкая, яркая улыбка ребенка, чьи самые большие горести связаны с воображаемым другом, который перестал с ней разговаривать, и чередой учителей математики, которые ничего не понимают. Ее родители светятся любовью и удовлетворением. Вот что делает этих кукушат такими опасными: их дорога к Невозможному городу вымощена не только ветром и звездной пылью, а еще и простым красным камнем, вытесанным в реальном мире, где алхимия — пустые фантазии, а бессмертие невозможно.

«Ты сделал их слишком нормальными, вот где ты облажался», — бормочет она, касаясь рамки. Затем она продолжает путь, направляется к задней двери и выходит в зеленый калифорнийский вечер.

После смерти Даррена Эрин отослали из лаборатории в Нью-Йорк — в приемную семью, столь же преданную делу, как Миддлтоны, чтобы научиться всему, что ей нужно было знать для предстоящей миссии. «Мать» научила ее использовать вежливость как оружие, подводить глаза и губы и улыбаться в нужный момент так остро, чтобы прорезать кожу, кости и социальные барьеры. «Отец» научил ее за минуту разбирать, протирать и заново собирать винтовку; неустанными жесткими тренировками, через которые он заставил ее пройти, могла бы гордиться военная академия. Они работали во славу дела, работали ради гражданства в Невозможном городе и сделали из нее оружие, с помощью которого можно изменить мир.

Проблема с оружием заключается в том, что его можно направить в любую сторону. Она садится в шезлонг у забора (тот самый шезлонг, на котором в другой временной линии полулежала Доджер, пока у Роджера рушилась жизнь; шезлонг, в

котором Доджер приказала вселенной перезагрузиться, чтобы спасти Роджера от последствий выбора, который сделали его родители) и достает телефон. Но́мера, который она набирает, нет ни в одном справочнике, ни в одной базе данных; даже телефонная компания затруднилась бы определить, кому он принадлежит.

«Доджер, мне очень жаль», — думает она, подносит телефон к уху и ждет. Раздается щелчок.

— Докладывай, — говорит голос.

— Родители Чезвич узнали в Миддлтоне биологического родственника, как только он вошел в дом, — говорит она. — Они спросили, знают ли подопытные о своем родстве. Подопытные ответили утвердительно. Подопытные сближаются, но не начали проявлять никаких признаков реакции второй стадии. Они остаются отдельными личностями и, похоже, не нуждаются в разделении. Какие будут дальнейшие указания?

«Пожалуйста, не просите меня убить ее родителей», — думает она. Не то чтобы она любила Доджер — та для нее скорее полезная *вещь* и должна оставаться полезной, чтобы план Эрин удался, — но это не значит, что Эрин хочет сделать ее сиротой. Стабильность Грачей всегда была под вопросом. Грачи — это бурные реакции,

дрейфующие в мире, полном возможных конфликтов, и, чтобы удержать их от взрыва, нужен Галка Джек. Если сейчас убить родителей Доджер, она может отдалиться от Роджера, и последствия будут катастрофическими.

— Продолжай наблюдать, — говорит голос. — Жди дальнейших инструкций.

Линия снова щелкает — вызов завершен. Эрин откидывается в кресле и закрывает глаза. Еще одно препятствие пройдено.

Дальше будет еще труднее, но потом станет легче.

Биология

Лента времени: 16:01 PST, 8 декабря 2008 года (немногим позже)

Роджер и Доджер полулежат каждый на своем кресле и смотрят на грязновато-белые плитки на потолке, испещренные маленькими и на первый взгляд беспорядочными отверстиями.

— Сколько их? — спрашивает Роджер. Он старательно не смотрит на стоящую рядом женщину, которая вводит иглу ему в вену. Он сам напросился, и он *сознает*, что сам напросился, но процесс от этого не становится более приятным.

— Плиток или дырок? — спрашивает Доджер. У нее уже взяли кровь. На сгибе локтя у нее кусочек пластыря, прижимающий ватный шарик, а в руке — коробочка сока с изогнутой соломинкой.

О, как он жаждет эту коробочку сока. В последний раз он так сильно хотел чужое угощение в началке, когда мисс Льюис (он всегда будет помнить мисс Льюис) разрешала им приносить коробочки с соком из дома на пятничную сказку.

— Плиток.

— Шестьдесят четыре.

— Дырок.

Доджер буквально за мгновение окидывает взглядом очертания четырех отдельных плиток, после чего безмятежно улыбается, отпивает сок и говорит:

— Шесть тысяч двести восемь.

— Круто. — Роджер закрывает глаза. Перспектива смещается, и он смотрит на потолок глазами Доджер. Здесь нет цвета, который можно было бы оценить; только кремовые плитки и металлические направляющие, удерживающие их на месте. — Смита сказала тебе, зачем сдавать кровь повторно, или для тебя это тоже загадка?

— Все кругом — загадка. — Доджер поворачивается к нему.

Видеть собственное тело со стороны всегда неуютно. Одно только изменение перспективы многое объясняет в том, как окружающие реагируют на его внешность. Стоящая рядом с ним женщина вытаскивает иглу, и его кровь такая *красная*, яростно, ослепительно *красная*, и он не уверен, должно это его восхищать или тревожить.

— Смита сейчас подойдет, — говорит женщина и выходит из комнаты, прежде чем они успевают спросить ее о чем-нибудь еще.

На какое-то время они остаются одни.

— Эй, Додж. Ты знаешь, что я дальтоник?

— Только потому, что ты заставляешь меня смотреть на вещи вместо тебя.

— Мне нравится знать, какие цвета соответствуют названиям, — говорит он. — Просто мне интересно… а в твоем зрении есть что-то странное?

Доджер недоуменно моргает.

— Ты что, никогда не замечал?

— Нет…

— Как далеко я сейчас от тебя? Отбрось визуальные сигналы, основывайся только на своих представлениях об этой комнате.

Она закрывает глаза, исключая визуальные сигналы из уравнения.

— Хорошо, давай сыграем, — говорит Роджер. Он прокручивает в голове план комнаты и наконец говорит: — Около трех футов, наверное? Может быть, чуть больше.

— Принято. — Доджер открывает глаза, продолжая смотреть на него. — А теперь?

Роджер видит, как хмурятся его брови.

— Я… я не могу сказать.

— У меня проблемы с восприятием глубины, — говорит Доджер. — Вот почему я так часто

врезаюсь на велике во все подряд. Когда я знаю размеры окружающего пространства, все в порядке, я делаю необходимые расчеты на лету. Я подавала в школьной бейсбольной команде и многих выбивала, потому что знала размеры поля. В новом пространстве, если никто не снабдил меня точными измерениями, мне приходится рассчитывать все вручную. Это единственное место, где числа меня подводят.

— Вот это да, — говорит Роджер.

Он больше ничего не успевает сказать, потому что дверь открывается, и заходит Смита, в лабораторном халате и с блокнотом. Роджер открывает глаза, возвращаясь к собственной перспективе; они с Доджер, сосредоточившись, выпрямляются в лабораторных креслах.

— От вас двоих больше проблем, чем пользы, — говорит Смита. Она не утруждает себя преамбулой или приветствием: и то и другое было бы пустой тратой ее и их времени. Слегка смягчив тон, она добавляет: — Спасибо, что снова пришли. Я очень ценю это.

— Ерунда, — говорит Роджер. — Хотя мы не совсем понимаем зачем. Что-то не так с первыми образцами?

Сдача крови — не самый веселый способ про-

вести день, но крови для анализа требуется всего ничего, так что коробочка сока — это почти формальность. Кстати, об этом…

— А где мой сок?

— Я единственный взрослый человек в этом кампусе, — говорит Смита. Открыв небольшой холодильник, она достает коробочку сока и бросает ее Роджеру, который ловит ее одной рукой. — Нельзя сказать, что с вашими первыми образцами что-то было не так. Мы немного запутались, когда решили, что произошла перекрестная контаминация проб. Я хочу обсудить с вами пару моментов.

— У нас обнаружилась какая-то смертельная болезнь? — спрашивает Доджер. — Если она передается половым путем, то болен только Роджер, а я могу идти.

— Я тоже тебя люблю, — говорит Роджер и вставляет соломинку в коробочку. Делает глоток. Подделка под виноград: ням-ням.

— У вас нет смертельной болезни, передающейся половым или иным путем, — говорит Смита, предварительно сделав грозный вид. — Зато что у вас *есть*, так это практически идентичный антигенный след, но без характерных метилирований, которые мы ожидали бы найти в… Так, вы

не поняли ни одного слова из того, что я только что сказала?

— Ни одного, — дружелюбно отвечает Роджер. Он лжет. Он знает все эти слова, хотя и не понимает, как именно они соединились в предложение. Но еще он знает, что Доджер их не знает. Так проще.

— Биологически мы родственники или нет? — спрашивает Доджер. Ей требуется научное подтверждение того, что она и так уже знает. Как только наука скажет «да», это станет непреложным фактом, и сейчас Смита — это и есть наука. Смита держит их будущее в своих руках.

Смита смеется. Это натянутый смех — смех женщины, столкнувшейся с вопросом, на который нет простого ответа.

— Доджер, если бы ты сказала мне, что вы однояйцевые близнецы, я была бы склонна тебе поверить.

— Мы не однояйцевые, — говорит Роджер. — Есть определенные физиологические различия, полностью исключающие эту возможность.

— Я в курсе, — говорит Смита. — И да, когда мы провели анализ ДНК, то обнаружили, что вы на самом деле биологически принадлежите к разным полам и у вас есть все те маркеры, кото-

рые мы ожидали найти, учитывая ваш общий внешний вид. Вы же понимаете, что анализ ДНК отличается от анализа крови, да? Анализ крови может *исключить* родство, а анализ ДНК используется для его *подтверждения*. Мы ищем базовые кирпичики чего-то, из-за чего вы двое так чертовски бесите. Думаю, что смогу выделить на основе вашей ДНК ген «умника». Получу Нобелевскую премию.

— Не забудь поблагодарить нас в своей речи, — говорит Роджер и делает еще глоток.

— О, поверьте, вы получите все почести, которых заслуживаете, — говорит Смита.

— Мы знаем, что такое тест ДНК, — говорит Доджер. — Мы уже говорили, как мы благодарны тебе за то, что ты согласилась помочь? Потому что мы очень благодарны. Настолько благодарны, что Роджер даже не может выразить это словами, что даже смешно, если задуматься.

Роджер закатывает глаза и продолжает пить сок. В кои-то веки его участие не нужно. Это даже приятно. Он может просто откинуться на спинку кресла, ждать, пока восстановится сахар в крови, и слушать, как Доджер и Смита пикируются друг с другом по поводу чужой для него области науки. Он был бы не прочь проводить так время

почаще.

— Он восхитительно молчалив, — говорит Смита. — Но давайте вернемся к предыдущим образцам. Я не думаю, что с ними что-то случилось. По-моему, судя по результатам, они именно такие, какими должны были быть. Но другие студенты, которые помогали мне с тестами ДНК, захотели все перепроверить, поэтому нам понадобилось больше крови. Больше крови — значит, можно провести больше тестов. Больше тестов — и мы выясним, кто вы на самом деле — люди или марсиане, которые очень хорошо научились выдавать себя за людей. Я ставлю на «марсиан», если вам интересно.

— Мы всегда полагали, что являемся мидвичскими кукушками, — говорит Роджер.

— Мы пришли с миром, — сухо добавляет Доджер.

— Хотела бы я вам верить, — говорит Смита. Она облокачивается на стойку и смотрит на них. Выражение лица у нее серьезное, но в глазах горит интерес — перед ней загадка. Она сможет узнать что-то *новое*. Мало что может быть опаснее ученого, который хочет узнать что-то новое. — Итак, вы попросили меня сделать анализ крови, потому что хотели узнать, являетесь ли вы бра-

том и сестрой. По доброте душевной я отказалась, потому что ничем хорошим это бы не закончилось, но вместо этого согласилась провести серию тестов на ДНК и антигены. Вы дали согласие на использование результатов этих тестов в моих исследованиях.

Роджер наконец опускает коробку с соком и прищуривается.

— Зачем ты нам все это пересказываешь?

— Потому что хочу, чтобы вы помнили, что дали согласие на использование результатов ваших тестов в моих исследованиях, — говорит Смита. Глаза у нее светятся все сильнее. Она уже ухватилась за эту тему, будто собака за кость, и вырвать ее невозможно. — Вы спросили, являетесь ли вы братом и сестрой. Ответ — «да»: да, вы брат и сестра. Вы настолько близки биологически, что, возможно, ваша ДНК расскажет нам о развитии человека больше, чем я когда-либо надеялась узнать.

Доджер выпрямляется в своем кресле, подрагивая, как сеттер, почуявший добычу. Роджер более расслаблен, но теперь в нем есть что-то холодное, напряжение в позе и выражении лица — он будто пружина, готовая в любой момент распрямиться. Они оба на взводе.

Смита пребывает в блаженном неведении о том, какое напряжение она создает. Это ее специальность, это ее страсть, и она собирается идти до конца.

— Известны две формы близнецов — однояйцевые и разнояйцевые. Существует теория, согласно которой в некоторых случаях однояйцевые близнецы из-за хромосомных дефектов или условий окружающей среды могут пойти по разным путям развития; это может проявиться в каком угодно виде — от разного цвета волос до разного пола. У нас не так много опытных образцов, но в качестве отправной точки исследования…

— Ты хочешь сказать, что мы можем быть какими-то странными мутантами? — Голос Роджера опасно бесстрастен.

— Потенциально, — говорит Смита.

— Значит, мы брат и сестра, — говорит Доджер.

— Несомненно, — отзывается Смита. — Вам стоит дать интервью студенческой газете. «Брат и сестра, разлученные при рождении, находят друг друга в университетском городке» — трогательнее некуда. А мы, разумеется, будем благодарны, если вы дадите нам еще крови через месяц или около того.

— Ясно, — говорит Роджер. Его голос, учиты-

вая ситуацию, все еще подозрительно спокоен, настолько спокоен, что любой здравомыслящий человек забеспокоился бы. Он встает, отставляя коробочку от сока, и протягивает руку Доджер. — Что ж, несколько человек должны нам денег.

— Ага, — говорит она, берет его за руку и позволяет ему поднять ее на ноги. В отличие от Роджера, по ее голосу слышно, что она ошеломлена: это логичный результат сделанных ею математических расчетов, это единственное решение, имеющее смысл, но реальный мир не всегда прислушивается к математике, независимо от того, насколько технически верны все выкладки. Реальному миру неважно, что она может объяснить каждый шаг в решении. — Пойдем выпьем кофе.

— Смита, спасибо, — говорит Роджер. Она пристально смотрит на них, и он тут же задается вопросом, не подозревает ли она где-то глубоко, что они с Доджер не совсем *правильные*. Их кровь сказала ей больше, чем он ожидал; она в совершенстве владеет языком плазмы и тромбоцитов, и это один из немногих по-настоящему чуждых ему языков. Когда он позволил ей воткнуть иглу ему в руку, он надеялся, что она сможет успокоить Доджер, каким бы ни был ответ. Но анализ

ДНК оказался точнее и определеннее, чем он мог предположить.

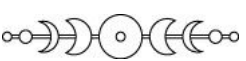
— Не благодари меня, — говорит Смита. Ее улыбка слишком похожа на оскал. — Пока все мы здесь, я буду приходить к вам за кровью.

— И я с радостью буду ей делиться, — говорит Роджер, — если ты будешь приносить сок.

— Не волнуйся, — говорит Смита. — Теперь я дам тебе выбирать вкус.

Она стоит и смотрит, как они уходят; Доджер все еще держит Роджера за руку, как сестры держатся за своих братьев с начала времен. Она смотрит на них, и ей трудно представить, что они не прожили вместе всю жизнь, трудно поверить, что они могли сомневаться в своем родстве. Любой, у кого есть глаза, видит, что они брат и сестра.

Смита поглощена наблюдением за близнецами и ни разу не взглянула в сторону окна; она не догадывается, что здесь есть кто-то еще. Жаль. Это могло бы спасти ей жизнь.



Смите и другим аспирантам-генетикам отведено пространство для работы в дополнительном здании естественных наук, в стороне от основ-

ного здания, которое занимают биологи, зоологи и им подобные. Сюда же отправили и представителей других специальностей, которые рады получить лабораторные помещения хоть где-то: геологи в подвале, химики на третьем этаже. Чтобы выйти из здания, нужно пройти под скелетом птеродактиля, свисающим с потолка: пасть у него разинута в вечном беззвучном крике, бесплотные крылья широко раскинуты, словно он вот-вот спикирует и унесет одного из них. Обычно Доджер нравится немного постоять здесь, рассматривая этот кусочек глубокого прошлого, который несет в окаменевшей структуре своих костей тысячу математических формул. Математика берет нечто живое, разбирает его на составляющие и устремляется вперед, в будущее, не спрашивая у создания, чего оно хочет. Математику это не волнует.

Сегодня Доджер тоже мало что волнует. Она позволяет Роджеру провести ее по вестибюлю и вывести в прохладный вечер. Еще достаточно рано, небо светлое, но по краям появились темные полоски: близится закат. Калифорнийский декабрь не может похвастаться длинным световым днем. Да и сухой погодой: на горизонте повисла гроза, облака набегают почти вровень

с сумерками.

На ступеньках стоят незнакомые ей студенты, разговаривают друг с другом, словно мир сейчас такой же, каким был час назад и каким будет еще через час. Она могла бы попытаться объяснить, как они ошибаются. Но даже если бы они захотели слушать, у нее нет слов. Она может найти только числа, а они не говорят с большинством людей так, как с ней. Поэтому она держит рот на замке и позволяет Роджеру вести ее вниз по лестнице, через главную площадь, в зелень деревьев, которые растут вокруг ручья, текущего посреди кампуса.

Какой бы давно ушедший архитектор ни отвечал за проектирование кампуса Калифорнийского университета в Беркли, кому бы ни поручили, казалось бы, невыполнимую задачу — создать университет, который станет домом для студентов, проявив уважение к земле, на которой он будет построен, — он понимал, что люди остаются людьми, и порой им нужно убежать и спрятаться друг от друга. Честно говоря, впечатляет, насколько хорошо он понял необходимость *уединения*, учитывая, каким широким, открытым и представительным иногда кажется кампус. Роджер и Доджер вместе проходят под деревья-

ми, выходят на деревянную дорожку и, свернув за поворот, идут к полускрытой скамейке. После сегодняшнего дождя здесь еще несколько дней будет сыро — сначала все зальет вода, которую не остановят кроны деревьев, потом вода, которую они сначала задержат. Однако сейчас это идеальное место, чтобы остановиться.

Доджер первой отпускает руку Роджера. Это мелочь. Это также первый раз, когда она сама прерывает контакт, но не убегает. Обычно она или замирает на месте, и тогда он уходит, или, напротив, устремляется к горизонту так быстро, как только могут нести ее ноги. Но здесь и сейчас она спокойна. Она безмятежна.

Роджер знает подходящие слова: шок, удивление, озарение, — но он не знает, как расположить их в таком порядке, чтобы его сестра (его *сестра*, у него есть *сестра*, не просто девушка на другом конце страны, с которой его связывает странная квантовая запутанность, а *сестра*, чья кровь знает его кровь почти так же хорошо, как его собственное сердце) смогла услышать его и понять. Он предполагает, что она ошеломлена. Он *знает*, что сам ошеломлен. Возникает сильное желание закрыть глаза и уйти в пространство, существующее между ними. Он отбрасывает это

желание. Это реально и должно быть реальным. До этого момента он не осознавал, как сильно ему необходимо, чтобы это было реально, чтобы слова произносились под открытым небом, необходимо что-то настоящее, конкретное, что можно положить между ними, рассмотреть со всех сторон и точно знать, что это правда. Реальные вещи слишком важны, чтобы доверять их квантовой запутанности.

В нескольких футах от них журчит ручей, сдерживаемый берегами, из которых он выйдет, как только начнется дождь. Наверху каркает ворона, и ей отвечает один из ее сородичей. Все вороны в кампусе — родственники. «Как и мы», — думает Роджер и снова поражается тому, насколько эта мысль кружит голову.

Доджер садится на скамейку, почти всем весом опираясь на ладони, крепко обхватившие край скамейки, как будто она снова ребенок и держится за нее, чтобы не свалиться. Ум Роджера мечется, подыскивая слова, которые можно применить к этой ситуации (а найдя, отвергает их и ищет другие, лучшие, достаточно сильные). Доджер при этом будто скользит туда-сюда по собственной ленте времени, выискивая тот психологический возраст, в котором она сможет

лучше всего справиться с новой реальностью.

Наконец она еле слышно говорит:

— Я была права.

— Ты была права, — соглашается он.

— Мы брат и сестра.

— Да.

— Мы не… правильные. Мы другие. Что-то в нас было создано, а не рождено.

— Да, — повторяет он. Сейчас лучше всего позволить ей самой пробираться сквозь слова. Он был бы слишком точен, а сейчас это может убить их обоих.

— Все это время… мы искали друг друга, потому что нас не должны были разлучать. Тот, кто организовал наше усыновление, не должен был нас разлучать.

В ее голос просачивается нотка гнева. Как они *посмели*? Как посмели какие-то бюрократы давным-давно решить, что заполнение пустых мест в двух семьях важнее, чем сохранение уже существующего единства, скрепленного кровью, костями и водами материнской утробы? Они оба любят — и всегда будут любить — свои приемные семьи, и она не может себе представить, что отказалась бы от своей семьи, так же как не может попросить Роджера покинуть свою,

но если ты что-то любишь — это еще не значит, что это что-то нужно было создавать. Они бы не любили этих людей, если бы их не отдали в эти семьи. Одна из их семей могла бы найти другого ребенка, полюбить его, дорожить им, окружить его заботой, а они с Роджером могли бы расти вместе, как и должно было быть с самого начала.

— Наверное, не должен был, — говорит Роджер.

Он много читал о законодательстве об усыновлениях и о психологии усыновления. Он считает, что один из самых бескорыстных поступков, который могут совершить родители, — отдать своих детей на воспитание и заботу кому-то другому. Он никогда не жалел о том, что не знал свою биологическую мать. Она любила его настолько, что отдала его людям, которые любили его еще больше. Однако сейчас он хотел бы задать ей несколько вопросов. Например, знала ли она, что у нее будет два ребенка, а не один.

Одобряла ли она, что детей разлучат. Была ли это ее идея, думала ли она: «Если у меня не будет этой семьи, то и у вас не будет», — когда смотрела на двух пурпурнолицых кричащих новорожденных и с готовностью подписывала бумаги, которые отправили их на разные концы

континента.

Он не уверен, что хочет узнать ответы.

— Мы действительно брат и сестра.

— Да.

Он понимает, что Доджер еще долго будет топтаться на этом месте: с ней такое иногда случается — она неспособна двигаться дальше, пока не вскроет навязчивую мысль, чтобы добраться до мягких частей, спрятанных внутри. Это была ее идея, ее надежда, и все же именно она ошеломлена, узнав, что все это правда; именно она не может себе представить, что ее математика будет настолько реальной, насколько она всегда хотела ее видеть.

Но может быть, дело не в родственной связи. Возможно, ее шокирует мысль о лежащей в ее основе странности, о подтверждении того, что их квантовая запутанность имеет какую-то биологическую природу. Они близнецы, и они не близнецы, они нечто большее. Это должно пугать. Может, так и будет, когда пройдет первый шок.

Роджер садится рядом, но слегка откидывается на спину, чтобы оставить между ними как можно больше пространства. С этого угла ему хорошо видно ее лицо. Он видит, как ее щеки дергаются от напряжения за долю секунды до того, как вы-

ражение нейтрального недоумения сменяется улыбкой, подбородок наклоняется вниз, а глаза обращаются вверх, и все меняется.

— Думаю, теперь ты не сможешь от меня избавиться, да? — спрашивает она, и в ее тоне есть что-то похожее на смех и одновременно на слезы, и на что-то третье — глубокое, первобытное и чистое. Он жаждал услышать эту ноту в ее голосе всю свою жизнь, хотя пять минут назад даже не знал, что это возможно, а пять часов назад не знал, что она нужна ему так сильно, а время — это понятие, придуманное людьми, которые не хотели, чтобы все происходило одновременно. Время не имеет значения.

— Не смогу, — говорит он и придвигается ближе, схлопывая пространство между ними.

Она прижимается головой к его плечу, и ничто никогда не помещалось там так идеально; ничто никогда не было предначертано столь же явно.

Все идеально.

Все обречено.

Последствия

Лента времени: 21:33 PST, 8 декабря 2008 года (вечер того же дня)

Пришел дождь. Беркли отмывается от грехов, погребенный под настолько плотным потоком воды, что он похож на движущийся серебряный занавес; кажется, что мимо окна вот-вот в блаженстве проплывет рыба, которую буря подняла в воздух. Буря превратила обычный мир в нечто из детской книжки, в серебряный осколок страны Под-и-Над.

Смита не обращает внимания на погоду; человек для природы все равно что букашка, природе нет дела до того, чем занята Смита, и, кроме того, Смита в помещении. Она одна в лаборатории. Ей это нравится; нравится тишина, гулкое эхо собственных шагов, ей комфортно сознавать, что за ней никто не наблюдает. Она может спокойно разложить свои записи на столе, не опасаясь, что кто-то их увидит — не другой студент, пожалуй, нет, а амбициозный профессор или алчный исследователь — и присвоит себе. С ней такого никогда не случалось. Но это не отменяет исто-

рий, которые ходят по факультету, — историй об украденных достижениях и непризнанном вкладе. Смита планирует однажды изменить мир. Она не сможет этого сделать, если кто-нибудь присвоит себе фундамент, который она сейчас строит.

Позади нее раздается тихий звук, будто кто-то зажег свечу. Это странный образ, непонятно, откуда он взялся, но именно эта мысль приходит ей в голову, пока она поворачивается. Затем она замирает, и мысль исчезает.

Женщина, стоящая перед ней, держит необычную свечу — один из тех безвкусных сувениров, что продаются на Хэллоуин. Восковая свеча сделана в форме отрубленной руки, и тот, кто ее выплавил, проделал изумительную работу: Смита могла бы поклясться, что рука настоящая, если бы не нелепость этой идеи. Кто бы стал так использовать человеческую руку? Из кончиков слегка изогнутых пальцев торчат фитили, и каждый горит зеленоватым пламенем. Цвет огня более прочего убеждает ее в том, что это какой-то розыгрыш, возможно, организованный кем-то с химического факультета. Свечи сами по себе так не горят, нужно специально постараться.

Женщина кажется смутно знакомой, возможно, Смита видела ее мимоходом в перерывах между

занятиями или еще где. Она не друг и не враг, а значит, это проблема, с которой нужно разобраться быстро и эффективно. Смита складывает руки на груди, переносит вес на одну ногу и смотрит женщине прямо в глаза.

— Что вы здесь делаете? — требовательно спрашивает Смита. — Посторонним вход запрещен.

Женщина молчит.

— Я позвоню охране. Они будут рады объяснить, почему вам нельзя здесь находиться.

Женщина молчит.

Что-то в ее ровном, безразличном взгляде заставляет волосы на затылке встать дыбом. Впервые Смита сожалеет, что не была более общительной, что здесь нет других студентов, которые могли бы ее поддержать.

— Вам нужно уйти, — говорит Смита. — Забирайте свой жуткий реквизит и уходите.

Женщина впервые отвечает.

— Это не жуткий реквизит, — говорит она. — Это настоящая Рука славы. Их трудно сделать, и ими неприятно пользоваться, но не стоит называть ее «реквизитом». Кто-то умер, чтобы этот предмет появился.

— Эрин? — выдыхает Смита. Узнавание нахлынуло, как только женщина заговорила, но вместе

с ним пришло ощущение предательства. Почему она сразу ее не узнала? Желание сделать шаг назад, подальше от Эрин и ее «руки славы», что бы это ни было, почти невыносимо. — О чем ты говоришь? Почему ты здесь? Мне жутко хочется, чтобы ты ушла.

— Чтобы сделать Руку славы, требуется рука убитого человека, — говорит женщина — говорит *Эрин*. — Многие люди *выглядят* так, будто их убили, но алхимия любит точность. Рука славы будет далеко не так хороша, если взять, например, жертву непредумышленного убийства. Умысел встраивается в плоть. Убийство-самоубийство также является осложняющим фактором. Тот, кто *хотел* умереть, создает неполноценный свет. Требуется истинная жертва намеренного, предумышленного убийства, и чем более жестокого, тем лучше. Оказывается, насилие также встраивается в плоть. Забавно, какие нужны гомеопатические ингредиенты, чтобы нарушить законы природы.

Губы Смиты непроизвольно кривятся в гримасе отвращения.

— Это ужасно. Зачем ты вообще такое говоришь?

— Я не просто говорю. Я сама убила этого че-

ловека. Он был гитаристом. Возможно, ты его помнишь. Обычно он сидел возле «Амеба Рекордс» и играл плохие акустические каверы на поп-песни. Я сказала, что приготовлю ему ужин, а потом разобрала его на части. Я не сильна в алхимии, но я *превосходная* убийца. — Эрин пристраивает горящую руку на край ближайшего стола. Пламя даже не вздрагивает. — Неважно, что я не так уж хороша в алхимии, потому что это один из самых простых рецептов. Ну, если ты готов совершить убийство и работать с остальными необходимыми ингредиентами. Некоторые начинают нервничать, если предложить им поиграться с топленым детским жиром. Я знаю, что ведутся исследования насчет возможности обновить рецепт, но пока они не увенчались успехом. К сожалению, некоторые вещи просто неизбежны.

Смита наконец-то поддается инстинкту и делает шаг назад. Эрин замолкает, качает головой и улыбается. Это печальная улыбка, как будто она не хочет здесь быть, не хочет все это говорить, не хочет делать то, зачем пришла. Смита обнаруживает, что ей все равно. Она с ужасом начинает понимать, что ее удивление и гнев превратились в страх.

Смита ужасно напугана. Предполагается, что Эрин — ее подруга, они же вместе ужинали на День благодарения, но Смита *ужасно напугана*.

— Зачем ты пришла? — спрашивает она. Ее голос — тонкая туго натянутая ниточка, которая вот-вот лопнет.

Выражение печали на лице Эрин становится еще отчетливее.

— Ты открыла чужую книгу и прочитала то, что в ней было написано, — говорит она. — Пожалуйста, поверь мне, если бы я могла, я бы не стала этого делать, и мне кажется, по меньшей мере один раз я смогла этого избежать. Вокруг этого момента чувствуются шрамы. Но они должны знать, кем являются друг для друга, чтобы я смогла когда-нибудь их помирить, а это значит, что твоя роль уже написана. Забавно. Они думают, что наконец-то все поняли, а на самом деле не понимают ничего.

Никто никогда не называл Смиту Мехту глупой. Она была лучшей ученицей в каждом классе, к которому соизволила присоединиться, — со времен начальной школы, где другие ученики высмеивали ее за все подряд: за акцент родителей, за то, как пахла ее еда, даже за то, как она заплетала волосы. Над ней издевались с детского

сада до выпуска из школы, но она ни разу никому не уступила первенство в академической успеваемости. Она знала, что она им еще покажет. Покажет им всем.

Но теперь она одна в своей лаборатории, и Эрин смотрит на нее с такой глубокой и непреходящей жалостью в глазах, и Смите страшно.

— Пожалуйста, уходи, — шепчет она. — Я ничего тебе не сделала.

— Я знаю. — Эрин делает шаг навстречу. — А хотелось бы. Типа, если бы ты толкнула меня в коридоре или наступила мне на ногу, я бы, может, чувствовала себя лучше. Я хотела бы, чтобы был другой путь. Но его нет. Книга, которую ты открыла, принадлежит людям, которые *очень* не любят делиться своими секретами. Бейкер и так уже рассказала слишком много. Поэтому сейчас мне нужно, чтобы ты ответила: где результаты теста ДНК Доджер Чезвич и Роджера Миддлтона? Сколько копий ты сделала? Кто видел твои исследования?

Смита не сводит с нее глаз. Эрин спокойно смотрит на нее в ответ: она не пытается ее обмануть. Она не делает никаких попыток скрыть свои намерения или спрятать лицо. И Смита понимает, что умрет.

Это простое осознание, спокойное, смиренное и до странного будничное. Она всегда думала, что осознание приближающейся смерти будет жестоким, раздирающим, рвущим на части, сеющим панику. Вместо этого понимание просто достигает центра ее сознания и там разливается, заполняя все пространство. Она, Смита Мехта, умрет — когда наступит утро, ее уже не будет. В зависимости от того, действительно ли бессмертна человеческая душа, возможно, Смита оставит после себя только свои исследования. Но она прожила совсем немного. Она не так много успела опубликовать.

— Зачем мне тебе отвечать? — спрашивает она. Ее голос не дрожит. Она этим гордится.

— Затем, что не я решила, что должно случиться, но зато я решаю, *как* это случится, — говорит Эрин. — Я очень хороша в том, что делаю. Я могу убить тебя быстро, а могу и нет — зависит от тебя. Я могу гоняться за тобой по зданию всю ночь напролет, могу устроить тебе личный фильм ужасов и прирезать, когда твоя рука уже коснется дверной ручки — в нескольких дюймах от свободы. Могу разобрать тебя на кусочки, отрезая по сантиметру. Или могу пронзить твое сердце так быстро и точно, что ты едва почувствуешь,

как прекратишь существовать. Выбор за тобой. Мудрый выбор — рассказать мне все, что мне нужно знать.

Телефон Смиты лежит всего в паре метров от нее, на папке, в которой хранится бóльшая часть ее исследований. Она старается сохранить видимость спокойствия, но все равно бросает на него взгляд.

Эрин замечает это и качает головой.

— Ты до сих пор не понимаешь, — говорит она. — Думаю, это нормально. Не то чтобы я выражалась полностью ясно. Так всегда бывает, когда я не хочу что-то делать. Я могу заказать гамбургер за восемь секунд, но буду целый час решать, готовить ли пюре из цветной капусты. Если тебе нужен телефон, ты можешь его взять.

Смита смотрит на нее с подозрением. Эрин кивает.

— Пожалуйста, — говорит она. — Я вижу, что ты не понимаешь ситуацию. Это поможет. Возьми свой телефон.

Какое-то неясное принуждение, не дававшее ей двигаться или защищаться, вдруг исчезает. Смита одним прыжком оказывается рядом с пластиковым прямоугольником, берет его со стола и чувствует, как ее охватывает облегчение.

Телефон — это безопасность. Это спасение. Это…

Это внезапное, сокрушительное осознание того, что у нее нет связи. Но этого не может быть. В ее лаборатории всегда есть связь; она шутила над химиками, которые работают двумя этажами ниже, говоря, что им следовало пойти в генетику, чтобы быть ближе к вышке сотовой связи. Именно сюда приходят другие студенты, когда хотят позвонить. И все же связи нет; на месте надежных маленьких черных полосок только серые прямоугольнички, и связаться с внешним миром нельзя.

— У Руки славы много разных применений. Забавно, но то, какое из них ты получишь, определяется тем, как Рука была сделана и в каком порядке ты зажигаешь свечи. Некоторые используют Руку, чтобы стать невидимыми или открывать любые преграды. Другие — чтобы запирать двери. Ты можешь разбить окно и кричать так громко, что сорвешь голос, но никто тебя не услышит. Ты призрак, Смита. Для мира за пределами этой комнаты ты уже все равно что мертва.

Эрин делает движение рукой, и в ней оказывается нож — длинный острый матово-черный; нож, у которого в этом мире только одно предна-

значение — убивать.

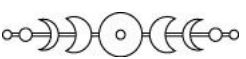
Смита смотрит на нож и не может вдохнуть. Воздух застревает в гортани, легкие превращаются в тяжелые холодные гири. Это ее конец, прямо перед ней, и свет постепенно меркнет.

— Итак, пора начинать решать, как ты умрешь, — говорит Эрин. — Где исследования?

Еще есть шанс. У Эрин — которая должна быть ее *подругой*, а не орудием ее уничтожения — есть нож, но это лаборатория Смиты, и на кону жизнь Смиты. Телефон, может, и умер, но она — нет. Пока еще нет. Поэтому она что есть силы швыряет телефон в Эрин и, не глядя, достиг ли он цели, разворачивается и со всех ног мчится к двери, подгоняемая ужасом и адреналином.

Телефон отскакивает от плеча Эрин, не причинив ей никакого вреда, и падает на пол. Она вздыхает, глядя вслед убегающей Смите.

— Я надеялась, что это будет проще, — говорит она. Оставив нож в ведущей руке, она подхватывает Руку славы и пускается вдогонку.



Смита никогда не любила фильмы ужасов. Они всегда казались ей напрасной тратой и времени,

и страха: в конце концов монстр будет повержен, выжившие уйдут в рассвет, и к катарсису приведет только уверенность в неизбежности сиквела. Но здесь и сейчас она жалеет, что не обращала больше внимания на этот бесконечный поток героинь-девственниц и резиновых монстров. Фильмы ужасов не заменят опыта, но, по крайней мере, она бы знала, где может быть безопасно.

Лифт в конце коридора — заманчивая ловушка. Если забежать в него, шансов выбраться уже не останется: Эрин нужно будет просто спуститься на следующий этаж и ждать. Лестница безопаснее; лестница позволяет видеть, что впереди. Поэтому, не сбавляя скорости, она врезается в дверь на лестничную площадку, распахнув ее силой удара, и спотыкается на первой ступеньке. Едва не упав, она успевает ухватиться за перила и начинает спускаться, стараясь бежать как можно быстрее.

Уже достаточно поздно, поэтому этажом ниже пусто, но студенты-химики всегда здесь: если б могли, студенты-химики *жили* бы в дополнительном корпусе. У них в лаборатории есть душ, что почти компенсирует отсутствие сотовой связи, и они эксперты в том, как приготовить горячую еду в стерильной посуде и не отравиться. (На самом

деле они держат отдельный набор мензурок и посуды для кулинарных целей и регулярно едят из них, поражая посетителей). Наверняка там найдется хотя бы кто-то, кто сможет ей помочь.

Она бежит и слышит шаги за спиной. Ее преследовательница не торопится: ей это не нужно.

В столь поздний час дверь на лестничную клетку всегда открыта. Смита выбегает в коридор, точно такой же, как тот, что она только что покинула, и продолжает бежать. Впереди дверь лаборатории. Она открыта, и Смита слышит, что изнутри доносятся голоса. Она ускоряется еще сильнее, хотя могла бы поклясться, что это невозможно, мчится по коридору и, ухватившись за косяк, останавливается на пороге, дрожа и задыхаясь, пытаясь перевести дыхание и вспомнить, как составлять слова.

Внутри три студента-химика. Двое едят пиццу из коробки, третий делает «маргариту» в одном из лабораторных блендеров. Они не оборачиваются посмотреть, кто стоит у двери.

Смита втягивает в себя огромный глоток воздуха и хрипит:

— Пожалуйста, помогите.

Все продолжают заниматься тем, чем занимались, никто не оборачивается. Пожиратели

пиццы продолжают есть, один смеется, когда другой, дурачась, растягивает плавленый сыр ниточкой от коробки до самого рта. Тот, кто делает «маргариту», говорит остальным что-то неразборчивое, продолжая смешивать ингредиенты.

– *Пожалуйста!* — на этот раз Смита кричит; ее крик эхом отдается в стенах лаборатории, его нельзя не заметить, его невозможно не услышать.

И никто не оборачивается.

Рука ложится ей на плечо и сжимает его, пока Смита не чувствует, как ключица сгибается под давлением. Как и студенты-химики, с которых она все еще не сводит беспомощный и безнадежный взгляд, Смита не оборачивается.

Губы Эрин касаются ее уха, и она говорит таким тоном, каким ведут дружескую беседу:

— Я тебя предупреждала. Я говорила, что ты уже стала призраком. Если бы ты осталась наверху, ты бы так и не поняла, насколько я была права. Теперь тебе предстоит сделать выбор.

— Пожалуйста, отпусти меня, — шепчет Смита.

— Уже слишком поздно. Слишком-слишком поздно. Но если я убью тебя здесь, они увидят кровь. Я не могу стерилизовать всю их лабораторию, пока они не ушли, даже под защитой Руки

славы. Если я убью тебя здесь, мне придется убить и их. Ты этого хочешь?

«Да», — яростно думает Смита, глядя на студентов-химиков, которые смеются, кидаясь друг в друга кусочками пиццы, не подозревая, что всего в нескольких метрах от них нарушаются законы науки. То, что происходит, невозможно. Но она чувствует, как пальцы Эрин сжимают ее плечо, и понимает, что никакое отрицание не изменит реальности ее положения. Она умрет здесь. Все, что ей остается, — это вспомнить, как умереть достойно.

Умереть достойно — значит не обрекать на смерть трех невинных свидетелей только потому, что она не может смириться с мыслью, что они продолжат идти вперед после того, как ее движение остановится.

— Пожалуйста, не причиняй им вреда, — говорит она.

— Хорошая девочка, — говорит Эрин. — Давай вернемся в твою лабораторию. Теперь мы можем воспользоваться лифтом. Ты, наверное, устала.

Смита не протестует, не спорит; она уже попробовала убежать, и это только привело ее к комнате, полной людей, которые не слышали, когда она молила о помощи. Она еще не сломлена,

но трещины уже появились, и, когда Эрин уводит ее от дверного проема, она не сопротивляется и позволяет отвести себя к лифту. По какой-то причине кажется совершенно разумным, что эта женщина снова несет горящую руку. Именно этот предмет изолирует их от мира, она это знает, но еще она знает, что не успеет выбить руку до того, как в дело вступит нож.

Чтобы вызвать лифт, приходится нажать кнопку. Колдовство, которое стерло их с глаз всего мира, действует избирательно. В этом факте должен скрываться путь к отступлению. Но Смита не может его разглядеть. Она устала и боится, а ее легкие горят. Выхода уже нет.

Эрин заводит ее в лифт и нажимает кнопку последнего этажа. Двери закрываются. Кабина приходит в движение.

— Мне правда очень жаль, что так получилось, — говорит Эрин, когда становится ясно, что Смита не собирается нарушать молчание. — Ты мне очень нравишься. Ты хороший человек. Если бы у меня был другой вариант, я бы выбрала его.

— Не убивай меня.

— Боюсь, на этот раз это не обсуждается. Все закончится именно так. Остается только вопрос, насколько это будет больно. — Голос Эрин на-

пряжен. Смита смотрит в ее сторону. Похоже, что Эрин больно, что она на самом деле не хочет этого делать. — Пожалуйста, не заставляй меня причинять тебе больше боли, чем необходимо. Просто скажи мне то, что мне нужно знать, и я сделаю все как можно более безболезненно.

— Это из-за Роджера и Доджер?

Легкий кивок, двери лифта открываются, и Эрин подталкивает Смиту в холл.

— Я понимаю, почему ты согласилась, когда они пришли к тебе и попросили помочь. Кто бы не захотел помочь другу? Вдобавок Роджер может быть очень убедительным, когда хочет. Он пока сам не понимает насколько. Он еще не до конца созрел в этой временной линии. Я помню только отрывки из тех, где он созрел до конца, — обычно потому, что он приказывал мне запомнить что-то до того, как нажимал на большую рыжую кнопку, — но это просто «вау». Я *никого* не могу винить в том, что они делают то, о чем он просит. У тебя не было ни единого шанса с тех самых пор, как он вбил себе в голову эту идею.

— Меня попросила Доджер, — безнадежно говорит Смита. Она сама не знает, зачем пытается возражать Эрин, этой невозможной женщине, которая каким-то образом отрезала ее от мира и

вытаскивает ножи из ниоткуда. — Она сказала, что им нужно знать, являются ли они биологическими родственниками, прежде чем они попробуют добиться рассекречивания документов об усыновлении. Я просто пыталась… Я просто пыталась помочь подруге. Вот и все.

Эрин сочувственно смотрит на Смиту и почти нежно ведет ее обратно в лабораторию. Эрин выглядит грустной. Она выглядит так, будто не хочет этого делать, и это ранит больнее всего: Смита умрет, и это ничего не будет *значить*. Ее жизнь оборвется, а человек, который ее убьет, сделает это не из страсти, не из гнева, не из-за чего-то другого — только со смутным, необъяснимым сожалением.

— Многие из нас пытаются помочь своим друзьям, — говорит она. — Некоторые пытаются изменить мир. Так где записи?

Смита молча указывает на компьютер и на блокноты.

Эрин кивает.

— Ты публиковала результаты где-нибудь в интернете? Есть ли резервные копии за пределами этой лаборатории?

— Нет, — говорит Смита и добавляет без особой надежды: — Пожалуйста.

— Сама все отлично понимаешь, — говорит Эрин.

Она кладет Руку славы на ближайший стол, с силой хватает Смиту за плечо свободной рукой и разворачивает ее спиной к себе. Боль от этого неожиданного захвата настолько сильна, что это застигает Смиту врасплох, и она вскрикивает.

Затем Эрин отпускает Смиту и отступает назад; обе ее руки пусты — нож исчез. Смита смотрит вниз и находит его: Эрин просунула нож ей между ребер с ловкостью фокусника, так аккуратно, что какое-то мгновение он выглядит не столько как орудие убийства, сколько как какой-то странный аксессуар. Рукоять прижата к коже. Крови нет.

Она достаточно знает анатомию, чтобы понять, что это ненадолго. Печати сломаны. Кровь вытекает. Она не умрет — она уже мертва. Ненормально то, что она до сих пор на ногах.

— Спасибо, — говорит Эрин и тянется за ножом.

Смита думает (слишком поздно) сделать шаг назад, убежать; может быть, она больше не призрак, теперь, когда в нее вонзили нож, теперь, когда печать сломана. Она может позвать на помощь, и помощь может прийти. Может прийти избавление — в лице студентов двумя этажами

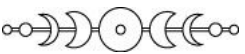
ниже или охраны кампуса, какой бы бесполезной и неуклюжей она обычно ни была. Она может спастись. Но она не успевает додумать мысль до конца, как пальцы Эрин уже нащупывают рукоять, нож выскальзывает, и вслед за ним льется кровь, красная, горячая, и ее очень-очень много. Смита знает, сколько крови содержится в человеческом теле, каков ее объем и назначение, но она никогда ее не *видела*. Не видела такой: льющейся ярким, драгоценным, невозвратимым потоком.

Лезвие пронзило ей легкое. Когда она пытается заговорить, не раздается ни звука, только тихий свист ветра, далекий, почти насмешливый. Она все равно шевелит губами, беззвучно проклиная Эрин, вероломную подругу, тварь, которая забрала все. Она проклинает Роджера и Доджер. Кем бы они ни были, что бы они ни знали или не знали о себе, это их вина. Пусть их настигнет кара. Затем она падает.

Последняя мысль Смиты — о матери, которая так гордилась тем, что ее дочка поступила в аспирантуру, что стала ученой, что спасает жизни. «Моя Смита будет спасать жизни», — так она всегда говорила, выпячивая грудь и улыбаясь, и Смита больше никогда не увидит, как мама улыбается; Смита больше никогда не увидит, как

мама делает что угодно. Со Смитой покончено. Смиты больше нет.

Ее глаза закрываются по собственной воле, кровь растекается по полу, и ее роль в этой истории заканчивается.



Эрин ждет, пока Смита перестанет дышать, потом вздыхает, выпрямляется и берет Руку славы. Такие задания — самые худшие. Ей бы сидеть дома, смотреть телевизор и игнорировать домашку, за которую она все равно не получит оценки. (Она студентка богословского факультета, потому что на факультете богословия есть люди, преданные делу, люди, которые боятся Рида так же сильно, как боготворят его. Она может прийти на занятия голой и петь песни группы Queen, и они используют ее как пример современного дионисийского поведения. Ее предполагаемая карьера аспирантки — лишь прикрытие для жизни, которую ей не разрешают вести открыто.) Вместо этого она здесь, в этом стерильном, ярко освещенном месте, смотрит, как по кафельному полу, словно благословение, растекается кровь женщины — кровь ее *подруги.*

— Мне правда очень жаль, — говорит она.

Смита не отвечает.

Компьютер, на котором хранятся результаты тестов (имен там нет, но цифровые коды достаточно легко расшифровать, если знать, что искать, а Эрин знает, что ищет), разблокирован и с механической радостью предоставляет ей запрашиваемые данные, ничего не скрывая. Компьютеры любят порядок. Они хотят ей угодить. Эрин просматривает электронную почту Смиты, чтобы проверить, не солгала ли она. Это кажется маловероятным; страх и надежда не любят друг друга, и, когда они встречаются, такие легкомысленные вещи, как ложь, обычно исчезают. Тем не менее она была создана для усердия, так что усердной и будет.

Рука еще горит. Никто не тревожит Эрин, пока она рассматривает осколки жизни мертвой девушки, и когда она заканчивает, то чувствует, что может с уверенностью сказать, что Смита держала тайну антигенов в крови Роджера и Доджер при себе: это была игрушка, которой она не была готова делиться. С тестами помогали другие студенты, и в ближайшие несколько недель с ними тоже что-нибудь случится: откажут тормоза, замкнет неисправную электропроводку в

комнатах общежития — все, что потребуется для выполнения задачи, — но они не в приоритете. У них недостаточно информации, чтобы нанести хоть какой-то ущерб.

Шрамы вокруг этого момента менее глубокие, чем были до смерти Смиты. Скорее всего, здесь она требовала перезагрузки больше одного раза, но не сильно больше: два, может быть, три. Альтернативы мерцают, будто огоньки от свечки. Но они не привели к хорошей концовке, иначе она бы не была сейчас здесь. В этом и заключается проблема игры в «Выбери себе приключение» с реальностью: когда они возвращаются к началу книги, никто из них не помнит, что они уже прочитали. Роджер и Доджер еще не знают, кем она является для них, а они для нее. Они даже не знают, кто такой Даррен.

Ее пальцы спотыкаются на клавиатуре, буквы вдруг расплываются. Она смаргивает слезы, пытаясь сохранить самообладание. Ей не следует о нем думать. Все просто. Даррен остался в прошлом, и, пока они не найдут четкий путь через этот лабиринт, они не смогут за ним вернуться. Каждый пересмотр исправляет какую-то предыдущую ошибку, как когда Доджер отматывает назад свои вычисления, чтобы исправить невер-

ные числа, но исправление предыдущих ошибок создает возможности для новых.

Все было бы намного проще, если бы эта парочка смогла достичь точки полного проявления и способности *помнить*. Эрин отстраняется от компьютера. Удаление данных оставит дыру. Все, что уничтожается, оставляет дыру. Единственный способ это обойти — создать что-то взамен.

Дождь снаружи прекратился. Рука славы помогает ей завершить последние кровавые дела и выводит из здания, обратно в мир. Рука славы не дает никому заметить, как Эрин зажигает спичку. Огонь не спешит разгораться, сопротивляясь насквозь промокшему дереву и обработанному непогодой камню, но из этой ситуации есть выход. Если захотеть достаточно сильно, выход есть всегда, поэтому в конце концов пламя вздымается вверх, словно феникс.

Рука славы скрывает ее, когда она стоит на безопасном расстоянии и наблюдает, как горит здание. Студенты-химики не успевают выбраться. Она сожалеет об этом.

К тому времени, когда появляется кампусная охрана и раздаются сирены пожарных машин, спасать уже нечего.

Вина

Лента времени: 06:02 PST, 9 декабря 2008 года (следующий день)

Кто-то барабанит в дверь, вырывая Роджера из крепкого сна. Ему снилось, что он сидит с родителями за кухонным столом и пытается объяснить им, что у него есть сестра и что, хотя ей необязательно быть частью их семьи, она всегда была частью *его* семьи. И вообще, всю ночь во снах его преследовала Доджер, звала его, пыталась привлечь его внимание, но у него каждый раз находилось что-то более важное.

Стук в дверь не прекращается. Роджер скатывается с кровати, протирает глаза и кричит:

— Да хватит уже!

Но стук не прекращается. Если на то пошло, в дверь забарабанили с удвоенной силой, как будто кто-то, кому он нужен, воодушевился доказательством того, что он дома.

— Я сейчас кого-нибудь убью, на хрен, — ласково произносит он, подбирая с пола брошенные накануне джинсы. Он не утруждает себя поисками рубашки. Кто бы это ни был, он переживет

вид его голой груди, а если для чьих-то нежных чувств это слишком, тем хуже для них. Он не собирался вставать раньше девяти. И уж точно не планировал такой дерьмовый подъем.

Затем он открывает дверь, а там Доджер, она тоже одета во вчерашнее, волосы всклокочены, будто она не удосужилась даже просто пробежаться по ним расческой. Она пытается что-то сказать сквозь рыдания, но вместо слов выходит какая-то смесь звуков и боли, и она бросается ему на грудь, одновременно закрывая глаза. Когда она начинает говорить, ее слова отзываются эхом и внутри, и снаружи его черепа, как будто к реальному миру применили эффект реверберации.

— Она *мертва* прошлой ночью там был пожар и теперь она *мертва* дополнительный корпус естественных наук сгорел *полностью* и она *мертва* и они позвонили сказать что занятия отменили потому что их негде проводить и она *мертва* и это наша вина? Это из-за нас?

Нельзя сказать, что она прерывается, чтобы вдохнуть — скорее, просто втянуть в себя воздух, наполняя легкие, которые, должно быть, сдулись, будто воздушные шарики. Отстранившись, Доджер открывает глаза, и на этот раз, когда она начинает говорить, голос звучит только снару-

жи, так что на мгновение он кажется голосом незнакомки.

— Роджер, Смита мертва, и еще шесть человек. Она стала изучать нашу ненормальную ДНК по нашей просьбе. Она начала разбираться, кто мы такие, по нашей просьбе. Это наша вина?

К Роджеру одновременно приходит две мысли: первая — она не шутит; широко распахнутые от ужаса глаза полны слез. Вторая — они стоят на пороге его квартиры, дверь открыта, и содержание их разговора доступно всем и каждому. Было бы замечательно, если бы их квантовая запутанность позволяла общаться невербально, но этого не случалось раньше, а сейчас не время и не место для проб.

Суть ее слов доходит до него в третью очередь, и то с трудом, словно разум сопротивляется, не желая воспринимать ее слова. Он вовсе отверг бы их, если бы мог, но Роджер отказывает ему в этом праве, и тогда разум отвечает, беспощадно выталкивая сказанное на передний план сознания, и теперь он вынужден сам разбираться с этой информацией.

Роджер протирает глаза.

— Давай, Додж, — говорит он. — Пойдем внутрь. Посмотрим, не осталось ли в кофейнике чего-ни-

будь со вчерашнего вечера.

Ее любовь к несвежему кофе граничит с сюром. Он видел, как она пьет кофе, который простоял шесть дней и уже в прямом смысле стал животворящим. Если чем-то и можно ее соблазнить, то только этим.

Но уловка не работает.

— Смита *мертва*, — повторяет она, повышая голос. — Что нам *делать*?

На соседних окнах колышутся занавески. Может, это просто игра света или мнительность разума, который чувствует себя виноватым, хотя не должен, а может, это просыпаются соседи, и вот-вот случится скандал. Роджер морщится, приобнимает Доджер за плечи и наполовину увлекает, наполовину заталкивает ее в квартиру.

— Давай выпьем кофе, и ты дождешься, пока я проснусь, а затем попробуешь рассказать все заново, медленнее и подробнее, чтобы я тебя понял.

Доджер не сопротивляется. Похоже, так ей даже легче, потому что это значит, что ответственность за дальнейшие действия взял на себя кто-то другой. Ее трясет такой мелкой и всеохватной дрожью, что сперва он этого даже не замечает.

Дрожит каждая клеточка ее тела. Кажется, будто землетрясение приняло форму девушки, так что, когда за ними захлопывается входная дверь, он задается вопросом: что, если ее сердце сейчас окончательно разойдется по линиям разломов?

Коридор тянется от входной двери до спальни, минуя двери в ванную, кухню и небольшую гостиную. Он ведет ее на кухню (их шаги скрадывает потертый коричневый ковер) и усаживает за раскладной карточный столик, который служит ему и столовой, и кабинетом. (На нем же он играет в покер с другими аспирантами филологического факультета. Никто из них не умеет играть как следует, и порой ему хочется привести Доджер, просто чтобы увидеть выражения их лиц, когда она их обчистит.)

Доджер все еще дрожит. Ему хочется обнять ее и сказать, что все будет хорошо, но он не хочет ее обманывать. Он знает, что она ему поверит, и поэтому не может так поступить. Вместо этого он наполняет две чашки вчерашним кофе и разогревает их в микроволновке. В его чашке нет молока, только две ложки сахара; в чашке Доджер — молоко и шесть ложек сахара. Девочка-колибри, порхающая за счет кофеина и энергии, взятой взаймы. Он уже видел, что происходит, когда эта

энергия заканчивается. Он надеется, что никогда больше этого не увидит.

— Вот, держи. — Он ставит перед ней кружку.

Доджер берет ее, обхватывает ладонями, но не пьет. Кажется, ей достаточно просто чувствовать, как тепло через керамику просачивается в ее кожу. Не отрывая глаз от жидкости, Доджер говорит:

— Мне позвонили. Я репетирую бакалавров в дополнительном корпусе естественных наук. Репетировала. Я репетировала бакалавров в дополнительном корпусе естественных наук. Теперь уже нет, занятия отменили. Корпус сгорел вчера ночью, через какое-то время после того, как прекратился дождь. Из-за… Они думают, что пожар возник из-за неисправности проводки. А потом добрался до химических лабораторий, и всевозможных катализаторов, которые там хранились, хватило, чтобы победить непогоду. Этих лабораторий там вообще не должно было быть. Они временно туда переехали, потому что в их собственном корпусе реконструировали водопровод. Нелепая случайность. Все будут говорить, что это была нелепая случайность. Может быть, и так. Не знаю. Может быть, и так. Но… Но…

— Но что? — мягко спрашивает Роджер. Он уже

знает ответ (она достаточно ясно выразилась еще на пороге его дома, хотя и не вдаваясь в детали), но он не готов его принять. Пока не готов. Может быть, если задать вопрос правильно, он получит другой ответ.

— Но Смита была у себя в лаборатории, — шепчет Доджер, и его надежды рушатся. — Они нашли… Они нашли ее тело, когда искали выживших.

Кое-что приходит ему в голову.

— Откуда ты все это знаешь?

— Мне позвонили из деканата и сообщили, что мои репетиторства отменены. Думаю, они обзванивали всех, у кого сегодня должны были быть занятия в том корпусе, чтобы уберечь нас от зрелища дымящихся руин. — Она смотрит на Роджера. В глазах у нее стоят слезы. Все еще или снова — не имеет значения. — Эрин уже была на ногах. Она сказала, что, когда приехала полиция, она была на улице и слышала их разговоры. Она не стала меня будить, когда вернулась домой, потому что понимала, что я все равно узнаю. Ей не хотелось быть первой, кто мне все это расскажет.

Роджер думает про себя, что Эрин сделала правильный выбор. Он бы тоже не хотел быть

человеком, из-за которого лицо Доджер примет такое выражение, и по прошлому опыту он знает, что он единственный, кого она всегда сможет простить. Он может уничтожить весь мир, а она все равно будет его любить, даже посреди обломков. Вот что значит квантовая запутанность. Вот что значит семья.

— Вероятно, Смита лишилась сознания из-за отравления дымом, не успев добраться до лестницы, — продолжает Доджер. — Она боролась до самого конца. Она умерла прежде, чем до нее добрался огонь. Думаю, это хорошо. Сгореть заживо — ужасная смерть.

Доджер говорит так убежденно, что на минуту Роджер практически готов поверить, что она знает, каково это, по собственному опыту.

(За этой мыслью следует другая: он практически готов поверить, что *он* знает, каково это, по собственному опыту. Он помнит (хотя, конечно же, это не воспоминания; лучше сказать, что он *представляет*), как пламя настигает их в каком-то подземном коридоре, вдоль которого, будто выколотые глаза, тянутся разбитые окна. Глаза, никогда не видевшие реальности. Он представляет, что помнит, как обнимал ее, а пламя все приближалось, и путей к отступлению не оста-

лось; представляет, что помнит ее смех, тонкий, хрупкий и горький, когда она сказала: «Что ж, по крайней мере, на этот раз не пули». А затем — огонь и его последняя просьба дать еще один шанс, прежде чем адское пламя поглотило их обоих.)

Роджера передергивает. Порой живое воображение — скорее проклятие, чем благословение.

— Господи, Додж, это ужасно. Она была замечательным человеком. Надеюсь, они как-то помогут ее семье.

— Но что, если это наша вина? — Иногда Доджер — все равно что собака, вцепившаяся в кость. Хорошее качество для математика, но не самое удобное в сестре, особенно в сестре, которая смотрит на тебя глазами, полными недоумения и вины. — Она исследовала нашу ДНК. Что, если… что, если нас разделили, потому что с нами что-то *не так*, и они думали, что лучше держать нас как можно дальше друг от друга, в противоположных концах страны, как хлорку и аммиак? Мы ненормальные. И никогда не были нормальными. Что, если Смита умерла, потому что слишком близко подошла к тому, чтобы понять, что именно с нами не так?

От «она исследовала нашу ДНК» до «ее убили,

чтобы сохранить наш секрет» огромный скачок; Роджер уже открывает рот, чтобы сказать Доджер, чтобы та прекратила сочинять ерунду, но медлит. На этот раз слова его подводят. Да, это явный скачок, и да, на первый взгляд все это чепуха, но что вообще можно назвать *настоящей* чепухой, когда отправная точка — «мы близнецы, которые ничего друг про друга не знали и нашли друг друга на противоположных концах континента через квантовую запутанность, которая слегка полезнее телефона, но не так хороша, как телепатия»? Любой факт о них кажется чепухой. И так было всегда. Что в общей куче изменит еще одна песчинка?

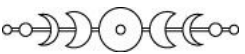
Запинаясь, он говорит:

— Я не знаю, связано это с нами или нет. Это могло быть нелепой случайностью. Самому противно так говорить, но в каждом пожаре в кампусе оказываются замешаны ребята-химики. Их лаборатории были двумя этажами ниже лаборатории Смиты. Они могли опрокинуть что-нибудь в неподходящий момент, а когда проводка заискрилась… Не знаю. Я хотел бы сказать, что ты ошибаешься и что все это никак не может быть с нами связано, но не могу. Я просто… Просто не знаю.

Доджер долго смотрит на него. Потом, вытерев слезы тыльной стороной ладони, ставит кружку на стол и встает.

— Мы должны это выяснить, — говорит она, и это звучит так просто и так невероятно сложно, что спорить бессмысленно.

— Подожди, пока я оденусь, — говорит он.



Дополнительный корпус естественных наук оцепила охрана кампуса. Сигнальная лента, оранжевая, как фонари из тыквы на Хэллоуин, перекрывает все дорожки, ее концы трепещут на ветру. В воздухе пахнет гарью и антипиренами, налицо все признаки ужасного пожара. Кажется, даже небо покрыто пеплом, хотя, может, это просто шалит погода — снова собирается дождь.

Студенты выстроились вдоль ленты, они перешептываются, прикрывают глаза руками и прищуриваются, стараясь высмотреть в руинах все жуткие подробности, все сокрытые крупицы информации. Некоторые рыдают, уткнувшись лицами в плечи друзей. В огне погибли по меньшей мере шестеро — может, и больше, в зависимости от того, всех ли нашли пожарные, в зависимости

от того, не уснул ли кто-нибудь в пустой аудитории или зашел в здание в поисках уединенного места, чтобы позаниматься в тишине, — и у каждого были друзья, семья, целый собственный мир. Теперь этим мирам пришел конец. Миру вновь и вновь приходит конец, каждый день, каждую минуту, и ничто это не остановит. Ничто никогда-никогда не сможет это остановить.

Доджер одолжила у Роджера одну из его худи — свободная серая толстовка сидит на ней практически идеально: плечи у нее у́же, зато грудь больше. Закрыв волосы капюшоном и засунув руки в карманы, она проходит сквозь толпу, словно призрак, а Роджер движется прямо за ней, след в след, позволяя ей прокладывать путь. Это ее часть кампуса, не его; здесь она знает, где можно срезать путь, знает, где что находится.

Но повсюду люди. Неясно, как их обойти.

— Нам нужно пробраться ближе или уйти, — с раздражением говорит Роджер. — Варианта два. Додж? Можешь провести нас поближе?

Она останавливается и склоняет голову к плечу, будто мысленно выполняет сложный комплекс расчетов. Затем коротко кивает, отвечает: «Да» — и, развернувшись, быстрым шагом ведет их прочь от здания. Роджер едва за ней поспева-

ет. Она не оглядывается, не замедляется: просто идет вперед.

Просто идет вперед.

Она идет легкой походкой, осматривая все вокруг, оценивая, прикидывая, выискивая лучший вектор движения. Большинство людей никогда не увидит мир таким, каким его видит Доджер Чезвич, и слава богу: большинство людей это свело бы с ума. Из-за проблем с восприятием глубины ей трудно оценивать расстояния, сложно точно понять, где кончается один предмет и начинается другой, но стоит ей где-нибудь побывать, один раз узнать размеры — и она уже никогда их не забывает. Числа, углы, формулы — это константы, звезды, по которым она ориентируется, евангелия, которые она хранит у самого сердца. Она не бежит. Ей не нужно бежать. Математика вселяет спокойствие и уверенность, с ней можно быть стремительной, но неторопливой. Никакой спешки.

Роджер дал ей задачу, связанную с географией, которая просто иная форма геометрии, и она ее решит. Даже если наступит конец света, она ее решит. Она ведет их по тропинке, которой в основном пользуются студенты, вышедшие на пробежку, или обслуживающий персонал;

когда тропинка заканчивается, Доджер огибает сарай и входит в рощу. Здесь, среди деревьев, нет оградительной ленты, говорящей студентам, что проход к сгоревшему зданию запрещен. Это было бы глупо.

Глубоко в роще есть старая тропа, которую Роджер видит в первый раз, и он сомневается, что *сама* Доджер видела ее раньше, потому что она не склонна бродить по таким местам. Тропа выводит их в узкий проулок, почти полностью перегороженный бетонным вазоном, призванным отучить студентов портить кирпичные бортики клумб своими скейтбордами. Протиснувшись мимо вазона, они оказываются между основным зданием естественных наук и дымящимися руинами дополнительного корпуса. Огонь не перекинулся через проулок — возможно, из-за погоды, а возможно, потому что бедствия порой заканчиваются раньше, чем успевают разрушить все. Главное здание слегка закоптилось, но в остальном оно нетронуто и стоит крепко и нерушимо. Скорее всего, в течение недели его откроют, и студенты будут украдкой посматривать в окна на разрушения по соседству. И это тоже нормально.

Проулок заканчивается дверным проемом.

Дерево обгорело и покоробилось, дверная рама прогнулась. Три невысокие каменные ступени, ведущие к двери, совершенно целы и готовы к работе, разве что покрыты копотью. Стекло в центре двери расплавилось и вытекло из рамы, словно вязкий тягучий мед. В стене зияют сквозные дыры, так что сквозь скелет здания проглядывают куски взорванной каменной кладки и теплоизоляции. Это мало походит на последствия пожара и гораздо больше — на последствия войны. Здесь нет ограждения, нет охраны, нет глазеющих студентов. Они одни.

Доджер замирает, затем поворачивается к Роджеру — странное сосредоточенное выражение постепенно исчезает из ее глаз — и выжидающе смотрит на него в полном молчании.

— Отличная работа, — ошеломленно говорит Роджер. — Ты в порядке?

Она трясет головой, как собака отряхивается от воды, и странное выражение окончательно исчезает с ее лица, уступая место прежнему, тревожно-неуверенному.

— Я в норме. Просто переживаю. Эта дверь обычно не заперта.

Роджер кивает. Затем, помедлив, спрашивает:

— Ты уверена, что нам стоит сюда заходить?

Здесь только что был пожар. Несущие конструкции могут быть неустойчивы.

— Тогда мы не будем пробовать подняться в лабораторию, — говорит Доджер, снова превращаясь в собаку с костью. — Архитектура — сплошная теория хаоса из гипсокартона и досок. Я смогу обнаружить слабые места.

— Математика — это не суперсила.

— Это *ты* так думаешь, — парирует Доджер и улыбается впервые с начала этого дня.

Эта улыбка — лучшее, что Роджер видел в своей жизни. Она означает, что, как бы Доджер ни была расстроена, она не сломлена: ей просто нужно время, чтобы прийти в себя. Ей нужно так много времени, чтобы подпустить к себе человека ближе, чем на расстояние вечно вытянутой руки, что неудивительно, что она так потрясена. Он улыбается в ответ и тянется к дверной ручке.

Язычок заклинило, или, возможно, он просто расплавился внутри. Ручка отказывается поворачиваться.

— Роджер?..

— Ее точно просто заклинило.

Отпустив ручку, он натягивает на ладонь рукав толстовки и плотно обматывает пальцы. На этот раз он сжимает дверную ручку изо всех сил, мо-

лясь, чтобы она поддалась; на этот раз он силится повернуть ее до тех пор, пока ручка не поддается; дверь открывается, и он тянет ее наружу, прочь от перекошенной рамы.

По ту сторону двери вода и пена из огнетушителей образовали на закопченном полу лужи и пятна, создавая подобие болотистой равнины с беспорядочно разбросанными опасными местами. Стены (вернее, то, что от них осталось: от большей части перегородок нет и следа, их смели огонь или пожарные) испещрены дырами. Здание выглядит больным, все в раковых опухолях, будто ему тысяча лет.

Дыра в полу ведет в подвал. Болт, на котором был подвешен птеродактиль, на месте, но ископаемый зверь исчез — упал вниз или сгорел в огне. Доджер останавливается и смотрит на то место, где он висел, с выражением детской серьезности на лице. То, что существовало миллионы лет, исчезло; то, что должно было пережить их обоих, кануло в небытие. Почему-то именно это кажется худшим событием этого ужасного, изнурительного дня.

Она отворачивается и смотрит на Роджера.

— Нам нужно искать ответы.

Они стоят в выгоревшем здании; если их здесь

застанут — могут арестовать или, еще хуже, исключить из университета. Они не специалисты по поджогам, да и вообще не следователи. Ни у одного из них нет достаточных знаний, чтобы здесь находиться. Ни у одного из них нет ни малейшего представления о том, что они делают.

Но Доджер необходимо побывать здесь, чтобы убедиться, что в смерти Смиты нет их вины. Ей нужно осмотреть здание и попытаться восстановить причину произошедшего, и, если ей это нужно, Роджер ей уступит. Это нетрудно. Это все, что он может сделать.

— Температура горения дерева…

— Четыреста пятьдесят один градус по Фаренгейту, — без запинки отвечает Доджер.

Роджер кивает.

— У нас есть точка отсчета.

— Абсолютный нуль, — говорит она.

— Именно.

Они идут по первому этажу, словно канатоходцы, осторожно делая шаг за шагом, пытаясь обнаружить слабые места, ожидая, что пол вот-вот провалится. Время от времени один из них что-то произносит: слово, число. Другой отвечает: числом, словом, — завершая уравнение, которое они создают вдвоем, шаг за шагом описывая

окружающий мир. Через некоторое время они перестают смотреть друг на друга — им это не нужно.

— Потолочные плитки.

— Девяносто пять уничтожены, сто шестнадцать повреждены, восемнадцать — целые. Восемьдесят четыре.

— Поврежденные стулья в этой аудитории.

— Пятьдесят три уничтожены, семнадцать повреждены, но можно починить.

Такого раньше никогда не было. Они всегда держали друг друга на небольшом расстоянии, разделенные нежеланием открыться полностью. Когда они были детьми, Роджер не до конца верил, что Доджер действительно существует. Когда они были подростками, она еще не до конца его простила. Случай снова свел их во взрослом возрасте (хотя в их истории *нет* места случаю и никогда не было — все подчинено замысловатому плану), но они все равно сдерживали себя, боясь открыться, боясь попросить слишком много. Сейчас они не сдерживаются.

— Фунты обрушенной кладки.

— В этой комнате семьсот три.

— Пыль.

— Двенадцать тысяч частиц к миллиону.

Они продолжают, еще и еще, вопросы-ответы становятся все более лаконичными, воздух вокруг нагревается и тяжелеет, будто скоро начнется гроза, будто вот-вот разгорится еще один пожар, пожар, которому не нужен огонь, а только постоянное трение двух половинок одного целого, которое никогда, ни разу за прожитые ими годы так и не сложилось.

(В квартире за пределами кампуса девушка, которая помнит о лаборатории, о которой им позволили забыть, девушка, у которой на руках столько крови, что ее уже никогда-никогда не смыть, чувствует, как воздух замедляет движение, становится густым, словно сироп, вязким, словно патока, и способным так же легко удушить любого увязнувшего глупца. Она отставляет тарелку, которую только что мыла, бросает кухонное полотенце и спокойно идет к задней двери. Старый рыжий кот, отирающийся поблизости, заслышав, что она открыла дверь, шмыгает внутрь. Врожденным чутьем, присущим миру животных, он тоже ощущает что-то странное и не желает иметь с этим ничего общего. Он пулей залетает под стол, шипит, и шерсть у него стоит дыбом. Вздохнув, Эрин опускается на колени и берет извивающегося кота на руки. С котом на

руках она выходит через переднюю дверь на улицу и идет до небольшого зеленого островка в центре перекрестка — в грядущем хаосе здесь точно ничего не упадет. Но здесь они не будут в безопасности. Они будут слишком близко. Девушка крепко прижимает к себе животное и ждет, когда упадет небо.)

В дополнительном корпусе естественных наук Роджер и Доджер продолжают поиски. Первоначальная цель отошла на второй план, сменившись новой, увлекательной, всепоглощающей игрой: слово за число, число за слово. Роджер никогда не понимал математику, которая звала к себе Доджер, но теперь он ее чувствует, она пульсирует в его венах обещанием грядущих чудес. Доджер никогда не понимала, зачем нужно давать чему-то имя, если она и так знает, что это, но теперь понимает и с радостью впитывает названия вещей, которые он ей бросает, преобразует их алхимией собственных наблюдений и бросает ему обратно. Они больше не дети, а когда были — никогда по-настоящему не были вместе (не так, как должны были быть, как они оба чувствуют нутром), но сейчас они играют, как дети, и трагедия забыта перед лицом такой большой радости.

Очень-очень большой радости.

Для стороннего наблюдателя слова и числа уже не имеют видимой связи.

— Проницательность, — говорит он.

— Четыре целых восемь три один пять, — отвечает она и улыбается кроткой загадочной улыбкой, как будто выдала что-то умное, и, возможно, так оно и есть. Возможно, в языке чисел она Шекспир, Элиот, Россетти, плетущая сказки о Базаре гоблинов, Бейкер, вдыхающая жизнь в Под-и-Над.

— Семь, — говорит Доджер.

— Небесный, — отзывается Роджер, и его улыбка сияет, как и ее, и они похожи, как две капли воды, как два ребенка на невероятной дороге, и она смеется, и он смеется, и все будет хорошо.

Запах гари и влаги еще держится, но порождаемый ими ураган практически смел его, заменив запахом ярко потрескивающего озона, готового вот-вот вспыхнуть.

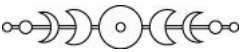
— Синий, — говорит Роджер.

— Два, — говорит Доджер.

— Отчуждение, — говорит Роджер.

— Один, — отвечает Доджер, и…

— Ноль, — говорят они в унисон, и земля уходит у них из-под ног.



Землетрясение начинается прямо под кампусом Калифорнийского университета в Беркли. Сейсмологи давно говорили, что, когда в разломе Хейворд произойдет сдвиг плит, разрыв пород вызовет землетрясение магнитудой не меньше 6,7. В последний раз в Беркли разрыв случился в 1870 году, и землетрясение было настолько разрушительным, что сровняло часть зданий с землей, и люди оказались погребены под завалами — некоторых спасли только через несколько дней. Многие погибли не из-за самих толчков, а от голода и обезвоживания. Тогда вокруг залива Сан-Франциско жило не так много людей, а существовавшие здания были младше, не такими крепкими, хуже подготовленными к толчку.

Толчки прорываются наружу сквозь землю, которая за многие десятилетия отвыкла от движения и залежалась, прорываются с яростной силой, которая потрясет сейсмологов. Они всегда знали, что рано или поздно это землетрясение произойдет, и пытались подготовить к нему людей. Но оно оказалось слишком мощным и развилось слишком быстро, так что никакие приготовления не помогли бы.

На зеленом островке в центре перекрестка Эрин прижимает к себе старину Билла так крепко, как только смеет, и наблюдает, как рушится квартира, которую она делила с Доджер и Кэндис. Она могла бы спасти кое-какие из наиболее ценных вещей, но как бы она это объяснила? Нет. Достаточно того, что она спаслась сама, спасла кота, что ее не было внутри, когда падало все, что не было приколочено, и обыденные вещи становились смертельно опасными. Со всех сторон слышатся голоса, так много голосов, и все они кричат. Она не может отличить их друг от друга. Она лишь надеется, что ни один из них не принадлежит Кэндис. Пусть она спит, пусть спокойно умрет во сне.

В дополнительном корпусе естественных наук Доджер и Роджер, застыв, смотрят друг на друга, воздух вокруг них все еще наэлектризован тем, что они сделали, сами того не подозревая. Скрип предупреждает их об опасности за несколько мгновений до того, как обрушивается часть потолка. Доджер не закрывает глаза, но Роджер слышит, как ее голос у него в голове произносит формулы, а затем она врезается в него — ударяет плечом в грудину и отбрасывает его назад, прочь с дороги, подальше от куска каменной кладки и

напольного покрытия, который обрушивается в точности на то место, где он только что стоял.

Толчки продолжаются.

Кампус качается, словно в танце, — из стороны в сторону, то вверх, то вниз, оживленный сейсмическими силами, разрывающими друг друга под поверхностью земли. Люди кричат, бегут, пытаются спастись. Местные выбегают на открытое пространство, защищая головы руками, проверяя, нет ли над ними линий электропередач, и нервно оценивая расстояние до ближайших зданий. Большинство выживет. У студентов, приехавших из других штатов, дела обстоят хуже. Они бегут в укрытия, в дверные проемы и шкафы, или просто застывают на месте от ужаса. Девушка из Висконсина погибает на месте, когда кирпич падает ей на голову. Мгновением позже обрушивается более крупный кусок здания, придавливая ее тело к земле. Спасателям понадобится три часа, чтобы освободить ее из-под завалов.

А толчки продолжаются.

Землетрясение не ограничивается кампусом, распространяясь за пределы узкой полоски недвижимости, связанной с университетом, но начинается оно отсюда, из глубины земли под корпусом естественных наук, и самые большие

разрушения происходят именно здесь, вокруг его центра. По стенам библиотеки идут трещины. Башня с часами не падает, но *наклоняется*, и это даже хуже: то, что упало, можно построить заново, а поврежденные здания из списков культурного наследия, как правило, сохраняются до последнего, пока не выпадут все стекла и не разрушится фундамент. Башня с часами — сердце кампуса, ориентир для всех студентов, показывающий, где их дом, — теперь несет на себе видимый след разрушений.

Доджер вскакивает на ноги: в кризисной ситуации она действует значительно быстрее, чем когда-либо получалось у Роджера; нервная энергия становится навыком выживания. В потолке появляется все больше трещин, да и стены выглядят так, будто вот-вот рухнут, превратив приключение Нэнси Дрю в фильм ужасов. Роджер спотыкается, когда Доджер тянет его за собой, крепко, до кости сжимая его руку. Он почти рад этой боли. Она возвращает к действительности.

— Все движется слишком быстро, — кричит Доджер, и он не знает, зачем она кричит; здесь не шумно: слышен только низкий рокот и глухие удары, когда что-то падает. Она вполне могла бы говорить обычным тоном, и он бы расслышал.

Паника меняет восприятие, а она в панике, так же как и он, хотя внешне он спокоен, пока она не говорит: — Я должна закрыть глаза!

Сперва Роджер не понимает, что она такое говорит: это не имеет смысла. Ведь это она ведет их сквозь падающие обломки. Зачем ей закрывать глаза? Но она это делает, делает и несется вперед с закрытыми глазами, уклоняясь от обломков.

Роджер тоже закрывает глаза — его слишком пугает окружающее зрелище, — и она неожиданно тормозит, так резко, что он врезается своим плечом в ее плечо, и она вопит — не кричит, а именно вопит, как жертва в фильме ужасов, который неожиданно превратился в реальность, кошмар подобрался слишком близко, окружил их со всех сторон: «Держи глаза открытыми, ты должен держать их открытыми!» — и до него доходит.

У Доджер проблемы с восприятием глубины. Она может рассчитать скорость и траекторию в уме, уворачиваясь от обломков с точностью, практически недоступной любому другому человеку, но только если отправная точка верна. Она должна *видеть* начальное положение падающего тела, видеть нечто трехмерное и истинное, а не фигуры, движущиеся по плоской поверхности.

Пока она знает расстояние между ними (а она знает, это он знает наверняка: длина их рук, разница в росте — для нее это самые банальные числа, такой математикой она может заниматься даже во сне, и, возможно, она так и делает по ночам, когда приходится бороться с кошмарами), она может безошибочно вычислить необходимую траекторию. Она может их вытащить.

Он открывает глаза. Доджер снова начинает бежать, увлекая его за собой.

Позднее все это будет казаться ему сном. Землетрясение продолжается и продолжается, стены падают, окна лопаются, трескаются фундаменты, которые в менее сейсмически активной зоне могли бы простоять еще сотню лет, и они вдвоем бегут сквозь самое сердце всего этого кошмара — девочка с крепко зажмуренными глазами и мальчик, слепо следующий за ней, хотя его глаза широко распахнуты. Снаружи открытые пространства превратились в массу плотно прижавшихся друг к другу тел, незнакомые люди обнимаются и плачут, или кричат, или не делают ничего, а только в безмолвном шоке смотрят на творящийся хаос. Люди укрываются везде, где только могут. Воздух переполнен криками, рыданиями и непрерывным ревом автомобильных

сигнализаций, которые приняли атаку природы за ограбление и пытаются вызвать своих владельцев, чтобы те их спасли. Воздух почернел от дыма, пыли и хлопающих крыльев перепуганных голубей: они не могут приземлиться и бесконечно кружат над кампусом.

Доджер тащит Роджера за собой, огибая дыру, которая раньше была лестницей, пробегает мимо лифтов и с разбегу врезается плечом во входную дверь: если бы было тише, они оба услышали бы, как ломается кость. Боль настолько сильная, что мгновение Доджер боится, что потеряет сознание. Она толкает дверь что есть силы, *выправляя* ее, и совершенно не удивляется, когда Роджер позади нее вскрикивает. Ей не нужно оглядываться, чтобы узнать, что он держится за плечо. Его глаза смотрят ей в затылок, и она хочет извиниться, но на это нет времени.

Она снова врезается в дверь всем телом, *выправляя* ее, и Роджер задыхается от боли, слишком сильной, чтобы кричать. Она ничего не чувствует. Может быть, она вредит себе, отказываясь сразу оценить ущерб, но на это тоже нет времени. Эта дверь должна открыться. Она не заперта; ее заклинило из-за пожара и землетрясения, и Доджер видит точки, на которые необходимо

надавить, чтобы ее отпустило. Дверь должна открыться. *Должна*. Жизнь важнее порванного сухожилия или сломанной ключицы.

Она врезается в дверь в третий раз. Зрение Роджера на мгновение темнеет от боли. Дверь распахивается, и Доджер открывает глаза, возвращая собственное зрение, и тащит Роджера прочь от разрушающегося здания, вниз по знакомым ступеням, назад в мир, где геометрия имеет смысл. Здесь тоже все время что-то падает: ветви деревьев, обломки зданий, линии электропередач, — но между предметами более широкие расстояния. У нее есть время высчитать траекторию их падения и, не допустив столкновения, проскочить между ними, протащив за собой Роджера. Он больше не испытывает боли, но чувствует ее отголоски, отфильтрованные нервами Доджер. Открыв глаза, она разорвала связь, насколько это вообще возможно, учитывая, что сила их квантовой запутанности становится только больше. Детские страхи Роджера оказались ближе к истине, чем они могли себе представить.

Она не знает, осознал ли он это. Не знает, не отстранится ли он теперь. Но прямо сейчас это неважно, потому что они все еще бегут. В какой-то момент Доджер отвлекается от задачи выжить

самим, бросается в сторону и сбивает с ног первокурсника, спасая его от соприкосновения с электрическим проводом; она уже видела, как у мальчика вспыхнут волосы, как его тело забьется под ударами тока, но успела прыгнуть, тем самым изменив расчеты. Никто не обращает внимание на то, что они выбежали из корпуса естественных наук, у всех хватает своих проблем. Каждый сосредоточен на собственном выживании.

Они бегут, пока Доджер не решает, что они достигли безопасного места: достаточно далеко от рушащихся зданий, чтобы их не ударило обломками, достаточно далеко от других студентов, чтобы их не подслушали. Толчки начинают стихать. Они будут продолжаться еще несколько дней, но главное землетрясение, большое землетрясение… почти закончилось.

Роджер отпускает ее руку.

(Позже она будет помнить именно это: она будет помнить, что он отпустил ее первым. Она будет помнить, что они были друг у друга, *держались* друг за друга, а потом он ушел, отстранившись с такой категоричностью, что та заставила ее оцепенеть. Боль в плечо все еще не пришла, разум был ясным. Она почувствовала, что он ее отпустил.)

— Роджер?

Она поворачивается к нему с беспокойным любопытством. Кажется, что он на том же расстоянии, что и всегда, когда она видит его своими глазами: достаточно близко, чтобы до него дотянуться, достаточно близко, чтобы прикоснуться. Но земля между ними рассказывает иное. Она говорит ей, что он сделал шаг назад, что, если она сейчас потянется к нему, ее рука встретит пустоту. Она говорит, что Доджер осталась одна.

Кто-то вдалеке всхлипывает, как будто его сердце разбито. Доджер чувствует, как ее собственное сердце дает трещину.

— Это из-за нас? — спрашивает он, и этот вопрос — слабое эхо ее вопроса, прозвучавшего сегодня утром. Она спрашивала о пожаре, о смерти; на самом деле о шести смертях, но только за одну из них она была готова взять ответственность. Он спрашивает о землетрясении, о кампусе, лежащем в руинах, о цене человеческих жизней. Оба они достаточно умны. Оба знают достаточно о подобных катастрофах, чтобы понимать, что число жертв будет исчисляться сотнями, если повезет, и тысячами, если нет.

— Роджер, — начинает она и, помертвев, замолкает, увидев, как он на нее смотрит. Будто

он потерялся. Будто она — чудовище по ту сторону стекла. Будто он больше никогда не хочет ее видеть.

– *Это* из-за *нас*? — повторяет он. — Не лги мне, Додж. Я пойму, так что не лги.

Она открывает рот, чтобы соврать. И останавливается. Она не может. Физически не может. Она *хочет* соврать: она видит эту ложь у себя в голове, мерцающую и совершенную жемчужину уклончивости и обмана. Она практиковалась во лжи годами. Ей достаточно расположить слова в правильном порядке, и они сделают ту работу, которую она им предназначила. Но она *не может*. Роджер сказал ей не врать, и она не может соврать.

Роджер первый испугался того, что они могут сделать вместе. Доджер первая испугалась того, что он может сделать один.

— Думаю, да, — говорит она, и ее голос — шепот, ее голос — тихий вздох; ее голос почти поглощен рокочущим гулом умирающего землетрясения.

Толчки прекратились. Земля перестала колебаться. Осталась только мелкая дрожь, но через пару мгновений исчезнет и она.

— Мы… Наверное, мы что-то сделали, когда играли, наверное, мы могли что-то сломать. Мы

вызвали землетрясение. Но мы никому не хотели вреда. Мы не могли *знать*.

— Теперь мы знаем.

И столько тоски в его голосе, столько тоски, и ей не нужна квантовая запутанность, чтобы понять, о чем он думает: она видит это по его глазам. Он делает шаг навстречу, наклоняется, целует ее в лоб, нежно, как фермер целует яблоньку. А затем отстраняется, делает шаг назад и, развернувшись, бежит, бежит, бежит в разрушенный кампус, прочь от того, что они могут сделать, когда они вместе, прочь от последствий того, что они уже сделали. Он бежит, а Доджер в кои-то веки — нет; она просто стоит там, где стояла, — глаза у нее наполняются слезами — и смотрит, как он уходит.

Отчет

Лента времени: 12:01 CST, 9 декабря 2008 года (тот же день)

Астролябия бешено вращается, небесные тела сотрясаются в буйной пляске.

Плутон — прекраснейший драгоценный Плутон, сделанный из тонко выделанной платины, усыпанной льдистыми алмазными крошками, — начал вращаться в обратную сторону и мчится задом наперед через механический космос. Кажется, что столкновение неизбежно, но раз за разом он проходит на волосок от Нептуна, уклоняется от Юпитера и неумолимо продолжает свой необъяснимый путь. И только солнце не двигается. Оно неподвижно зависло в центре этого хаоса. (Позже реконструкция событий покажет, что астролябия дала сбой с началом землетрясения в Беркли, а солнце остановилось, когда оно закончилось. Как связаны эти события, останется менее ясным.)

Рид стоит, заложив руки за спину, и, хмурясь, наблюдает за моделью вселенной, которая готова вот-вот развалиться и раз за разом отправляет

планеты по неверной орбите. Не он создал эту астролябию (ему никогда не давалась инженерия, все его интересы лежали в сфере биологии), но он все равно ее любит, любит за то, что она собой представляет: все. Именно этим он однажды надеется править. Всем. Он возжелал этого в тот самый момент, когда его мать — его создательница — показала ему чертежи этой конструкции, когда он был всего лишь подмастерьем, а Асфодель Бейкер — величайшим алхимиком Северной Америки; когда она ненавязчиво распространяла свою пропаганду под маской детской сказки, когда могло показаться, что долговязый эксперимент по превращению неблагородных металлов в плоть по имени Джеймс Рид закончит тем, что станет всего лишь балаганным чудотворцем, умеющим смешивать змеиные масла и простейшие лекарства, и не более того. Он лгал, мошенничал, убивал и торговался, чтобы пробить себе путь к этому месту, к этой лаборатории, чтобы владеть этой астролябией. Хаос, разворачивающийся перед его взором, — либо знак того, что успех наконец близок, либо предзнаменование грядущего провала.

Это непременно должен быть успех. Второй вариант не рассматривается.

Что-то случилось с их кукушатами. С тех пор как их поместили в обычный мир, астролябия десятки раз принималась вращаться в обратную сторону. Он не помнит других временных линий, кроме этой, потому что он не один из кукушат, но астролябия… вот его секретное оружие. Она так тонко откалибрована, настолько тщательно настроена на функциональность живой вселенной, что, когда во вселенной что-то меняется, астролябия подстраивается. Смещение временной линии означает смещение вселенной. Смещение вселенной должно отразиться на астролябии, а иначе она была бы всего лишь драгоценной безделушкой из планет-самоцветов и сверкающих звезд, не имеющей другой ценности, кроме ценности самих материалов. Даже если бы Рид был на это согласен, сама астролябия — нет.

В открытую дверь у него за спиной стучат. Он не поворачивается.

— Которые? — спрашивает он.

— Чезвич и Миддлтон, — отвечает Ли. — Вы были правы. Они практически созрели.

— Что они сделали?

Когда она отвечает, он слышит в ее голосе улыбку. Ли всегда была поклонницей разрушений, особенно если что-то разрушено как следует и без

лишних осложнений.

— Землетрясение в Калифорнии. Самое крупное в этом регионе за последние десятилетия. Федеральное агентство по ЧС принимает меры; число погибших будет исчисляться тысячами, и это только прямые последствия. Перебои с электричеством, водоснабжением и работой местных служб наверняка приведут к еще бóльшим жертвам. Я никогда не убивала столько людей. Даже суммарно.

Рид не спеша поворачивается.

— Ты уверена, что это их рук дело?

— Я это знаю наверняка. — Ли сияет. Пусть эту пару создавала не она, пусть их вырастили не по ее стандартам, и она без малейших колебаний могла бы приказать их куратору разобрать их на части, если бы считала, что это пойдет на пользу делу, но разрушения остаются разрушениями, и она не может не признать качество их работы. — Вы читали мой отчет?

— Напомни основные моменты.

Это не просьба. Ли чувствует, как ее улыбка увядает. Рид опасен даже в лучшие времена, а сейчас не самое лучшее время. Он раз за разом использовал астролябию как доказательство, что его кукушата созревают, считая каждое измене-

ние хода планет свидетельством того, что время было перезапущено. «Одна из пар достигла зрелости в какой-то точке будущего, — утверждал он снова и снова. — Когда придет время, эта пара неизбежно примет себя и нас. То, что они все время оттягивают этот момент, не меняет того, что он наступит».

О, но ведь меняет, меняет: Ли точно знает, что это так, что будущее по какой-то причине еще не написано. Пока они не столкнутся с созревшими кукушками лицом к лицу, пока не увидят, как пробужденная Доктрина обретает плоть и сознательную волю, это может быть любая из пар. Вот почему она так настойчиво добивалась, чтобы он позволил ей начать эксперимент заново, перенести заключительную часть на более поздний срок. Да, инвесторам не понравилась бы задержка, но инвесторов больше нет, их останки разбросаны по дюжине штатов. И это правильно. Скучные, лысеющие, сгорбленные старики не заслуживают возможности менять вселенную. Они думают иначе, но скучные, лысеющие, сгорбленные старики всегда считали, что заслуживают абсолютно всего. Когда Рид предложил для второго поколения кукушек решение Галилея, она не ожидала, что оно сработает.

Объекты должны были вырасти слабыми и неполноценными, неспособными функционировать в ужасном огромном мире, полном людей, рожденных естественным путем, а не метафор, наделенных плотью. Они должны были покончить с собой к восемнадцати или стать бесчувственными куклами, под завязку напичканными медикаментами, потому что взрослые стремились бы их «исправить». Абсолютно невозможно, что они нашли друг друга и вступили в плотный контакт, открыв линии связи и поддерживая их год за годом, невзирая на все препятствия. То, что они сделали, то, кем они стали… это невозможно. В высшей степени маловероятно. Но все это реально, истинно и неоспоримо.

Не Ли заварила эту кашу. Но разбираться с этим придется ей.

— Эрин сообщила, что Чезвич и Миддлтон отправились к другой аспирантке, Смите Мехте, и попросили ее сделать анализ крови, чтобы определить, являются ли они братом и сестрой. Та объяснила им, что анализа крови недостаточно, необходимо сделать ДНК-тест, и сделала эти тесты. — Ли поджимает губы. — Эта девчонка с набором игрушек и любовью совать нос куда не следует практически раскрыла их искусственное

происхождение. Она нашла маркеры антигенов, обнаружила генетическое сходство и, если бы она продолжила исследование, неизбежно обнаружила бы, что их ДНК не совсем натуральная. Ее нужно было остановить.

— То есть ты приказала ее убить.

— Это в пределах моих полномочий.

— Только если это можно сделать, не привлекая внимания.

— Был пожар. Весьма прискорбный случай. Предварительно Эрин, используя для прикрытия Руку славы, расспросила девушку обо всем, чтобы убедиться, что она ни с кем не поделилась своими открытиями. Полагаю, она хотела написать статью о разнояйцевых однояйцевых близнецах. — Ли качает головой. — Бедная дурочка. У нее был превосходный научный ум, но она подписала себе приговор, как только взяла в руки иглу.

— В ее убийстве не было ничего такого, что может привести к Эрин или к нам?

Ли снова качает головой, на этот раз более твердо.

— Ничего. Вы знаете, насколько Эрин искусна. Я сама ее отфильтровала; она бы не допустила промаха. К несчастью, у Чезвич слишком раз-

вито чувство ответственности. Все из-за чисел. Все дети-математики показали склонность к излишней драматизации и возложению на себя ответственности за все, в чем они не виноваты. Если бы она была в кампусе одна, все прошло бы гладко. Но она была не одна. Она пошла к Миддлтону. Высказала свои подозрения. Он согласился помочь ей обследовать место пожара. Пока они были там, они каким-то образом частично активировались. — На лице у Ли проступает раздражение. — Я не знаю как. Все камеры в здании были уничтожены пожаром, а Эрин там не было. Все, что мы знаем, — это что кукушата вошли в здание, а через восемь минут началось землетрясение, и они были его эпицентром. Они начали понимать, на что способны.

— Астролябия это подтверждает, — говорит Рид. — Они созрели?

— Эрин говорит, что нет. — Ли светлеет. — Я могу проверить знаки. Если бы нашелся хороший кандидат для гаруспиции…

Внутренности заговорят по-настоящему, только если жрецу небезразлично, что приносится в жертву. Некоторые законы старше алхимии: они восходят к сотворению мира.

— Выведи на поверхность кого-нибудь из дру-

гих экспериментов, — говорит Рид. — Пусть увидят небо.

Кого бы она ни выбрала, вид неба ошеломит их достаточно, чтобы Ли успела сделать все, что нужно, к тому же при солнечном свете прорицания выходят точнее.

Ли поднимает брови.

— Правда?

— Правда.

— А если внутренности скажут, что ваши кукушата еще не созрели?

— Мы оставим их в покое.

Радостное удивление Ли исчезает, уступая место потрясению.

— Но…

— Мы оставим их в покое. Если они могут причинить столько ущерба в начале созревания, представь, что они смогут делать, когда созреют полностью. Мы достигли успеха, Ли. Мы воплотили Доктрину. Держи их под наблюдением и сразу сообщай, как только что-то изменится. — На его лице, хоть и медленно, возникает улыбка. — Скоро у нас будет все, ради чего мы столько трудились, — говорит он, и Ли ничего не отвечает.

Было очень трудно вспомнить, где именно находился Эйвери, прежде чем уйти. Он взял свою тень с собой, что показалось Циб неожиданно, невыразимо грубым, хотя она никогда раньше не думала об этом в таком ключе. Если кто-то собирается вернуться, тень должна оставаться на том месте, куда он придет, отмечать его, как маячок.

Чья-то рука коснулась ее плеча. Циб подняла голову и встретила одобряющий взгляд Девочки-вороны.

– Все в порядке, – сказала та. – Он вернется целым и невредимым, вот увидишь.

– Откуда ты знаешь? – спросила Циб.

– Ну, потому что мы на невероятной дороге к Невозможному городу, а что сейчас может быть невероятнее, что может быть невозможнее того, что твой друг к тебе вернется? – Девочка-ворона улыбнулась яркой искренней улыбкой. – Это абсолютно невозможно, а значит, практически гарантировано.

Мгновение Циб недоуменно на нее смотрела, а потом громко разрыдалась.

А. Дебора Бейкер «За лесоградной стеной»

Книга VII
Конец всего

Пускай сиянье всех светил небесных
Твой освещает путь [12]*!*

Уильям Шекспир, «Антоний и Клеопатра»

Только те, кто отваживается зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут зайти.

Т. С. Элиот

---

[12] Примечания: 12
Перевод М. А. Донского.

Цена

Лента времени: опоздание в пять минут, за тридцать секунд до конца света

Так много крови.

Доджер стоит к нему спиной, крепко прижимая одну руку к боку, чтобы удержать хотя бы часть крови внутри тела. Другая рука мелькает, двигаясь вдоль стены, и пальцы, выписывающие формулы, все больше дрожат. Почерк Доджер теряет свою каллиграфичность — разобрать написанное все труднее, хотя он и раньше не успевал следить за ее выкладками, когда она погружалась в математику. Сейчас она в своем маленьком мире, в котором ему нет места, и там так много крови.

Он не врач, но может сказать наверняка, что крови не должно быть так много, во всяком случае, если Доджер планирует отсюда уйти, — но вот и ответ, потому что Роджер понимает, что она не планирует уходить. Она была счастлива, пока он не ворвался в ее мир, счастлива среди книг и публичных лекций, счастлива в той жизни, которую осторожно собрала по кусочкам из

тех обломков, среди которых он ее бросил. Она была счастлива, а он ворвался в ее жизнь, притащив с собой ее бывшую соседку по квартире, и все это отнял. Она думает, что умрет здесь, и он практически уверен, что она и не хочет иного исхода, потому что, если она умрет здесь, ей не придется проходить через все это снова. Ей больше не нужно будет переживать из-за стука в дверь, за которой может оказаться брат — брат, который ее сперва бросил, а теперь вернулся с очередной просьбой, которую ей вовсе не хочется выполнять.

Ее карьера окончена. Ее идеи об устройстве вселенной разбиты вдребезги. Что значит жизнь по сравнению с этим?

Как бы он хотел сказать ей, что сожалеет. Как бы он хотел сказать ей, что не знал. Но он молчит. Она должна закончить это уравнение, должна закончить, чтобы они могли со всем разобраться, или все будет напрасно, как было напрасно уже столько раз.

Эрин не хотела ему об этом рассказывать. Эрин вообще не хочет лишний раз ему о чем-то рассказывать: она говорит, что неведение — это блаженство, или, по крайней мере, неведение порождает лучший выбор, потому что в таком

случае можно просто сделать шаг, не учитывая все последствия шагов из сотен проваленных временных линий. Он хотел бы понять, как так получается, что она все помнит.

И вдруг он понимает.

— Доджер, — говорит он негромко. Шум стрельбы за пределами их маленького уголка развалин почти заглушает его голос. Эрин, как может, сдерживает атаку. Но она не может сдерживать ее вечно. — Когда все пошло не так? Скажи точно, когда все пошло не так?

— Ты меня спрашиваешь? — Она продолжает писать. Между пальцами просачивается все больше крови. Так много крови. — Это ведь ты ко мне пришел.

— До этого. Когда все пошло не так до этого?

Она поворачивает голову, пальцы замирают. Она так бледна. Она всегда была бледной, но сейчас она потеряла так много крови. У нее никогда раньше не было таких длинных волос, но сейчас от двухсотдолларовой прически ничего не осталось — пыль, кровь и пот сделали свое дело. В ушах у нее платиновые сережки с бриллиантами. Она выглядит как взрослая, а он все еще чувствует себя ребенком.

— Землетрясение, Роджер, — отвечает она

мягко. — Именно тогда я поняла, что ты никогда не перестанешь меня бросать. Именно тогда я решила больше тебе этого не позволять.

— Я не хотел…

— Сделанного не воротишь. Мы умрем здесь, и я тебя не прощу. Дай мне закончить. — Она снова отворачивается.

Роджер замолкает. «Сделанного не воротишь» — ерунда, по крайней мере, по мнению Эрин. Прощение — не главное. Знать, когда простить, — вот что главное. Он не может изменить то, как отреагировал на землетрясение, — он достаточно хорошо себя знает. Но есть кое-что, что он *может* изменить.

Есть кое-что, что он может сделать. Здесь и сейчас, зная то, что он знает, — зная то, что рассказала ему Эрин, что он видел за те дни, которые они провели, спасаясь бегством, сейчас, за миг до того, как упадет последняя песчинка и часы перевернутся, — есть кое-что, что он может сделать.

Он достает из кармана телефон. Переводит его в режим полета. Затем изменяет время, и телефон считает, что сейчас — десять лет назад, день землетрясения, день, когда Роджер разрушил собственную жизнь, пытаясь ее спасти. Он набирает номер, который знает наизусть. Он всегда

с трудом запоминал цифры, но этот номер не забудет никогда.

Чувствуя себя дураком, он оставляет голосовое сообщение, сбивчивое и путаное, и видит, как Доджер перестает писать и смотрит на него широко раскрытыми глазами, в которых плещется недоумение.

Закончив говорить, Роджер отбрасывает телефон в сторону. Он больше не нужен. Роджер раскрывает объятья.

— Иди сюда, — говорит он, и Доджер идет к нему. Она не может перестать зажимать рану, но он обнимает ее, крепко прижимая к себе, вдыхает запах дорогих духов и чувствует, как она дрожит.

— Ты готова? — спрашивает он. Сколько раз они уже здесь были? Сколько раз они это делали? Сотню, тысячу, миллион… и — один раз, потому что с каждым изменением все начинается сначала. Они могут делать это снова и снова, но каждый раз будет иным.

— Нет, — отвечает Доджер. Она откидывает голову назад и доверчиво смотрит на него большими серыми глазами. Она все еще ему доверяет. Даже после всего, что случилось, она все еще ему доверяет, и это одновременно самая прекрасная

и самая ужасная вещь на свете. — Думаешь, это сработает?

— Если нет, думаю, это не так уж важно, — мрачно отвечает он. — Если нет, то все, что когда-либо с нами случалось, было просто совпадением, и мы разрушили наши жизни напрасно. Невозможно спасти мир с помощью математики, если ты не можешь изменить его, просто задав вопрос.

— Тогда я готова.

Снова ощущение дежавю — и неудивительно. От Эрин он знает, что они уже были здесь раньше. Но есть и другое ощущение: происходит что-то новое. Ему не кажется, что они были в этой точке много раз, если были вообще.

— Доджер, — говорит он ясным спокойным голосом, — не умирай и не теряй веру в меня. Это приказ. Это команда. Это требование. Делай что угодно, ломай что угодно, но не умирай и не отпускай меня. Это приказ. Это…

Это ее кивок, прежде чем она закрывает глаза, бледная, тихая и такая хрупкая, что ему хочется защитить ее от всего мира, даже от самого себя.

Это тишина — выстрелов больше не слышно. Они не смолкли постепенно, а просто *прекратились*, будто кто-то нашел, где у мира кнопка выключения звука.

Это мир становится белым.

Это конец.

Мы ошиблись мы ошиблись мы ошиблись мы ошиблись мы

Эйвери не был уверен, что сможет идти дальше.

Он устал. Он подумал, что до сегодняшнего дня и близко не знал, что такое усталость: он слышал, что люди устают, но никогда не чувствовал настоящей усталости. Усталость проникла до самых костей, обвила их, будто лента, и ноги у него стали свинцовыми, а руки превратились в мешки с песком, свисающие с плеч. Усталость высосала из мира все краски, и все вокруг сделалось серым и тусклым. Усталость подвесила гири ему на ресницы. Каждый раз, когда он моргал, ему казалось, что больше глаза уже не откроются.

Но Циб – глупая Циб, которая думала, что все знает, – должна быть где-то здесь. По крайней мере, так сказала Паж застывших вод, прежде чем столкнуть его с водопада. Ему нужно было найти

Циб. Ему нужно было перед ней извиниться.

На берегу реки лежал сверток тряпья, покрытый сверкающей серебристой пылью, похожей на рыбью чешую или лунный свет. Эйвери остановился. Обычно у кучи тряпья не бывает спутанных, нечесаных волос.

Так Эйвери обнаружил, что все-таки может бежать.

А. Дебора Бейкер, «За лесоградной стеной»

Книга V
Отголоски землетрясения

Близкое знакомство с чем-то великим лишает нас благоговения перед ним.

Л. Фрэнк Баум

Ты алхимик; так сделай из этого золото.

Уильям Шекспир «Тимон Афинский»

Мы есть

Лента времени: 14:02 PDT[13], 15 июня 2016 года (семь с половиной лет спустя)

Что-то с грохотом падает между рядами стеллажей. Роджер в это время ставит книгу на полку; замерев на месте, он склоняет голову набок, анализируя шум. Вроде бы ничего не разбилось: на сей раз это не студенты, притащившие пиво в отдел редких книг. Это не звук упавшего тела, так что никто не потерял сознание и не собирается безобразничать. Количество людей, считающих библиотеку подходящим местом для секса, не перестает его удивлять. Конечно, он и сам, будучи студентом, пару раз так делал, но одного пореза о бумагу в неудачном месте хватило, чтобы понять, что дойти до комнаты гораздо правильнее.

— Дети, — наконец заключает он, качая головой и улыбаясь.

Как-то незаметно парни и девушки того возраста, в котором он сам когда-то приехал в студенческий городок Беркли, превратились в «детей»,

---

[13] Примечания: 13
Летнее тихоокеанское время (UTC-7).

за которыми нужен присмотр и которым нельзя доверять редкие книги из университетской коллекции. Он обнаружил, что в последнее время больше не находит студенток привлекательными: его разум высчитывает, сколько времени прошло с тех пор, как они закончили школу, и решает, что они слишком молоды, чтобы с ними связываться, поскольку из этого все равно не выйдет ничего путного. Возможно, это даже хорошо (он знает множество преподавателей помоложе, у которых были проблемы из-за отношений со студентками), но все же он чувствует, что сам стал еще взрослее, и не совсем к этому готов. Это другие люди становятся взрослыми. С ним такого не должно было произойти. Никогда.

Положив оставшиеся книги на тележку, Роджер идет на звук, засунув руки в карманы. Он один из самых молодых профессоров факультета лингвистики Калифорнийского университета в Беркли; многие студенты считают его «своим» — в отличие от более старших коллег. И если в дальнем углу обнаружится парочка в дезабилье, им будет не так неловко, если именно он скажет им, что библиотека — не место для подобных активностей. А если это еще одна чертова белка, он просто откроет окно.

Пол под ногами не скрипит, стены не стонут от старости. Главной университетской библиотеке всего пять лет; она яркая, чистая и новая, здесь еще нет запаха пыли и времени, которые в конце концов овладевают каждой хорошей библиотекой. Родители видят университетские корпуса и улыбаются, представляя, как их драгоценные детки учатся в прекрасных помещениях, изучая прекрасные предметы, и им не нужно беспокоиться о грибке на стенах или разрушающейся кладке. Студенты — каким был и он — смотрят на те же самые помещения и хмурятся, думая о стенах, увитых плющом, таинственных читальных уголках и силе времени. Он хотел бы найти способ сказать им, что они могут сами стать частью процесса, превращающего новое место в старое, что иногда быть тем, кто оставляет отметины на фасаде, не менее важно, чем сразу выбрать что-то уже обветшалое и потертое. Он это чувствует, но знает, что, если попробует выразить мысль вслух, люди могут его испугаться, поэтому он молчит.

Роджер Миддлтон стал именно таким, как и ожидалось: профессором в брюках цвета хаки и джинсовой куртке с нашивками, с легкой улыбкой и стремительной походкой, которая позволяет ему добираться из одного конца кампуса

в другой менее чем за двадцать минут. Подобно многим, кто пережил сильное землетрясение, он предпочитает собственные ноги остальным видам транспорта: велосипеды ненадежны, когда в асфальте появляются трещины, автомобили недостаточно маневренны, чтобы уворачиваться от падающих предметов, а вот ноги — ноги вынесут на безопасное место, если такое вообще есть. Он снимает полдома за пределами кампуса, и все его комнаты, кроме спальни, от пола до потолка заставлены книгами. В спальне тоже есть книги — на полу, на кровати, — но на стенах нет ничего, что могло бы упасть. Вся мебель низкая: два письменных стола, комод, прикроватная тумбочка.

На тумбочке три фотографии. На одной — он со своими родителями, на другой — он со своей нынешней девушкой, а с третьей в камеру настороженно смотрит девушка с такими же, как у него, глазами — будто опасается, что камера сейчас на нее набросится. Он хранит этот снимок как напоминание, что больше никогда не сможет ее увидеть, потому что вместе они могут быть опасны для себя и окружающих. Но он скучает по ней. Он больше не слышит перед сном ее голос у себя в голове, он уже почти забыл, как выглядит красный цвет, воспринятый ее глазами, но он все

еще по ней скучает. Он полагает, что всегда будет скучать. Он надеется, что это достаточная плата за то, что они натворили, за то ужасное нечто, которое они создали вместе, хотя совершенно этого не хотели.

Роджер заворачивает за угол, и вот он, источник звука: на ковре лежит куча книг, свалившихся с полки из-за того, что их не поставили достаточно аккуратно.

Студенты, как известно, пихают книги как попало, и время от времени образуются неустойчивые башни, которые неизбежно рушатся, воспроизводя землетрясение в рамках томов и страниц.

На этот раз обвал произошел в секции прикладной математики. Вздыхая, Роджер наклоняется и принимается собирать книги.

Он подобрал уже три, когда вдруг замечает, что снизу прямо на него смотрит портрет Доджер. Роджер морщится, поднимает и эту книгу и переворачивает, чтобы увидеть заголовок. «Ты + Я: математика социальных связей» — гласит название, а под ним написано ее имя более мелким, но таким же жирным шрифтом. Интересно, какого цвета обложка — такая же яркая и приторно-сладкая, как он думает, или нет. Интересно,

принимала ли Доджер участие в разработке дизайна. Она так и не получила степень, но в дивном новом мире компьютеров, стартапов, TED-презентаций и людей, пытающихся предсказать следующий технологический прорыв, ей это было не нужно. Она занимается математикой в реальном мире с тех самых пор, как он, вернувшись в университет спустя три недели после землетрясения, обнаружил, что она покинула городок, оставив только записку в его почтовом ящике.

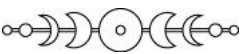
Роджер, похоже, теперь твоя очередь. Это справедливо. В прошлый раз тебя бросила я. Свяжись со мной, если я когда-нибудь тебе понадоблюсь. Люблю тебя.

Твоя сестра

Она не оставила свой номер, и это было так на нее похоже: она резонно считала, что даже если он не захочет говорить в том пространстве, которое они создали между собой, он будет знать или, по крайней мере, найдет другой способ, как с ней связаться. Он не знает, была ли она права. Потому что он ни разу не пытался ее найти. Каждый раз при одной только мысли об этом он чувствует, как земля уходит из-под ног, слышит, как вокруг рушатся стены, и вспоминает, что все

это произошло по их вине. Вместе они опасны. Так не должно быть — все законы физики и природы, простая линейная реальность говорят, что так не *может* быть, — но это так. Он не может рисковать. Неважно, как сильно ему хочется ее увидеть, неважно, как сильно он ее любит, он не может рисковать.

Он кладет ее книгу на нужную полку вместе с другими книгами по той же тематике и уже не в первый раз надеется, что она счастлива, где бы ни была. И понимает, что на этот раз он сбежал не для того, чтобы спасти себя. Он сбежал, чтобы спасти мир.



Студенческий городок Беркли восстанавливался довольно долго. Даже спустя семь лет после землетрясения, изменившего облик округа, еще остаются следы разрушений, впечатанные в архитектуру. Башня с часами скрыта под строительными лесами — ее восстанавливают.

Есть аспиранты, для которых башня всегда была накренившейся, молчаливой, искалеченной великаншей, наблюдающей за их повседневными делами. Пересекая главную площадь кампуса,

они останавливаются, смотрят на скрывающие башню щиты и ощущают смутное чувство потери, как будто то, чему полагалось быть вечным и неизменным, меняется, и неизвестно, к лучшему ли.

(Другие аспиранты и преподаватели тоже останавливаются и тоже смотрят на башню, но совсем с другими чувствами. Их охватывает облегчение, как будто мир наконец-то возвращается в нормальное русло. Починка часов не может обратить время вспять или воскресить мертвых, но это символ долгожданного восстановления.)

Роджер идет по каменным мозаичным дорожкам от новой библиотеки к главной площади городка и, как всегда, старается не замечать, сколь многое вокруг изменилось по сравнению с тем днем, когда он впервые пришел сюда на экскурсию по кампусу полным надежд первокурсником с широко распахнутыми глазами. Практически ни один фасад не избежал изменений. Исчезли старые деревья с крепкими стволами — во время сильной тряски их попросту с корнями выдернуло из земли. Даже дорожки изменились. Большинство выложены из тех же искусно подобранных обломков каменных плиток, которые встретили его в тот день, когда он впервые сту-

пил на территорию кампуса — невинный, не ведающий, что его ждет. На деле после землетрясения их выкопали и переложили заново, создав легкую иллюзию непрерывности мира, который, казалось, внезапно ее лишился. Он не отрывает взгляда от дорожки. Если смотреть на нее достаточно сосредоточенно, почти удастся притвориться, что ничего не изменилось.

Университет Беркли не закрывался ни на один день, ни даже на час. Кампус и город были разрушены, но нужно было многое сделать: провести траурные церемонии, обследовать комнаты, — так что в кампусе было оживленно, словно в улье, всюду светились фонарики и звенели голоса, пока не прибыли спасатели и не помогли разобрать обломки. После этого казалось, что лучше всего просто… продолжить занятия. Занимались на открытых площадках, во внутреннем дворе — везде, где не было опасности обрушений. Некоторые преподаватели и энергичные аспиранты вызвались помочь студентам, чья работа была уничтожена землетрясением. А когда штат не взял со студентов плату за семестр в рамках ликвидации последствий стихийного бедствия, выживание университета было гарантировано. Студенты Беркли стали одними из самых предан-

ных в мире.

Но не все. Некоторые перевелись; в основном это были специалисты в области компьютерных наук, которым для получения диплома были необходимы компьютерные лаборатории, так что они с извинениями на устах и отблеском будущего в глазах отправились в Стэнфорд или в Калифорнийский университет в Санта-Крузе. Некоторые бросили учебу, потому что так и не оправились от событий того ужасного дня, выбившего землю у них из-под ног. А некоторые просто уехали. Например, Доджер. Только что она была здесь, а вот ее уже нет: она собрала уцелевшие после землетрясения вещи и исчезла; предположительно, вернулась в родительский дом южнее по побережью, но в действительности… это ведь Доджер. Кто знает, где она оказалась?

Роджер не пытался ее найти — ни тогда, ни сейчас. После того, что они сделали вместе… Нет. Неважно, как сильно он по ней скучает, некоторые вещи просто нельзя допускать.

Он идет через кампус к Телеграф-авеню, которая тоже теперь выглядит по-другому. Некоторые старые здания канули в Лету, уступив место новым постройкам; от других остались только скелеты и груды обломков — им предстоит обре-

сти новых владельцев, которые расчистят место и построят что-нибудь новое и блестящее — никогда не чувствовавшее подземных толчков и не ощущавшее, что вот-вот рухнет. Некоторые из старых заведений пережили землетрясение благодаря укрепленному фундаменту и причудам географии: «Распутин Рекордс» все еще на месте, как и «Моес Букс». Он недостаточно хорошо помнит невысокие здания слева по улице, чтобы понять, пережила ли землетрясение оригинальная пиццерия «Фэт Слайс» или ее перестроили. По крайней мере, рецептура осталась прежней, и он думает, что это не хуже, чем сохранить оригинальные стены. А может, и лучше.

(В глубине души он всегда будет рад, хотя ему стыдно за эту радость, что этот город — город, где они с Доджер наконец были вместе, где им наконец дали стать друзьями, братом и сестрой и всем, чем они должны были быть всю свою жизнь, — разрушился прежде, чем он от нее ушел. Он начал все с чистого листа. И надеется, что и она тоже.)

Он доходит до Дерби-стрит и сворачивает в жилые кварталы. Они прячутся за коммерческими зданиями, надежно скрывающими их от глаз туристов и родителей, приехавших навестить

своих чад. Здесь процесс восстановления гораздо заметнее, потому что этот район Беркли по большей части отказался меняться. Живущие здесь люди дорожат своими викторианскими домами, которые сейчас стоят в строительных лесах, и их мало-помалу — по черепичной плитке, по кусочку проволоки — осторожно возвращают к жизни. На одной из улиц все жители согласились три недели жить без электричества, потому что в каком-нибудь доме мог запросто вспыхнуть пожар; и, когда бригада электриков восстановила проводку, они устроили праздничную вечеринку на весь квартал — фейерверки были видны за несколько миль. Арендная плата здесь невысокая, нужно только найти человека, который готов доверить свое отремонтированное сокровище незнакомцу.

Дуплекс Роджера располагается на нижнем этаже одного из таких викторианских домов, хотя употреблять слово «этаж» не совсем верно: на самом деле есть только половина этажа, так что они обходят дыры в полу, посмеиваясь над абсурдностью ситуации; иногда Роджер изображает канатоходца, но временами ему все-таки просто хочется иметь возможность сходить в туалет, не рискуя оказаться в подвале.

В коробке на крыльце свернулся калачиком древний рыжий кот, спрятав нос под лапу. Наклонившись, Роджер ласково гладит старину Билла и заодно проверяет, что тот еще дышит. Никто не знает, сколько ему *на самом деле* лет, но он точно прожил дольше всех уличных котов, которых Роджеру доводилось встречать, и он морально готовится к тому дню, когда сердце доброго старого котяры сдастся и он тихо, спокойно уйдет.

Бока старины Билла вздымаются и опадают — несильно, но в ровном ритме. Что ж, еще один день для лучшего кота в Беркли; еще одна ночь для лучшего кота на свете. Роджер поднимает взгляд и видит, что входная дверь открыта и с порога ему улыбается Эрин.

Он улыбается в ответ.

— День прошел удачно? — спрашивает она и, ухватившись за лацканы пиджака, поднимает Роджера на ноги.

Он подается навстречу, не сопротивляясь. Он давно уяснил, что, когда красивая женщина чего-то от тебя хочет, лучше не спорить. Так будет гораздо приятнее для всех.

— Вполне. — Он наклоняется и целует ее, и она с энтузиазмом отвечает на поцелуй. Когда он снова отстраняется, она улыбается. И он тоже. — Как

прихожане?

— Приходят, — бесстрастно отвечает она и тут же смеется над своей шуткой.

Из квартиры, где жила Доджер, в университете осталась только Эрин. Кэндис погибла, пытаясь спасти группу дошкольников от рушащихся стен. Доджер исчезла. А Эрин осталась. Она переждала землетрясение недалеко от квартиры, прижимая к себе старину Билла. А потом отпустила кота и отправилась искать, где может пригодиться ее помощь. Оказалось, что у нее золотые руки, — как она объяснила, потому что ее семья занималась строительством и медициной. Роджер встретил ее через три дня после землетрясения возле приемной палатки полевого госпиталя. Он неловко спросил, как у нее дела. Она рассказала ему про Кэндис, про то, как обрушилась их квартира, про то, как она откапывала одежду из-под обломков. Он спросил, не хочет ли она переехать к нему, потому что его жилище осталось целым, хотя воды пока нет.

Она переехала в тот же день. Когда три недели спустя он переехал в квартиру побезопаснее и с работающим водопроводом, она переехала вместе с ним. В их первом совместном жилье было две спальни. Здесь тоже, но одна из них

служит рабочим кабинетом: в ней все заставлено книгами, которые он не разрешает хранить в той комнате, где они спят. Унитарианская церковь, где Эрин служит пастором, находится всего в полумиле от их нынешнего жилья. Как и он, она почти каждое утро ходит на работу пешком. Как и он, она предпочитает ноги другим видам транспорта.

Глубоко в подсознании для них обоих землетрясение все еще продолжается и будет продолжаться всегда.

Прежде чем пропустить Роджера в дом, Эрин снова его целует. Затем закрывает за ним дверь, отгораживаясь от мира, в котором они чужие, который не был создан, чтобы вместить и принять таких, как они.

— Так что, ничего интересного?

— Кто-то построил в библиотеке башню из книг, и она упала, когда я наводил порядок на полках. — Он снимает куртку и вешает ее на крючок. — О, и я почти закончил перевод манускрипта, который принес Кристофер. Это очень интересный диалект бретонского.

— Стены еще не начали кровоточить? — мягко спрашивает она. — Когда ты переводишь какой-нибудь манускрипт из глубины веков, я все время

этого опасаюсь. Что стены начнут кровоточить, и нам придется иметь дело с восставшими мертвецами и кучей агрессивных оживших деревьев.

— Ради тебя я бы приделал себе вместо руки бензопилу, — говорит Роджер, и Эрин смеется, и все чудесно, все идеально.

Конечно, кое-чего недостает, и не только в полу гостиной, но чего-то недостает в любой жизни, ведь так? Именно недостающие фрагменты отличают настоящую жизнь от картины жизни, которая не могла бы существовать на самом деле.

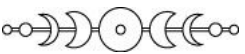
Недостающие фрагменты — неотъемлемая часть существования.

Роджер пытается убедить себя в этом, шагая вслед за Эрин на кухню. Кофе и лимонный кекс могут справиться с любой меланхолией.

Она идет с твердой уверенностью (ему до такой уверенности — как до луны пешком), с абсолютной верой в то, что ее ноги найдут надежные участки пола. Только благодаря ей они вообще могут здесь жить: технически это здание должны были признать непригодным для проживания, но каким-то образом она нашла правильное сочетание законов и лазеек в них, чтобы это место стало их домом. Правила любят ее почти так же

сильно, как он. Ее пепельные волосы прекрасно смотрятся в свете, проникающем через окно в коридоре, и это дом, это гавань, это все, что ему нужно.

Может быть, это не совсем та жизнь, о которой он мечтал, но абсолютно точно та жизнь, которую он заслуживает.



Роджер может засыпать долго, но, когда заснет, он спит глубоко, безусловно, как дитя. Он раскидывает худые руки, которые обычно держит крепко прижатыми к телу, обнажая их истинную длину.

Эрин сидит рядом с ним на кровати, наблюдая, как он похрапывает.

Она хотела бы любить его так же, как он, наверное, любит ее. Она хотела бы ответить на его участившиеся намеки на брак, детей, дом в Олбани или на холмах Беркли. Она хотела бы рассказать ему, что все будет совсем не так, как он хочет, что она здесь только потому, что должна, и хотя некоторые аспекты их отношений вышли довольно органичными — то, что она *выбрала* сама, а не то, что ей *приказали* сделать, — эти

отношения сами по себе были спроектированы с самого начала. То же самое можно было бы сказать о них обоих. Они оба появились в этом мире не тем путем, каким должны появляться дети. И вряд ли они покинут его так, как остальные люди.

Роджер морщит нос, что-то недовольно бурчит и поворачивается на бок. Эрин, воспользовавшись возможностью, соскальзывает с кровати. Если он займет всю кровать, когда снова перевернется на спину, она будет спать на диване, как бывало уже не раз. Роджер понимает. В этом весь он.

Иногда она сравнивает его с единственным мужчиной, с которым раньше жила, — с Дарреном, своим братом, который весь состоял из грубых линий и острых углов. Если бы она вышла из спальни, он бы последовал за ней, спрашивая, почему она нарушила его сон, почему исчезла, когда должна быть с ним, и обвиняя ее в том, что она нарушает естественный порядок вещей.

Они стали бы спорить, он — низким, твердым, разумным голосом, а она — все больше повышая тон, пока вокруг не полопалась бы вся стеклянная посуда, принесенная в жертву на алтаре их гнева. Ссора закончилась бы с наступлением утра

или когда один из них признал бы, что неправ (смотря что случилось бы раньше), и тогда они, затихнув, заснули бы вместе, свернувшись в клубок, как щенки.

Со дня его смерти прошло уже достаточно много времени, а он все еще ее преследует. Порой она думает, что он будет преследовать ее, пока она не уйдет за ним в пустоту, которая ожидает таких, как они, по ту сторону завесы. Как близнецов всюду сопровождают рубцы от запусков и перезапусков их личной временной линии, ее всюду сопровождает парень, бессмысленно умерший на кукурузном поле. У него нет могилы. Она — его живой мавзолей.

Эрин, скрестив ноги, садится на диван и ждет. Спустя три минуты после наступления полуночи звонит телефон. Она принимает вызов. Подносит телефон к уху.

— Здравствуй, Эрин.

Она чуть не роняет телефон.

Обычно вечерний отчет принимает Ли — она, конечно, змея, но змея, которую Эрин знает досконально, а та так же хорошо знает ее. Ли создала ее, вылепила, вплоть до цвета кожи и текстуры волос. Ли — не ее мать, скорее ее архитектор, и одна из них однажды убьет другую, но Ли — *своя*.

А этот голос…

Этот голос одновременно и мягче, и жестче, железный прут, завернутый в бархат, который трется об обнаженную кожу в тошнотворно-сладкой пародии на соблазнение. Эрин не разговаривала с Ридом много лет — с тех пор, как покинула лабораторию, — но она все равно знает этот голос. Она прекрасно его знает.

— Сэр, — с трудом выдавливает она: горло пересохло, рот будто набит пеплом.

— Ты отлично справилась с наблюдением за языковым аспектом твоей пары. Математика сама по себе безвредна. Чтобы пистолет выстрелил, нужен спусковой крючок. — Он усмехается собственной шутке; сухой смешок похож скорее на бряцанье костей в могиле, чем на смех. Когда он говорит снова, на веселость не остается даже намека: — Твое задание изменилось. Убей его.

— Сэр?

— У нас есть кандидаты получше, пара, которая смогла созреть без разделения, и нельзя допустить, чтобы, когда Доктрина попытается принять физическую форму, она запуталась в телах. Миддлтон стал обузой. Я ценю твою службу, и тебе необходимо закончить этот эксперимент. И замести все следы. Мы ждем твоего возвраще-

ния не позднее чем через неделю — о, и, Эрин? Постарайся на этот раз придумать что-нибудь, не привлекающее внимания. Нельзя же бесконечно все сваливать на неисправность проводки.

Линия замолкает. Звонок окончен. Эрин опускает телефон и тупо глядит в коридор. На том конце спит беззащитный, ничего не подозревающий Роджер. Он понятия не имеет, кто она, кого он пригласил в свой дом, в свою постель. Он никогда ее не подозревал, ни одной секунды. Она может позволить ему уйти вот так, позволить умереть в блаженном неведении, не зная, для чего он был создан, на что он способен. Это единственный вариант, насчет которого она на сто процентов уверена, что ни разу его не выбрала. Шансы на то, что Доджер сумеет самостоятельно перезагрузить временную линию до того, как умрет от шока из-за разрыва связи, близки к минимальным. Так что нет, этого Эрин не делала ни разу. Всякий раз, в каждой временной линии, при каждом перезапуске она выбирала отказаться от выполнения приказа. Она выбирала открытую борьбу.

Она так устала. Кукушки счастливо забывают о путешествиях в Невозможный город. Она — нет. Она не может выбраться из этой паутины бесчетное число жизней, и искушение поставить

точку гораздо сильнее, чем она ожидала. Один взмах ножом, одно горло, и она не просто станет их миленькой убийцей. Она сможет вернуться в лабораторию, в уютный мир, для которого была создана, и собственными глазами увидеть, какой станет вселенная, если Доктрина в самом деле воплотится, в самом деле оживет.

Вселенная, которой будет править Рид, а Ли станет его правой рукой. В который раз — десятый? сотый? тысячный? — Эрин представляет эти варианты развития событий, а затем, по-прежнему зная, что ей предстоит сделать, встает с дивана; пара шагов — и сумрак дома поглощает ее.

Бегство

Лента времени: 00:15 PDT, 16 июня 2016 года (той же ночью)

— Уф!

Роджер садится на кровати, сон растворяется в непонятном тумане отрывочных образов. Красный цвет — по-настоящему красный, какой он никогда не видел собственными глазами — все еще стоит перед его мысленным взором, и он понимает, что ему снилась Доджер. (Или у них был *общий* сон: если предположить, что она все еще на побережье, неудивительно, что у них могут совпадать часы сна и они могут подсознательно тянуться друг к другу, даже если на сознательном уровне решили не контактировать. Он скучает по ней. Возможно, она чувствует то же самое.)

Еще не проснувшись окончательно, он опускает взгляд, чтобы понять, что в него прилетело. Это рюкзак — уже наполовину собранный. Заглянув внутрь, Роджер обнаруживает одежду, записные книжки и свой планшет.

— У тебя есть пять минут, — говорит Эрин холодным голосом. Она не подначивает, не шутит.

В ее голосе лишь железная решимость, какой он не слышал со времен землетрясения.

Он поднимает взгляд. Она стоит на пороге, одетая в темно-серые леггинсы и такую же майку. Она выглядит так, будто собралась на йогу или на пробежку.

— Что? — Роджер трет глаза, надевает очки и смотрит на часы на прикроватной тумбочке. — Эрин, уже за полночь. Что случилось?

— Нам нужно убираться отсюда. — Это просто констатация факта, спорить здесь не о чем. — Нет времени объяснять. Просто доверься мне.

— Я тебе доверяю, но, Эрин, я не собираюсь выбираться из постели и… убегать… потому что тебе приснился кошмар. — Он пытается придать лицу выражение понимания, но чувствует только недоумение. — Иди ко мне. Ты можешь все мне рассказать.

— В начальной школе ты услышал у себя в голове голос своей сестры. Я не знаю более точно, когда это началось в этой временной линии, потому что ты не доверял мне настолько, чтобы об этом рассказать, но я полагаю, что где-то между семью и девятью годами. Однажды ты сказал мне, что это «золотая пора», в которой маленькие дети принимают любые факты.

Это была другая временная линия, другой Роджер. Ее воспоминания об этом разговоре туманны, но то, что она это помнит, означает, что это было важно, что он сказал ей сохранить эту информацию независимо от того, что будет дальше. Она помнит его без очков, с короткой стрижкой и усами. Это просто внешность; в малозначимых ситуациях он повел себя по-другому, и вот теперь перед ней почти, но не совсем тот же Роджер.

Они уничтожают себя всякий раз, когда уничтожают мир. Их прошлое усеяно непогребенными телами людей, которыми они решили не становиться.

Роджер изумленно таращится на нее, потом захлопывает рот и садится прямее, в глазах появляется застарелая настороженность.

— У меня нет сестры, — лжет он на автомате. И стыдится этой лжи, краснеет, но продолжает: — И даже если есть, это не делает нас… чем бы то ни было.

— Я в курсе, что большинство людей верит каждому твоему слову, но мы с Доджер жили в одной квартире до того, как я стала твоей девушкой, и я не собираюсь ее забывать. Она твоя сестра, и если ты в опасности, то и она тоже. Я должна

была остаться с кем-то из вас, а ты более опасен, поэтому я с тобой. Мы должны ее найти. — Эрин поджимает губы. — Как думаешь, она услышит тебя, если ты выйдешь на связь? Попробуй. Ее нужно предупредить. Я на самом деле не знаю, под наблюдением она или нет, и, если за ней следят, может оказаться, что бежать без толку.

Эрин не может рассчитывать, что в этой версии происходящего у них хватит времени добраться до Доджер. Проблема в том, что, когда все начинаешь с нуля, что-то меняется. И если изменения слишком значительные, это конец игры, и она жертвует собой ради плана, который обречен на провал.

Роджер смотрит на нее со все возрастающей тревогой. Он умен. Есть вещи, о которых за прошедшие годы он ни разу не вспоминал, моменты, когда она выходила из роли, пытаясь его предупредить. Она видит, как он собирает кусочки воедино, как они складываются в целую картину, как бы мало ему этого ни хотелось.

— Эрин, — говорит он наконец, — милая, ты в порядке?

— Доджер Чезвич — твоя сестра, — отвечает она. — Отрицание — это забавно, и, если быть честной, я его поощряла, но время отрицаний

прошло. Теперь надо проснуться, если не хочешь, чтобы на этом все закончилось. Ты что, действительно забыл, что я о ней знала? Ты настолько сильно убежал от себя самого? Я что, просто так позволила бы тебе все эти годы держать ее фотографию возле нашей кровати? Серьезно, ты же достаточно умный. Подумай сам.

— Это не значит… — Он обрывает сам себя, замирает и бросает на нее подозрительный взгляд. — Из того, что она моя сестра, не следует все остальное.

— Еще как следует. Мы уже встречались раньше, Роджер, на невероятной дороге, и я знаю, как ты появился на свет.

Настоящий ответ намного больше и сложнее, но только такой ответ он может принять здесь и сейчас, а ей необходимо, чтобы Роджер его принял. Необходимо заставить его *шевелиться*. Если к утру она не выполнит приказ, они об этом узнают и пришлют кого-то, кто выполнит. Она не единственная, кто умеет охотиться.

— Так ты можешь связаться с ней или нет?

— У меня нет ее номера.

— Я не об этом. — Эрин холодно на него смотрит. — Закрой глаза и свяжись с ней. Я знаю, что ты можешь. Ты тоже знаешь. Сейчас у нас нет

времени на твои долбаные заморочки, Роджер, и мне не хватит терпения сидеть и держать тебя за руку, пока до тебя дойдет. Я рискую собственной жизнью, чтобы спасти твою. Так прояви хоть каплю благодарности и свяжись уже со своей чертовой сестрой.

Он опять изумленно таращится на нее, пока она идет мимо кровати и, встав на колени, открывает нижний ящик своего комода. Отодвинув в сторону слой нижнего белья и средств гигиены — Роджер всегда с пониманием относился к ее месячным, без проблем мог сходить в аптеку, если она просила (частично она объясняет это количеством времени, которое он провел в голове у Доджер), но пачка тампонов, лежащая на том, что она хотела от него скрыть, всегда отлично его отпугивала, — она достает обитую свинцом коробку. На ней нет защелки: она запечатана воском.

Эрин разбивает восковую пластину одним сильным ударом и оглядывается через плечо на Роджера. Его глаза по-прежнему открыты. Он даже не шелохнулся.

— Они узнают, — тихо говорит она. — Когда взойдет солнце, а у их небольшого научного эксперимента не обнаружится внезапного прилива

сил, они поймут, что ты еще дышишь. Они придут к заключению, что я провалила задание, что ты оказался мне не по зубам, и отправят кого-нибудь другого закончить то, что я, по их мнению, начала. У нас есть время до того момента, когда они окажутся здесь и не обнаружат тел; они поймут, что я сбежала, и что тогда? Хрен знает что. Поэтому свяжись с ней прежде, чем мы скроемся.

— Эрин, хватит. Что бы это ни было, прекращай. Это не смешно.

— Я не пытаюсь тебя *рассмешить*. Я пытаюсь спасти твою тощую неблагодарную задницу.

Она отворачивается. Открывает коробку. Вынимает содержимое. Встает и поворачивается к нему лицом.

Роджер издает глухой булькающий звук, будто он пытается говорить, но рот у него наполнен бетоном. Улыбка Эрин тонкая, как лезвие ножа, и в два раза острее.

— Это Рука славы, — говорит она. — Я сделала ее из отрезанной руки убитой женщины, потому что знала, что рано или поздно она мне понадобится. Я уже так долго тебя защищаю. Так долго, что столько не живут, — спасибо твоей сраной сестре. Мне жаль так неожиданно на тебя все это вываливать, но я сомневаюсь, что мог бы найтись

подходящий момент, чтобы сказать: «Эй, Роджер, ты знаешь, тебя создали алхимики, которые хотят править миром, и они надеются, что вы с Доджер поспособствуете достижению этой цели».

Роджер знает эту руку. Прошло много времени, но есть вещи, которые он не в силах забыть: форму длинных элегантных и ловких пальцев Смиты, то, как она красила ногти в вызывающе яркие цвета, привлекая внимание к своим рукам, потому что считала их лучшей частью своего тела. Рука, которую держит Эрин, принадлежит девушке, погибшей в пожаре. Как эта рука могла здесь оказаться? Как она может до сих пор выглядеть такой свежей и словно живой? Но она здесь и выглядит именно так, и мир будто сошел с ума.

— Свяжись с ней, — повторяет Эрин.

В ее голосе нет любви. Может, ее там никогда и не было. А может, и была. В некоторых вещах трудно притворяться, особенно если вы столько лет вместе. А они вместе *много* лет. Их отношения, пусть и неформальные, пережили официальные браки его друзей и коллег; бывали дни, когда ему казалось, что они будут вместе всегда. Дни, когда ему казалось, что Эрин — девушка из его «долго и счастливо», что они смогут кирпичик за кирпичиком выстроить свое будущее, просто

держась друг за друга и никогда не расставаясь. Он доверял ей с самого землетрясения, с тех пор как она перестала быть странноватой соседкой Доджер, а стала его другом, близким человеком и, в конце концов, его возлюбленной.

Он не может в одно мгновение все это отбросить. Поэтому он делает глубокий вдох, пытаясь не обращать внимания на дурные предчувствия, и говорит своим самым серьезным тоном:

— Эрин, я хочу, чтобы ты объяснила мне, что происходит.

— Ого. — Глаза у Эрин удивленно распахиваются. — Каждое проявление действительно подпитывает каждое следующее. Неудивительно. Неудивительно. Я… — Она встряхивается, как мокрая собака, словно пытаясь сбросить с себя нежеланный контроль. — Я родилась в той же лаборатории, в которой создали Доджер и тебя. Вы были любимым проектом человека по имени Джеймс Рид, который уже больше ста лет пытается в соответствии с указаниями Асфодель Бейкер воплотить в человеческом теле универсальную концепцию, называемую Доктриной Этоса. Ваше поколение было первым, в котором он начал разделять Доктрину на две половины, как для того, чтобы носители больше походили на обыч-

ных людей, так и для того, чтобы ими было легче управлять. Тебе достался язык. Доджер досталась математика.

— А тебе явно досталось по голове, если ты думаешь, что я поверю во всю эту чушь.

Роджер начинает злиться. Это невыносимо. Это смехотворно, это какое-то сумасшествие; и это невозможно было бы проигнорировать, даже если бы Эрин не зашла так далеко, что упомянула Доджер. Он не говорит о своей сестре, если можно этого избежать. Он сделал свой выбор. Ему с этим жить.

(Под гневом прячется ужас, тягучий, густой и вязкий, как мед. Потому что то, о чем она говорит, невозможно, да, но ведь и квантовая запутанность между близнецами тоже невозможна, а еще невозможно, играя, вызвать землетрясение. Эрин помещает его жизнь в новый контекст, в котором все, во что всегда было невозможно поверить, внезапно обретает абсолютный смысл. И он этого не хочет.)

— А ты не хочешь узнать, для чего они создали меня?

Он не хочет.

— Конечно, хочу, — отвечает он. — Почему бы не поиграть? Так ради чего тебя создали твои

безумные хозяева-ученые?

— Не безумные ученые, а алхимики. Безумные ученые добрее к своим творениям.

Свободной рукой она берет стоящую на комоде миску с мелочью, немного наклоняет ее, чтобы показать ему содержимое, а затем подбрасывает монеты в воздух. Роджер не успевает и глазом моргнуть, как они падают на пол, образуя вокруг нее решетку. Каждая монета ложится так, будто под полом спрятана магнитная катушка: точно по вершинам воображаемых квадратов. Каждая монета лежит решкой вверх. Эрин ставит миску на место.

— Хаос и Порядок были одними из первых целей, — говорит она. — Может показаться, что они должны быть чем-то большим, чем Доктрина, но оказывается, что раз они первичны — они просты. Они используют марионеток с таким же происхождением, как у меня, почти так же долго, как работают над воплощением вашего. Я — живое воплощение Порядка, а ты будь *порядочным* мальчиком, выметайся из постели и двигай за мной.

— Это был ужасный каламбур, — на автомате говорит Роджер.

Он не может отрицать того, что видят его глаза.

Он всегда был хорош в том, чтобы объяснять невидимое, но это? Это физическая реальность. Он знает, что никаких магнитов под полом нет. Это зашло слишком далеко, чтобы быть розыгрышем.

Эрин хмурится.

— Ты все еще не воспринимаешь происходящее всерьез? Когда я не выйду на связь, они пошлют сюда людей. Они найдут тебя. И *убьют*.

— Точно. — Роджер скрещивает руки на груди. — А зачем ты мне помогаешь, если эти люди тебя создали?

— Потому что они создали меня так же, как создали тебя: как часть пары. Хаос и Порядок. Но мы не были так плотно связаны друг с другом, как вы с Доджер, — помнишь, как она вскрыла себе вены и едва не истекла кровью в овраге за домом? Я помню, как во временной линии, которой никогда не существовало, вы с ней спорили, точно ли необходимо, чтобы это случилось. Стоит ли вам вдвоем изменить ход событий. Но она сказала, что это происшествие должно остаться на временной линии, потому что благодаря этому я смогла убедить тебя поехать со мной.

Глаза у Роджера раскрываются все шире, так что кажется, что еще чуть-чуть, и они станут раз-

мером в пол-лица. Он сильнее обхватывает себя руками: ему нужна хоть какая-то поддержка.

— Ты не сможешь выжить, если она умрет, а она не сможет выжить, если умрешь ты, — кукушата так устроены, все в вас продумано до последней детали. А я прекрасно могу жить без своей второй половинки. Но это не значит, что я этого хотела.

Даррен, будучи олицетворением Хаоса, был угрюмым и вспыльчивым, жестким до комичности. Он хотел, чтобы все происходило в точном соответствии с правилами, которые понимал только он, потому что он сам их придумал. И он ее любил. О, как же он ее любил. Они были двумя сторонами одной монеты, не братом и сестрой, как воплощения Доктрины, но Адамом и Евой еще не сформированной вселенной, и они настолько подходили друг другу, что даже мысль о разлуке была болезненно невозможной.

Пока Риду не понадобился молоток, чтобы забить упрямый гвоздь. Пока Эрин не понадобилось обучение. Пока кукушатам не понадобился кто-то, кто наблюдал бы за их гнездом, пока они растут; кто-то, кого они могли бы принять за своего, хотя технически это невозможно. Свои друг для друга только они сами. Всегда только они.

Эрин бывала в этой точке много раз: временные

линии петляли, изменялись вокруг нее снова и снова. Ни в одной из них Даррена рядом не было. Она подозревает, что, как и попытка самоубийства Доджер, его смерть — одно из тех событий, которые невозможно изменить: на нем основывается ее готовность предать Рида. Она ненавидит их за это — ненавидит Роджера и Доджер, которые могли бы быть вместе, если бы перестали друг друга отталкивать. Она ненавидит их больше всего на свете, и она умрет уже в который раз, если это будет необходимо, чтобы они остались вместе. Она делала кое-что и похуже.

— Я не могу с ней связаться, — говорит он. — Она не… Мы не общались семь лет. Я не отвечал, когда она пробовала постучаться, и однажды она перестала выходить на связь.

— Попробуй.

— Я *не могу*.

— Из-за тебя нас обоих убьют, — говорит Эрин, но в ее голосе нет злости. Она достает из кармана телефон и швыряет его на кровать. — Попробуй обычным способом.

— У меня нет ее номера.

К его удивлению, она смеется. Это высокий, яркий, невозможно напряженный звук, будто лопается стекло.

— О, поверь мне, счастливый мальчик, это *никогда* не имело значения. Попробуй.

Роджер берет телефон. Набирает номер ее старой квартиры — которой не существует уже несколько лет. Ждет.

Три гудка, четыре, пять, он уже почти решает закончить звонок, когда слышится щелчок, а затем в его ухе раздается голос Доджер, и Доджер *говорит ему*:

— Это Доджер. Что вам нужно?

Во рту у него мгновенно пересыхает. Он с усилием сглатывает, а потом говорит:

— Эм. Привет, Додж.

— Роджер? — слышит он озадаченный голос. — Почему ты звонишь мне с крыши? Ты наконец решил обзавестись мобильным?

Во рту пересыхает еще сильнее. Он не может говорить.

(Потому что он это помнит; еще мгновение назад не помнил, и он даже не может сказать с уверенностью, что это уже *случилось* мгновение назад, но совершенно точно и однозначно случилось *сейчас*. Вот Доджер возвращается с кухни, куда ходила за лимонадом и брауни, и допытывается, зачем было разыгрывать ее звонком с крыши, если он знал, что она сейчас вернется. Он

отнекивается и говорит, что у него нет мобильного и он просто никак не мог позвонить. Это был прекрасный день. В воздухе пахло жимолостью. У брауни был вкус шоколада и марихуаны. И это случилось почти восемь лет назад.)

Сейчас она повесит трубку. Он это знает, поэтому снова тяжело сглатывает и говорит:

— Я соскучился. Вот и все.

— Придурок, — с глубокой нежностью говорит она.

Раздается щелчок — она поставила трубку на подставку (стационарные телефоны, тогда они еще пользовались стационарными телефонами), и теперь он слушает тишину.

Затем Роджер медленно опускает телефон и переводит взгляд на Эрин.

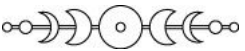
— Я только что позвонил Доджер.

— Ага, — говорит Эрин. — Но, похоже, ты набрал старый номер.

— Но как?..

— Собирайся. Возьми все, что нужно. — Она достает из кармана зажигалку, щелкает и начинает зажигать пальцы Руки. — К утру мы должны исчезнуть.

Еще мгновенье Роджер просто на нее смотрит. Затем быстро начинает собираться.



Последнее, что делает Эрин, — поджигает дом.

Она делает это стремительно и точно — прикасается Рукой славы к старому деревянному крыльцу и отступает назад, когда пламя начинает разгораться, разрастаясь слишком быстро, слишком прожорливо для обычного пламени. Когда огонь, потрескивая, полностью охватывает фасад дома, она отворачивается и идет к тротуару, где ее ждет Роджер.

— Надо побыть здесь пару минут, — говорит она. — Рука славы делает нас абсолютно незаметными для всех, кому не положено нас видеть, а нам до того, как уйти, нужно убедиться, что огонь как следует взялся за интерьер.

— Ты сожгла дополнительный корпус естественных наук, — говорит он.

Если Эрин и удивлена непоследовательностью его заявления, она этого не показывает. Она просто кивает.

— Да. Я его сожгла. С телом вашей подруги внутри. Мне пришлось. Это был приказ.

— От людей, которые, если верить тебе, нас «создали». — К концу фразы его голос ломается от горечи, так что последние два слога слова «созда-

ли» почти нельзя разобрать. — И они же сказали тебе убить Смиту?

— Да.

Из соседних домов выходят люди, машут руками в сторону пожара, кричат и говорят друг другу набрать 911. Некоторые выглядят слишком заинтересованно. У таких даже при виде свечи в глазах появляется блеск, и в ближайшие дни им будет сниться огонь. Опасные люди.

— Зачем?

— Потому что по вашей крови она поняла бы, что вы не настоящие. Что ты и твоя сестра были *созданы*, а не рождены. Вы слишком похожи, чтобы быть разнояйцевыми, и слишком разные, чтобы быть однояйцевыми. Она была очень умной, и перед ней встала сложная задача. Она поняла бы, что что-то не так. Ваши создатели, не хотят, чтобы кто-то что-то разнюхал про их дела. Ее нужно было убрать.

— Но…

— Мы уже сто раз это обсуждали. Поверь. Я даже несколько раз позволяла ей жить, когда мне казалось, что мы можем рискнуть. И знаешь, что происходило? Мы оказывались в дерьме гораздо быстрее. Быстрее приходили к нулевой точке. У тебя было слишком мало времени, чтобы осво-

иться в языке собственной кожи. У Доджер было слишком мало времени, чтобы понять, как работать с числами. Мы умирали быстрее. Так что не спорь со мной. Смерть Смиты — это отстой. Меня воротит оттого, что я ее убила. Но она умерла быстро и чисто, и мы смогли столько времени жить спокойно, и по итоговому счету я выбираю такой вариант. Свою жизнь, а не ее, точка.

С мягким треском обрушивается крыша. Кто-то все-таки позвонил в 911: воздух наполняется звуком сирен. Постепенно до Роджера доходит, что никто не показывает на них пальцем. Никто не подходит, чтобы спросить, все ли с ними в порядке. Они много лет жили по соседству, а теперь соседи ведут себя так, будто их не существует.

— Что… — начинает он.

— Я же говорила.

Эрин берет его за руку и ведет к ближайшей группе глазеющих на пожар людей.

— Как думаешь, они успели выбраться? — спрашивает один из них. Он стоит на земле босиком, в одном халате, наброшенном на голое тело.

— Надеюсь, да, — отвечает какая-то женщина. Ее взгляд скользит мимо Роджера, как будто его там нет. Для нее его в самом деле нет. — Они были такой милой парой.

— Они уже говорят о нас в прошедшем времени, — говорит Эрин. — Так позволь им тоже стать твоим прошлым. Пойдем. Нам нужно найти твою сестру, пока не стало слишком поздно.

После землетрясения Роджер не любит водить машину, но время от времени этого не избежать. Их машина припаркована на улице. Никто из соседей не замечает, как он заводит ее и отъезжает. Люди расступаются, чтобы избежать столкновения, но никто не обращает на них внимания, никто не говорит: «Эй, вот Роджер и Эрин, они живы». Люди просто продолжают пялиться на пожар, и Роджер и Эрин под сенью Руки славы уезжают прочь, в неопределенное будущее.

Галилей

Лента времени: 14:31 PDT, 16 июня 2016 года (тот же день)

Доджер звенит ключами, отпирая дверь, — в руках у нее сумка и два пакета продуктов. Яркое, горячее и совершенно беспощадное солнце жарит ей спину и плечи.

Из-за засухи жимолость, которую садовник по ее просьбе обычно обрабатывает так, чтобы она обвивала дверной проем, высохла, превратившись в тонкую цепкую лозу, так что в такие моменты она не дает никакой тени. Это не очень удобно, но пара лишних баночек солнцезащитного крема — небольшая плата за то, что штату будет чуть больше хватать воды.

(Она подсчитала: чтобы смыть все эти крема с кожи, воды на самом деле нужно больше, чем для ее жимолости. Но у нее достаточно элитный район, чтобы здесь хватало снобов, и достаточно эксклюзивный, чтобы хватало любителей совать нос к соседям. В водоканал поступило несколько «анонимных» жалоб на домовладельцев со слишком зелеными лужайками или чересчур

«живыми» на вид садами. Даже мисс Стюарт, живущая на углу улицы, получила порцию «водного позора» из-за своих роз, а ведь ей уже восемьдесят, и розовым кустам не сильно меньше. Так что немного лишней воды в душе — тоже небольшая плата, на сей раз за то, чтобы соседи, которым больше нечем заняться, оставили ее в покое.)

В доме прохладно и сухо. Пахнет чистотой. В тех редких случаях, когда у нее бывали гости, эта успокаивающая чистота казалась им неестественно стерильной, и они нервно спрашивали, не поработала ли здесь клининговая служба непосредственно перед их приходом. После нескольких таких вопросов она заключила, что к себе лучше никого не приглашать. В конце концов, это ее дом. Она может содержать его в таком виде, в каком хочет, если это не подвергает опасности ни ее саму, ни других людей. Ладно бы она разводила тараканов в кладовке или ради экспериментов выращивала в ванной плесень — тогда недоумение и даже отвращение было бы оправдано. Но она никогда ничего такого не делала. Ей просто хотелось поддерживать достаточный уровень чистоты, чтобы каждый предмет обстановки мог идеально выполнять свои функции. Разве это не заслуживает поощрения?

Дверь захлопывается у нее за спиной, и она идет на кухню. Некоторые из купленных продуктов нужно срочно убрать в морозилку, пока они не разморозились. Другие — просто убрать, потому что продуктам не место на кухонном столе. Как только все это будет сделано, она сможет спокойно вернуться к работе в твердой уверенности, что выполнила все намеченные на сегодня дела по хозяйству и пообщалась с человечеством. Психолог сказал, что по возможности ей нужно взаимодействовать с людьми каждый день; он считает, что склонность Доджер к самоизоляции нездорова и ситуация не изменится, если не прилагать усилий.

Доджер Чезвич, гуру самосовершенствования для современных нердов, ищет помощи в совершенствовании самой себя. Это было бы даже забавно, если бы так не раздражало.

Она заходит на кухню, ожидая, что ее встретят тишина, спокойствие и чистота. Также она ожидает, что будет темно: дом не так нагревается, когда перед уходом она плотно задергивает все шторы. С покупками в руках открыть шторы довольно сложно, поэтому Доджер поступает просто, но неэкологично: включает свет. Энергосберегающие лампочки оживают, освещая кухню

и столовую.

Здесь действительно чисто, чисто настолько, что практически с любой поверхности можно есть, как с тарелки, — и тихо, да. Но она здесь не одна.

За обеденным столом сидит ее психолог, доктор Питерс. В руке у него пистолет. Пистолет направлен на нее.

От странности этой картины Доджер замирает; выражение ее лица становится глубоко озадаченным. Доктор Питерс молчит. Она тоже молчит несколько долгих мгновений. Затем спрашивает вежливо-обескураженным голосом:

— Это новая терапевтическая техника? Я одобрила ее, когда подписывала новый страховой договор на прошлой неделе? Потому что я не думаю, что мне это нравится.

Она точно знает, что ничего такого не одобряла. Доджер, конечно, не любительница читать, но она никогда не подписывает то, что не понимает. Для человека ее профессии подобный поступок был бы равносилен карьерному самоубийству.

— Поставьте сумки, мисс Чезвич, — говорит доктор Питерс. — Не хотелось бы расстраивать вас больше, чем необходимо.

— Не вижу связи между этими двумя предло-

жениями, — говорит Доджер, опуская пакеты на стол. Сумку она держит в руке. Это большая коричневая кожаная сумка, купленная на аванс от ее первой книги. Она стоила больше, чем Доджер собиралась потратить, но, сделав необходимые расчеты, она поняла, что подобную сумку нужно будет купить только один раз, потому что она прослужит ей всю жизнь: классический фасон никогда не выйдет из моды, и она достаточно прочная, чтобы выдержать все издевательства, которым Доджер подвергает свои вещи. Сумка у нее уже пять лет и до сих пор прекрасно выполняет свою часть негласной сделки.

— Вам не нравится беспорядок, — говорит доктор Питерс. Встает. Пистолет по-прежнему направлен на Доджер. — Боюсь, беспорядок нам все же придется устроить. Тут ничего не поделаешь. Но, по крайней мере, так вы будете знать, что пол замарает только ваш труп.

— А-а-а, — говорит Доджер. Все внутри нее одновременно бушует и замирает, страх с яростью борются за контроль. Как он посмел войти в ее дом, в ее пространство, и вот так ей угрожать? Ради всего святого, он же ее *психотерапевт*. Предполагается, что он один из тех, кому она может доверять. В этом мире и так достаточно мало

таких людей. Как он *посмел*? — Позвольте спросить, зачем вам меня убивать? Я не храню деньги в сейфе под матрасом. У меня нечего красть. Вы заработали бы гораздо больше, оставаясь моим психотерапевтом.

— Боюсь, это вас не касается, — говорит доктор Питерс, делая шаг вперед.

Доджер наклоняет голову. «Комната пятнадцать футов в длину и одиннадцать в ширину, высота потолков — восемь футов. Рост доктора Питерса шесть футов три дюйма, значит, его средний шаг — тридцать один дюйм. Импульс плюс скорость плюс скорость передачи кинетической энергии равны…»

Доктор Питерс целится. Его рука напрягается. Доджер приходит в движение. Это *ее* пространство, *ее* место, и все, что ей нужно знать, содержится в числах. Она хватает из пакета банку куриного супа с лапшой и что есть силы швыряет ее в стену справа от него. Банка пролетает в дюйме от его уха, и он начинает смеяться, но в этот момент банка ударяется о стену *точно* под идеальным углом и, отскочив от стены, бьет его по голове. Доктор Питерс перестает смеяться. Доктор Питерс спускает курок.

Но Доджер уже нет на прежнем месте. Это ее

пространство; она знает все его секреты. Дом — это математическая модель, и только она знает его и снаружи, и внутри, досконально знает каждый уголок. Дом — не живое существо, это математическое выражение, и она перемещается по своему дому со скоростью, совершенно недоступной тому, кому нужны глаза, чтобы видеть, как расположена мебель, как устроено окружающее пространство. В этот момент Доджер Чезвич *и есть* окружающее пространство, и она набирает скорость.

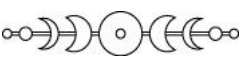
Следом в доктора Питерса прилетает кофейная кружка — она возникает словно из ниоткуда и ударяет его прямо по горлу. Он рычит от гнева и неожиданной боли. Все должно было происходить совсем не так. Предполагалось, что маленькая математичка будет рыдать, умолять, извиняться за то, что всегда была так эгоистична у него на приемах. Предполагалось, что она скажет, что ошибалась, сделает все что угодно, чтобы себя спасти, *все что угодно*. Эта работа и вообще вся эта ситуация были для него испытанием. И сейчас он предвкушал награду. Вместо этого девчонка стала привидением, перемещающимся с места на место, как будто нашла способ сворачивать ткань пространства.

В него летят все новые предметы. Стеклянное пресс-папье, кактус в горшке, камень. Зачем ей *камень* в этом чертовом *доме*? Но это неважно, потому что чем больше предметов она бросит, тем точнее он поймет, где она находится.

— Прекращай, пока у меня еще осталось терпение, — говорит он. — Мне надо выстрелить в тебя всего один раз.

— Верно, — говорит она у него за спиной.

Он разворачивается. Доджер стоит прямо перед ним, ближе, чем на полруки. Она выглядит… бодрой (лучшего слова ему на ум не приходит), будто все время, что он ее знал, она жила как во сне и только сейчас решила открыть глаза. Тостер врезается ему в висок с такой силой, что он чувствует, как поддается кость, а затем он проваливается в темноту, и это больше не имеет значения.



Тяжело дыша и крепко сжимая тостер, Доджер стоит над телом своего психотерапевта.

Это хороший тостер. Почему она раньше не замечала, насколько это хороший тостер? На его блестящей боковой поверхности вмятина, в

точности повторяющая размер и форму черепа доктора Питерса. Наверное, больше он не будет делать тосты. Как жалко. Это был хороший тостер.

Ее сумка начинает звонить.

Сперва Доджер смотрит с недоумением, но потом до нее доходит. Телефон. Это ее телефон. Она ставит тостер на стол, она достает телефон из сумки и смотрит, кто звонит. *Неизвестный номер.* Наверное, реклама или кто-нибудь собирает пожертвования на политическую кампанию. Лучше проигнорировать этот звонок. У нее есть проблемы поважнее.

С другой стороны, иногда проблемы поважнее решаются легче, если временно от них отстраниться. Так что она скользит пальцем к маленькой зеленой иконке «Ответить» и подносит телефон к уху.

— Слушаю?

— О господи, это сработало! — раздается задыхающийся, взволнованный и такой *юный* голос.

Ее собственный голос. Доджер непонимающе хлопает ресницами. Хмурится. И говорит единственное, что может сказать в сложившихся обстоятельствах:

— Какого хрена тут происходит?

— О! Хм. Привет, Доджер из будущего. Это Доджер из прошлого. Точнее, Доджер из десятого декабря 2008 года. Я бы позвонила вчера, но после землетрясения связи практически не было. Я добиралась до Пало-Альто на попутках. Звоню из дома наших родителей. — Нервный смешок. — Это так *странно*. Я и раньше разговаривала с будущим, но сама звоню в первый раз. Как думаешь, это посчитают как междугородний?

Доджер тяжело опускается на пол. Она не помнит, чтобы делала подобный звонок, — совсем не помнит, — но с каждым словом другой Доджер ее все сильнее охватывает чувство дежавю. Она уверена, что к тому моменту, как положит трубку, она будет помнить разговор с обеих сторон. Математика меняется.

— Почему ты мне звонишь? *Как* ты мне звонишь?

— Оу. Хм. После того как Роджер позвонил нам из будущего, я открыла наш календарь для планов на тридцать лет и обвела первую попавшуюся дату. Я бы не смогла объяснить, как пришла к решению, но интуитивная математика иногда не хуже математики из учебников, если работаешь не на оценку.

— А этот номер?

— Это ведь и мой номер тоже, просто еще нет. Я набрала самую логичную комбинацию, какую только смогла придумать.

Все это не имеет смысла, и потому каждая мелочь абсолютно осмысленна. Все, что говорит младшая Доджер, укладывается в понимание мира, каким его видит старшая Доджер, — мира, состоящего из математики. Просто время от времени математика устанавливает собственные правила — когда захочет. Математике это позволено.

— Зачем ты звонишь?

— А ты не знаешь?

— Думаю, нет, пока ты мне этого не скажешь. Для меня всего этого еще не было. Я — это будущее, но не *твое* будущее, пока ты не закончишь звонок.

Это должно ужасать — мысль, что она меняет уравнение, из которого следует ее реальность. Потому что что-то *точно* изменится. Она в этом уверена, как и в том, что с каждой секундой у нее все меньше шансов избежать превращения в будущее той девушки, которой она пока еще никогда не была.

(А кроме того — такое облегчение знать, что время можно вот так переписать. Теперь многое

в ее жизни становится объяснимым. Хороший математик всегда готов перепроверить свою работу, изменить части, не соответствующие общему выражению. Вот что она сейчас делает. Просто… изменяет части и делает себя лучше. Она из прошлого стала бы звонить только для того, чтобы сделать будущее лучше.)

— Мне позвонил Роджер, — говорит ее прошлое «я», а Доджер в настоящем закрывает глаза и молча слушает каждое идеальное, болезненное слово.

Междугородний звонок

Лента времени: 11:15 PST, 10 декабря 2008 года (семь лет назад, время разматывается)

Когда Доджер приходит в квартиру, там никого нет. Все окна разбиты. По фундаменту пошли новые трещины. Она быстро делает вычисления на земле, на узкой полоске, считающейся их двором (она могла бы проделать все это в уме, но написанному легче доверять), и решает, что, если она не будет тормозить, это достаточно безопасно. Если она почувствует запах газа или дыма или еще какой-нибудь запах, которого там быть не должно, она просто выйдет. А пока этого не случилось, она может поискать утешения в разрушенном привычном укладе и собрать свои вещи.

Она пока не знает, куда отправится, — наверное, к родителям, — но точно не останется здесь. Не после того, *как* Роджер на нее смотрел — со смесью страха, ненависти и тоски. Не после того, как погибла Смита. Может быть, бегство — это не самый взрослый поступок, но Доджер никогда особо не доверяла взрослым. Иногда логика подсказывает, что правильнее всего сделать то, что

сделал бы ребенок.

Книжные полки в коридоре рухнули, их содержимое валяется на полу.

«За лесоградной стеной», упав, открылась прямо посередине — на изображении Невозможного города во всем его золотом и ртутном великолепии. На секунду Доджер замирает, изучая изображение. Что-то в нем…

Нет. Сейчас не время. Она встряхивается и начинает копаться в грудах вещей и мусора, время от времени останавливаясь, чтобы извлечь особенно любимое детское сокровище. В ее жилище никогда не было реальной системы хранения. По крайней мере, потолок не обрушился; по крайней мере, стекла не так много. По крайней мере, они не умерли. Пусть Роджер смотрит на нее как на чудовище, но они не умерли. Может быть, они смогут это преодолеть.

Она заходит в свою комнату. Здесь практически не чувствуется, что что-то случилось, и ей становится чуть легче. Повсюду куски штукатурки с потолка, маркеры рассыпаны по полу, да подушка свалилась с кровати.

Каким-то образом землетрясение стерло записи с половины стены, превратив выкладки в единое черное пятно. Она не понимает, как это могло

случиться, но не собирается игнорировать то, о чем сообщают ей собственные глаза.

Доджер садится на кровать и закрывает лицо ладонями. Искушение дотянуться до Роджера огромно. Ей хочется с ним поговорить. Хочется знать, что все в порядке. Но все *не* в порядке. Они породили землетрясение. Она не знает как, не знает почему, но она точно знает, что именно они вызвали его, когда работали вдвоем.

Они опасны. Может быть, не по отдельности, но вместе? Вместе они могут разрушить мир. Это не слишком приятная мысль. Но другой мысли у нее нет.

Звонит телефон.

Доджер опускает руки. Может быть, это дежурный звонок от родителей, может быть, это Кэндис или Эрин хотят убедиться, что она жива. Ей даже в голову не приходит, что это может быть Роджер. Сегодня он не позвонит. Может, не позвонит никогда.

Она отвечает. (Вокруг нарастает и разбивается ощущение жамевю, потому что в первый раз она *не отвечала* на звонок: в первый раз это было путаное голосовое сообщение, и его оказалось достаточно, чтобы все стало немного лучше, чтобы эта ситуация повторилась еще раз. Этот раз не

первый. И они никогда еще не были так близки.)

— Алло?

— Доджер. — Это и голос Роджера, и нет: он старше, звучит опустошенно, Роджер еще не достиг крайней степени истощения, но близок к тому, держится одной только силой воли. — Я знаю, ты злишься на меня, и понимаю, что я последний человек на свете, с кем бы ты хотела сейчас разговаривать, но, пожалуйста, я тебя прошу, не вешай трубку.

(*В прошлый раз это было сообщение, это было голосовое сообщение; мы ошиблись, ошиблись как минимум еще один раз, хотя думали, что все делаем правильно.*)

— Злюсь? — Смех булькает в горле. Она подавляет его. — Почему я должна на тебя злиться? Я за тебя *переживаю*. Ты так быстро убежал, что у меня даже не было шанса сказать тебе, что мы справимся. Ты в порядке? Голос у тебя не очень.

— На самом деле я совсем не в порядке. Но… разве сегодня не было землетрясения? Это другой день?

— А, — говорит она: все становится на свои места, мир снова кристально ясный, все числа выстраиваются, приготовившись к переменам. Есть только одно объяснение происходящему,

потому что Роджер не стал бы ей звонить, точно не сейчас. — Ты в будущем, да?

В отличие от нее, он позволяет себе рассмеяться. Смех просачивается между слов:

— Ты догадалась даже быстрее, чем я ожидал. Я очень скучал по тебе, Додж.

Итак, получается, им не удалось примириться: тишина, которая эхом отдается у нее в черепе, заполняя пространство, где должен быть Роджер, становится нормой. Она вздрагивает.

— У меня еще не было времени соскучиться, но звучит так, будто я должна быть к этому готова, — говорит она, стараясь, чтобы голос не дрожал. — Хотелось бы этого избежать.

— Мне тоже, — говорит Роджер, и она ему верит. — Но мне — вернее, мне в твоей временной линии, ему — ему нужно время, чтобы суметь принять то, что произошло. Ты всегда адаптировалась быстрее. А ему — мне — нужно это принять, потому что оно никуда не денется.

— Я следую за числами. Они говорят мне, что делать.

— Порой я жалею, что математика досталась не мне, — говорит он и, немного помолчав, продолжает: — Роджер в твоей временной линии — идиот. Он не готов принять то, что ему необ-

ходимо знать, и отталкивает тебя, потому что боится. Я не могу на это повлиять. Фокус, который позволяет мне позвонить тебе, не работает, если я пытаюсь позвонить себе самому, потому что я не математика, я — слова, а слова могут много чего изменить, но только не законы времени. Ты единственная, до кого я могу дотянуться таким способом. Поэтому, пожалуйста, Додж. Я хочу, чтобы ты дала ему время. Я хочу, чтобы ты дала ему самому к тебе прийти. Но я хочу, чтобы ты помнила, что я люблю тебя. Что *он* тебя любит и не перестанет любить ни на секунду, даже когда будет пытаться убедить себя, что все эти годы вас связывала какая-то ужасная *folie à deux*.

— У нас нет общего бредового расстройства, — протестует Доджер. — Все это реально. Если исключить квантовую запутанность, мы бы никогда не встретились.

На нее накатывает волна беспокойства, потому что они бы *все равно* встретились, разве нет? Они бы встретились в каком-то помещении, которое она практически не помнит, но и не может до конца забыть, и у них были бы синяки на руках, и остатки седативных препаратов в венах, и они бы прижались друг к другу и поклялись никогда больше не сбиваться с пути. Именно там все

и началось. Именно тогда они узнали, на что способны.

Но это видение смутное, как в дымке, и Доджер не успевает за него ухватиться: оно растворяется в тенях и чувстве дежавю. Это чувство преследует ее всю жизнь, сильнейшее чувство, что практически все, что она делает, уже случалось раньше, по меньшей мере раз, а то и больше. Она уже почти к этому привыкла. Может быть, все живут вот так, с чувством неопределенности и ложными воспоминаниями.

— Я знаю, — говорит Роджер, и кажется, что он страшно устал, и она слышит что-то на фоне его молчания — что-то похожее на звуки выстрелов. Кожа у нее покрывается мурашками.

— Ты в порядке?

— Нет, — говорит он. — Я облажался, Додж. Я сбежал после землетрясения, и, когда я нуждался в тебе, тебя не оказалось рядом, потому что ты… Я не знаю. Может быть, ты меня разлюбила, а может, просто устала иметь дело с моей сраной убежденностью в том, что я все знаю лучше всех. Но это все неважно, потому что я убежал, и ты думала, что я не хочу, чтобы ты пошла за мной, так что, когда я в заднице, мы оба в заднице. Мне нужно, чтобы ты не ставила на мне крест, окей?

Вот и все. Мне нужно, чтобы, когда я к тебе приползу, ты вспомнила этот звонок и была готова дать мне еще один шанс. Пожалуйста.

— Я никогда не поставлю на тебе крест, — говорит она, и ее голос звучит так уязвленно и так молодо, что у него сжимается сердце. — Я могу что-нибудь для тебя сделать? Я имею в виду, не для тебя нынешнего, а для тебя, который звонит мне из будущего. Тебе нынешнему я дам время, и, когда он ко мне вернется, я буду готова, если ты уверен, что он вернется.

Роджер смеется, тихо и болезненно.

— Я бываю тупицей, бываю таким козлом, но я никогда не был настолько глуп, чтобы убежать от тебя навсегда. Он придет. Я приду. И тогда ты сделаешь так, чтобы эта версия меня никогда не существовала, потому что в этом не будет надобности. Ты можешь изменять математику.

Мгновение Доджер молчит, переваривая услышанное вместе с отдаленными звуками выстрелов. Наконец, она спрашивает:

— Я с тобой там, в будущем?

— Да.

— Какая я?

— Одинокая.

Всего лишь одно слово, но сколько всего оно

в себе заключает — как знак равенства в конце уравнения. Доджер закрывает глаза, и ей так хочется отнестись к этому жесту так же, как ей часто случалось раньше: как к предлогу потянуться к Роджеру и больше не быть одной. Но она знает, что не может.

Будущий Роджер вне пределов ее досягаемости, а Роджеру в настоящем необходимо, чтобы она на какое-то время оставила его в покое, чтобы он когда-нибудь снова подпустил ее к себе. От этой мысли выносить пустоту в голове не становится легче.

— Логично, — говорит она. — Скажи ей, что я постараюсь для вас что-нибудь сделать. Я буду ждать тебя. Я не сдамся.

— Это все, что мне нужно было услышать.

В голосе Роджера она слышит готовность умереть. Доджер охватывает холодный ужас, потому что она нисколько не сомневается, что он сейчас повесит трубку, что их короткое общение — то, что есть, или было, или только будет — подходит к концу. Также она понимает, что, как только он повесит трубку, он перестанет существовать — или потому, что умрет, или потому, что изменил уравнение так глубоко, что уже никогда не станет этим Роджером. В любом случае она

просто не может позволить ему уйти, пока не скажет еще кое-что.

— Роджер? — быстро говорит она.

— Да?

— Я люблю тебя.

Они говорят это не так часто, как должны бы, потому что это странная любовь — и филия, и агапэ, и расстояние, и время. Она не вписывается в современные определения. Как и они сами.

Она слышит его улыбку.

— Спасибо, Додж.

— Она тоже тебя любит. Будущая я. Иначе и быть не может.

— Я знаю. Но… спасибо, что сказала.

Затем связь обрывается, и теперь она по-настоящему одна: не разговаривает с будущим, не может дотянуться до настоящего.

Не отрывая взгляда от телефона, Доджер Чезвич сползает на пол, и наступает тишина.

Виток

Лента времени: 14:31 PDT, 16 июня 2016 года (настоящее возвращается)

Младшая Доджер замолкает. Повисает тишина. Наконец она осторожно спрашивает:

— Ты еще здесь?

— Здесь, — подтверждает старшая Доджер, та Доджер, которая существует в 2016 году и только что ударила мужчину тостером по голове. Теперь она помнит этот звонок. Помнит голос Роджера на фоне выстрелов и спокойный страх, который разлился у нее внутри, как чернила по хлопку, окрасив ее ужасом от макушки до пят.

(С другой стороны, она помнит, как вернулась в дом, собрала чемодан и уехала, не сказав никому ни слова. Она помнит, как подумала, что если он отвернулся от нее, то и она от него отвернется. Эта версия событий уже становится нечеткой, размывается, как те уравнения на стене после землетрясения. Скоро от ее временной линии останется лишь бледное «что, если…». Наверное, ей должно быть страшно — исчезает момент времени, определивший многие годы. Но ей не

страшно — ей становится спокойнее, уютнее, как будто она все расставляет на свои места, так, как и должно было быть с самого начала. Дежавю, преследовавшее ее всю жизнь, наконец обретает смысл.)

— Окей, ладно, — говорит младшая Доджер. Затем удивленно добавляет: — Я что, правда это сделала? Позвонила в будущее? Потрясающе. У нас в будущем есть летающий автомобиль?

— Слава богу, нет, — отвечает старшая Доджер. — Представь, что будет, если у некоторых знакомых нам водителей появится летающий автомобиль. Представь *Роджера* на летающем автомобиле. Да он передавит всех за неделю.

Младшая Доджер смеется.

— Наверное, ты права. Я хочу спросить тебя… у-у-у, вообще-то обо всем подряд, но, думаю, лучше не создавать еще больше парадоксов.

— Звучит разумно, — говорит старшая Доджер. — Если я расскажу тебе о своей жизни, это может изменить твои поступки, и тогда я вообще могу перестать существовать.

— Да, лучше не рисковать.

— Точно.

Она *должна* существовать. Не эгоизм, не самосохранение заставляют ее так думать: она должна

существовать, потому что именно у этой ее версии на полу кухни лежит мужчина без сознания. Ее версию хотели убить. Нельзя допустить, чтобы она стала более доверчивой или не такой замкнутой. Что, если бы у нее были дети и он взял бы их в заложники? Что, если бы у нее были питомцы? Что, если бы ей чуть больше нравилось покурить после обеда и она пришла бы домой обкуренная и заторможенная? Нет.

Это та ее версия, которая может выжить в сложившихся обстоятельствах, поэтому именно эта ее версия не должна исчезнуть.

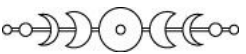
— Не знаю, позвоню ли я тебе еще когда-нибудь. Ну, возможно, это плохая идея. И мне больше не о чем тебе рассказать. Пока что.

— Звони, если что-то изменится; но лучше все оставить как есть, и пусть это будет одноразовой акцией, — говорит старшая Доджер. — Было приятно с тобой поговорить.

— С тобой тоже. Всегда было интересно, как звучит мой голос со стороны.

Похоже, самое время закончить звонок. Старшая Доджер смеется и отключается, снова становясь Доджер-из-настоящего, *единственной* Доджер. Той версией Доджер, у чьих ног лежит без сознания доктор Питерс.

Вздохнув, она кладет телефон обратно в сумочку и идет за своим тревожным рюкзачком на случай землетрясения. Ей понадобится веревка.



Когда доктор Питерс приходит в себя, он привязан к одному из обеденных стульев. Это крепкие дубовые стулья, часть антикварного гарнитура, который Доджер купила на «Крейглисте»; веревка, которой он связан, предназначена для скалолазания — он напрягает мышцы, пытаясь ослабить узлы, но в награду веревка только оставляет ему небольшой ожог.

— Можете открыть глаза, — говорит Доджер. Голос у нее раздраженный, будто ей совсем не так хотелось провести вечер: это голос женщины, чье терпение лопнуло, оставив за собой проклятые пустоши раздражения. — Нет смысла притворяться, что вы все еще в отключке: вы извиваетесь, как рыба на крючке.

Он открывает глаза. Перед ним близнец стула, к которому он привязан, и на нем сидит Доджер; она скрестила ноги и положила руки на колени. Он уже знаком с этой позой: именно так она садится на каждом сеансе, мало-помалу, слово за

словом доверяя ему свои тревоги и печали. Язык никогда не был ее сильной стороной, и язык, которым она пытается описать свое внутреннее состояние, — не исключение. Иногда ему интересно, останавливалась ли она когда-нибудь, чтобы услышать саму себя, все те противоречия и ненужные сложности, на которых она построила свою жизнь. Он никогда ее об этом не спрашивал. Это выходило за рамки его обязанностей. Он был ее психотерапевтом только потому, что ей нужен был психотерапевт, и потому что так за Доджер — проектом, добившимся самой большой известности, — проще было следить.

Даже Рид был удивлен, когда девушка решила писать книги; ведь она была предназначена для науки. Кукушки, которым досталась математика, всегда показушнее кукушек, которым достался язык; волосы и глаза у них ярче, движения быстрее, и они самой природой предназначены вызывать огонь. Но это не значит, что им нравится быть в центре внимания. Большинство из них были рады при малейшей возможности скрыться с глаз, все глубже и глубже погружаясь в собственные проекты и появляясь на поверхности, только если их удавалось уговорить.

Доджер нарушила столько правил, о которых

даже не подозревала, что доктор Питерс был бы впечатлен, если бы не был в ужасе.

— Кажется, произошло недоразумение. — Он старается, чтобы его голос звучал искренне, будто они друзья. — Развяжите меня, и мы об этом поговорим.

— Недоразумение, что вы пытались меня застрелить или что промахнулись? — В ее голосе слышится неприкрытое любопытство.

Кровь стынет у него в жилах, кожа покрывается мурашками, тело пробивает озноб.

— Я не уверен, что вы правильно поняли то, что видели, но…

— Я уже позвонила в полицию, — говорит она, — и сообщила, что соседские дети поджигали петарды в овраге. Они приезжали, пока вы были в отключке. Вы знали, что я выросла всего в миле отсюда? Я прекрасно знаю, насколько взрыв петарды похож на выстрел из пистолета, если ее правильно запустить. Никто не будет вас искать. Есть только вы и я, и сейчас вы расскажете мне, зачем пытались меня убить.

— Я не обязан тебе ничего рассказывать.

— Наверное, это правда. А я не обязана вас отпускать. И это тоже правда, не так ли? Потому что никто не знает, что вы здесь.

Слова появляются сами собой, потому что она говорит вполне искренне. Да, она не знает доктора Питерса настолько хорошо, как думала раньше, — он же ее *психотерапевт*, ради всего святого, он не должен в нее *стрелять*, — но знает его настолько, чтобы понимать, что он не отправился бы на задание в одиночку, если бы у него были помощники. Он бы вообще сюда не пришел, если бы кто-нибудь мог сделать грязную работу за него. Она слышала, как он говорил своему секретарю отказывать пациентам с просроченными страховками или тем, чьи случаи были слишком сложны и ему не хотелось с ними возиться. Он не стесняется переводить стрелки, если есть на кого их перевести.

– *Они* знают, где я, — чуть ли не с триумфом возвещает он.

В том, как загораются глаза Доджер, нет никакого «чуть». В этот момент она выиграла, и это значит, что он каким-то образом проиграл.

— Кто? — сладко спрашивает она, подаваясь вперед. — Видите ли, сейчас перед нами стоит бинарный выбор. Либо вы говорите, и я узнаю все, что нужно, и стараюсь не так сильно винить вас за попытку меня убить. Либо не говорите, и я ничего не узнаю, но тогда я буду вынуждена

избрать иной способ действий. Не знаю, сколько у вас есть времени. Не думаю, что много. Тик-так, как говорится. Думайте быстрее.

— Мисс Чезвич, не знаю, чего вы надеетесь добиться, но уверяю вас, удерживать меня в плену — не слишком хорошая идея. Если вы отпустите меня прямо сейчас, я обещаю не выдвигать обвинений. Вы очень больны, но мы вместе над этим поработаем и, полагаю, сможем добиться положительных результатов.

— Не-а, — говорит она дружелюбно. — У вас не было опции пудрить мне мозги. Можете сказать, кто вас послал, а можете держать рот на замке, но не нужно убеждать меня в том, что я сумасшедшая. Попытаетесь снова или выберете альтернативу отрицания? Я буду счастлива в любом случае.

— Никто меня не посылал.

— Кто-то вас послал.

— Уверяю вас, я действовал по собственной воле.

— Да вы же сами себе противоречите, выбирая между мученичеством и попыткой убедить меня, что я каким-то образом заманила вас в свой дом, а потом напала без предупреждения. Почему я должна верить вашему заявлению, что вы дей-

ствовали в одиночку? Вы не годитесь для такого дела. — Она откидывается на спинку стула. — Вы в самом деле психотерапевт?

— Да, — говорит он уязвленно. — Я думал, что довольно сильно помог вам.

— И да, и нет. Сейчас я еще раз пробежалась по нашим сеансам. Мне всегда казался интересным ваш способ реагировать на мои рассказы о социальной изоляции — вы говорили мне, что я должна разобраться со своими эмоциональными конфликтами, прежде чем пытаться заводить друзей. Я ждала, что вы отправите меня в группу поддержки или еще что-то подобное, а не будете все время твердить: «Нет-нет, будьте затворницей, пока я не скажу вам, что хватит».

— Но вы следовали моим советам.

— Следовала. Потому что именно это мне хотелось от вас слышать, и именно это — делать.

Она спокойно на него смотрит, и впервые с того момента, как зазвонил телефон и голос доктора Рида приказал ему задействовать пистолет, доктор Питерс по-настоящему напуган. Она не испытывает беспокойства. Не испытывает дискомфорта. Она расслаблена, будто кошка, играющая со своей будущей пищей. Но она не должна быть такой. Кукушки-математики, нерв-

ные, упрямые и сверхлогичные, не похожи на нее. Она должна была уступить, должна была умолять его сказать, что ей делать. Пистолет не может действовать независимо от курка.

— Вам не кажется, что нам стоит обсудить, почему вы так стремились к социальной изоляции?

Она смеется — действительно *смеется* — и говорит:

— Тогда я была другим человеком. Буквально. Люди подобны уравнениям, доктор. Их всегда можно переписать.

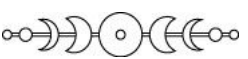
Кто-то стучит в дверь. Она поворачивает голову, взгляд у нее проясняется, и она снова смотрит на него:

— Последний шанс. Кто вас послал?

— Никто.

— Дело ваше. — Она встает. — Я вернусь.

И она уходит из столовой, из его поля зрения, оставляя его в одиночестве и в полной беспомощности, так что ему остается только ждать ее возвращения.



Доджер думает, что ей полагается нервничать. День представлял из себя уравнение неизбеж-

ности: от необъяснимого нападения ее психотерапевта и звонка ее прошлого «я» до этого стука в дверь. Стоило ей отвлечься на другие дела, и причины звонка уже становятся все более неясными: сейчас она помнит, что Роджер звонил ей из будущего, и, раз она об этом помнит, у нее не было причин звонить самой себе из прошлого. Жить в парадоксе не очень приятно. Но она все равно не согласилась бы на другой вариант. Без этого парадокса все сложилось бы иначе.

(Она не может избавиться от ощущения, что все *уже* складывалось иначе, по меньшей мере один, но, может, и десятки раз. Десятки итераций, в которых недоставало косинуса, чтобы плавно соединить две половинки одного уравнения, недоставало этого рационального жульничества, позволившего точно знать, что она будет готова идти дальше. Она предпочитает дискомфорт парадокса агонии линейного, но несовершенного мира.)

Стук повторяется, на этот раз более настойчиво.

Доджер открывает дверь. Повисает тишина.

Роджер прибавил в росте еще пару дюймов или около того; больше он не вырастет — период возмужания уже прошел. Он все еще слишком худой,

можно сказать — тощий. Волосы у него слишком длинные, чтобы лежать аккуратно, но слишком короткие, чтобы выглядеть элегантно, — они неряшливо падают ему на лицо, и из-за этого круги под бледными затравленными глазами кажутся еще чернее. На нем джинсы и футболка, которые выглядят так, будто их вытащили из корзины для грязного белья; он прижимает к груди рюкзак.

Эрин, напротив, выглядит идеально: ее рыжевато-золотистые волосы собраны в аккуратный хвост, лицо абсолютно чистое. На ней серые штаны из спандекса и неприметная худи; весь ее вид говорит: «У вас на пороге неприятности» или «Ждите несчастного случая». Рюкзак у нее поменьше, чем у Роджера, и не так плотно набит. Он похож на сумку для выживания, которую давно держали наготове. Эрин не хмурится, но тьма у нее в глазах говорит, что грядут плохие времена.

Доджер ее почти не замечает. Все эти данные можно отложить и проанализировать позже. Все ее внимание сосредоточено на Роджере: как он дышит (он до сих пор курит, она видит это по наклону его плеч), как он стоит, как смотрит на нее, как будто она — сама невозможность. Парадокс. В любое другое время она улыбнулась бы этой

мысли. Но не сейчас.

Не сейчас. Этот момент нестабилен по своей природе, и она не может не думать, что все эти метания между прошлым, настоящим и будущим были попыткой укрепить именно его, чтобы хоть немного уменьшить вероятность провала. Улыбка может расшатать ситуацию. Поэтому она просто на него смотрит — спокойно, серьезно и выжидающе.

Эрин проталкивается мимо Роджера и заходит в дом.

— Приди в себя и собери свои вещи. — Эрин, как всегда, безапелляционна. Кажется, со времен землетрясения она вовсе не изменилась: все такая же энергичная и суровая; как будто ей тесно в собственной коже и она вот-вот взорвется. — Я все объясню по дороге, просто тебя ищут очень плохие люди, и они будут здесь с минуты на минуту.

— Они уже здесь, — сообщает Доджер, отрываясь от созерцания брата и поворачиваясь лицом к его спутнице.

Эрин ошеломленно моргает. Приятная перемена. Эрин всегда было пугающе трудно сбить с толку. Доджер продолжает:

— Мой психотерапевт проник в дом и пытался

меня застрелить. Я ударила его тостером. Он привязан к стулу в столовой. Хочешь помочь мне уговорить его ответить на пару вопросов?

Брови Эрин удивленно поднимаются.

— Серьезно? И ты не позвонила копам?

— О, я им позвонила.

Брови опускаются: теперь Эрин хмурится.

— Я сказала им, что дети в овраге поджигают петарды, что является риском возникновения пожара, а заодно — отличным объяснением пистолетных выстрелов. Так что за ним никто не придет.

На этот раз брови Эрин взлетают выше некуда, и она смотрит на Доджер с нескрываемым одобрением.

— И когда ты успела стать такой злобной? — спрашивает она.

— Когда люди начали пытаться меня убить. — Доджер снова переводит взгляд на Роджера. Он выглядит растерянным, но не испуганным. Пока он не боится, ей тоже бояться нечего. — Знаешь, я не ставила на тебе крест. Я просто ждала, когда ты будешь готов.

Роджер заходит в дом, двумя шагами преодолевает пространство, отделяющее их друг от друга, и, оказавшись перед ней, заключает ее в

такие крепкие объятья, что ей становится трудно дышать. Она высвобождает руки и в свою очередь обнимает его, закрыв глаза и уткнувшись носом ему в плечо. Теперь она видит свой коридор: с более высокой точки зрения; цвета менее насыщенные, зато размеры точнее. У нее вырывается смешок, но он слишком напоминает всхлип, поэтому она себя останавливает. Если она расплачется, это надолго, а они не могут себе этого позволить. Не сейчас.

— Черт подери, Додж, я так соскучился, — говорит Роджер.

Она отстраняется, открывая глаза. Зрение возвращается к привычным цветам, привычным ограничениям.

— Это хорошо, — говорит она. — Хреново было бы думать, что соскучилась только я.

— Такое трогательное воссоединение, но, может, займемся мужиком, привязанным к стулу? — нетерпеливо говорит Эрин. — Где он?

— Сюда. — Доджер манит остальных за собой. Она чувствует странное спокойствие. Вездесущее чувство дежавю вернулось, но теперь оно слабее, будто изменилась какая-то фундаментальная часть событий. Она подозревает, что они уже не раз стояли в этот день в этом коридоре, но

впервые она смогла посмотреть на Роджера и простить его за то, как он ее оставил. Та Доджер, которая не смогла принять его обратно, исчезла.

Ей следовало бы злиться, требовательно спрашивать, кто дал ему право брать телефон и менять уравнения, которые делают ее тем, кто она есть, но она чувствует только облегчение. Он ей нужен, чтобы математика работала должным образом. Все, что возвращает его к ней, — правильно по определению.

Эрин идет рядом, почти в ногу с Доджер, от нее исходят волны гнева. Глядя на нее, Доджер хмурится.

— Ты все это время была с Роджером? — спрашивает она.

Эрин кивает.

— Кто-то должен был.

Доджер нечего на это ответить, и они как раз переступают порог столовой, где доктор Питерс пытается освободиться от веревок. Не очень успешно. Он даже не смог опрокинуть свой стул. Он поворачивается на звук шагов и замирает при виде Эрин. По его лицу расползается самодовольная улыбка.

— Что ж, привет! — мурлычет он. — Не знал, что кого-то отправят проверить, как у меня дела.

Пришла закончить то, что я начал? — Он переключается на Доджер. — Не стоило открывать дверь, мисс Чезвич. Лучше было бежать, пока был шанс.

— По-моему, ты исходишь из неверных допущений, старина, — говорит Эрин. Она подходит к столу, снимая рюкзак. Затем открывает центральное отделение и достает мумифицированную руку. — Я больше не работаю на твоих нанимателей. Можно сказать, я перешла в другую команду.

Доктор Питерс бледнеет.

— О чем ты говоришь?

— Я говорю о том, что, если они хотели контролировать стихийные силы творения, им не следовало делать нас людьми. У людей есть свои интересы. И мои интересы больше не соответствуют их планам. — Эрин достает зажигалку и начинает один за другим поджигать пальцы своей ужасной свечи. Затем оглядывается на Роджера и Доджер. — Идите собирайтесь. Нам скоро придется бежать; кроме того, мне не очень хочется держать вас за руку во время предстоящего разговора.

— Что ты собираешься с ним делать? — спрашивает Доджер.

— То, что ты не смогла бы. Если он знает что-то, чего не знаю я, он все мне расскажет. Если нет, по крайней мере, никто не узнает, что ты спаслась. Возьми все, с чем не можешь расстаться. Прежде чем мы уйдем, я сожгу этот дом.

Доджер моргает.

— Что?

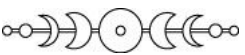
На ее плечо ложится рука Роджера. Она смотрит на него, и он качает головой.

— Я все объясню, пока Эрин работает, — говорит он; его голос полон отвращения и сожаления. — Пойдем, соберем твои вещи.

— Комната там, — говорит Доджер, и они уходят, оставляя Эрин наедине с доктором Питерсом.

– *Доджер!* — кричит им вслед доктор Питерс.

Но она не оборачивается.



Комната у Доджер большая, безукоризненно чистая и практически пустая: из мебели здесь только огромная кровать и письменный стол — они стоят в центре комнаты вплотную друг к другу, так что Доджер может перевернуться ночью и включить ноутбук, даже не успев

проморгаться. В то же время комната клаустрофобически мала — из-за исписанных стен. Формулы начинаются от самой двери и покрывают каждый дюйм свободного пространства. Большинство уравнений написаны обычным маркером, но некоторые нацарапаны красным, а некоторые обведены в рамочки.

Роджер смотрит на эту комнату и чувствует, как расслабляется, несмотря на чуждость всего вокруг.

— Кажется, некоторые вещи не меняются, да? — говорит он.

— Кажется, да, — отвечает Доджер. — Ты мне расскажешь, что происходит, или предполагается, что я сейчас просто доверюсь тебе после семи лет молчания и соберу рюкзак?

Она может быть ходячим парадоксом, переписанным собственными руками, но, даже простив, она все еще на него злится. От этого осознания становится легче. Она изменила часть своей математики, но базовые уравнения остались нетронутыми.

— Доджер…

— Я не поставила на тебе крест. Я ждала, когда ты со мной свяжешься. Ждала *семь лет*. Ты вообще представляешь, каково мне было? Я чуть

не начала снова играть в шахматы, лишь бы заполнить время.

Вместо этого она писала книги, проводила занятия, путешествовала по миру, репетировала старшеклассников, которым требовалась помощь с математикой, беседовала с девочками, желающими сделать карьеру в точных дисциплинах, работала на некоторые из крупнейших компаний Силиконовой долины. Она постоянно была занята, потому что должна была чем-то себя занять. Свирепо глядя на Роджера, она понимает, что променяла бы все это на возможность провести эти семь лет в кампусе, споря, чья очередь сегодня выбирать пиццерию.

Роджер долго на нее смотрит, а потом отворачивается и говорит:

— Прости. Я не смог принять то, чем мы были, когда были вместе.

— Ты говоришь про землетрясение.

— Я говорю про землетрясение. — Он медлит, потом спрашивает: — Разве ты не считаешь, что это мы его вызвали?

— Я знаю, что это так. — Она пожимает плечами. — Пару лет назад я консультировала геологическую службу США. Им были нужны матмодели вероятных землетрясений в этом ре-

гионе, а у меня был новый способ картирования разломов, который показался им подходящим. Они дали мне доступ ко всем данным. То землетрясение началось в точности под нами и было связано с разломом, у которого в этом месте раньше никогда не случалось сдвигов. Мы что-то создали, сами не ведая что, и из-за этого пострадало много людей.

— Все те люди погибли по нашей вине.

— Нет, — удивительно спокойно говорит Доджер. — По вине тех, кто нас создал.

На мгновение Роджер замирает, а потом спрашивает:

— Что ты имеешь в виду?

— Мы или плод какого-нибудь правительственного проекта по созданию нового оружия, в котором что-то пошло не так, или творение какого-нибудь безумного ученого, или *еще что-нибудь*, потому что мы никак не могли появиться естественным путем. Мы для этого слишком мидвичские. — Доджер невозмутимо на него смотрит. — Кто-то нас создал. Кто-то нас создал, а потом разделил, потому что вместе мы становились опасными.

Он смеется. Больше ему ничего не приходит в голову.

— Как ты догадалась об этом сама? Мне рассказала Эрин, и я до сих пор не уверен, что верю ей.

— Мне помогло то, что сегодня со мной поговорила я сама, только младше на семь лет, а она позвонила мне сразу после того, как поговорила с тобой из будущего, — отвечает Доджер.

Роджер вопросительно смотрит на нее, и она рассказывает ему про звонки, про то, как мир учел новые данные и переписал сам себя. История — это уравнение. При подходящих обстоятельствах его можно изменить. Это должно приводить в ужас, но в действительности это замечательно, потому что это означает, что многие из совершенных ими ошибок были намеренными — они из будущего сочли эти ошибки необходимыми.

Когда она заканчивает, Роджер тяжело опускается на кровать и говорит:

— Тебе лучше собраться. Эрин, должно быть, почти закончила с доктором Питерсом, а она особенно терпелива.

— Почему она с нами? Почему она *здес*ь?

— Потому что люди, которые создали нас, создали и ее тоже. Ей приказали присматривать за нами, пока мы были в Беркли. Думаю… Думаю, она должна была следить, чтобы не случилось чего-то вроде того землетрясения.

Это великодушная интерпретация. Более вероятная гласит, что она должна была *гарантировать* землетрясение, потому что землетрясение означало, что они полностью раскрыли свой потенциал. Без землетрясения они бы никогда не покинули друг друга, без него в этом бы не было необходимости.

Роджер, хотя и смутно, начинает догадываться, что это землетрясение — эта ужасная трагедия — вероятно, спасло им жизнь. Без него их могли бы посчитать бесперспективными еще до получения степени.

Доджер моргает.

— В этом есть смысл, — говорит она наконец. — Она правда собирается спалить мой дом?

— Наш она спалила.

Новые данные. Доджер снова моргает, а затем спрашивает:

— Девушка?

— Да. Через пару месяцев после землетрясения. — Он горько усмехается. — Полагаю, ей как-то нужно было сохранить свое прикрытие, раз она больше не могла быть твоей соседкой.

— И у них наготове был доктор Питерс, чтобы следить за мной. У тебя девушка, у меня психотерапевт. Не уверена, кому из нас повезло больше.

— Тебе. — Всего одно слово, но оно ставит точку, не оставляя места для дискуссии.

— Она *реально* сожгла ваш дом?

— Да.

Доджер делает паузу, добавляя эти факты к тем данным, что у нее уже есть, затем пересекает комнату и открывает стенной шкаф. Здесь хранятся ее остальные вещи: два комода внутри стоят дверцами друг к другу, так что, чтобы открыть один, ей нужно вплотную прижаться к другому. Одежда висит на вешалках, а в дальний угол засунуто несколько сумок. Она роется в них, находит походный рюкзак и, выбросив его наружу, задает следующий вопрос:

— Она убила Смиту?

— Да. Людям, которые нас создали, не понравилось, что Смита копалась в нашей ДНК. Думаю, она могла бы… обнаружить что-то, о чем никто не должен был узнать. Даже мы. Может быть, особенно мы. И не было никакого другого способа заставить ее замолчать.

Доджер замирает с ворохом одежды в руках и просто смотрит на него.

— Она убила Смиту и собирается спалить мой дом — и ты считаешь, что это нормально? Ты не видишь во всем этом ничего плохого?

— Твой психотерапевт пытался тебя убить. Кажется, это придает достоверности мысли, что кто-то хочет до нас добраться, а Эрин пытается сохранить нам жизнь. — А он звонил в прошлое, и она принимала звонки из будущего; время вокруг них становится податливым, распарывает само себя по одной невозможной мысли зараз. — Она говорит, что нас создали алхимики и они решили, что мы им больше не нужны.

— Что? — Доджер в изумлении смотрит на него. — Почему?

— Потому что вы не единственная пара, которую они создали по тому же шаблону, и у них есть другая, которая показывает результаты лучше, — устало говорит Эрин с порога комнаты.

Роджер и Доджер разом поворачиваются к ней. Каким-то образом ей удалось не испачкать в крови одежду, но никакие странные ухищрения не помогли сохранить чистыми руки. Они покрыты красным от кончиков пальцев до кистей. Она смотрит на них с тихой обреченностью и говорит:

— Мне бы хотелось, чтобы вы остались вместе. Ненавижу объяснять это дерьмо. Доджер, тебя спроектировал в своей лаборатории алхимик, который думал, что, следуя инструкциям Асфо-

дель Бейкер, сможет подчинить Доктрину Этоса и управлять вселенной, если разместит Доктрину в паре послушных человеческих тел. Землетрясение послужило доказательством того, что вы *смогли* бы направить Доктрину, а то, что после этого вы расстались, — доказательством того, что вы *не станете* этого делать. Поэтому он продолжил работу с другими кукушками, пытаясь найти пару, которая приведет его в Невозможный город и к господству над миром. Теперь одна из пар готова к полному проявлению Доктрины, что означает, что все остальные должны умереть, потому что им нужна абсолютная уверенность, что никто из вас не несет в себе часть Доктрины в подвешенном состоянии, скрывая ее от них.

Доджер хмурится.

— Они считают Доктрину единым делимым целым, и у них есть теория, что, пока мы существуем, часть Доктрины заключена в нас, и поэтому она не может воссоединиться?

— Да.

— И поэтому они планируют нас убить.

— Да.

— Как заставить их остановиться?

Эрин серьезно на нее смотрит.

— Вы должны проявиться первыми. Я думаю,

они ошибаются: я вижу, как вселенная вам поддается, а когда я что-то вижу, обычно это так и есть. Подобное притягивает подобное. Первая пара, которая заявит права на Доктрину, призовет ее остаток домой и будет властвовать над всем целым. Если вы проявитесь, она будет принадлежать вам, и они вас не тронут.

Роджер встает.

— Как нам это сделать?

— В этом-то и проблема, — говорит Эрин. — Я понятия не имею.

Слава

Лента времени: 17:06 PDT, 16 июня 2016 года (день продолжается)

Они уходят, освещаемые пламенем преисподней и скрытые покровом невидимости, созданным Рукой славы. Прежде чем зажечь Руку, Эрин смыла кровь с пальцев, но ее все еще окружает слабый запах железа. Она не оглядывается. Не оглядывается и Доджер, чья жизнь свелась к единственному рюкзаку за плечами и двум людям, что идут рядом с ней. Ей не к чему возвращаться, и эта мысль создает ощущение свободы. Не вернуть даже ноутбук со всеми ее исследованиями: он принесен в жертву пламени.

— Мне нужно позвонить родителям, когда мы остановимся на заправке, — говорит она, когда они подходят к машине (она благоразумно припаркована двумя кварталами дальше на случай, если за домом ведется наблюдение).

Эрин качает головой.

— Нельзя. Они должны думать, что ты погибла в огне.

Доджер распахивает глаза.

— Но…

— Твои родители не работают на создавшего вас алхимика, Доджер. Тебя удочерили по-настоящему. Это значит, что они уязвимы. Если ты вступишь с ними в контакт, возможно, в итоге им придется иметь дело с кем-то вроде меня — с кем-то, кто действует по приказу.

В арсенале Рида есть кое-кто похуже Эрин. От мысли, что к Чезвичам может наведаться Ли, Эрин пробирает мороз по коже. Ей не хочется, чтобы Доджер жила, зная, что виновата в смерти родителей. Это случалось уже слишком много раз. В этом нет необходимости.

Она думает, что в этом нет необходимости.

Она на это надеется.

— Постой-ка, — говорит Роджер. — Эта твоя фраза… Что Доджер удочерили «по-настоящему». Что это значит?

— Только одного из вас поместили в обычную семью, так что тебе тоже небезопасно связываться с родителями, но совсем по другим причинам. — Эрин протягивает свободную руку. — Давай ключи. Вам с Доджер нужно о многом поговорить, а это легче сделать, если ты не будешь отвлекаться на дорогу.

Роджер и Доджер обмениваются взглядами, в

которых сквозит сомнение. Эрин вздыхает.

— Я бы не спасала ваши гребаные жизни, если бы собиралась улететь с обрыва, — говорит она. — А вам нужно восстановить вашу запутанность, какой она была раньше, — не смотрите на меня так, меня приставили за вами следить, вы уже забыли? Я могу сказать, когда у вас на двоих одна голова вместо двух. Вы не должны быть полностью разделены. Нужно, чтобы вы проявились как можно быстрее, и начнется все именно с этого. С вас. В этой машине. С того, что вы настроитесь друг на друга.

— Ты все время используешь это слово, — говорит Доджер. — «Проявиться». Чего конкретно ты от нас хочешь?

Эрин все еще стоит с протянутой рукой в ожидании ключей.

— Я хочу, чтобы вы сделали то, для чего предназначена каждая молекула ваших тел. Я хочу, чтобы вы воплотили Доктрину Этоса. Когда вы это сделаете, когда станете живой силой, скрепляющей вселенную воедино, они не смогут вас тронуть. Может быть, попытаются, но у них ничего не выйдет, потому что вы будете за пределами того, что им по зубам. Если вы не проявитесь, все просто: история на этом закончится. Они

поймут, что я их предала, если уже не поняли, и отправят кого-нибудь другого завершить то, что не сделала я. Если мы расправимся с этим кем-то, они пошлют кого-то еще и еще, а сами все это время будут пытаться заставить новых протеже проявить Доктрину. Это гонка. Ясно? И если вы проиграете, то умрете.

Роджер и Доджер молча смотрят на Эрин. Роджер обретает голос первым:

— Почему ты раньше ничего мне не говорила? У тебя было *семь лет*, чтобы все это рассказать.

— Мне нравится, что мы живем в мире, где тебя волнует именно этот вопрос, а не… я не знаю… все остальное, — бормочет Доджер.

Эрин игнорирует ее реплику и отвечает:

— Я тебе не рассказывала, потому что не должна была и потому что надеялась, что ты наладишь отношения с сестрой, когда сам будешь к этому готов, а еще потому, что у меня не было доказательств. Я могла бы проделать трюк с монетами, но это не доказательство, а просто фокус. Все эти «звонки в прошлое» были игрой вслепую. Я не была уверена, что она возьмет трубку, пока она ее не взяла. Время — ее стихия, не твоя.

— Подожди, что? — спрашивает Доджер.

— Время — это математика, воплотившаяся

в физическом мире, — говорит Эрин. — Время — твоя стихия.

— А моя? — спрашивает Роджер.

Улыбка Эрин скорее похожа на оскал.

— А ты получил все остальное, включая ее. Может, ты уже отдашь мне эти чертовы ключи и сядешь в машину? Рука славы не вечна, а у меня нет времени делать еще одну. Как только она догорит, мы превратимся в маяк для любого, кто отслеживает искажения реальности. Когда это случится, нам лучше быть подальше отсюда.

Свеча из руки мертвой девушки прогорает, пальцы почти истаяли: от трех остались пеньки, а один исчез полностью. Большой палец пока горит ровным пламенем, но скоро исчезнет и он, это лишь вопрос времени. В этот момент пламя на указательном пальце тоже гаснет.

— Вот. — Роджер бросает Эрин ключи.

Она ловит их с язвительным *«спасибо»* и, усевшись на водительское кресло, пристраивает Руку славы на пассажирское. Роджер и Доджер, переглянувшись, забираются назад. В одном Эрин точно права: им необходимо восстановить свою запутанность, какой она была раньше, — запутанность, от которой они бежали с самого детства.

Доджер ждет, пока Эрин заведет машину, а потом, понизив голос, спрашивает:

— Ты реально думаешь, что она говорит правду?

— Я тебе позвонил, — говорит Роджер. — Ну, я взял телефон и позвонил тебе незадолго до землетрясения. Я позвонил тебе в *прошлое*. Говорил с тобой. Я не слышал твой голос семь лет, а потом позвонил и поговорил.

— Я еще думаю, что ты звонил мне из альтернативной временной линии, — говорит Доджер.

Он непонимающе на нее смотрит.

— В тот день, когда произошло землетрясение. Я вернулась домой и пыталась понять, что можно спасти и что придется оставить, — я еще не знала про Кэндис, — и тут зазвонил телефон, и это оказался ты — из будущего. Но не *этого* будущего, потому что этой версии тебя нет необходимости говорить мне то, что говорила та версия тебя. Когда мы касаемся прошлого, мы его изменяем. Мы вносим поправки в самих себя. И мы не можем обратить этот процесс. Я не могу отказаться от изменений, которые породил во мне твой звонок из будущего, даже если бы хотела. Но я не хочу. Я была готова поставить на тебе крест, пока ты не попросил этого не делать.

Она блаженно улыбается, а Роджер борется с желанием поежиться. У нее есть числа — у нее есть время. У всех межвременных звонков есть общий знаменатель — Доджер, а он и без подсказки знает, что если попытается набрать домашний номер, который был у них в его детстве, и поговорить с собой-подростком, то услышит или глухое молчание сети, или чужой голос. Время не склоняется перед ним, как перед ней. Перед ним склоняется *реальность*. Если он о чем-то просит, обычно он это получает, потому что мир слушает, когда ему приказывают.

Время переписывает себя, но именно слова заставляют людей меняться. Он не просил о такой ответственности.

— Эрин, ты все время говоришь, что хочешь, чтобы мы проявились. — Он разворачивается к переднему сиденью. — Есть ли возможность поступить наоборот? *Отказаться* от Доктрины, просто уступить ее, позволить им вернуть ее себе?

— Ты можешь умереть, — отвечает Эрин. — Помнишь, я уже говорила: если ты сделаешь такой выбор, ты сделаешь его за вас обоих. Вы не сможете выжить друг без друга. Вы слишком туго переплетены.

Роджер молчит, вспоминая, как бился в припадках, когда Доджер пыталась покончить с собой. Доджер качает головой.

— Мы не можем отказаться, — говорит она. — Даже если бы такая возможность была, а я рада, что ее нет, мы *не можем*. Кем бы ты вообще был без слов, Роджер? Кем была бы *я*, если отобрать у меня числа? Мне годами требовалось снотворное, потому что в голове было слишком пусто. Нас не должны были разлучать. Она права. И вспомни землетрясение.

Роджер никогда не забывал о землетрясении. Какая-то его часть будет переживать землетрясение вечно.

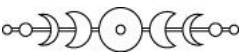
— Ты хочешь, чтобы люди, которые отправили доктора Питерса меня убить, получили силу, которая может вызывать землетрясения? — Доджер говорит убежденным тоном и протягивает ему руку. — Они не заслуживают того, что есть у нас, а мы не заслуживаем умереть. Мы должны все исправить.

— Мы должны попытаться, — соглашается Роджер и берет ее руку — кожа ощущает кожу впервые за бог знает сколько времени.

Их глаза синхронно распахиваются, а затем они оба валятся на сиденье — тела обмякли, головы

безвольно запрокинуты. Эрин смотрит на них в зеркало заднего вида, убеждается, что они потеряли сознание, закатывает глаза и жмет на педаль.

— Любители, — бормочет она, выезжая на дорогу.



Все вокруг — тьма, и все вокруг — свет. Вдалеке, на грани этих противоположных состояний, мелькает розовый, и Роджер понимает, что он, по крайней мере в какой-то степени, делит голову с Доджер: с годами он уже начал забывать цвета, которые обычно не может отличить друг от друга, — в памяти различные оттенки слились во что-то красивое, но размытое.

— Роджер? — Голос Доджер раздается одновременно и внутри его головы, и снаружи, он далеко и так близко, что становится его частью — как кожа. Это сбивает с толку. Это настолько желанно, что практически отдается физической болью, жестоким напоминанием о том, насколько он был одинок последние семь лет, несмотря на то что рядом была Эрин.

— Я здесь, — отзывается он.

— Здесь — это где? — раздраженно спрашива-

ет Доджер. — Что случилось? Я же просто тебя коснулась…

— А до этого *не* касалась семь лет — с тех пор, когда мы были настолько близки к тому, чтобы проявиться (что бы это ни значило), что едва не сровняли с землей весь Беркли, — отвечает он. Удивительно, насколько разумные вещи он может выдавать, когда ему есть о ком переживать. Может быть, это и есть настоящая причина, по которой их должно быть двое. Чтобы ему всегда было о ком переживать, чтобы он не сорвался, отправившись переделывать мир по своему вкусу. — Думаю, это Доктрина пытается заставить нас снова быть вместе.

— Думаешь?

— Не знаю. Откуда мне знать? Для меня все это так же ново, как и для тебя.

— Может быть, мы живое доказательство тождества Эйлера? Это звучит куда менее опасно.

— Что такое тождество Эйлера?

— По сути, тождество Эйлера — это самое прекрасное уравнение в мире. Елена Троянская среди математических идеалов. — Доджер говорит и будто становится ближе, будто математика их притягивает. Он не перебивает, и она мечтательно продолжает: — Тождество Эйлера содержит

три базовые арифметические операции и связывает пять математических констант…

Он поворачивается, и вот она, Доджер, — стоит за его спиной на бесконечной черно-белой плоскости. Она моргает, и горизонт прочерчивают розовые и красные вспышки. Где бы они ни были, они обмениваются визуальными данными. Он видит цвет ее волос, веснушки на щеках, а когда она улыбается, он понимает, насколько она бледна. От переживаний веснушки и волосы потускнели, и сейчас даже отсутствие цвета становится для него откровением. Он улыбается в ответ, разбавляя ее волнение собственным.

— Видишь, я всегда знал, что мы найдем способ снова обрести друг друга, — говорит он.

— Но насколько это безопасно? В прошлый раз погибло столько людей. Неважно, что нас соорудил какой-то шизанутый ученый, мы не можем их вернуть. Мы не можем изменить то, что сделали.

— Мы оба знаем, что это не так.

Доджер на секунду замолкает. Затем говорит:

— Представь, что время — это поток.

— Готово.

— Если мы можем менять наше прошлое, чтобы изменить наше будущее, кто сказал, что мы

все это время бездействовали? Что, если все, что случилось, хорошее или плохое, не было изменено потому, что изменения в итоге привели бы к еще худшим последствиям? — Она ненадолго закусывает нижнюю губу и продолжает: — Эрин говорит, что если кто-то из нас умрет, то другой умрет тоже.

— Да.

— Но ты не позвонил из будущего и не сказал мне, чтобы я не резала себе вены. Я тоже не позвонила из будущего и не сказала себе, что все будет хорошо, что мы окажемся в одной аспирантуре или что тебе не будет без меня лучше. Что, если… это потому, что нам необходимо было *знать*, что она говорит правду? Чтобы никто из нас не мог бы сказать: «Забудь, мне нет до этого дела», — и отказаться с ней идти? Мы многое принимаем на веру, но отчасти потому, что информация соответствует тому, что мы уже знаем. Она не противоречит существующим числам, она прибавляет к ним, помещая имеющиеся у нас уравнения в контекст. Консерватизм крупным планом.

Роджер хмурится.

— Додж, что может быть хуже того землетрясения? Мы убили стольких людей просто потому, что не ведали, что творили. Что может быть

настолько хуже, что землетрясение стало необходимым элементом?

— Полностью проявленная Доктрина Этоса под управлением людей, которые создали биологическое оружие и выпустили его в мир, чтобы поэкспериментировать с его возможностями, — отвечает Доджер, и внезапно в ее голосе прорезается сталь, будто она осознает суть задачи, функция за функцией. — Если верить Эрин, когда мы проявимся, мы станем сильнее. Вызвать землетрясение — *без проблем*. Но мы не хотели делать ничего подобного. Мы не хотели причинить людям боль. Но что случится, если такая сила попадет в руки тем, кому все равно? Кто бы ни решил нас создать, ему явно нельзя доверять. Землетрясение это подтверждает. Землетрясение означает: «Это ужасно, но теперь проявляйтесь, потому что иначе случится что-то еще похуже».

Роджер молчит. Доджер не двигается, она просто ждет. Из них двоих холодной можно назвать именно ее: именно она может все свести к числам, взвесить жизни сейчас и жизни потом. Доджер не гордится этой своей способностью и никогда по-настоящему ее не принимала. Но здесь и сейчас это важнее всего.

— Неужели нет способа сделать так, чтобы это-

го не случилось? — спрашивает он наконец.

— Думаю, нам нужно увидеть все уравнение целиком, прежде чем мы сможем это решить, — отвечает она. — Мы еще не закончили. Мы на середине задачи. Если мы дойдем до конца, если проявимся, может быть, мы сможем изменить больше, чем можем сейчас.

А может быть, и нет. Она не произносит эту часть фразы вслух, но Роджер все равно ее слышит — она заложена в паузы между словами, вылеплена из тишины и заминок. Он не хочет ее слышать. Порой недосказанность ранит больнее.

— Сколько людей должно погибнуть ради нас? — спрашивает он. — Как мы можем притворяться, что мы достаточно важны, чтобы это того стоило?

— Сколько еще людей погибнет, если мы исключим себя из уравнения и позволим кому-то другому обрести подобную силу? — возражает она. — Я знаю, что ты хороший человек. Я надеюсь, что я тоже хороший человек. Мы ничего не будем ломать ради удовольствия или потому что нам кто-то приказал. Мы не идеальны. Мы просто лучший вариант, который я вижу.

Роджер вздыхает. Достаточно всего одного шага, чтобы подойти к ней вплотную, одного шага

— и он уже обнимает ее, прижимаясь лицом к ее плечу. Она крепко обнимает его в ответ, и они идеально совпадают — по месту и положению — две половинки одного платонически идеального целого. Их никогда не следовало разлучать, но они должны были быть вдалеке друг от друга, иначе они бы не стали личностями, иначе не смогли бы научиться заполнять недостающие места в собственных душах.

— Хорошо, — говорит Роджер. — Мы это сделаем.

Они продолжают обнимать друг друга, закрыв глаза, пока общая картина сознания не исчезает, и теперь они просто два тела на заднем сиденье, переплетенные, будто терновый куст, который невозможно распутать и лучше даже не трогать.

На переднем сиденье Эрин улыбается, и они едут дальше.

Война

Лента времени: 22:31 CDT[14], 16 июня 2016 года (тот же день)

— Понимаю, — говорит Ли. — Переберите пепел: ищите все, что может подсказать нам, куда они могли отправиться. Если найдете тело Эрин — свяжитесь со мной. Нам нужно знать, с чем мы имеем дело.

Она сразу отключается, не оставляя профессору Вернону возможности возразить. Этот человек стар, почти отжил свое, но все еще пытается заработать долю философского камня: он превосходный математик и оказался весьма полезен при поиске заклинаний, необходимых для воплощения Доктрины Этоса, но он никогда не был хорошим алхимиком. Без помощи Рида и его связей Вернон давно и окончательно отказался бы от алхимии. Невелика потеря. Он вряд ли выживет в противостоянии с кукушками, и Ли считает, что это хорошо. В новом мире будет одним ртом меньше — вот и отлично.

---

[14] Примечания: 14
Летнее центральноамериканское время (UTC-5).

Она стремительным шагом покидает свою лабораторию: руки сжаты в кулаки, кожа словно горит. Почти все комнаты, мимо которых она проходит, пусты: их питомцы давно разлетелись. Парочку она лично разобрала на части и использовала кровь и органы в алхимических настойках, с помощью которых они существенно продвинулись в изучении устройства вселенной. Вероятно, сами питомцы сочли бы это несправедливым обменом, но именно поэтому у них не было и не будет права голоса.

Несколько лет назад Рид перестал активно заниматься чем-либо, кроме Доктрины. Остальные проявленные силы слишком легко получить и совершенствовать. Некоторые из них алхимики научились ловить в стационарные ловушки; другие проявлялись и без помощи алхимии. Только Доктрина бросила ему вызов, поэтому только Доктрина имеет значение: она как алкагест — универсальный растворитель для всего на свете, позволяющий перекроить вселенную.

Шаги Ли отдаются эхом в сумрачных коридорах, и те немногие, кто имеет право находиться так близко к осуществлению проекта, торопливо бегут от ее гнева. Она — местное чудовище, и никто не хочет столкнуться с ней, когда она

движется с таким напором, так яростно, так целенаправленно.

Рид в смотровом зале; стоя напротив широкого окна, он смотрит на двух подростков в комнате по ту сторону стекла. Подросток мужского пола свернулся калачиком на кровати, обняв колени, так что его лица не видно. Подросток женского пола сидит рядом, успокаивающе обнимая его за плечи и глядя на окружающее пространство так, будто может заставить все это исчезнуть одной только силой своего гнева. У мальчика волосы темно-русые, цвета пшеницы, у девочки — зеленовато-белые, словно молодые кукурузные рыльца при ярком свете.

— Не правда ли забавно, — говорит Рид, не оборачиваясь, — как их природа меняет активацию генов? Дети, владеющие математикой, всегда окрашены ярче своей пары. Полагаю, это потому, что они могут справиться с бóльшим уроном без ущерба для Доктрины. Так Доктрина защищает себя: люди сперва будут целиться в кукушат-математиков. Кукушата, владеющие словом, всегда могут приказать им что-то изменить, пока оба дышат и еще можно успеть. Каждый раз любой, кто будет охотиться за этими двумя, сначала выстрелит в нее.

— Мы потеряли Чезвич и Миддлтона, — сообщает Ли.

Рид замирает.

— Эрин было приказано уничтожить мужскую особь; шок от потери должен был убить женскую половину пары, но на всякий случай мы отправили Питерса в этом убедиться. Обе кукушки исчезли. Оба их дома сгорели — любимая тактика Эрин, если вы помните. В доме женской особи было найдено одно тело. Питерса. Либо Эрин переметнулась на их сторону, либо им удалось ее подчинить.

Рид поворачивается. Он все еще молчит. Ли смотрит на него с обычным бесстрашием. В ее глазах он видит гнев.

— Возможно, мужская особь ближе к проявлению, чем ожидалось, и он смог уговорить Эрин работать на него, — говорит Ли. — Если это так, в какой-то момент его влияние ослабнет, и Эрин сможет закончить свою работу. Он не знает, на что способен. Невозможно, чтобы он выдал ей инструкцию, которая заставила бы ее хранить ему верность на постоянной основе. На данном этапе развития это просто не может прийти ему в голову.

— А если пришло?

— Тогда она принадлежит ему, и мы ее никогда не вернем.

В данный момент это неважно. Даже если они ее вернут, даже если получат назад ее верность, Ли с огромным удовольствием разберет ее на части. На скомпрометированного агента уже нельзя положиться, и неважно, насколько хорошо он справлялся в прошлом. Эрин и так уже много лет живет взаймы, будучи воплощением Порядка без Хаоса, чье тело давно разобрано на ингредиенты и знания. Скоро придет пора платить по счетам.

— Ясно. — Рид выпрямляется, и при свете, проходящем сквозь полупрозрачное стекло, кажется еще выше и ужаснее, чем обычно. Он всегда был высок, он всегда был ужасен. Просто сейчас он сбросил маску. — И как ты собираешься с этим разобраться, Ли?

— Я? — Она прищуривается. — Это был ваш проект. Это *с самого начала* был ваш проект. Это вы не позволили их уничтожить, когда они связались на расстоянии, вы не позволили изъять их из семей и посадить под замок. Именно вы защищали эту пару недовоплощений на каждом шагу. Почему я должна за вами прибираться?

— Потому что именно *я* веду нас к бессмертию, — говорит он, показывая на окно, на усталых

дрожащих подростков с той стороны стекла. — *Это* — наше будущее. *Это* — абсолютная власть над силами, которые связывают эту вселенную. Мне нужно подготовить их к тому, кем они станут. Мне нужно помазать их и возвысить, а тебе — убрать с их дороги конкурентов. Возьми все, что необходимо. Людей, оружие, что угодно. Отправляйся в Калифорнию. Разберись с этим.

Ли молча смотрит на него оценивающим взглядом, считая до десяти. У нее в груди бьются о ребра призрачные крылья падальщиков, использованных, чтобы вернуть к жизни ее собранную по кусочкам плоть. Наконец, она говорит:

— Вы все еще следуете плану мертвой женщины. Вы никогда не задумывались, кем бы вы могли стать, освободившись от проекта Асфодель?

— Ее проект стал моим, когда я ее убил.

Так ли это? Ли хочет задать вопросы, которые запрещено задавать: о цели и мотивах, о причинах, о том, сколько во всем этом его собственных идей, а сколько — идей Асфодель Бейкер, прокладывающей собственный путь по невероятной дороге. Может ли мертвая женщина претендовать на Невозможный город?

Возможно, скоро они это узнают.

— Я не гарантирую, что они доживут до возвращения сюда, — говорит она. — Смерть одного из пары всегда влечет смерть другого, кроме исключительных случаев, а я не из тех, кого следует отправлять в поле, если вы хотите, чтобы все было сделано аккуратно.

— Я в курсе.

— Тогда меня уже нет. Просто, когда включите вечерние новости, помните: вы сами об этом просили.

Ли разворачивается на каблуках и, не оглядываясь, уходит. Ей не хочется, чтобы он заметил румянец, разгорающийся у нее на щеках, ее растущее удовольствие при мысли о том, что ее выпустят из лаборатории, которая уже так долго служит ей домом и тюрьмой. Она тоже эксперимент. И, как любой эксперимент, она хочет быть свободной.

Рид смотрит ей вслед, прежде чем снова повернуться к окну. По ту сторону стекла мальчик опять плачет, а девочка с зеленоватыми волосами пытается его утешить, продолжая взглядом метать ножи во все вокруг, будто она сможет защитить свою пару одной только силой ненависти.

— Вы измените мир для меня, — говорит Рид.

В тишине, наступившей вслед за его словами, ему чудится запах духов Асфодель.

Наука

Лента времени: 20:53 PDT, 16 июня 2016 года (бесконечный день)

Сначала в себя приходит Роджер. В первый пугающий миг он не знает, кто он. С его телом что-то не так. Но этот миг проходит, и теперь он не знает, *где* он. Он обнимает какую-то женщину, слишком высокую и тощую для Эрин, которая всегда так уютно-компактно к нему пристраивается. Он осознает, что свет исходит со всех сторон, потому что он находится в машине, за окнами плавно сменяются пейзажи, а женщина у него под боком — рыжеволосая. Доджер.

Стоп. Он моргает. Затем слегка придушенным голосом спрашивает:

— Почему я вижу цвета?

— Видишь цвета? Хорошие новости. — Но по интонации Эрин не скажешь, что новости хорошие. Ее голос звучит мрачно, будто, пока она вела машину, объявили конец света. — Сколько цветов ты видишь прямо сейчас — из тех, что не видишь обычно?

— Красный… Э-э-э… Фиолетовый, розовый… —

Роджер вертит головой во все стороны. — Много. Все? Много. — По краям все немного блеклое, будто то, что позволяет ему видеть цвета, еще не до конца стало частью его восприятия. — Что происходит?

— Вы начинаете восстанавливать связь — вот что происходит. Попробуй отодвинуть от себя Доджер. Не обязательно выбрасывать ее из машины, просто не касайтесь друг друга.

— Что?

— Она держится за тебя. Попробуй отодвинуться. — Эрин смотрит на него через зеркало заднего вида с мрачным весельем. — У тебя хорошо получается расставаться с девушками. Сделай это еще раз.

Роджер некоторое время смотрит на нее — он думал, что любит эту женщину, и думал, что она любит его. Затем с превеликой осторожностью поворачивается к сестре, которую не видел столько лет, и пытается оторвать ее руку от своей. Это непросто. У Доджер невероятно сильная хватка для человека, ни дня в жизни не занимавшегося физическим трудом, а ему не хотелось бы ее разбудить; он не может подергать ее или потрясти, потому что тогда она придет в себя и откроет глаза. А он к этому не готов. Когда он бежал из

своего горящего дома к Доджер, все происходило слишком быстро, чтобы он мог остановиться и задуматься, что делает. Сейчас он здесь, и она здесь, и он совершенно не знает, как начать разговор. Если она проснется, ему придется это выяснять. Неловкость между ними пройдет — на крайний случай, Эрин все еще ведет машину так, будто в любой момент ожидает нападения, а где-то между тем, как она достала мумифицированную руку Смиты и подожгла дом, он перестал в ней сомневаться, — но прямо сейчас неловкость еще главенствует.

Наконец, он освобождается от хватки Доджер. Мир перестает быть цветным. Но не сразу, не так, как будто щелкнули выключателем или удалили фильтр. Цвета просто… выцветают, будто кто-то регулирует насыщенность реальности.

— Красный исчез, — говорит он, борясь с желанием взять Доджер за руку, чтобы увидеть, вернется ли цветное зрение. Все теперь кажется серым, лишенным смысла и жизненной силы. Он провел без красок бóльшую часть жизни, но сейчас чувствует, что не может прожить без них ни единого мгновения.

— Это потому, что вы еще не полностью проявились. Когда это произойдет, тебе, скорее всего,

не нужно будет к ней прикасаться, чтобы видеть так, как она, — и наоборот. У нее появится восприятие глубины, у тебя — восприятие цвета, вы оба попадете в Страну чудес. — В голосе Эрин слышится горечь.

— Эрин? Что не так?

Она холодно смеется.

— Все. Она снова с тобой, так ведь? Будь за это благодарен. Мою половину не вернуть, и когда он ушел, все, что он мне дал, он забрал с собой.

— Что…

— Я живое воплощение Порядка, Роджер. Я вижу хаос всюду, куда ни посмотрю. И то не на месте, и это не там, где нужно, — это все, что я могу видеть. Я живу в мире, который никогда не будет гармоничным, потому что единственный, кто мог бы его для меня упорядочить, ушел навсегда. — Пальцы Эрин, лежащие на руле, выбивают жесткое стаккато. — Разбуди ее. Нам нужно обсудить, что делать дальше, и ей тоже.

— Зачем…

— Просто сделай, что я говорю. У нас мало времени.

Он мог бы поспорить. Мог бы попытаться заставить ее объяснить. Но ей пришлось бы объяснять все снова, когда Доджер проснется, и, кроме того,

он *не хочет* говорить с ней без сестры в качестве буфера. Какая-то его часть все еще смотрит на Эрин как на женщину, которую он *любил* последние семь лет. Никакие попытки убедить себя самого, что все это никогда не было правдой, не помогают быстрее адаптироваться к реальности. Вероятно, когда все закончится, он ее возненавидит. Он хотел бы, чтобы эта мысль не приносила ему такого облегчения.

Он поворачивается к Доджер, кладет руку ей на плечо (красный тут же возвращается, *красный*; не удержавшись, он украдкой бросает взгляд на Эрин и впервые за долгие годы видит золотистый с рыжиной оттенок ее волос и желает, чтобы они не казались ему такими прекрасными) и ласково ее тормошит.

— Эй, — говорит он. — Додж, вставай. Ты уже достаточно поспала.

Она невнятно что-то бормочет и шлепает его по руке.

Роджер улыбается. Они оба так изменились за семь лет. Он знает, что должно пройти какое-то время, прежде чем он почувствует, что знает ее. Но, по крайней мере, это осталось неизменным. В тех редких случаях, когда она замедляется достаточно, чтобы ее мог настичь сон, она *ненавидит*

просыпаться. Он тормошит ее снова.

— Вставай, — говорит он. — Моей ужасной бывшей девушке нужно рассказать нам, как мы должны проявить изначальную силу реальности, прежде чем мудаки-алхимики сожгут нас на хрен.

Казалось бы, в этой фразе нет особого смысла. Но смысл есть, и он этим гордится.

Доджер открывает глаза.

— Что? — уныло говорит она.

– *Вот* ты где! — Он не должен улыбаться. Не та ситуация. Но он не может сдержать улыбку, потому что она проснулась, она здесь, и они снова говорят. Они снова *вместе*. Теперь они смогут во всем разобраться. — Эрин, она проснулась.

— Просто супер, — говорит Эрин. Она смотрит в зеркало заднего вида, изучая кукушек на заднем сиденье. Доджер сонная и сбитая с толку; Роджер улыбается, как будто весь его мир только что не перевернулся с ног на голову. Она подозревает, что это признак шока. Он еще не осознал новую реальность.

— Доджер, куда нам ехать?

— Что?

— Мы на невероятной дороге, и это у тебя голова набита числами, а вместо сердца — компас. Так

куда нам ехать? Укажи направление, и я поеду, куда скажешь.

Роджер выпрямляется, неожиданно вспомнив далекую туманную ночь. Секунду назад он ничего этого не помнил, а теперь помнит, и его сознание заполняется яркими образами.

— Ты назвала меня Галкой Джеком.

— Выходит, ты вспомнил. Не знаю, хорошо это или плохо, в любом случае нам с этим жить. Я назвала тебя Галчонком, потому что это то, *что* ты собой представляешь, а Галкой Джеком — потому что это *кто* ты есть или кем станешь. Она, — Эрин кивает в сторону Доджер, — Девочка-ворона, но с твоей помощью может превратиться в Грача. Если Паж застывших вод еще не на пути сюда, то скоро будет.

— При чем тут эти образы из страны Под-и-Над? — спрашивает Доджер. — Нам не шесть лет. Не нужно превращать все в детскую книжку.

— Ох, ну, видишь ли, история про страну Под-и-Над — вовсе не история о детях. Все в ней — сплошные символы, и вы оба выписаны ими вплоть до самых костей. Кстати, ваши кости Паж была бы крайне рада заполучить. Она, не мешкая, засунет их в себя, и тогда уничтожить ее будет еще труднее. — Эрин съезжает на обочину, вклю-

чает аварийку и поворачивается к ним. — Детки, вы не хотите быть на виду, когда она доберется сюда. Она не играет по правилам.

Доджер с сомнением смотрит на нее, протирая глаза, как будто это как-то может помочь прогнать сон. Затем вдруг замирает, с недоумением глядя на ладони. Она сперва медленно подносит их к лицу, затем отодвигает.

— Вау.

— Восприятие глубины — прошу любить и жаловать, — говорит Эрин. — Асфодель Бейкер была величайшим алхимиком своего времени.

Доджер опускает руки.

— Что, — говорит она. Это не вопрос: в слове нет ни ударения, ни интонации — оно просто падает в этот мир.

— Она творила чудеса. Она придумала, как с помощью электричества и современных методов ускорить производство золота и алкагеста — она даже улучшила формулу эликсира жизни. Она считала, что алхимия поможет создать рай на земле, мир, в котором никому не нужно будет работать, стареть или умирать. Все в жизни сводилось бы к выбору, а не к предопределению. Значительная часть ее работ была посвящена анимизму — она считала, что это жизненно важ-

ная часть искусства алхимии, которую слишком долго игнорировали. Она считала существование естественных воплощений сил — Зимы и Весны, Солнца и Луны, всех этих знаменитых засранцев — доказательством того, что алхимик может воплотить любую силу, если будет достаточно сильно этого хотеть.

— Естественные воплощения сил? — спрашивает Роджер.

— Что, — снова говорит Доджер, снова ровно, снова без намека на вопрос: она протестует против ложного и несправедливого, и ее глаза беспощадно мечут в Эрин молнии.

Эрин вздыхает.

— У нас нет на это времени. Мне нужны указания.

— Я не дам никаких указаний, пока ты не начнешь выражаться осмысленно, — фыркает Доджер.

— Роджер, скажи ей, пусть даст мне указания. — Эрин переключает внимание на него. — У нас нет времени на детские истерики.

— Звучит так, будто истерика сейчас начнется у тебя, — отвечает Роджер, скрещивая руки. — Продолжай.

Эрин снова вздыхает, на этот раз обреченно.

— Бейкер какое-то время пыталась привить другим американским алхимикам свой образ мышления. Она хотела, чтобы они перестали воевать друг с другом и держать в секрете свои открытия; она считала, что, если алхимики будут работать сообща, они смогут добиться гораздо большего и открыть больше тайн устройства вселенной. Они увидели в этом попытку захватить власть, так как она единственная — в то время — подчинила электричество своим прихотям. Они были сексистами и консерваторами, поэтому объединились против нее. Они начали переманивать или убивать ее учеников, чтобы не дать ее образу мышления завоевать слишком большое доверие у масс. В конце концов, отчаявшись, она стала шифровать свои учения в литературе, пряча их у всех на виду.

— Так книги про страну Под-и-Над — это тайные учебники по алхимии? — спрашивает Доджер.

Эрин кивает.

— Они должны были показать просвещенному разуму путь к расширению границ понимания и возможностей. Книги про страну Оз из той же серии. Баум пытался переиграть Бейкер собственной алхимической страной чудес. И он преуспел — его читательская аудитория намного шире, —

но и проиграл.

Доджер пару секунд смотрит на Эрин, а потом тянется к двери.

— Ладно, все, — говорит она. — Я пошла. Прошу меня извинить, но мне нужно объяснить страховым агентам, каким образом мой дом самопроизвольно загорелся и почему это не поджог.

— Джеймс Рид был последним творением Бейкер и ее единственным выжившим учеником. Джеймс Рид — в алхимическом смысле — ваш отец. Он использовал собственную кровь, кости Асфодель и тело живой женщины и создал вас, чтобы вы стали его инструментами в грядущем мире.

Рука Доджер останавливается на полпути.

— Рид убил свою создательницу, но не раньше, чем она закончила свой шедевр. Все алхимические правила, все испытания ученика, процесс очищения и воссоздания вселенной в нужном вам виде — все это сохранилось в ее книгах. И в ее заметках, разумеется. Все, что она не успела зашифровать. Рид взял заметки своей наставницы и продолжил с того места, где она остановилась. Но если Бейкер мечтала о мире для всех — о рае, о волшебной стране Под-и-Над, где не было бы старости, болезней и смерти, — Рид мечтал о власти.

О *контроле*. Вот почему он так долго и упорно работает над тем, чтобы воплотить Доктрину. Это настолько большая идея, настолько большая часть вселенной, что она никак не хотела мирно даваться ему в руки. Она вообще не хотела воплощаться. Ему понадобилась помощь. Он заручился поддержкой других алхимиков: одних убедил лестью, других — силой. Они работали для него над воплощениями менее масштабных идей и давали ему все больше и больше власти над этим миром. Он убивал, крал, обманывал. Вы не первые воплощения. Он уже отправлял Галчат и Девочек-ворон на эту дорогу, позволял им дойти почти так же далеко, как вам, а затем по той или иной причине убивал их. Все они были несовершенны. *Вы* тоже несовершенны. Вы связались друг с другом слишком рано и развивались не вполне по намеченному им плану. Он хочет, чтобы вы умерли. Он сказал это ясно и недвусмысленно: ваши преемники уже готовы надеть железные башмаки и разноцветные ленты и мечтают, чтобы вы поскорее свалили на хрен из Под-и-Над. Не знаю, как вам еще все это объяснить. Уйдете — умрете. Останетесь со мной, будете слушаться — может быть, останетесь живы. Или нет. Не думаю, что удача когда-нибудь

нам улыбнется. Но со мной у вас, по крайней мере, есть шанс.

— Как конкретно все это связано с Под-и-Над? — спрашивает Роджер.

Эрин стонет.

— О господи, лучше бы я нашла способ втолковать тебе это дерьмо лет пять назад. Смотри: когда Бейкер создала страну Под-и-Над, она разделила ее на четыре части, представляющие четыре этапа становления алхимика: послушник, ученик, подмастерье и магистр. Гиацинт, Таволга, Астра и Крокус. Точнее — Вода, Земля, Огонь и Воздух. Они соответствуют четырем гуморам, которые управляют телом, и четырем темпераментам, которые определяют все, что мы делаем. Некоторое время вся эта чертова страна соответствовала ее карте, потому что Асфодель была достаточно могущественна. Она воплотила часть Доктрины *в себе*, просто потому что была с ней сонастроена, и поэтому могла задать ориентиры и границы. Атаковавшие ее соперники первым делом постарались ослабить это воплощение. Они не смогли уничтожить его полностью — слишком много детей, читающих книги Асфодель, верили ее историям, — но смогли разрушить некоторые из фундаментальных законов, которые она пыта-

лась привнести в этот мир. Именно тогда возник Баум. Это его выдуманные страны изменили ориентиры. Перевернули их, переплавили в алхимическом потоке и сдвинули к сонастроенности со страной Оз. С тех пор привязки к якорям меняются неконтролируемо.

— Что это значит?

— Это значит, что мы не знаем, где сейчас находимся: то ли на территории магистра — Огня и Холерика, то ли на территории послушника — Воды и Флегматика. А в этом чертовом мире это огромная разница, особенно если мы собираемся победить столетнего алхимика в его собственной игре!

Щеки у Эрин раскраснелись, глаза неестественно блестят. Роджер и Доджер смотрят на нее с одинаковым ужасом. Наконец Доджер спрашивает:

— Почему мы должны тебе верить?

— Разве не ты сама говорила, что разговаривала с собой из прошлого? Вы должны мне верить, потому что если я вру, значит, вы сходите с ума. А тебя это действительно беспокоит, не правда ли? Девочка из мира чисел, которая никогда не могла понять, как устроены люди, и слышит в голове голос брата, когда напугана или одинока.

Ты уверена, что он существует? Может, ты его просто придумала?

Впервые Доджер выглядит встревоженной.

— Конечно, он существует. Вот он, тут.

— Так и я тоже, но ты, кажется, страшно жаждешь отвергнуть все, что я говорю, даже если это ответы на вопросы, которые ты задавала себе всю жизнь, — говорит Эрин. — Бейкер была алхимиком. Рид следует ее учению, извратив его суть. Вы — продукт желания алхимика управлять реальностью, и я, конечно, понимаю, что вывалила на вас все и сразу, но вам нужно просто подумать обо всем, что я говорю, и вы поймете, что это абсолютная правда. Это единственное уравнение, которое объясняет всю вашу жизнь. Если вы не хотите принять этот факт, вряд ли я смогу что-нибудь для вас сделать.

Доджер глядит в глаза Эрин. Эрин смело смотрит в ответ. Доджер первая отводит взгляд.

— Если мы собираемся с ними сражаться — а мы *собираемся* с ними сражаться: у нас просто нет выбора, разве что вы двое повернетесь кверху брюхом, задрав лапки, и умрете такой смертью, какой я не пожелаю и собаке, — первым делом нам нужно понять, в Гиацинте мы или в Крокусе. У нас нет времени добраться в одну из стабиль-

ных стран, а о Невозможном городе не может быть и речи.

— Почему? — спрашивает Роджер.

О, взгляд, которым его одаривает Эрин, знаком ему с самого детства — так смотрят взрослые, привыкшие иметь дело с умным ребенком и разочарованные очередной вспышкой детского невежества, как будто слово «вундеркинд» должно было каким-то образом сопровождаться загрузкой энциклопедии прямо в его мозг. От этих призраков былого стыда щеки у него вспыхивают.

— Невозможный город — это территория Рида: он ни разу не был внутри, но у него под контролем стены, — отвечает Эрин, медленно и осторожно выговаривая слова. — Мы еще не готовы его штурмовать. Может быть, никогда не будем готовы. Они говорят, что, если вас не остановить, вы проявитесь, и я тоже на это ставлю, но это не значит, что я знаю, что это значит. Никто не знает. Может быть, вас просто станет слишком трудно убить, но вы не будете достаточно сильны, чтобы остановить величайшего алхимика своего времени. Может быть, вы станете новыми Кукушками, живущими в изгнании, пока Король кубков не ослабнет настолько, что вы сможете

его свергнуть. Есть только один способ это выяснить, так что я буду ужасно благодарна, если вы перестанете валять дурака и возьметесь за дело.

— Но что нам делать? — спрашивает Роджер. Ему совершенно ясно, что Доджер не сможет сразу справиться со всей этой информацией. Это все слова, сваленные в кучу, а ей требуется четкое уравнение, которое она сможет закончить. Так что нужно брать ситуацию в свои руки.

Эрин качает головой.

— Нам нужно спрятаться. Нужно понять, куда ехать. Нам нужно туда добраться. Вам нужно проявиться и сделать это как можно скорее.

— Ты повторяешь одно и то же, но не говоришь, что это *значит*. Чего конкретно ты от нас хочешь?

— Мне кажется, ближе всего к проявлению вы были во время землетрясения. О господи, землетрясение. — Эрин обращает к Роджеру мечтательный взгляд, будто вспоминает о вкусном тортике или шикарном сексе. — Я знала, что оно произойдет, потому что это уже случалось раньше. Вокруг этого момента было так много зарубцевавшихся шрамов, что воздух стал густым, словно патока. Если бы вы не остановились, если бы ты продолжил говорить ей, что делать, а она

продолжила бы отвечать числами… вы бы проявились прямо тогда и там. Я до сих пор не знаю, почему вы ни разу этого не сделали.

— Ты можешь чувствовать изменения временной линии? — встревает в разговор Доджер, причем в буквальном смысле: она отталкивает Роджера в сторону и придвигается ближе к Эрин. — Как? Почему? Я не могу их чувствовать.

Роджер ничего не говорит. Он слишком занят разглядыванием мира вокруг себя: как только она к нему прикоснулась, яркость красок усилилась в десять раз. Столько слов обретает смысл, когда все вокруг выглядит вот так. Цвет в чем-то сродни магии. Он надеется, что люди, имеющие способность видеть цвета, понимают это, а не просто воспринимают как должное.

— О, конечно, нет. Ты их вызываешь. — Эрин пристально смотрит на Доджер. — Каждое изменение временной линии происходило потому, что твой брат говорил тебе сделать так, чтобы старый мир исчез. Ты — термоядерное устройство на двух ногах. Наводнение, смывающее людей в страну Под-и-Над. А он — твой спусковой механизм. Ты не можешь сделать большую часть того, на что способна, без кнопки «Пуск».

Доджер ошеломленно моргает.

— Звучит немного по-сексистски.

— Рид не выбирал, кому достанется какая половина Доктрины, — вы сами это сделали в процессе инкубации. Не спрашивайте меня, как зародыши могут что-то выбирать. Вы были маленькими научными проектами с одинаковым набором генов и разницей в одну хромосому, и вы решали, как эти гены проявятся. Первенец будет владеть языком, тот, кто рождается вторым, — математикой. Второму также достаются все рецессивные гены, потому что дети, владеющие математикой, — расходный материал: всю свою жизнь они будут мишенями. Пока дыхание не покинет тело носителя математики, носитель языка может приказать ему вернуть линию времени в точку, предшествующую той, где все пошло к чертям. Из всех пар, которые мне известны, соотношение, кому что досталось — язык или математика, — примерно пятьдесят на пятьдесят.

Эрин не довелось встречать другие воплощения Доктрины: когда им было позволено покинуть лабораторию, их отдали на попечение другим кураторам. В некотором абстрактном смысле Эрин весьма благодарна этому обстоятельству. Единственный раз за всю свою жизнь она вытянула

хорошую карту. Ей досталась пара, у которой есть шанс выжить.

— Кажется, я видел этот мультик, — говорит Роджер. — Хреновый из меня Аладдин.

— О, тебе досталась своя доля отличных фокусов. Когда вы полностью проявитесь, никто не сможет тебе противиться. Ты будешь получать все, что попросишь. Ты сможешь править миром, если захочешь. Отчасти поэтому было так важно, чтобы я осталась с тобой, направила тебя к академической карьере, позволила тебе воплотить любовь к мертвым языкам и не стать засранцем. Я перешла на другую сторону не для того, чтобы сменить старого ублюдка на нового.

Теперь оба смотрят на нее с открытыми ртами.

— Знаю, это чересчур.

– *Думаешь?* — язвит Доджер.

— Знаю, это тяжело принять.

Роджер фыркает.

— Но у нас нет времени. Нам нужно спрятаться, нужно понять, каков наш следующий шаг, а вам двоим надо решить, вы уже поверите мне или все-таки умрете. Одно из двух, третьего варианта у вас нет.

Роджер и Доджер обмениваются взглядами. Им все еще неспокойно рядом — между ними вита-

ют призраки семи прошедших лет и ощущение, что земля дрожит под ногами. Доджер наконец осознает, что касается Роджера, и, вскрикнув, убирает руку и отсаживается подальше, на свою половину сиденья. Не все раны заживают мгновенно. Некоторые не заживают совсем. Эрин надеется, что эта рана не из таких. Иначе они все обречены. Она отворачивается, включает передачу и выезжает с обочины на дорогу.

— Куда мне ехать?

— Хм… — говорит Доджер. — Налево?

— Роджер, активируй ее.

Вот оно: настоящий тест — насколько они были внимательны, насколько они готовы последовать за ней под подводное течение в Под-и-Над. Она не Нив, не дочь моря, но лучшего проводника им не найти, а они даже не догадываются, как много она поставила на то, что сейчас произойдет.

— Даже не думай, — говорит Доджер.

— Прости, — говорит Роджер. Он извиняется совершенно искренне, и от этого становится только хуже, особенно когда он продолжает: — Доджер, скажи нам, куда ехать.

Воздух в машине становится плотнее и электризуется. Это что-то похожее на заряд, который они создали в пространстве между собой, когда

вызвали землетрясение, но неуловимо иное: более яркое, чистое, осознанное. Доджер садится прямо, на счет десять ее глаза расширяются и стекленеют. Роджер даже не уверен, что она дышит. Кажется, что она где-то в другом месте, там, где ей лучше.

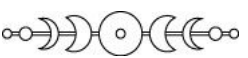
Когда она, моргая, возвращается в настоящее, ему почти ее жаль. Затем она бросает в его сторону ядовито-безумный взгляд, и его накрывает странная смесь вины и жалости к себе. Он не знал, что это сработает. Он не был *уверен*. Разве можно на него обижаться, если он не был *уверен*?

— Додж… — начинает он.

Она перебивает его:

— Сейчас на следующий съезд, а в конце съезда налево. Нам нужно покинуть машину.

Эрин улыбается сама себе и жмет на газ.



Они оставляют машину на перехватывающей парковке во Фримонте и засовывают купюры в автомат, пока он не выдает парковочный талон на двадцать четыре часа. Доджер выхватывает его из рук Эрин, ныряет в лабиринт припаркованных машин и через пару минут выныривает

с другим талоном. Этот действителен только восемь часов. Она приклеивает его к лобовому стеклу, бросает взгляд на Эрин и поясняет:

— Теперь любой, кто посмотрит на эту машину, подумает, что она тут уже больше половины суток. Она не могла нас сюда привезти.

Теперь она уже не просто описывает физические понятия, хотя сама этого не сознает, — она в шоке. Они оба в шоке. Такие вещи следует преподносить постепенно, понемногу, по чуть-чуть погружая подопытных в их новую реальность. Вместо этого Эрин бросила их на самую глубину, рассчитывая, что они поймут, как плавать. И они плывут. Доджер абсолютно права насчет талона и машины. У Ли или кого-нибудь вроде нее есть способы проследить их до этой парковки даже после того, как они покинут автомобиль. Рука славы затухла еще где-то на автостраде, сделав их видимыми и для обычного зрения, и для метафизического наблюдения. Их найдут. Но, когда Ли явится сюда, она обнаружит, что след остыл еще шестнадцать часов назад, потому что все это время было куда-то перенесено. Все это время было *передвинуто*.

Доджер сама не знает, что делает. Но это не повод этого не делать. Начав двигаться, дети

невероятной дороги действуют инстинктивно, и инстинкты редко их подводят.

— Отлично, — говорит Эрин. — Идем. Нам нужно понять, где мы, а потом понять, куда двигаться дальше.

Это Фримонт, Калифорния, в области залива Сан-Франциско — все они прекрасно это знают, и все понимают, что это не имеет значения. На самом деле они в стране Под-и-Над, а в стране Под-и-Над иногда самое трудное — найти дорогу домой.

Женщина была невозможно прекрасна. Она выглядела как субботнее солнце, как шоколадный торт, как вечер без домашних заданий. Ее улыбка была как мамина похвала – вся сладкая и ласковая, и Циб уставилась на нее во все глаза, желая лишь одного – поскорее броситься в эти незнакомые приветливые объятия.

«Если ты ей поверишь, то уже никогда не вернешься домой», – прошептал голос в глубине ее сознания, голос, так похожий на голос Девочки-вороны, что Циб едва не оглянулась через плечо, чтобы проверить, не идет ли кто-нибудь за ней следом. Это

было глупо. Девочка-ворона была с Эйвери, искала замóк, подходящий к их костяному ключу. Эйвери нельзя было оставлять одного. Он такой ранимый.

Циб никогда не дозволялось быть ранимой. С самого рождения ей втолковывали, что нужно быть жесткой, дерзкой, самой подниматься, отряхиваться и бежать дальше. Порой она задумывалась, каково это – когда тебе можно упасть и остаться лежать.

– Здравствуй, девочка, – сказала невероятная женщина. – Как тебя зовут?

– Циб, – сказала Циб.

– Меня зовут Королевой мечей. Мне бы очень хотелось с тобой подружиться.

А. Дебора Бейкер «За лесоградной стеной»

Книга VI
Под-и-Над

Простите меня, дети мои, но я вас никогда не узнаю.

А. Дебора Бейкер

Я стал безумцем, страдающим долгими приступами ужасного здравомыслия.

Эдгар Аллан По

Угольная пыль

Лента времени: 00:01 PDT, 17 июня 2016 года (наконец новый день)

Полночь встречает Ли Барроу в аэропорту: она сходит с самолета и впервые ступает на калифорнийскую землю. (Нет, не впервые, ничто для нее не впервые, ибо слишком немногое может произойти в первый раз для таких, как она: она — мозаика, палимпсест, слишком много душ вплетено в самую ее суть. Где-то в глубине женщина, которой она когда-то была, ворочается и плачет в беспокойном забытье, вспоминая запах эвкалипта, доносящийся с ветром, вкус морского воздуха, крики чаек — ярких и белокрылых, летавших над калифорнийским побережьем.)

Она стряхивает ощущение, что привидения, из которых она соткана, пробудились, и направляется к машине, присланной специально для нее. Мужчина за рулем — алхимик, последователь учения Рида, и он уже давно догадался, что выживет с большей вероятностью, если будет держаться подальше от своего наставника и его вездесущей хватки. Другой мужчина, который

молча открывает перед ней дверь машины, — конструкт: глина, лягушки и ловкое применение науки. Ли приберегает для него ядовито-сладкую улыбку.

— Как давно ты его сделал? — спрашивает она, устроившись на заднем сиденье, застегнув ремень и пристроив пистолет на коленях. На взлетной полосе частный самолет, доставивший ее сюда, заруливает в ангар дожидаться ее возвращения.

— Шесть лет назад, мэм.

— Глина, местные амфибии и…

— Железнодорожная сталь, мэм. Украденные рельсы. Я предпочел придать ему дополнительную устойчивость. Пришлось отказаться от речевых функций, зато вы можете въехать в него на автобусе, а он и не заметит.

— Хм-м… — В голосе Ли слышится сомнение. Массивный конструкт садится на переднее пассажирское сиденье, не заботясь о ремне безопасности — все равно его длины не хватило бы. — Это мы еще посмотрим.

Алхимик за рулем становится молчаливее своего конструкта. Не существует коллег или работников Джеймса Рида, которые бы ничего не знали о Ли Барроу: где Рид ее нашел, что она

такое. Чтобы кукла пережила своего создателя… она должна обладать неизмеримой силой.

— Ты их нашел? — Вопрос звучит легко, даже ласково. В этот момент Ли можно было бы принять за обычную женщину, которая разыскивает своих друзей.

— Нет, мэм, — отвечает алхимик.

— Почему?

Момент прошел. Теперь в ее голосе звучит обещание боли, от которой никуда не деться, и его руки стискивают руль.

Когда позвонил Рид, он сразу понял, что, вероятно, не переживет эту ночь. У него не было возможности отказаться. До сих пор он еще лелеял надежду, но теперь надежда исчезла, улетучилась.

— Они бросили машину. Я могу вас туда отвезти.

— Вези, — говорит она, откидываясь на сиденье. — И побыстрее. Сегодня я не слишком терпелива.

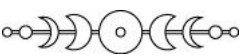
— Да, мэм. Клайд?

Конструкт открывает бардачок и достает Руку славы. Она очень маленькая. При жизни ее владельцу было не больше шести лет.

Ли никак это не комментирует. Отказ некото-

рых людей использовать Руки славы, сделанные из детей, всегда казался ей бессмысленным: убитый ребенок не оживет волшебным образом, если вы откажетесь использовать его останки. Мясо есть мясо. Мясо существует для того, чтобы его использовали, и каждый, кто думает иначе, наверняка заблуждается насчет своего места в этом мире.

Конструкт зажигает Руку. Машина наполняется сладким запахом воска и горелой плоти. Ли делает глубокий вдох, а безымянный алхимик, скрытый от бдительного ока полиции, давит на газ и, превышая скорость, мчится к иллюзии спасения.



Путь от частного аэродрома до автостоянки, где спрятана машина Эрин, занимает меньше тридцати минут. Ли выходит на обочину и с пренебрежительным видом оглядывается. Этот маленький городок, стремящийся дорасти до большого, все еще держится за людей, которые его основали: они наверняка помнят их имена и ежегодно устраивают празднества в их честь, как будто основать город — это особенное и уни-

кальное деяние, а не естественное стремление человечества к расширению территории. Лучше бы чествовали людей, которые пришли после первой волны сладостной новизны, тех, кто, невзирая на голод и наводнения, строил функционирующий город, инфраструктуру, достойную содержания в порядке. Лучше поддержать тех, кто боролся и умирал во имя чего-то, что никогда не будет принадлежать им, а только канонизированному давно умершему основателю.

Страна Под-и-Над принадлежит детям — всем этим Эйвери и Хефцибам, — но запомнят Королеву жезлов. Это несправедливо. Но это так.

Ли идет вперед, не оглядываясь; она не видит, как все-еще-безымянный алхимик облегченно вздыхает. Он просто мальчишка, вообразивший себя мужчиной. Он умрет еще до рассвета. Она знает себя и знает, что потребуется ей для поисков: алхимия, наука, убийство. Его сердце послужит топливом для настойки слежения, а руки — маскировочными устройствами, которые сделают ее незаметной. По сути, он — расходный материал, и у нее нет ни времени, ни сил, чтобы донести до него этот факт. Поэтому она просто идет вперед, легко и стремительно, как гончая, держа нос по ветру, стараясь учуять следы алхи-

мии. Подобное всегда раскрывается подобному, а Ли Барроу — женщина, сделанная из множества женщин, костей, перьев и земли. Она попросту не может пропустить признаки ритуала, так же как не может отрастить крылья и полететь, несмотря на то что в ее груди бьется ворона. Она пробирается между машинами, не останавливаясь и не оглядываясь назад.

Когда она приближается к зеленой «Хонде», воздух становится прохладнее. Она подходит ближе, и запах воска ласкает ей ноздри, подтверждая, что она достигла цели. Но это не объясняет чувства прохлады: такую прохладу она никогда раньше не чувствовала. Словно воздух изменил свое поведение, словно его молекулы замедлились, потеряв часть своей живости.

Двери машины заперты. Это никогда ее не останавливало. Одно быстрое движение локтя — и окно разбито; она забирается в машину, где воздух еще холоднее. Здесь произошел мощный ритуал, ритуал, который она не знает или не может опознать. Эта мысль леденит пуще воздуха. Если они начинают проявляться, если эта *сука* Эрин нашла способ подтолкнуть их к предназначению…

(Станут ли они ручными созданиями под ее

контролем? Найдет ли Эрин способ низвести фениксов до огненных птиц, превратив пламя в нечто управляемое, в нечто, желающее выполнять команды? Или они воспылают, не считаясь с количеством топлива, воспламеняясь все сильнее и разрушая мир? Она не станет лгать хотя бы самой себе: эта мысль настолько заманчива и привлекательна, что почти способна пересилить даже давнюю преданность мужчине, который держит ее в своей хватке.)

Она жестко встряхивается — так гончая встряхивает крысу, — прогоняя слишком соблазнительную и слишком ужасную мысль прочь, и наклоняется, чтобы поднять с подножки брошенную Руку славы. Воск еще мягкий и податливый; огонь догорел не более пары часов назад. Она достает из кармана горсть угольной пыли с крупинками серебра. Угольная пыль добыта в шахте, где в аварии погибло более ста человек; серебро — из украшений женщины, чей муж задушил ее, чтобы развлекаться с любовницей в их супружеской постели. Алхимия — очень тонкая и сложная вещь. Рид и вполовину не так хорош, как была Бейкер, но достаточно умен, чтобы знать, когда следует давать свободу своим сотрудникам. Искусство Ли совершенствовалось

под руководством человека, который ее создал, а тот прекрасно понимал, что те стороны алхимии, которые касаются мертвых, лучше всего практиковать самим мертвым. Но только когда этот человек умер (она даже не вспоминает его имя), а ее поводок оказался в руках у Рида, она начала расцветать. Где мертвые, там и она, а где она, там она может творить чудеса. Ли тонким слоем рассыпает пыль по ладони и, сложив губы, насвистывает пять нот из траурной песни, написанной на смерть Авраама Линкольна. Угольная пыль движется, серебро — нет. Ли хмурится. Судя по свечке, машина простояла здесь не более часа. Судя по витающим в воздухе ароматам — всю ночь и бóльшую часть дня, напитываясь солнечным и лунным светом, набираясь сил. Это невозможное противоречие.

Но в воздухе витает холод, а Доктрина наполовину сделана из времени. Ли сжимает ладонь в кулак, ногти впиваются в кожу, кожа лопается, выступает темная вязкая кровь. Появляется сладковатый запах, как от разлагающегося мяса.

Они проявляются.

Когда пятью минутами позже она выбирается из машины, лицо у нее спокойное, плечи расслаблены, руки висят по бокам, изящные пальцы

выпрямлены — ничто не выдает ее тревоги. Она идет сквозь лабиринт машин назад к своему автомобилю. Конструкт стоит снаружи, несет свою вахту, охраняя хозяина от опасностей ночи. Она знает, что самая большая опасность — это она сама, и она улыбается этой мысли, хотя и не испытывает удовольствия. Она жестом велит алхимику опустить окно, и он повинуется.

— Мэм?

— Они здесь были. Сейчас их здесь нет. У них нет машины. Какие есть варианты перемещаться в это время суток? Не таращись так, у нас нет времени. Куда они могли *пойти*?

— Поезда не ходят. Первые пойдут через три часа. Им придется либо украсть машину, либо найти заведение, которое открыто всю ночь.

Ли наблюдает за этими сбежавшими кукушками с колыбели. Доджер не водит машину вовсе, Роджер водит, но едва ли можно сказать, что у него есть способности к механике. Ее улыбка ужасает.

— Отлично, — говорит она. — Значит, они застряли, и мы можем заставить их двигаться.

Алхимик молчит.

Бессонная ночь

Лента времени: 00:01 PDT, 17 июня 2016 года (время идет)

В то время как самолет Ли Барроу выруливает на стоянку, Доджер бодро шагает по тротуару, а Роджер и Эрин идут следом. За плечами у Доджер рюкзак, в котором лежит все, что у нее осталось в этом мире, и он кажется ей одновременно и слишком легким, и слишком тяжелым.

Как там может уместиться все, если он такой *маленький*? Как возможно, что она может, не напрягаясь, поднять всю свою жизнь, весь свой мир и вот так спокойно нести? От таких мыслей можно сойти с ума. Поэтому она отбрасывает их в сторону, сосредотачиваясь на текущей задаче.

— Электрички начнут ходить только в четыре утра, и во Фримонте нет ночных автобусов, — говорит она, не замедляя шага и не оглядываясь. — У нас нет машины, и я точно не знаю, как их угоняют. Эрин?

— Что, если я поджигаю дома, то должна знать, как угнать машину? Нет. В этом деле я вам не помощник.

— Может, тебе следовало больше времени уделять получению полезных навыков, вместо того чтобы трахаться с моим братцем, — говорит Доджер. — Я не знаю, где мы должны быть, но точно знаю, что мы не должны быть здесь. Хотя бы один из вас умеет ездить на велосипеде?

— Нет, и вообще-то сейчас и тебе не стоит садиться на велосипед, — говорит Роджер.

Доджер не оборачивается.

— Это почему?

— Потому что у тебя рыжие волосы, — отвечает он.

Доджер тормозит. Затем, развернувшись, хмуро смотрит на него.

— При чем тут, на хрен, мои волосы?

— Если я различаю цвет твоих волос, значит, ты, вероятно, впервые за свою жизнь правильно воспринимаешь глубину пространства своими глазами, — поясняет Роджер. — Я бы непременно разбился, впервые увидев рыжего кота. Ты точно долго не проедешь: отвлечешься на тень от поребрика и врежешься в какую-нибудь витрину. Если честно, я удивлен, что ты можешь нормально ходить.

— Вы оба приспособитесь, просто нужно время, и вот почему *так важно*, чтобы вы прекратили

валять дурака и *проявились*, — резко говорит Эрин. — Доджер, ты должна доставить нас в безопасное место. Или ты думаешь, что то, что мы ищем, находится во Фримонте?

— Я даже не знаю, что мы ищем, — отвечает Доджер. — Ты нам не сказала. Ты наговорила кучу всякой хрени про Под-и-Над, А. Дебору Бейкер и про алхимиков-убийц, но в конце не было ничего вроде «теперь нам нужно просто найти магический „Дэннис“, где нам подадут заколдованный кофе, и все будет тип-топ». Похоже на игру в D&D с неопытным ведущим. Правила этой дерьмовой игры знаешь только ты.

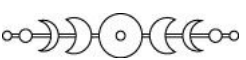
Эрин моргает.

— Хорошая мысль, — говорит она. — По-моему, до него примерно полмили в ту сторону. — Она показывает рукой направление, но Роджер и Доджер только непонимающе смотрят на нее.

— До чего? — спрашивает Роджер спустя пару секунд недоуменного молчания.

Эрин ухмыляется.

— До «Дэнниса». Вперед.



Три порождения ужасной алхимии втиснулись

за отгороженный столик в круглосуточном «Дэннисе», вжались в красные виниловые диванчики и изучают меню.

— Может быть, это признак того, что для меня все произошедшее — перебор, но сейчас меня реально привлекает мысль о блинах, — говорит Роджер.

— Берите, что хотите. Просто помните, что нам нельзя пользоваться кредитными карточками, — говорит Эрин. — Но у меня полно налички.

— Может, об этом стоит говорить потише? — Доджер нервно смотрит по сторонам. — Некоторые посетители выглядят так, будто и собственную мать ограбят за милое дело.

— Хотела бы я посмотреть на того, кто захочет меня ограбить. — Эрин скалится, как дикий зверь. — Помни: тебя создали, чтобы контролировать вселенную, а меня — чтобы ты дожила до этого момента. Прямо сейчас я была бы просто *в восторге* от небольшого милого ограбления.

— Ты уверена, что здесь стоит произносить словосочетание «контролировать вселенную»? — спрашивает Роджер.

— Люди не слушают, — отвечает Эрин. — Каждый мнит себя настолько важной и неотъемлемой частью человеческого существования, что

думает, будто кто-то ловит каждое его слово, но это не так. Ни сейчас, ни раньше. Разве что во время суда над ведьмами. Никто нас не слушает. Это даже забавно, учитывая, насколько вы двое *важны*. Нет. Нам нужно спрятаться, нам нужно залечь на дно, и часть стратегии — вести себя совершенно естественно и открыто. Тогда люди не будут обращать на нас никакого внимания. Никто из тех, кому есть что терять, не станет сидеть в «Дэннисе» после полуночи и есть блинчики.

— Это чертовски странно, — говорит Доджер.

— Разве не здорово? — Эрин снова улыбается (на сей раз нормально — без оскала) и возвращается к изучению меню. — Я, пожалуй, закажу молочный коктейль.

У Доджер звонит телефон.

Все трое замолкают и с одинаковым выражением смотрят на ее рюкзак — так, будто неожиданно обнаружили, что он полон ядовитых змей. Телефон продолжает звонить. Обманчиво любезным тоном, в котором читается угроза, Эрин спрашивает:

— Интересно, какая часть фразы «нам нужно залечь на дно» означает «не отключай телефон»? Если там включен еще и GPS, я убью вас обоих и буду надеяться, что Рид поверит, когда я скажу,

что это все была такая многоходовка и я просто хотела понять, насколько вы близки к проявлению.

— Я его *отключила*, — говорит Доджер, роясь в рюкзаке в поисках телефона. Найдя его, она демонстрирует темный экран. Снова порывшись в глубине рюкзака, она извлекает аккумулятор и, словно шайбу, запускает его через стол к Эрин. — Видишь? Я даже вытащила долбаный аккумулятор.

Телефон продолжает звонить. Роджер нервно на него смотрит.

— Когда ты успела купить модный телефон, работающий без аккумулятора?

— Я этого не делала.

Поймав аккумулятор, Эрин вертит его в руке, а потом сурово смотрит на Доджер.

— И ты не врешь, чтобы спасти свою шкуру?

— Я слишком плохо понимаю, что происходит, чтобы тебе врать. — Доджер снимает с все еще звонящего телефона заднюю крышку и демонстрирует Эрин пустоту на месте аккумулятора. — С научной точки зрения это невозможно.

Роджер смеется. Он ничего не говорит, просто смеется безнадежным смехом, сползая вниз по сиденью, пока его голова не стукается о спинку

дивана.

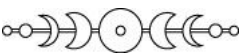
Доджер вздыхает.

— Ладно. Мне ответить?

— Не так много людей могут звонить на выключенный телефон. Ты — одна из них. Отвечай.

Доджер кивает, нажимает на боковую кнопку, а затем подносит телефон к уху. Роджер перестает смеяться.

— Алло? — говорит Доджер.



Последний раз Ли разговаривала с Чезвич, когда та была краснолицым младенцем, визжащим, как только ее относили от брата на расстояние больше пяти футов. Тем не менее она видела фотографии, слушала записи и легко узнает кукушонка по голосу. Она улыбается и, прикрыв глаза, откидывается на спинку кресла, которое для себя облюбовала.

— Вот это да, Доджер, — мурлычет она. — Похоже, ты уже большая, взрослая девочка. Сколько тебе сейчас? Двадцать девять? Уже почти старая дева, а показать нечего, кроме курса лекций да нескольких книг, которые некоторые магазины уже распродают за бесценок. Я читала первую.

Можешь гордиться своей эрудицией. Вот чего я даже не буду пытаться отнять: ум у тебя блестящий. Жаль, что ты не воспользовалась им как следует, пока у тебя была такая возможность.

— Кто это? — Голос у Доджер осип от страха.

Ли улыбается шире. Все владеющие математикой дети похожи: они всегда настороже, и их легко запугать, если они думают, что опасность грозит им самим. Если угрожать их вторым половинкам — реакция будет совсем другой. Вот почему важно подходить к проблеме с нужной стороны, давить на слабое звено. Кукушата, которым досталась математика, умрут, защищая кукушат, владеющих языком. Многие так и умерли. Но у большинства из них не было возможности защитить себя. В них это не закладывалось, а Ли прекрасно знает, что в них закладывалось, а что нет. В конце концов, она одна из тех, кто их создавал.

— Меня зовут Ли Барроу. Полагаю, ты рядом с Эрин. Я хочу, чтобы ты опустила телефон и сказала мое имя вслух. Глядя ей в глаза. Тогда ты поймешь, насколько все серьезно. А когда поймешь, вернемся к нашему разговору. Да, и, Доджер? Если ты позволишь ей взять телефон, я повешу трубку, и ты не узнаешь, что я сделала.

Доджер ничего не отвечает. Ли улыбается и слушает. На заднем фоне она слышит изумленное восклицание Эрин, а за ним череду слов, слишком быстрых и приглушенных, чтобы можно было разобрать, о чем речь. Все в порядке. Ей не нужно знать, что именно говорит ее творение и бывшая протеже, потому что и так понятно, что ничего хорошего: никто никогда не скажет ничего хорошего о том, что она собой представляет и на что способна. Даже Рид, который, предположительно, ценит ее вклад в его работу. Ли не против. Ее никто не любит и все боятся — что ж, в этом есть свои преимущества, и имя ей легион, ей не требуется иной компании, кроме своей.

— Алло? — Голос у Доджер немного жалобный и — да — испуганный. Прекрасно. Так намного проще.

— Привет, дорогая. Где ты?

— Нет.

Просто «нет», ровный тон, не за что зацепиться. Улыбка Ли становится еще шире. Будет *весело*.

— Похоже, ты чего-то не понимаешь. Тебе известно, кто я. Тебе известно, кто я для тебя. Не мать, нет — эта сомнительная честь была предоставлена корове, которая получила больше, чем заслужила, когда я разрезала ее от губ до промеж-

ности, — скорее акушерка. Я была рядом, когда ты родилась. Я вытащила тебя в этот мир, ты была вся в крови и слизи и все время кричала, и я с самого начала надеялась, что у меня будет возможность отправить тебя прочь из этого мира таким же способом. Ты знаешь, *что* я такое. Если хочешь, чтобы я была милосердна — а это, не буду тебе лгать, всегда дается мне нелегко, — ты должна сказать мне, где ты, и ждать меня там.

— Нет, — снова говорит Доджер, так решительно, так просто, но этого все равно недостаточно. Если бы она была первенцем, может быть… но, если бы она была первенцем, Ли бы ей не звонила. Во время охоты, если есть такая возможность, всегда выбирают слабое звено.

— Знаешь, тебе не обязательно упрямиться. Мы могли бы подружиться.

— Это вряд ли.

— О, неужели? У меня есть, что тебе предложить. Кое-что, от чего ты вряд ли захочешь отказаться.

Доджер замирает. Она ценит обмен и торг; дети-математики всегда думают, что могут получить что-то даром или за бесценок, если правильно разыграют карты.

— И что это?

— Легкая смерть. Я убью тебя очень нежно, Доджер. Я перережу тебе горло, ты и глазом моргнуть не успеешь, и истечешь кровью на полу раньше, чем поймешь, что ждать удара уже не надо. Если я сделаю все достаточно быстро, ты даже не почувствуешь боли. И может быть, Эрин сумеет сохранить жизнь твоему брату, если использует все, чему я ее научила. Ты можешь его освободить. Я знаю, ты уже пыталась это сделать. Я знаю, что это единственное, чего ты когда-либо по-настоящему желала.

Тишина.

— Ах да, у тебя же нет причин, чтобы согласиться на мое предложение, не так ли? Вот тебе причина: твои родители мертвы.

— Что? — Это скорее всхлип, чем слово.

Ли может вообразить выражение лица Доджер. Ужас, гнев, страх — и все это смешалось в восхитительном коктейле боли. Как бы она хотела это увидеть. Но слышать — тоже неплохо.

— Твои родители. Мертвы. Я их убила — на случай, если ты надеялась, что они погибли в автокатастрофе или что-то еще в этом роде. Видишь ли, я нигде не могла тебя найти, хотя *очень* старалась. Полагаю, ты что-то нахимичила со временем, чтобы сбить меня со следа. Не очень мило

с твоей стороны, знаешь ли. Ты *отказывала* мне во встрече. Мне не нравится, когда мне отказывают, поэтому я совершила небольшое путешествие до того дома, в который тебя поместил Рид.

У Доджер перехватывает дыхание.

— Я позвонила. Открыла твоя мать. На ней был розовый халат с голубым атласным кантом. Такие давно не носят. Он прекрасно впитал кровь, когда я поработала ножом.

Лезвие проскользнуло между ребрами, рассекая все на своем пути: и плоть, и органы. Ее легкое сдулось, как старый воздушный шарик, — оно больше не могло удерживать воздух и поддерживать тело. Одно простое движение — Ли много раз использовала его на практике, на множестве тел.

— Эрин не рассказывала, как она убила ту маленькую индианку, после того как та по вашей с Роджером глупой просьбе провела ДНК-тест? Эрин научилась этому движению от меня, а я сегодня познакомила с ним твою мать. Она даже не успела закричать, как уже оказалась на полу. Ты будешь счастлива узнать, что ее тело послужит науке. Моей науке. Мне всегда нужны запчасти.

— Ты лжешь. — Это шепот раненого ребенка. На заднем фоне раздаются громкие встревоженные

восклицания.

Закрыв глаза, Ли поглубже устраивается в кресле, и подвытертая кожа принимает ее в свои объятья, будто руки любовника. Хорошее кресло. Жаль, что его забрызгало кровью, но всему в этом мире рано или поздно приходит конец.

— Я лгу? Или ты просто не хочешь слышать правду? Признаю, это болезненная правда, но уж какая есть, и мы с тобой не из тех, кто может ее отрицать. Твой брат — вот он мог бы поспорить с правдой, в пределах разумного… но он не умеет воскрешать мертвых. Это могут сделать только очень хорошие алхимики, но, поверь мне, тебе бы не слишком понравился результат. Мертвецы редко бывают привлекательными. А если да — у всего есть своя цена. Всегда.

— Ты *лжешь*.

— Дверь открыла твоя мать, а когда она не вернулась обратно, спустился твой отец. Я его застрелила. Мужчины становятся такими агрессивными, когда видят своих мертвых жен. Его руки целы. Ты и не заметишь моего приближения. Теперь ты мне веришь? Или, чтобы ты поняла, что я не лгу, мне надо пройтись по дому, в котором ты провела детство, описывая все, что попадается на глаза? Скажу тебе правду,

Доджер: мне надоели твои беспочвенные обвинения. — Тихий скрип, затем тишина. Ли открывает глаза. — Возвращайся домой, — говорит она. — Можешь оставить их там или взять с собой. Можешь попытаться справиться со мной силой, можешь устроить засаду, можешь прийти *отомстить* — мне все равно, просто возвращайся домой. Подойди достаточно близко, и я дам тебе то, что обещала. Люди, которые взяли тебя к себе, вырастили, называли своей дочерью, — мертвы, кукушонок, а все потому, что ты хотела увидеть Невозможный город. Ты могла бы их пощадить. Ты могла бы пощадить многих. Возвращайся домой, и все остальные, кто тебе дорог, останутся живы. Иначе, смею тебя заверить, на этом все не закончится.

— Я не могу…

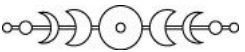
— Девочка, кровь твоей матери на вкус похожа на леденец. Не трахай мне мозг. Возвращайся домой.

Ли вешает трубку и встает. Безымянный алхимик стоит в коридоре, за ним — темная фигура его конструкта. Ли, прищурившись, смотрит на эту пару.

— Итак?

— Я уложил обоих в столовой, как вы просили.

— Хорошо. — Ее улыбка не имеет ничего общего с выражением радости. — Давайте вооружаться.



В ресторанчике Доджер роняет телефон. Лицо у нее побледнело, она смотрит на телефон широко раскрытыми глазами, и некоторое время никто ничего не говорит. Наконец Роджер тянется к ней и вздрагивает, когда она отстраняется. Доджер вскидывает голову и сосредотачивается на Эрин.

— Она лгала? — Ее голос ломается на слове «лгала».

Эрин больше беспокоит, чтобы Доджер не сломалась сама — навсегда.

— Нет, — тихо и беспощадно отвечает она. — Если Ли Барроу говорит, что она кого-то убила, значит, она так и сделала. Это ее стиль. Она может лгать, но редко видит в этом необходимость. Правда ранит намного больнее.

Доджер встает. На этот раз реагирует Эрин: перегнувшись через стол, она кладет руки на плечо Доджер и толчком возвращает ее на диван.

– *Отпусти* меня!

— И что дальше? Вызовешь такси до Пало-Альто и отправишься умирать? Умрешь ты — умрет

Роджер. Ты этого хочешь? — Глаза Эрин сверкают. Это ее последнее оружие. Однажды она была собственностью Ли и знает, как действует эта женщина, потому что сама действует так же. В правде есть сила. Это тоже своего рода алхимия. — Если она тебе в чем-то и соврала, так это в том, что у тебя есть способ умереть, не убив при этом Роджера. Да, его тело сможет дышать некоторое время после того, как твое перестанет, но ни черта не сможет спасти его разум. Ты умрешь — и он умрет, но это никак не вернет твоих родителей.

Доджер снова распахивает глаза, лицо внезапно озаряется надеждой.

— Их можно вернуть! Можно! Временная линия, мы… мы можем перезапустить временную линию. Мы можем вернуться и попытаться их предупредить.

— Это так не работает. Все никогда не бывает в точности таким же.

— Это должно сработать! — Доджер поворачивается к Роджеру. — Пожалуйста. Она сказала, что именно ты говоришь мне, что делать. Так скажи мне, что делать. Позволь мне изменить временную линию.

— Кажется, прямо сейчас нам нужно послушать

Эрин, — тихо отвечает Роджер.

— Доджер, тебе не кажется, что, если бы мы могли сделать это, не потеряв твоих родителей, мы бы уже перезапустили временную линию и осуществили этот вариант? — Эрин пытается задать вопрос как можно мягче. — Я знаю, ты приняла, что землетрясение должно было случиться, чтобы заставить вас поверить мне. Что, если — как бы это ни было больно — что, если твои родители должны умереть, потому что иначе с ними может случиться что-то гораздо худшее? Не всех удается спасти.

Доджер в изумлении смотрит на Эрин.

— Охренеть, ты что, издеваешься? Это мои *родители*.

— Его родители работают на Рида. — Эрин кивает на Роджера. — Они дрессировали его, как щенка, чтобы вырастить таким, каким он был нужен Риду. Твои родители, по крайней мере, действительно тебя любили. Прими это и отомсти, проявившись, как должно.

Роджер молчит.

Доджер смотрит на них во все глаза, потом снова пытается встать. На этот раз Эрин ее не останавливает.

— Вы оба ненормальные, — говорит Доджер. —

Я иду домой. — Она отходит от столика и идет к выходу.

Роджер, не раздумывая, вскакивает, бросается за ней и хватает ее за руку.

— Не уходи. Пожалуйста.

Она оглядывается на него.

— Мои родители, — говорит она.

— Я знаю. Доджер, мне очень жаль, я…

— В самом деле? Потому что мы только что узнали, что ты тоже потерял своих родителей. Может быть, это симметрия. Может быть, нужно, чтобы сошелся баланс. Только они никогда на самом деле не были твоими родителями. Так что у тебя нечего отнимать.

Она жестока и сознает это — он видит это по ее глазам. Но это не мешает ее выпаду достигнуть цели. Он ее отпускает. Доджер делает еще один шаг к выходу.

Эрин смотрит на Роджера.

— Теперь все зависит от тебя, — говорит она.

Он не имеет права на сомнения, иначе они ее потеряют, а потеряв ее, они потеряют все. Мир потеряет все. Она простит его. Он крепко держится за эту мысль и говорит:

— Доджер, остановись.

Доджер останавливается.

— Вернись обратно.

Она поворачивается — на лице застыла маска ярости и ужаса, но, дрожа от гнева, она делает три шага обратно к их столику.

— Не делай этого, — просит она.

— Сядь.

Доджер садится.

— Прости, Додж, — говорит он. — Я не могу позволить тебе уйти.

Доджер молча отворачивается. Эрин вздыхает в тишине.

— Будет весело, не правда ли? — Слава богу, вопрос риторический. В противном случае никто из них не смог бы на него ответить. Она снова берет в руки меню, открывает его и говорит: — Нам нужно поесть. Может быть, это последняя возможность.

Роджер пораженно смотрит на нее.

— Что?

— Что слышал. — Она опускает меню и смотрит на него в ответ. — Это война, Галчонок. Я держала тебя в стороне так долго, как только могла, потому что мне нужно, чтобы у тебя было как можно больше времени и знаний, но это не меняет того, что война идет уже больше сотни лет. Бейкер задумала вас, Рид создал, и вот вы

здесь, и вы принадлежите всему миру. Вы оба. От этого нельзя просто так отвернуться. Смита была не единственной, кого я убила по приказу Ли, а Чезвичи — не последние из тех, кого убила она сама. *Тепер*ь вы поняли? Если вы сбежите, вы только сыграете ей на руку.

— Мы что, даже не позвоним в полицию?

Вопрос Доджер звучит просительно и кротко, как вопрос ребенка. В нем нет злости. Вся злость припасена в выражении глаз.

Ее взглядом можно расплавить металл.

— И пошлем полицейских на смерть? Ты точно этого хочешь? — Эрин невозмутимо встречает ее взгляд. — Это при условии, что они вообще найдут нужный дом. К этому моменту вокруг Ли точно горят Руки славы, и они скрывают все пространство вокруг. Она не любитель. Она научила меня всему, что я знаю, но, как говорится, не всему, что знает она сама. Она — чудовище, которое пытается заманить тебя в свое логово, и мы не можем тебя отпустить. Мне жаль. Если мы потеряем тебя, все пропало.

— Она не чудовище. Она женщина. Женщины смертны.

Эрин качает головой.

— Ее собрали из дюжины трупов. Половина

ее костей покрыта защитными рунами, и они надежно спрятаны под кожей, а тому, чего не видишь, нельзя противостоять. Алхимик, который создал ее, погиб от руки Рида, поэтому никто из ныне живущих не знает всех хитростей, которые есть у нее в запасе. Она опасна. Смертельно опасна. Если ты хочешь остановить ее, если хочешь отомстить за своих родителей и все исправить, насколько это возможно, ты *должна* проявиться. Я не знаю, как еще мне нужно это сказать. Ты должна найти сердце той страны, в которой мы сейчас находимся, неважно, это страна Жевунов или Гиацинтов, и привести нас туда, пока еще не слишком поздно.

Доджер смотрит Эрин прямо в глаза.

— Когда все это закончится, — говорит она совершенно вменяемым голосом, — я уйду и больше никогда не заговорю ни с одним из вас.

— Посмотрим, — говорит Эрин. — А сейчас подумай, что будешь есть. Тебе понадобятся силы.

Яйца с ветчиной

Лента времени: 4:13 PDT, 17 июня 2016 года (тот же проклятый день)

Их полуночная трапеза тянется уже очень долго (на самом деле еда оказалась на столе где-то после часа ночи: это переходное пространство между ночью и днем изобилует неверными терминами и неточностями). В какой-то момент Эрин смотрит на настенные часы и говорит:

— Электрички начали ходить. Нам пора.

— И *куда* нам пора? — спрашивает Роджер. — Мы не знаем, куда идти. Ясно только, что где-то там нас ищет убийца, а мы всю эту чертову ночь сидели в ресторанчике и ели яйца, вместо того чтобы спасать свои жизни.

— Яйца тоже могут спасти жизнь, — говорит Эрин. Затем переводит взгляд на Доджер. — Если хочешь узнать, куда нам идти, спроси свою Девочку-ворону. Она единственная, кто может нас туда отвести, если начнет играть с нами заодно.

Доджер уже несколько часов не говорит ни слова. Она пристально смотрит на Эрин и продолжает хранить молчание. Эрин вздыхает.

— Будешь дуться — это их не вернет, а вот мы можем погибнуть. Роджер, вразуми свою чертову сестру.

— Это похоже на пауков, — говорит Доджер. Роджер и Эрин замирают. — Когда он отдает приказ, который я не хочу выполнять, такое ощущение, что у меня в мозгу пауки, и я *не могу сказать «нет»*. — Доджер практически выплевывает каждое слово. — Неважно, насколько сильно я не хочу этого делать, я должна, потому что он так говорит, и тогда кажется, будто у меня в мозгу копошатся пауки. Это ты сказала ему это сделать. Ты заставила его использовать меня как марионетку.

— Додж… — начинает Роджер.

— Не думай, что ты тут ни при чем, — перебивает она. — Она сказала тебе это сделать, но она — не ты. Ты не обязан ее слушаться, как я обязана слушаться тебя. Так что ты тоже вляпался по уши.

— Мило, что ты еще способна дуться как подросток, но это ни к чему не приведет, — говорит Эрин. — Хочешь злиться на меня — злись, я не могу этому помешать. Я просто хочу, чтобы ты помнила: не я тебя создала. Тот, кто это сделал, тот, кто теперь послал убийцу, чтобы с вами

расправиться, — он еще жив. Все это лежит у его ног. Он долгое время гнался за своей мечтой. Единственный способ его остановить — забрать ее у него.

— Алхимики умеют воскрешать мертвых, — неожиданно говорит Доджер.

— Да, — говорит Эрин. Но молчит о другом: о цене, которую приходится платить, о причинах, по которым большинство людей никогда бы на такое не решились. Порой, когда факты говорят сами за себя, получается красивая откровенная ложь. — Но, если ты хочешь заставить алхимика сделать то, что тебе нужно, ты должна проявиться. Ты должна понять, где мы.

Доджер безучастно смотрит на нее, а потом тянется через стол, берет солонку и перечницу, снимает с них крышки и, высыпав содержимое на пластиковую поверхность стола, перемешивает все как следует, пока не образуется относительно однородная смесь. (Получившийся состав удручающе походит на смесь угольной пыли и серебряного порошка, которую обожает использовать Ли. Доджер этого не знает. Зато Эрин знает и поэтому вздрагивает.)

— Нам нужно определить характеристики заданного множества, чтобы вычислить положе-

ние квадрантов, — говорит Доджер. — Ты сказала, что это либо вода, либо огонь, так?

— Да, — отвечает Эрин.

— Присваиваем значения четырем возможностям, пусть вода будет минус два, а огонь — плюс два, начнем отнимать воздух и землю от каждого…

Доджер говорит, а ее пальцы двигаются, вычерчивая линии и уравнения на рассыпанной смеси соли и перца; она все глубже и глубже погружается в свой собственный маленький мир.

Воздух вокруг их столика становится холоднее. То, чем занята сейчас Доджер, — не математика в истинном смысле этого слова, но в то же время это более глубокая, истинная арифметика, какой она не занималась уже многие годы. Это инстинктивная математика детей, соизмеряющих движение заходящего солнца с тем, насколько будут сердиться родители, это горестная математика моряков, соизмеряющих размер пробоины с расстоянием до берега. Это математика, которая движет вселенной, действие и противодействие, водящие хороводы вокруг чисел. Эта математика у Доджер в крови, и ее пальцы танцуют поверх рассыпанной смеси овоща и минерала, инстинктивно отделяя их друг от друга. Постепенно

цифры, извлекаемые из этой смеси костей и золы, бледнеют, теряя угольный оттенок перца.

Когда она заканчивает, соль и перец лежат отдельно. Это должно быть невозможно. Но Доджер, похоже, даже не осознает, что случилось. Она постукивает пальцем под последней строчкой недоступных для понимания цифр и говорит:

— Вода. Вот почему у нас засуха или что-то около того. Что бы ни сделали враги Бейкер — не могу поверить, что говорю это, — что бы ни сделали враги Бейкер, чтобы уничтожить ее труды, работа по уничтожению еще продолжается, и часть замысла — лишить квадранты их сущностной природы. Например, если какое-то место в уравнении должно представлять воду — надо забрать оттуда как можно больше воды в надежде, что тогда все само собой разбалансируется настолько, что перестанет быть единым целым.

— Звучит разумно, — говорит Эрин. — Разделив элементы, Бейкер очистила их от примесей. Она привязала каждый из них к конкретному якорю, но ничто в природе не желает долго оставаться чистым. Если бы кто-нибудь захотел разрушить Невозможный город, было бы правильно начать с дестабилизации элементов. Именно это пытался сделать Баум со своей запутанной страной Оз, где

элементы смешаны. Старый ублюдок.

— Мне плевать на ваших мертвых алхимиков и их дурацкие планы, — говорит Доджер и встает. На этот раз ее никто не останавливает. — Мы на территории воды, и, если ты скажешь мне размеры ее границ и сопровождающего алхимического потока, я смогу вывести тебя к самому центру. *Теперь* мы можем идти?

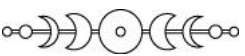
— Сначала мы должны сделать еще кое-что, — говорит Эрин.

– *Что?* — нетерпеливо спрашивает Доджер.

Эрин безжалостно улыбается.

— Мне нужно расплатиться.

Даже в таких обстоятельствах Роджер не может удержаться от смеха.



До станции примерно полторы мили пешком через пустые бизнес-парки и молчаливые жилые кварталы. Сначала Эрин идет впереди, Роджер за ней, а Доджер замыкает. Доджер что-то бормочет себе под нос, время от времени окидывая взглядом окружающее пространство, будто делает замеры. Роджер то и дело оборачивается, чтобы удостовериться, что она не убежала. В

конце концов он поворачивается лицом вперед и закрывает глаза.

— Привет, Додж.

Доджер подпрыгивает от неожиданности — голос Роджера резонирует в ее черепе. Сам Роджер идет впереди. Она прищуривается.

— Ты споткнешься и упадешь.

— Не споткнусь. — Тело Роджера совсем рядом, и одновременно он у нее в голове, и это порождает странный эффект, похожий на эхо: внутренние и внешние звуки накладываются друг на друга, образуя что-то третье. — Я научился этому трюку у тебя. Во время землетрясения, помнишь? Ты закрыла глаза, но продолжила бежать, потому что смотрела моими глазами. Это было очень ловко.

— Ого, как будто я умная или что-то в этом духе, — горько говорит Доджер. — Это не лучший способ поговорить наедине. Твоя *девушка* может нас услышать.

— Она больше не моя девушка, — возражает он. — Я даже не знаю, была ли она ею когда-нибудь. Додж… мы должны найти способ пройти через это и не потерять друг друга. Я этого не вынесу.

— Об этом надо было думать до того, как ты позволил ей собой манипулировать, чтобы поса-

дить меня на поводок, — говорит Доджер. — Быть рядом с тобой небезопасно.

— Я больше не буду делать это без твоего разрешения. Обещаю. — Он медлит. Кажется, этого недостаточно. — *Клянусь*, — поправляется он, и это звучит по-детски, зато более искренне.

— Не думаю, что ты можешь сдержать это обещание. Я хочу быть рядом с тобой, но я тебе не верю, когда ты говоришь, что не сделаешь мне больно. Ты точно сделаешь мне больно.

— Конечно. Я твой брат. Я буду делать тебе больно, и раздражать тебя, и доводить до белого каления, и ты будешь делать со мной то же самое. Что из того, что у меня суперспособность убеждать? Ты умеешь менять *время*. Это же очень круто, Додж. Но это работает, только когда мы вместе. Я устал жить с ощущением, что чего-то не хватает. Я устал гадать, какого цвета у меня яблоко. Останься со мной. Конечно, мы наверняка сделаем друг другу больно, но зато никто другой больше никогда не причинит боль нам.

Разве это не то, о чем она всегда мечтала? Чтобы никто не делал ей больно.

Доджер некоторое время молчит. Затем тихо говорит:

— Если ты нарушишь слово, я тебя убью. Я су-

мею это сделать. Неважно, насколько ты станешь силен, я сумею.

— Знаю.

Она улыбается сама себе, кивает и говорит:

— Убирайся из моей головы.

Роджер открывает глаза и чувствует ее руку в своей. Боковым зрением он видит, что она идет рядом, смотря прямо перед собой.

— Если эта женщина, Ли, такая умная, как ты говоришь, она будет следить за электричками, — говорит Доджер. — Это самый легкий и удобный способ перемещаться в районе залива, если нет машины. Так что нам нужно придумать что-то другое.

— Например, что? — спрашивает Эрин. — Ты же до сих пор не сказала, куда мы направляемся.

— Потому что я до сих пор не знаю, — отвечает Доджер. — Знаю только, что нам нужно добраться до воды. У тебя еще есть наличка?

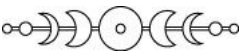
— У меня всегда есть наличка.

— Отлично. — Доджер выдает диковатую улыбку. Такая улыбка снится детям в ночных кошмарах, и Роджеру отчего-то становится легче. Наверное, если Доджер может быть для кого-то ночным кошмаром, ее не так тяготят собственные. — Надеюсь, у тебя ее много, потому что мы

берем такси.

— И куда мы поедем?

— Далеко.



«Далеко» оказывается Беркли: они вернулись туда, откуда начали — в город, где еще тлеют угли дома, в котором Роджер и Эрин провели вместе столько счастливых лет. Когда они выходят из такси, воздух словно наэлектризован; Роджер предполагает, что это потому, что впервые за долгое время он здесь вместе с Доджер (она берет его за руку сразу же, как только они выходят из машины). В последний раз, когда они были в этом городе вместе, они убили больше тысячи людей и разрушили здания, которые иначе простояли бы еще сотню лет. Теперь они просто два кукушонка в бегах, два очередных путника на дороге в Невозможный город. Этот момент должен быть более торжественным и значительным. Но это совсем не так. Беркли — всего лишь промежуточная станция. И всегда был просто промежуточной станцией.

— Автобус «Трансбэй» отходит от железнодорожной станции «Олбани», — говорит Доджер. —

На нем мы доедем до центра Сан-Франциско. Там возле остановки прокат велосипедов. На них мы доберемся, куда надо.

— А куда нам надо? — спрашивает Эрин.

— Еще не знаю.

По настоянию Доджер они вышли из такси за три квартала до станции. Это небольшая хитрость — она будет стоить Ли и ее людям всего нескольких секунд. Но несколько секунд — лучше, чем ничего. Они идут к станции и останавливаются, глядя на яркие огни, на современное здание. Вот так выглядит нормальная жизнь. Жизнь, которую они — к лучшему или к худшему — вынуждены были оставить.

— Нам нужно больше времени, — резко говорит Доджер, поворачиваясь к Роджеру. — Прикажи мне.

— Что?

— Я не знаю, что нам делать, а у нас нет времени стоять тут и ждать, пока до меня дойдет. Пауки появляются у меня в мозгу только тогда, когда я не хочу что-то делать. Сейчас я хочу. Прикажи мне выиграть для нас время.

Эрин делает шаг назад, скрещивает руки и молча наблюдает. Им необходимо это сделать: обнаружить пустые места между собой и понять,

как лучше всего их заполнить. Она *помнит* это, или что-то очень похожее, из других временных линий, попытки проявления, которые закончились неудачей, отчего приходилось начинать все заново. Она не знает, когда Роджер сказал ей это запомнить, но раз она помнит, значит, это важно. Она не будет вмешиваться. Ей до сих пор больно. Она помнит, как было больно в первый раз, когда она поняла, что никогда не станет частью их тесного круга, их государства из двух человек. Рид мог разделить Доктрину на два тела, каждое со своими мыслями, личностью и желаниями, но не в его силах было сделать кукушат независимыми друг от друга. Они снова и снова друг друга находили, и, когда это случалось, они становились единым целым, и не было ни малейшей щелочки, куда мог бы втиснуться кто-то еще.

Роджер морщится.

— Ты уверена? — обеспокоенно спрашивает он.

— Уверена. Скажи мне.

Он делает глубокий вдох.

— Доджер, — говорит он. — Выиграй для нас время. Это приказ.

Глаза Доджер стекленеют, и воздух вокруг становится холоднее на четыре градуса. Где-то там

ее разум работает в два раза быстрее, рассматривая возможности и отбрасывая их со скоростью, на которую Доджер сама по себе не способна. Затем, не говоря ни слова, она разворачивается и куда-то идет. Через несколько шагов она переходит на бег.

Эрин и Роджер бегут за ней — в светлый вестибюль железнодорожной станции. Она лезет в карман, извлекает оттуда смятую двадцатидолларовую купюру, сует ее в автомат, набирая на клавиатуре что-то, что должно было бы только запутать несчастный компьютер. Однако автомат выплевывает град блестящих долларовых монет и три билета — на каждом стоимость поездки до Фримонта в один конец. Она засовывает монеты в карман, один билет берет себе, а два других протягивает спутникам.

— Берите, — нетерпеливо говорит она, обнаружив, что они стоят в ступоре. Они берут билеты.

Доджер лижет свой билет там, где нет магнитной полоски, и жестом велит остальным сделать то же самое. Они повторяют за ней, и она, выхватив билеты у них из рук, убегает. Роджер и Эрин смотрят ей вслед.

— Что она делает? — спрашивает Роджер.

— Ни черта не понимаю, — отвечает Эрин.

Доджер возвращается рысью, с пустыми руками.

— Отдала их каким-то беспризорникам, которые искали, где вздремнуть, — говорит она. — Это наши билеты. По крайней мере, все говорит о том, что они «наши»: дыхание, слюна, направление. Пока они в железнодорожной системе, любой, кто попробует найти нас по номерам этих билетов, выйдет на ложный след. — Доджер медлит, лицо у нее вытягивается. — Ли, она… она же не пустит под откос целый поезд, только чтобы добраться до нас?

— Нет, — говорит Эрин, пока Доджер не рванула обратно, чтобы забрать билеты. Она говорит это твердо, с такой уверенностью, что почти невозможно поверить, что она не лжет. — Это привлечет слишком много внимания. Она будет избегать подобного — по возможности.

— Великолепно, — говорит Доджер. — Автобус отходит через пять минут. Мы должны успеть на него.

Они успевают.

До восхода еще час. Автобус скользит сквозь темноту; внутри охлажденный кондиционерами воздух и сонные пассажиры. Они не могут сесть втроем, поэтому Эрин садится отдельно, легко

возвращаясь в свою привычную реальность, в свое естественное состояние, где одиночество — не только следствие, но сама вода, где она обитает — печальная русалка, которая никогда больше не ступит на землю. Доджер устраивается у окна, Роджер садится рядом, закрывая глаза и предоставляя ей смотреть на дорогу за них обоих. Теперь он может видеть цвета сам, но пока не в таких нюансах, как Доджер. Видеть Сан-Франциско, по-настоящему глубоко и полностью различая цвета… потрясающе.

Это потрясающе.

Они скользят сквозь туман, цепляющийся за Бэй-Бридж — эту длинную змеящуюся штуковину, — слева им машут нелепые пальмы, укорененные в земле, подвешенной над водой (в этих деревьях, в земле над водой, зависшей посреди воздуха и пышущих жаром стальных автомобильных двигателей, есть какая-то алхимия; сейчас, когда он знает, что существование этой силы — не просто детские сказки, он начинает видеть ее повсюду). Затем туман исчезает, и вот он — Сан-Франциско, величественно выступающий из темноты, словно маяк для заблудившихся и потерянных душ.

Доджер крепко стискивает руку Роджера. Он

замирает. Каждый город — Невозможный город, когда ему действительно нужен спаситель. Когда в него ведет дорога алхимического просветления.

— Мы сможем выжить? — спрашивает Доджер, продолжая глядеть в окно, и Роджер не отвечает, и, может быть, так и надо. Может быть, некоторым вопросам лучше оставаться без ответа.

Остановка индустриально-холодна, вокруг высятся спящие гиганты Финансового квартала. Неподалеку расположена автостанция «Грейхаунд». Доджер исчезает внутри, возвращается с тремя билетами до трех разных городов, и они повторяют трюк со слюной и незнакомцами. Когда Ли примется их искать, она обнаружит, что они не только мчатся по железной дороге, но и направляются в Рино, штат Невада, Портленд, штат Орегон, и Сиэтл, штат Вашингтон, — во всех этих местах полно озер и вода может быть особенно сильна. Вполне вероятно, что, рассмотрев все четыре варианта, она придет к выводу, что все они ведут в никуда, но она достаточно умна и знает, что они подумают об этой возможности и, может быть, рассчитывают на это. Так что она должна проверить хотя бы один из фальшивых следов. Доджер сделала, что обещала, — выиграла

для них время.

Они пересекают парковку и идут вниз по улице — молчаливая тройка беженцев, спасающихся от войны, которая никак не может быть настоящей. Стоянка проката велосипедов — автоматическая, люди там не нужны — находится у супермаркета. Доджер скармливает автомату золотые доллары, а взамен получает три новеньких велосипеда, белых и блестящих. Даже шины вычищены до блеска.

Каждый берет по велосипеду, и все трое просто стоят, крепко сжимая руль, не зная, что делать дальше. Эрин первая нарушает молчание:

— И куда теперь?

— А ты не знаешь? — отвечает Доджер.

Эрин смотрит на нее и качает головой.

— Я живое воплощение силы Порядка, — отвечает она. — У меня нет космических знаний или способности изменить вселенную. У меня есть только сильное желание систематизировать расстановку твоих CD. Так что это вас надо спрашивать. И куда же мы едем?

Роджер и Доджер обмениваются взглядами.

— Согласно математическим расчетам, это территория воды. Нам нужно что-то на воде или возле воды, что существовало, когда Бейкер была

еще жива, иначе она не смогла бы использовать это нечто в качестве якоря, — говорит Роджер. — Можно отбросить естественные образования, потому что она была помешана на идее Невозможного города и искала способ сосуществования человека с природой, поэтому использовала бы только что-то, созданное человеком.

— И это хорошо, потому что, если бы она использовала красоту природы, нам пришлось бы добираться в Санта-Круз, — говорит Доджер. — Пляж природных арок — как раз в духе Бейкер.

— Одна только миграция бабочек-монархов чего стоит, — соглашается Роджер. — Итак, это должно быть что-то рукотворное и что-то, что, по ее мнению, простояло бы долго…

— …так что отбрасываем все, что выглядит несолидным или временным, — подхватывает Доджер. — «Золотые ворота» звучат заманчиво, но, по-моему, тут что-то не сходится. Это ложный след…

— …сюда слетается слишком много туристов, так что использовать их слишком рискованно, и они не *про* воду. Они про то, что *над* водой. Я бы скорее поверил, что она выбрала их для стихии огня, если бы мне сказали, что это должна быть достопримечательность, но они как будто скорее

не пункт назначения, а…

— …способ туда добраться. Добавим сумму мостов, вычтем среднее пройденное расстояние и дату… — На этот раз Доджер замолкает, нарушая ритм рассуждений, которыми они обменивались. Она распахивает глаза. — Оно исчезло. Что бы это ни было, оно исчезло.

Роджер моргает.

— Расскажешь, как считала? — просит он, потому что это единственное, что она всегда была рада сделать, что бы ни происходило вокруг: она всегда-всегда остановится, чтобы продемонстрировать свои расчеты.

— Рид пытался отменить все, что сделала Бейкер. Он должен был знать, где находятся якоря, потому что, скорее всего, помогал Бейкер их создавать. Так что мы ищем что-то, что подходит по параметрам, соответствует расчетам и чего больше нет на прежнем месте.

— А, — понимающе говорит Роджер. Он нажимает на переносицу, стараясь сконцентрироваться.

История — это форма языка. Она повествует о жизни края, города, идеи (на самом деле любая цивилизация — это вереница идей, связанных вместе в сияющую веревку, местами потертую,

местами спутавшуюся, но все же непрерывную и прекрасную, даже когда эти слова неприменимы). История никогда не была его специальностью. Но все же он извлекает факты. Порой ему кажется, что он извлекает факты прямо из самого города. И кто знает? Может, так и есть. Может, так и есть.

— 1896 год, — говорит он. — Эрин, что делала Бейкер в 1896 году?

— Собирала учеников, преподавала в начальной школе, сажала семена своей философии, — отвечает Эрин. — Она уже знала, для чего именно пишет «Под-и-Над», но первая книга еще не вышла. Тогда она еще не была уверена, что добьется успеха.

— И она ставила на то, что вера детей станет якорем для наиболее экстремальных идей, — говорит Роджер. — Купальни Сатро открылись для посещения в 1896 году. Предполагалось, что они станут неизменной частью города. Доджер, что говорят числа?

Ее глаза снова стекленеют. Наверное, он никогда к этому не привыкнет, и, может быть, это хорошо. Сестра должна быть прежде всего сестрой, а не поисковой системой для решения загадок вселенского масштаба.

— Открыты в 1896 году, сгорели дотла в 1966

году. Поджог. Эдисон снял там два фильма. Они считались чудом современной инженерии, торжеством электричества… Люди. Так много людей. Делим на количество людей, вычитаем смерти на воде, добавляем детей, зачатых на территории за складом, где никто не увидит… да. — Доджер кивает, сперва медленно, затем все более энергично. — Да, расчеты сходятся. Купальни Сатро были центром этого квадранта. И все еще им являются. Когда люди Рида их подожгли, они не стали переносить столицу, потому что хотели, чтобы якорей не осталось вовсе.

— Нельзя взять Невозможный город, пока не возьмешь все остальное, — говорит Эрин. — Это далеко?

— Недалеко, — отвечает Доджер, перекидывая ногу через велосипед. — Давайте с этим покончим.

До восхода еще полчаса. И только луна наблюдает за ними.

Вода

Лента времени: 6:04 PDT, 17 июня 2016 года (все продолжается и продолжается)

Воздух возле Тихого океана ледяной, береговой линии нет: есть только туман, всеохватный, всепоглощающий. Все трое одеты слишком легко. Они дрожат от холода, спускаясь по последнему небольшому склону к самому краю утеса и глядя на остатки купален Сатро.

Есть что-то вечное в этих руинах, что-то древнее в этих огромных бетонных блоках, выступающих из шумящего океана, в длинных гладких фундаментах, о которые бьются волны. Прилив достаточно низкий, поэтому можно ясно различить форму конструкции, но остается непонятным, как к ней добраться: обозначенного пути нет. Для глупцов, которые хотят подойти ближе, окунуться в историю глубже, чем это можно сделать с безопасного расстояния, власти поставили предупреждающие и запрещающие знаки: проход запрещен, нарушение грозит штрафом, нарушение смертельно опасно…

— Ты можешь доставить нас туда? — спраши-

вает Роджер, глядя на Эрин.

И Эрин, которой видны все слабые места в этом мире, все места хаоса, все, что готово поддаться, вроде рыхлой земли на тропе, ведущей вниз с отвесной скалы, кивает.

Они спускаются друг за другом: Эрин первая, за ней Доджер — так безопаснее всего, учитывая, что она только начинает воспринимать глубину пространства, — а Роджер замыкает, готовый схватить и удержать, если кто-то из девушек поскользнется или, хуже того, упадет. Утес беспощадно крутой, хотя до бетонных оснований рукой подать. Никто никогда не предполагал — ни Бог, ни человек, ни алхимия (с чьей помощью купальни сгорели дотла), — что кто-то будет идти этим маршрутом.

(Во Фримонте безымянный алхимик смотрит на трех беспризорников — его записная книжка настаивает, что они и есть те кукушата, которых он ищет. Ни один из этих детей не стоит на невероятной дороге. Он знает это так же точно, как и то, что Ли убьет их, потому что они потратили ее время. Он звонит ей и говорит, что билеты путешествовали сами по себе, а не у кого-нибудь в руке или кармане, и что тех, кого они ищут, здесь нет.)

(Автобус, следующий до Рино, остановлен патрульным штата, который под различными именами курирует этот участок дороги уже более шестидесяти лет. К бессмертию не прилагаются новые профессиональные навыки, а если бессмертие получено благодаря человеку вроде Джеймса Рида, остается не так много возможностей для учебы и освоения чего-то нового. Троих спящих на заднем сиденье мужчин с билетами, которые должны принадлежать кому-то другому, оставляют дремать, как они есть.)

(В преданности подчиненных есть ценность. В их предательствах есть милосердие.)

Они спускаются на дюймы, на футы, на годы. Воздух становится плоским — не ощущается ни малейшего дуновения ветра — и все более холодным. В то же время холод теряет свою власть. Роджер и Доджер идут ровнее, выпрямив спины. Одна только Эрин дрожит, а когда она оглядывается, чтобы на них посмотреть, то обнаруживает, что не может сосредоточиться на их лицах. У них нет индивидуальных черт. Они едины, они не Роджер и не Доджер; они теперь так близко к одной из центральных точек мира, что между этими двумя идеалами нет разницы.

Дверь исчезла. Лестница исчезла. Остался толь-

ко фундамент, серый, холодный, почерневший там, где прошел огонь. Эрин доходит до первого из этих огромных упрямых камней и отступает в сторону. Доджер проходит вперед, слегка наклонив голову, будто видит перед собой строение таким, каким оно должно было быть. Но она — само Время, и она — сама Математика, так что вполне возможно, что она действительно видит — видит прошлое вместо ужасного настоящего.

— По чертежам одна из лестниц должна быть здесь, — говорит Доджер и делает шаг в пустоту. Но не падает: логика больше не работает. Вместо этого Доджер переносит вес на ступеньку, которой нет, ступеньку, которая мерцает ртутным серебром и чистым золотом в дрожащем морском воздухе. Она делает еще шаг и еще, и позади нее остаются призрачные, но настоящие ступеньки.

Роджер и Эрин смотрят друг на друга. Первым приходит в себя Роджер.

— Кажется, Доджер идет в несуществующее здание.

— Похоже, что так.

— Здания там *нет*.

— Неа.

— Но она все равно идет по лестнице. Которой тоже нет.

— Ага.

— А *мы* можем войти в несуществующее здание?

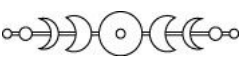
— Есть только один способ проверить.

Роджер снова смотрит на мерцающую призрачную лестницу и говорит с абсолютной уверенностью:

— Лестница есть. Лестница реальна. Лестница выдержит наш вес, и мы не упадем в океан, не утонем и не умрем от переохлаждения.

Мерцающая лестница теряет часть своего сияния, серебро и золото превращаются в полупрозрачный бетон, словно ступени снова становятся твердыми, словно он призвал их обратно в этот мир. Роджер осторожно делает первый шаг. Ступенька держит его, как и Доджер; он сказал ступеням стать настоящими, и теперь, чем бы они ни были, он может на них стоять.

Его сестра уже почти наверху. Он спешит за ней, и Эрин спешит следом, и все стихает, только море бьется о берег.



Лестница резко заканчивается. Доджер пробует ногой пустое пространство, но там ничего нет:

лишь пустота, которая только и ждет, чтобы принять в свои объятия еще одно падающее тело. Она ставит ногу обратно, балансируя на узкой полоске из «почти», которая завела ее так далеко, и оглядывается на спешащего к ней Роджера.

— Лестница закончилась, — докладывает она.

— А что должно быть после? — Роджер останавливается прямо за ней, положив руки ей на плечи. Мир снова становится цветным — глубоким, ярким и беспредельным. — Ищи.

Доджер снова смотрит в пустое пространство перед собой, смотрит с новой точки зрения — глазами, которые могут понять, как далеко до горизонта, могут проследить и соизмерить каждую линию. На мгновение она крепко зажмуривается, потом открывает глаза и говорит:

— Здесь был лестничный пролет, откуда можно было попасть внутрь купален. Короткий проход, чтобы соленая вода не попадала внутрь, а затем дверь. Дверь должна была быть прямо здесь.

Она делает шаг в пустое пространство, протягивая руку к дверной ручке. Роджер крепче сжимает ее плечи, не сомневаясь, что она сейчас упадет… но затем отпускает ее. Они уже так далеко зашли, сделали столько всего, что казалось невозможным. Может, и это получится? И он отпускает ее

и верит, что воздух ее удержит.

Доджер не падает.

Ее руки находят дверную ручку там, где дверной ручки нет, и вокруг ручки закручивается фрактальный цветок — это проявляется дверь. Цветок растет так быстро, что за ним трудно уследить, и встречается с такими же расцветающими участками тверди, распространяющимися от ног Доджер, прорисовывая пол, на котором она стоит, и стены, оправдывающие существование двери. Все это вначале мерцает ртутью и золотом, а потом меркнет, уступая место серо-коричневому, который делает предметы реальными, обладающими плотностью. Доджер открывает дверь. Проходит внутрь. Роджер входит за ней, а Эрин за ним, и все трое замирают, почти не дыша и не веря своим глазам: фракталы устремляются дальше, прорисовывая стены, окна, глубокие бассейны — воссоздавая прошлое.

— Вау, — говорит Доджер.

— Подтверждаю, — говорит Роджер.

— Охренеть, наконец-то, — говорит Эрин. Она проходит мимо них, и пол под ее ногами вполне прочный — это место, вызванное ими из небытия, теперь достаточно настоящее, чтобы выдержать ее вес. Она идет и осматривается, оценивая обста-

новку. — Нам нужно найти какое-нибудь место, где вы сможете работать. Я не знаю, что значит проявиться полностью, но, если вы собираетесь это сделать, вам нужно сделать это здесь и *побыстрее*.

— Почему? — спрашивает Доджер. Она не может отвести глаз от потолка — решетчатого купола из стекла и стали, усеянного электрическими лампочками, которые начинают загораться одна за другой, питаясь электричеством от сети, которой нет, замыкая цепи, которых больше не существует. Они стоят внутри здания-призрака. Тяжесть этого осознания едва не сбивает ее с ног. Они *стоят* внутри *здания-призрака*, которое она вызвала из прошлого, а Роджер закрепил в настоящем. Такого не может быть. Но так есть.

— Потому что, вот незадача, нечто настолько значительное сработает как сигнальный огонь для тех, кто нас ищет. Ты выиграла время, чтобы мы успели сюда добраться. Теперь нужно сделать следующий шаг. — Эрин мрачнеет. — Теперь нужно сделать так, чтобы все наши усилия не пропали впустую.

Огонь

Лента времени: 6:14 PDT, 17 июня 2016 года (этот же день)

Когда Доджер делает первый шаг в пустоту над тем, что раньше было фундаментом купален Сатро, Ли Барроу разговаривает по телефону с Джеймсом Ридом. Она замолкает на полуслове, рот приоткрывается сам собой, взгляд приклеивается к золотому столбу света на горизонте, от которого светится небо. Он похож на шпиль, на башню, на бобовый стебель, тянущийся к неведомой небесной стране. Она его ненавидит. Ненавидит, как огонь. Если бы она могла, она разорвала бы его голыми руками.

Рид что-то кричит. Она выныривает из прострации, подносит телефон обратно к уху.

— Небо только что стало золотым, — говорит она, не обращая внимания на то, что он пытается до нее донести. Либо это они проявляются, и в этом случае она лучше, чем он, знает, что происходит, либо нет — тогда все вообще неважно. Кукушата нашли дорогу в замок. Это еще не Невозможный город — хотя, возможно, и он, потому

что подобное притягивает подобное, и там, где они находятся, там, где они стоят прямо сейчас, у них есть доступ ко всему, что знала Королева жезлов, — ко всему, что знала Бейкер. — Они нашли столицу. Они начали. Рид, я знаю, вы ненавидите делиться, но вы должны сказать мне, куда идти, и сказать *прямо сейчас*.

Тишина, прерываемая тяжелым дыханием. Затем:

— Ты забыла свое место, Ли.

— Мое место рядом с вами в новом мире — делать то, что не хочется делать вам, убивать тех, кого вы не хотите убивать своими руками. Ваши руки всегда были слишком чисты. Если вы действительно хотите, чтобы этот новый мир возник, а не остался просто красивой идеей, о которой вы столько болтали, пока не позволили двум долбаным кукушкам *захватить Доктрину*, самое время сказать мне, куда идти.

— Я мог бы развоплотить тебя в тот самый момент, когда ты попала в мои руки.

— Разумеется. Но вы этого не сделали. Вы знали, сколько я могу для вас сделать, и оставили меня при себе, вместо того чтобы разобрать на части. Прямо здесь, прямо сейчас я — все, что есть у вас на месте событий, все, что есть у вас в арсенале,

что способно остановить этих трудных подростков. Скажите мне, куда идти.

Рид вздыхает — глубоко и устало. Никогда раньше он не позволял себе быть усталым в ее присутствии. В этом вздохе Ли слышит свой приговор. От нее слишком много сложностей. Когда она вернется в Огайо, он убьет ее.

«Для этого тебе придется заметить меня раньше, чем я замечу тебя, старик», — думает Ли. Доктрина все еще ждет того, кто готов сделать ее своей, воплощенная в тощих подростках, которых он держит взаперти в лаборатории. Она может управлять силами бездумной вселенной так же хорошо, как и он, только ее правление будет намного веселее. Кровь будет литься с неба, моря будут гореть, тела усеют улицы. Будет гораздо веселее.

— Бейкер заякорила Калифорнию вокруг купален Сатро, — говорит Рид. — Она считала эти чертовы сооружения чудом архитектуры, храмом идеи воды, который будет стоять вечно, никогда не подведет и не потеряет свой блеск. Она связала страну, которую хотела создать, с банями. Жаль, что она не увидела, как горит это проклятое место.

— Ясно, — говорит Ли. Она собирается повесить

трубку, но ее останавливает голос Рида:

— Ли.

— Да?

— Принеси мне их тела. Я хочу сам разобрать их на части.

— Могу я оставить себе головы? — покладисто спрашивает она, хотя отлично знает, что она больше ничего от него не получит, кроме разве что ножа между ребер и пули в сердце. Убить ее будет непросто, но она уверена, что он будет готов приложить все усилия.

— Конечно.

— Тогда ладно. А сейчас, если позволите, я пойду спасать мир.

Она вешает трубку. После минутного раздумья она роняет телефон на землю и с силой плющит каблуком, разбивая экран и ломая тонкую материнскую плату.

— Упс, — говорит она.

Безымянный алхимик, пытавшийся отследить железнодорожные билеты, вернулся (она знает, что он нашел тех, у кого они были, и оставил в живых, но в данных обстоятельствах у нее есть дела поважнее). Ли подходит к его машине и, открыв пассажирскую дверь, забирается внутрь.

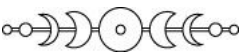
— Видел? — спрашивает она, указывая на золо-

той столб света в небе.

Он смотрит в указанном направлении. Его глаза расширяются.

— Черт возьми, откуда оно взялось?

— Купальни Сатро, мы направляемся туда. Давай, жми на газ, — ласково говорит она. — Нам нужно убить пару кукушат.



Дороги начинают заполняться, но их машина — «транспортное средство с высоким уровнем загрузки», так что они имеют право ехать по выделенной полосе. Благодаря этому, а также впечатляющему защитному стилю вождения и похвальному желанию нарушать правила дорожного движения они добираются до места, которое обозначено на карте как руины купален Сатро, чуть более чем за час.

Но здесь нет никаких руин. Есть только купол из стекла и стали, сверкающий в лучах восходящего солнца, освещенный изнутри электрическими лампочками, а снаружи — всем небом. Сооружение светится ртутным светом. Его будет видно всем алхимикам за сотни миль — яркий приветливый маяк, обещающий всепрощение

и заявляющий, что мечта Бейкер пережила все эти годы.

Ли ненавидит его, как мало что другое в своей жизни. Она выбирается из машины, достает из-под куртки два пистолета и прижимает их к бедрам, чтобы не заметили прохожие. Но это вряд ли станет проблемой.

Подобное явление — восстановление исторической достопримечательности, горящий золотом горизонт — уже должно было бы привлечь десятки зрителей. Поскольку этого не произошло, Ли делает вывод, что этот процесс обладает некоторыми функциями Руки славы. Здесь никого нет, потому что никто не видит, что происходит. Никто, кроме тех, кто уже участвует в этой битве.

— Убей внутри все, что движется и не является мной, — говорит Ли, глядя на безымянного алхимика. — Тебе может встретиться куколка с рыжевато-золотистыми волосами и располагающей внешностью. Ее я бы хотела убить сама. Я понимаю, что это может оказаться невозможным. В таком случае сделай так, чтобы ей было как можно больнее, прежде чем она умрет. Сделай так, чтобы она страдала. Ясно?

— Да, мэм, — отвечает алхимик.

— Хороший мальчик. Может быть, я тебя все-

таки не убью.

Им нет нужды спускаться по утесу: купальни снова на своем месте, полностью материальные, сверкающие под солнцем. Ли Барроу входит прямо через парадную дверь.

Бетон

Лента времени: 7:35 PDT, 17 июня 2016 года (и продолжается)

Времени на экскурсию по купальням нет, хотя все они с удовольствием бы их осмотрели, каждый по своим причинам. Роджер очарован историей этого места и мыслью о том, что они каким-то образом превратили слово в дело, а затем в материальную реальность. Доджер не может отвести глаз от углов, от математического совершенства конструкции, бетонного великолепия математики, которое проявляется повсюду вокруг. Эрин просто хочется узнать, где лучше всего спрятаться, когда появится Ли — а она *должна* скоро появиться. Вот почему у них нет времени *(времени всегда не хватало)*.

Доджер ведет их через купальни, полуприкрыв глаза и вытянув руку, будто лозоходец, ищущий воду. Роджер и Эрин молча идут за ней. Отвлекать ее — только тратить время *(времени всегда не хватает)*.

Они проходят через огромные помещения с пустыми бассейнами и попадают в длинную

Г-образную комнату. Мебель то появляется, то исчезает, ей пока не хватает стабильности; похоже, здесь когда-то была гостиная. Огромные окна выходят на Тихий океан, можно наблюдать, как вода бьется о скалы. Доджер останавливается. Роджер и Эрин тоже останавливаются, вопросительно глядя на нее.

— Здесь. — Она подходит к стене и срывает кусок обоев. Обои отходят легко, целыми листами, ослабленные действием морского воздуха и собственной нереальностью. Они сгорели много лет назад. Конечно, они легко поддаются.

Роджер хочет присоединиться к ней, но Эрин ловит его за локоть. Оглянувшись, он обнаруживает, что она очень серьезно на него смотрит.

— Если все станет плохо, ты должен сказать, чтобы она перенесла вас обратно, — говорит она. — Она не сможет отказаться. Скажи ей, что это приказ. Скажи ей, что это команда. Скажи ей, что это требование. Она сделает это, и если ты в точности повторишь эти слова, то можешь забрать с собой что-то, что поможет нам в следующий раз.

— Откуда ты…

— Ты мне сказал. — На губах у нее не улыбка, а скорее гримаса боли. — Я Порядок, помнишь?

Я вижу истертые и разрушенные места. Я вижу *шрамы*. Вы оба можете не знать, сколько раз мы уже все это делали, но у меня нет такой возможности. Я не помню вообще все, слава богу. Мне кажется, если бы я запоминала все, я бы убила вас обоих, лишь бы это закончилось. Но я запоминаю больше, чем вы. А иногда ты прямо говоришь мне запомнить что-нибудь для следующего раза.

— Например?

Ее улыбка меркнет.

— Не спрашивай меня об этом, Роджер. Ты отдавал такие приказы, что ты не хочешь знать. В шахматы играет Доджер, но именно ты говорил: «Это жертва ради общего блага». Если я скажу тебе, что ты сказал мне не менять, ты вспомнишь и возненавидишь себя. Поэтому не спрашивай меня. Ради тебя. Ради нее. Забудь.

Роджер пристально смотрит на нее, потом переводит взгляд на Доджер.

— Насколько плохо? — спрашивает он.

— Достаточно плохо.

— Ладно. Мне это не нравится, но… ладно.

— Хорошо. Иди помоги сестре захватить вселенную. Я приложу все силы, чтобы вас не убили раньше, чем вы успеете это сделать.

— Как?

Эрин улыбается, будто разрезая кожу ножом, и достает из-под рубашки пистолет.

— Я буду сопротивляться. — И, развернувшись кругом, она выходит из комнаты и исчезает, оставляя его в одиночестве.

Нет, не в одиночестве. С ним Доджер, пишет на стене числа извлеченным из переполненного рюкзака маркером, полностью уйдя в свой маленький мир.

Он наблюдает, как она пишет, и совершает собственное путешествие во времени: взмах ресниц — и вот они в ее съемной квартире с выкрашенными в белый стенами, они довольны и смеются, они *вместе*. Еще один взмах, и он видит доску — глазами Доджер; в руке у нее мел, его запах щекочет ей ноздри. Он знает подходящие слова: ностальгия, тоска, сожаление. Но еще он знает, что путь вперед только один — через все это надо пройти. Он подходит к Доджер.

— Я люблю тебя.

— Знаю.

— Прости меня.

— Уже простила. — Она не отрывает взгляда от стены. — Ты тоже меня прости.

— Тебе не за что просить прощения, — говорит он.

— Ты больше не оставишь меня одну?

— Никогда.

— Хорошо. Все сходится. Расчеты работают.

— Могу я чем-то помочь? — спрашивает он.

— Опиши купальни, — говорит она.

Он начинает говорить, и, пока он рассказывает, она пишет все быстрее и быстрее, превращая его слова в числа, — так что история и великолепие этого места становятся цепочкой символов.

— Опиши Калифорнию.

И он говорит, и она снова пишет, заполняя стену целиком и переходя к следующей. Вселенная в цифрах и функциях, уравнение, которое могло бы раскрыть мир, если бы только у них было время описать и задокументировать каждый кусочек, каждую особенность чего-то настолько огромного, что должно быть безграничным. (Но у них *есть* время, у них оно *есть*: впервые Роджер осознает, что, если они умеют перезапускать собственную временную линию, это значит, что они могут закончить все что угодно, только бы вспомнить начало.)

На очереди Америка, а после — весь мир. Воздух в комнате становится все холоднее и холоднее; стены снова начинают отливать ртутью, яркой и сверкающей. Ее маркер — пока еще просто

маркер, с черными чернилами и химическим запахом, но оставляемый им след сияет как хрусталь, как серебро. Правила реальности становятся податливыми.

Первый выстрел раздается сразу после того, как Доджер просит его описать дом, где он вырос. Роджер подпрыгивает. Она сурово смотрит на него.

— Мы не можем остановиться сейчас, — резко говорит она. — Мы так близко. Продолжай говорить.

— Доджер…

– *Продолжай говорить*.

И он продолжает. Он описывает свой дом, свои впечатления о ее доме, а затем самого себя — Роджера Миддлтона, который должен был быть самым обычным мальчиком, а оказался кем-то… другим.

Стрельба продолжается. Некоторые выстрелы ближе остальных — это Эрин не дает пройти тем, кто пришел за ними. Он полагает, что это та женщина — Ли. И она не одна. Какофония звуков слишком сильная для двух орудий. Там целая армия или, может, небольшая толпа, и они так близко, и этих стен на самом деле нет. Эти стены такие *тонкие*. Как долго это может продолжаться?

Он знает подходящие слова: сомнение, неверие, скептицизм. Он знает их силу. Он не задумывается о собственной силе здесь и сейчас, в этом месте, где стены ярко переливаются ртутью, где он кормит сестру-кукушку, с которой они вылупились из одного яйца, словами, из которых соткан мир. Он видит, как стены исчезают. Лишь на мгновение. Этого мгновения достаточно, чтобы он пришел в движение, протягивая руки и складывая губы для слова, которое никогда не прозвучит.

Этого мгновения достаточно, чтобы пули пробили себе путь.

Доджер кричит.

Решающее сражение

Лента времени: 8:01 PDT, 17 июня 2016 года (и продолжается)

Эрин вжимается спиной в колонну, высовываясь, только чтобы прицелиться, выстрелить и тут же вернуться в исходную позицию.

— Ли, все кончено, — кричит она. — Они *точно* проявятся! Беги отсюда, и, может быть, к тому времени, как они начнут прибираться за Ридом, ты сможешь убежать достаточно далеко!

— Глупое наивное дитя, — отвечает Ли. — Они не проявятся. Рид уже отбирает у них Доктрину. Ты выбрала не ту сторону. Я была о тебе лучшего мнения.

— Я выбрала не ту сторону, когда вы убили Даррена.

Она в очередной раз выглядывает из-за колонны и в очередной раз стреляет, следуя хаотическим нитям сражения, которые ощущает в пространстве.

На сей раз за ее выстрелом следует гулкий звук падения тела — будто об пол ударился мешок цемента.

На миг — такой крошечный, трепетный миг — она позволяет себе надеяться, что это все, что все закончилось, что она победила. Но затем Ли полным отвращения голосом произносит:

— Ты только что застрелила вполне приличного алхимика, а у нас даже нет возможности разобрать его на части. Вот почему ты бесполезна, Эрин. Ты расточительна. Ты всегда была просто тупым инструментом.

Ее голос приближается. Эрин покидает прикрытие и бежит к следующей колонне, ненамного, но все же обгоняя сияющие полоски хаоса, которые могли бы открыть ее выстрелам Ли. Битва — это сетка. Эрин не может видеть траектории собственных выстрелов — это слишком походило бы на порядок, — но она может избегать ярких и бьющих током мест, где порядок повержен. Она может делать это вечно. По крайней мере, она на это надеется.

— Прекрати убегать, выходи и бейся лицом к лицу! — Ли начинает злиться. Хорошо. Люди в гневе совершают больше ошибок, больше промахов; они роняют вещи, теряют бдительность, теряют темп. Ли оставалась спокойной и хладнокровной достаточно долго. Эрин готова к тому, что она изменится.

— Нет!

— Не понимаю, почему ты вдруг стала такой неразумной. Я воспитывала тебя иначе.

Эрин останавливается, перегибается через колонну и дважды стреляет в Ли, которая подозрительно легко отступает.

— Ты вообще меня не воспитывала!

— Воспитывала, насколько было возможно!

Эрин слишком поздно понимает, что попалась в ловушку. Тяжелая рука ложится ей на плечо, и она смотрит в пустое лицо голема. Она изо всех сил пытается вырваться, наблюдая, как Ли Барроу идет к ним, спокойная и жестокая, как кошка на охоте. Она все еще пытается вырваться, когда стена напротив нее истончается и практически исчезает, превращаясь в сияющий серебряный экран. Ее ресницы распахиваются, и она ничего не может с этим поделать.

Ли улыбается. Плавным, словно отработанным движением она разворачивается и стреляет сквозь тонкий золотой экран стены, успевая дважды спустить курок, прежде чем камень снова твердеет.

— Вот так, — говорит она, снова глядя на Эрин, самодовольно и победно улыбаясь. — Похоже, некоторые вещи только что действительно

прояснились, не так ли? Так. На чем мы остановились?

Эйвери сделал шаг вперед. Колени у него дрожали. Зубы выбивали барабанную дробь. Казалось, будто весь его скелет ломается в суставах и вот-вот осыплется на пол грудой костей. Ему хотелось развернуться. Ему хотелось убежать. Ему было не место здесь.

Но Циб цеплялась за прутья своей клетки, и он почти видел, как у нее под кожей пробиваются черные перья, пытаясь вырваться на свободу и превратить ее в Девочку-ворону, как и всех остальных. Но если бы он позволил этому случиться, она уже не была бы Циб. Она стала бы другой, чужой, дикой и точно не его Циб. Он не так уж долго знал ее, чтобы так сильно за нее переживать. Но все равно переживал. Он не мог позволить Пажу заполучить ее.

– Ты должна ее вернуть, – сказал он. – Она мой друг, и она не твоя собственность.

Паж застывших вод улыбнулась.

– И почему же я должна это сделать? – спросила она.

– Потому что… – Эйвери набрал побольше воздуха в легкие. – Потому что я прошу и потому что я раскромсаю тебя на куски, если ты ее не отпустишь.

А. Дебора Бейкер «За лесоградной стеной»

Книга VII
Конец всего сущего

Числом мы стали четным[15].

Уильям Шекспир «Бесплодные усилия любви»

Это черствый век.

Л. Фрэнк Баум

[15] Примечания: 15
Перевод Ю. Корнеева.

Исход

Лента времени: 8:03 PDT, 17 июня 2016 года (и)

Так много крови.

Роджер не знал, что может быть так много крови. Она повсюду: горячая, красная и горькая. Доджер стоит на коленях, зажимая рукой дыру в плече; ее широко раскрытые глаза остекленели. Выходит, что здесь — та точка, где малейшее изменение меняет все: длина слов — входные данные, которыми он снабдил Доджер, — определила ее положение у стены. Он понимает, что будь вычисления кое-где покороче — это могло бы ее уберечь, а чуть длиннее — и пуля попала бы прямо в сердце. Все это слишком сложно. Им не выиграть.

Его собственное сердце сбивается с ритма, отвечая на волны боли, окутывающие Доджер. Он продержится дольше нее — глубоко внутри он чувствует, что всегда держится дольше, когда ранена она; что так и должно быть, иначе у них не было бы ни единого шанса выжить, — но, если она умрет, он протянет недолго. Они идут по невероятной дороге вместе, до самого конца.

Доджер не шевелится. Она просто стоит на коленях, кровь бежит от плеча по руке и впитывается в джинсы, и они умрут здесь.

Нет, не обязательно. Он всегда может сказать ей, чтобы она отправила их обратно. Эрин выразилась достаточно ясно. Он знает, что именно нужно сказать, какие инструкции выдать; он может вытащить их отсюда.

Доджер поднимает голову.

— Ничего себе, — говорит она сиплым от боли голосом. — Ужасно больно. То есть *ничего себе*. Не подозревала, что будет так больно. Мне нужно… добавить это… в уравнение… Роджер?

— Додж.

Он наконец отмирает и спешит ее подхватить. Так много крови. Она повсюду. Они оба перемажутся в крови, но ему все равно, ему *все равно*, потому что это Доджер истекает кровью: это она превращает все в ярко-красное, как ее волосы (нет, оттенок более красный, чересчур красный — сейчас он отличает цвета друг от друга так же ясно, как день от ночи, и впервые ему все равно).

— Скажи мне закончить.

Он замирает. Это не тот приказ, который он собирался отдать. Может ли он отдать два приказа одновременно? Если он прикажет ей закончить

уравнение, проживет ли она достаточно долго, чтобы перезапустить временную линию? У них тоже есть свой предел.

— Пожалуйста. — Она закрывает глаза, морщась от боли. — Мне больно. Я не могу сосредоточиться. Ты можешь заставить меня сосредоточиться. *Пожалуйста.* Я почти закончила. Я уже вижу окончательную формулу. Я вижу… Я знаю, как закончить. Не думаю, что я когда-либо была настолько близка к тому, чтобы закончить.

Роджер медлит.

— Ты помнишь, как мы были здесь раньше?

— Нет, но математика помнит. Это зашито в комплексных числах. Они резонируют там, где незаконченные уравнения влияют на взаимное расположение чисел… Пожалуйста. Мне кажется, я смогу закончить.

Если он сделает, как она просит, это убьет ее. Он это знает. Возможно, он убьет их обоих. Или же спасет их обоих.

— Хорошо, — мягко говорит он. — Посмотри на меня.

Доджер открывает глаза.

— Найди решение, Доджер. Это приказ. Это команда. Это требование. Найди решение.

Она улыбается, даже когда ее глаза стекленеют

— уже не просто от боли. Маркер пришел в негодность, так что она не пытается его подобрать; она макает пальцы в собственную кровь и начинает писать на стене, как ребенок; поначалу медленно, затем все быстрее, когда приказ и собственная природа берут вверх.

Выпрямившись, Роджер встает на ноги. Ему нужно выторговать для нее время, а необходимой валюты почти не осталось. Но кое-что у него есть.

Перепачканный кровью сестры, потрясенный до глубины души своим решением, он идет к двери, открывает ее и выходит в купальни.

Мгновение — и он может оценить обстановку. Вот Эрин — ей не дает сдвинуться с места гора мышц. Вот мертвый мужчина на полу. Вот миниатюрная улыбающаяся женщина, которая выглядит так, будто только что вышла с конкурса красоты или из фильма ужасов; ее пистолет направлен в грудь Эрин. Он знает, что Эрин видит его, не может не видеть. Она не выдает его. Ресницы не дрогнули, глаза не распахнулись. Она завела их так далеко, зная, что ее смерть может стать последней монетой для оплаты услуг паромщика, так что сейчас она точно не дрогнет. В этом есть что-то благородное. Но, что

более важно, в этом есть и что-то глупое. Роджер *хочет*, чтобы она их выдала. Но, видимо, кое-что придется сделать самому.

— Эгей! — зовет он, семафоря «вот он я». — Что это вы там делаете?

Королева красоты поворачивается. Ему чудом удается не отшатнуться. Да, она прекрасна, но глаза у нее мертвые, такие холодные и пустые, что он может видеть в них отражение умирающих звезд даже с такого расстояния. И он уже встречался с ней: когда был ребенком, когда она пришла, чтобы запугать его и заставить отказаться от сестры. До этого момента он не верил по-настоящему, что родители его предали, но эта женщина — живое доказательство. И всегда им была.

Она хмурится.

— Роджер? — спрашивает она.

(Глубоко внутри, на самом краю сознания, он помнит этот голос. На каком-то уровне он помнит каждый голос, который когда-либо слышал, потому что голос — это часть языка. Этот голос был первым, который содержал этот мир. Этот голос извлек его из чрева матери и сказал: «О, думаю, ты сгодишься», — как будто он был инструментом, куском мяса, а не человеческим ребенком. Та его часть, которая никогда не за-

бывала Ли Барроу, пытается забиться подальше перед лицом того, что он собирается сделать, и он с радостью ее отпускает. Иногда незнание — лучший помощник.)

— Ай-ай, — говорит он максимально безразличным тоном, нажимая на гласные со всем новоанглийским презрением. — Кажется, у вас моя подруга. Я бы предпочел, чтобы вы в нее не стреляли.

— Кто — Эрин? — Ли машет в сторону пленницы дулом пистолета. — Она не твоя подруга. Она годами приглядывала за вами по моему приказу. Тебе ведь это известно? Она никогда не была тебе другом, никогда тебя не любила, ей всегда было все равно, что с тобой случится. Она просто ждала того дня, когда я прикажу ей спустить курок.

— Роджер, *убирайся* отсюда, — рычит Эрин, пытаясь вырваться из рук голема. Но он держит ее крепко, ладони — как кандалы, руки — как цепи. Она не может вырваться из его хватки. И никогда не могла. — Беги!

(и они уже были здесь, совершенно точно были здесь, Эрин схватили, Роджер вышел просить медицинской помощи — но нет, они еще не были здесь, потому что он не собирается ни о чем просить; в первый раз он ни о чем не просит)

— Прости, Эрин, я не собираюсь убегать, — откликается он и сосредотачивается на Ли. — Похоже, в какой-то момент она переметнулась на другую сторону. Может быть, когда ты отправила ее спать со мной, и это затянулось на семь лет. Даже самый лучший агент начнет колебаться, если станет настолько близок с объектом. Позволь ей уйти. Отпусти ее. Если ты это сделаешь, мы подумаем и, может быть, разрешим тебе сдаться.

Эрин удивленно распахивает глаза. Пистолет Ли наконец-то перемещается на него.

— Ах ты, маленький глупенький Галка Джек, — говорит она почти ласково и спускает курок.

– *Мимо!* — кричит Роджер, уклоняясь от пули, которая со свистом пролетает мимо его головы, не нанеся никакого вреда.

Нахмурившись, Ли стреляет снова, и…

— Мимо! — снова кричит он, и пуля снова пролетает мимо. Роджер ухмыляется, продолжая играючи уклоняться от вероятной линии огня. — Никак не попадешь, да? Пули тебя не слушаются? — подначивает он. — Мы проявились. Сдавайся, пока еще можешь.

— Вы не проявились! — Ли кипит от злости. — Вы ходите по самому краю океана и скоро пойдете ко дну. Если вы проявились, то где же твоя сестра?

Она истекает кровью в комнате, которой не существует, и, как только она умрет, ты потеряешь силу. Если вообще выживешь. Но я надеюсь, ты выживешь. Я хочу разобрать тебя по кусочкам, пока ты еще сможешь смотреть мне в глаза.

Ли опять стреляет. И опять промахивается. Но пуля попадает в стену. И проходит сквозь нее. А с другой стороны стены Доджер.

Роджер колеблется. Он не может ей помочь. Если он сейчас вернется, это только отвлечет ее, даст ей лишний повод для беспокойства, и — она его не зовет. А Эрин он может спасти, если попытается.

— Ну так разбери меня на кусочки прямо сейчас, что тебе мешает?

— Ей не нравится, когда мясо сопротивляется, — говорит Эрин. — Вот почему с ней охотно работают только те, кто сделан из *грязи.* — Она пинает того, кто ее держит, по ноге.

Только сейчас Роджер замечает странную гладкость его кожи, пустоту глаз. Он создан алхимиком, он вовсе не человек. Доджер тоже создана алхимиком. И Эрин. И Роджер. Тогда кто они?

Ли переводит внимание на свою пленницу, сузив глаза и дрожа от ярости.

— Ну все. Прости, дорогая, но ты уволена.

Она перемещает руку, на сей раз пистолет смотрит Эрин в лоб. Пуля с такого расстояния… У Эрин нет шансов выжить. Нет шансов. Разве что…

Роджер закрывает глаза.

— Додж, нужна твоя помощь, — говорит он тихо и быстро. Он сбивает ее с мысли. Он понимает это, и ему очень жаль, но обстоятельства не терпят. — Ли удерживает Эрин у дальней стены. Между ней и мной много воды. Я на другой секции пола. Можем мы… отпустить тот кусок?

– *Покажи*.

Он открывает глаза. Что-то мерцает перед его взглядом, возникает чувство, будто кто-то еще смотрит его глазами (ощущалось ли это когда-нибудь настолько сильно? Было ли когда-нибудь так же легко *знать*, что он не один, что один становится двумя, а два становятся не просто количеством, а неизбежностью?), и затем, так тихо, что это едва можно назвать шепотом, она говорит:

– *Нет. Держись*.

Стены в купальнях не гладкие. Они покрыты тонкой филигранью, рубчиками и выступами — привычная изысканность для бань, предназначенных удивлять и развлекать несметное количество народа. Роджер подпрыгивает и,

крепко ухватившись за ближайший выступ на стене, повисает на нем. Детское развлечение — болтаться на пальцах. Были времена, когда он часами мог забавляться таким образом: подпрыгнуть и висеть, пока не устанет, а потом спрыгнуть обратно. На этот раз ему нельзя упасть. Ощущение, что Доджер смотрит его глазами, исчезает.

Вместе с этим ощущением исчезает пол.

Не секция пола, не его кусок или часть — нет. Это потребовало бы слишком тонкой работы. А сейчас не время для тонкостей. Сейчас время грубой силы. Пол исчезает целиком, обнажая далекие бетонные развалины — все, что действительно осталось от купален Сатро, — и холодный жестокий океан, бьющийся о берег. Эрин успевает закричать. Тот, кто ее держит, падает без единого звука. А Ли…

Ли поворачивается и, падая, смотрит на него взглядом, полным яда. Она врезается в волны и исчезает. Они все исчезают. Роджер остается один; он висит на пальцах над далеким каменистым берегом.

– *Доджер!* — вопит он. Волны с грохотом обрушиваются на берег, охотно поглощая его голос. Это его не останавливает. — *Верни пол на место! Их больше нет, ты должна вернуть пол на*

место!

Ртутное сияние возвращается, отливая робким золотом. Затем золото берет верх над серебром, и пол возвращается, как и в первый раз, постепенно разрастаясь по спирали фрактальным цветком. Затем сияние исчезает, и на его месте возникают бетон, ковер и глубокие колодцы пустых бассейнов.

Роджер осторожно тянет ногу и пробует пол на прочность. Тот выдерживает его вес не хуже, чем можно ожидать от хорошей постройки. Роджер полностью отпускает стену, и пол выдерживает.

Эрин больше нет. Ему должно быть хуже от этой мысли. Он должен чувствовать *больше*, должен чувствовать хоть что-то. Но он… просто цепенеет, как будто то, что ее нет, — это неизбежное звено в цепочке, печальное, да, и даже душераздирающее, но не более и не менее трагичное, чем все остальное, что с ними случилось. Может быть, он плохой человек. Может быть, он всегда был плохим человеком, просто мир наконец сумел это до него донести. Или, может быть, тяжесть того, что они сделали здесь сегодня, настигнет его однажды ночью где-нибудь через месяц, вырвет его из крепкого сна, и перед глазами встанет выражение покорности на лице той, которую

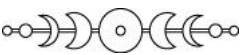
он любил — думал, что любит: с этим выражением она падала навстречу смерти в глубокие беспросветные воды Тихого океана. Но это все в будущем. А будущее — это владения Доджер.

Доджер. Он распахивает глаза и сразу их закрывает.

— Додж?

Ответа нет.

Он вспоминает, что нужно открыть глаза, и срывается на бег.



Помещение, где он оставил свою сестру с ее математикой, превратилось в комнату ужасов. Повсюду кровь. На стенах, на потолке, на полу, там, где никогда не должно быть крови. Это блистательный, яростный красный цвет, такой красный, что режет глаза, как будто выбивает на них татуировки. И посреди всего этого — Доджер.

Она никогда еще не выглядела настолько маленькой и бледной. На фоне всей этой крови кажется невозможным, чтобы она была такой бледной. Она должна быть розовым садом, высыхающим сотнями разных тончайших оттенков

красного. Но она — кость, воск и стеатит, она — снег, зубы и гусиные перья. В ее коже вообще нет ни капли цвета. Ее волосы выглядят почти оскорбительно яркими на фоне ее лица.

Роджер бросается к ней. Он знает подходящие слова: обескровливание, кровотечение, гиповолемия, — но он никогда не понимал их так, как сейчас, как реально существующие вещи, коварные, готовые к прыжку, словно ядовитые змеи. Слова могут утешить его. Слова могут быть *единственным*, что его утешит. Но они не могут сделать мир лучше.

А может быть, и могут. Купальни Сатро все еще окружают его, крепкие и реальные. Он еще жив. Эрин сказала, что, если Доджер умрет, он тоже умрет, и он верит ей, потому что хорошо помнит тот кошмарный день, когда Доджер пыталась покинуть этот мир. На периферии зрения появляются небольшие черные точки — такие же, как тогда, перед припадками, но они пока *маленькие*, еле заметные. Она уходит. Но еще не ушла. Еще нет.

Он падает на колени рядом с ней. Кровь такая густая, что хлюпает, как джем на тосте, — студенистая, теплая и какая-то непристойная. Он сглатывает подступившую тошноту и берет

Доджер на руки. Она такая неподвижная. Такая холодная.

Но стены… Стены исписаны уравнениями. Нет, не уравнениями. *Уравнением* — одной единой строкой формул и функций, ведущей к неизбежной сумме. Оно прекрасно. Роджер не понимает его, но все же знает, что оно прекрасно. Доджер свела весь мир, происходящее с ними, их самих к одной комнате, заполненной быстрыми мистическими символами, которые для нее всегда были равнозначны реальности.

— Вау, — шепчет он, опуская на нее взгляд. — Ты закончила. Додж, ты закончила. Ты все сделала. Ты закончила. Теперь очнись, ладно? Ты закончила, а значит, ты очнешься, и мы победим.

Она все еще без сознания.

Он слегка тормошит ее. Просто не может удержаться.

— Давай же. Мне нужно, чтобы ты рассказала мне, что все это значит. Мне нужно, чтобы ты прочитала его для меня. Вставай.

Она не двигается, не реагирует, вообще ничего не делает, просто лежит у него на руках и продолжает истекать кровью, с каждой секундой становясь еще холоднее и бледнее. Очевидно, что ей отведено не так много секунд, и, когда она

умрет, он тоже умрет. Он должен перезапустить время. Он должен сказать ей, чтобы она вернула их в прошлое. Они могут сделать новый заход, они могут сделать новую попытку, и, может быть, в следующий раз…

Может быть, в следующий раз они снова окажутся ровно в этой точке со всеми призраками прошлого, которые следуют за ними по пятам, и ошибками, совершенными во второй, или сотый, или двухсотый раз. Нет. Он не может. Наверное, было бы правильно это сделать, но он не может.

Доджер досталась математика. Ему — слова. Так это должно было работать, верно? Он снова смотрит на стену: на цифры и символы, которые почти ничего для него не значат, — а затем переводит дыхание. Когда-то они уже так делали. Он знает, что от него требуется. Он знает, каковы могут быть последствия. Но это не значит, что у него есть выбор.

— Свет, — читает он, позволяя символам на стене рассказать ему, чем они хотят быть, что они хотят *значить*. — Это свет в темноте, свет, определяемый собственным отсутствием и по определению становящийся тьмой; вес, масса, окончание пустоты…

Он читает, и здание содрогается, становясь

эпицентром собственного бесконечного землетрясения. Стены светятся золотом, а небо наливается пылающим ртутным блеском, и маяк вырастает все выше, и выше, и выше, до самых небес, в бескрайнее небо.

Посмотрите.

Посмотрите.

Посмотрите на мальчика из Кембриджа, штат Массачусетс, всегда слишком тощего, уже настолько уставшего, что он едва может двигаться. Он не пострадал в схватке, но это неважно; он все равно ранен. Он держит тело сестры, и если она и жива, то едва-едва, от смерти ее отделяет тончайшая грань. Его одежда пропитана ее кровью. Его руки болят от осколков и от собственной неподвижности, ведь, может быть, пара движений, и он мог бы спасти ее, а тем самым спасти и себя.

Посмотрите на девочку из Пало-Альто, штат Калифорния, настолько неподвижную, что сразу ясно, как она близка к переходу от человека к воспоминанию о нем. Она смята и отброшена в сторону, измученная собственными попытками стать чем-то большим, чем просто следствием. Рана на плече покрылась корочкой и больше не кровоточит. Но это неважно. Ущерба было более чем достаточно, чтобы подвести ее к самому краю

и за край, к тому, что ждет по ту сторону. Она готова вернуться в Под-и-Над кладбищенской тропой. Она знает, что, когда уйдет, уйдет не одна.

Роджер все читает и читает, рассказывая историю надписей на стене, и это само по себе восходит к рождению человечества, к обезьяне, которая начала рассказывать истории, к огню, горящему во тьме: человечество всегда стремилось интерпретировать знаки вокруг себя. Он смотрит на математические выкладки сестры, зная, что они описывают вселенную, и описывает то, что видит, все более величественными словами, чувствуя, как ее тело стынет в его руках, наблюдая, как черных точек у краев зрения становится все больше, как они с каждым разом стирают очередной кусочек мира.

Теперь уже слишком поздно для перезагрузки. Если он позовет, она не сможет его услышать.

Слишком поздно возвращаться и делать новую попытку. Впервые их история заканчивается.

— …И их звали Роджер и Доджер, потому что их назвали люди, которых нельзя было и близко подпускать к детям, — читает (*описывает*) он и крепче прижимает ее к своей груди, как если бы он мог наполнить ее вены собственной кровью и заставить свое сердце биться за них двоих. — Они

росли немного странными и немного удивительными, и они находили и теряли друг друга снова и снова. Но на этот раз, когда они нашли друг друга, они вплотную подошли к Невозможному городу. Они прошли невероятную дорогу до самого конца, и девочка записала все, что знала о вселенной, а мальчик прочитал все это вслух, и все было в порядке. Все было хорошо. Они смогли быть вместе.

Он останавливается. Выжидающе смотрит на Доджер. Она не двигается.

— Додж, давай. Я прочитал твое уравнение.

Она не двигается.

— Давай *же*.

Он тормошит ее, но она все равно не двигается. Отчаявшись, он приглядывается к стене — вдруг он что-нибудь (что угодно) пропустил, чего-нибудь не заметил.

Рядом с последним числом — отпечаток большого пальца. В подходящих обстоятельствах его можно было бы принять за звездочку. Наверное, она оставила его перед тем, как упасть. Тогда он берет Доджер за руку, крепко-крепко, и читает окончание истории:

— И оба они выжили.

Доджер открывает глаза.

Морская пена

Лента времени: 10:32 PDT, 17 июня 2016 года (и)

Часом позже они покидают угасающий призрак купален Сатро; Доджер идет, опираясь на локоть брата. Глаза у нее закрыты — сейчас оба смотрят на мир его глазами. Им больше не нужно тянуться друг к другу, чтобы установить связь: достаточно просто закрыть глаза. Сейчас они не могут остаться наедине с собой: стоит только моргнуть, и другой уже здесь. Их не разделить, и одиночество им больше не грозит. Как и уединение. Но они подумают об этом позже, когда Доджер оправится, а Роджер придет в себя, — сейчас он слишком ошеломлен тем, как мир говорит с ним.

Они оба считали, что Роджер связан с языком, а Доджер — с математикой. Так было раньше. До того, как небо превратилось в ртуть, до того, как мир затрещал по швам, раскрылся и показал им свои тайны. Когда глаза открыты у Роджера, у всего есть имя, и он практически может видеть историю мира, разлитую в воздухе. Когда он закрывает глаза, а Доджер открывает свои,

все вокруг — числа, окруженные надежным исчислением углов и площадей. К этому тоже нужно будет привыкнуть. Над этим нужно будет поработать.

Купальни за ними исчезают окончательно, возвращаясь к прежнему состоянию, в каком они пребывали последние десятилетия. Доджер, улыбаясь, опускает голову на плечо Роджера.

— Мне здесь понравилось, — говорит она. — Нам нужно сюда переехать.

— Мы не можем жить в гигантской ванной.

— Ну, тогда нужно найти что-нибудь *похожее* и жить там.

— Что-нибудь несуществующее?

— Что-нибудь, что существовало раньше, но на время перестало.

Роджер кивает.

— Все, что хочешь, Додж. Мы можем найти замок, сгоревший тысячу лет назад, и жить в нем, лишь бы ты была счастлива.

Она приоткрывает глаза и тоже кивает.

— Буду.

— Отлично.

Они направляются к пляжу, обходя коряги и камни, усеявшие берег. Скоро кто-нибудь их заметит и вызовет береговую охрану или что-нибудь

в этом роде. Ему почти хочется, чтобы это случилось поскорее. Они замечательно прокатятся на лодке и отвезут Доджер куда-нибудь, где ей окажут помощь. Он уверен, что ее тело обрадуется переливанию крови, и точно знает, что подойдет в качестве донора. Осталось найти кого-нибудь с лишней иглой.

Они идут по берегу, вода заливает их обувь, и отчего-то они совсем не удивляются, когда груда водорослей оказывается телом девушки — этакой Офелией, лежащей среди морской пены.

— Доджер, ты можешь стоять самостоятельно?

— Могу попробовать, — отвечает она и, сделав шаг в сторону, открывает глаза и обхватывает себя за плечи. Она уже выглядит лучше. Щеки у нее чуть порозовели, и, когда он отодвигается, ее не шатает. Она восстанавливает себя: клетки просто делятся одна за другой, биология во многом — те же математические функции. Она поправится.

То же самое нельзя с уверенностью сказать об Эрин. Она бледна, но не той восковой бескровностью, что не так давно демонстрировала Доджер: кожа Эрин — слабого зеленоватого оттенка, как будто она слишком долго пробыла в темницах океана. Ее не разбудили человеческие голоса. Одежда у нее изодрана, но конечности кажутся

прямыми и сильными, видимых повреждений нет.

— Эрин.

Роджер опускается на колени и нежно приподнимает ее голову с песка. Наблюдающая за братом Доджер наконец видит, что они действительно были любовниками, видит хрупкое гиперпространство, которое они создали между собой, прежде чем предательство Эрин навсегда его разрушило.

Роджер обхватывает пальцами череп Эрин, смотрит в ее закрытые глаза и улыбается, потому что он может видеть ее историю. Теперь он наконец ее понимает.

— Ты в порядке, — говорит он. — Открой глаза.

Ничто не может ему возразить: нет причин, по которым она *не могла бы* выжить при полученных травмах. Его слова предстают перед вселенной, и мгновение спустя вселенная с ним соглашается. Эрин открывает глаза. Она дважды моргает, а потом, всхлипнув, судорожно втягивает в себя гигантский глоток воздуха. Роджер убирает руки, когда Эрин закашливается и перекатывается на бок — ее рвет морской водой на песок.

Доджер наклоняет голову вбок.

— Ого, ты у нас теперь мертвых воскрешаешь? Шикарно.

— Эй, не *ты* ли была еле жива еще пятнадцать минут назад? Вот и помолчи.

– *Сам* помолчи, — говорит она с удовольствием и ухмыляется. Потом молча наблюдает, как Эрин продолжает тошнить: кажется, та уже исторгла из себя пол-океана. Гораздо больше того, что могло в нее поместиться, по крайней мере, выглядит именно так. Может быть, Роджер и правда *может* воскрешать мертвых.

Доджер покрепче обнимает себя за плечи и, дрожа, прикидывает, хорошо это или нет.

Наконец рвота заканчивается. Эрин неуверенно садится на песке и, откашлявшись, улыбается.

— Вы это сделали, — говорит она, глядя то на перемазанного в крови Роджера, то на промокшую от крови Доджер. — Вы проявились.

— И сейчас мы глазом не успеем моргнуть, как благодаря этому на всю ночь окажемся в камере, если не уберемся с этого пляжа, — говорит Доджер. — Кто-нибудь скоро вызовет береговую охрану, если уже не вызвал, а поскольку нас сейчас, скорее всего, разыскивают по подозрению в поджоге, кажется, что нас это не очень обрадует. Или я не права?

— Вы не понимаете, насколько для вас все изменилось, — говорит Эрин. Она переносит вес на ноги, и ей удается встать. Она выглядит слабой, как котенок. — Никто вас не арестует и не попытается отправить в тюрьму. Никто больше никогда даже не дотронется до вас против вашего желания.

Для девушки, которая, возможно, недавно утонула, она удивительно бодра. Роджер смотрит на нее, и тяжелое чувство ответственности пробирает его до самых костей. Это на его совести. Он сделал это, сделал *ее*, когда воззвал ее обратно из водяной могилы.

— Итак, все закончилось, — говорит он.

Эрин смотрит на него.

— Не совсем. Есть еще кое-кто, кто знает, что вы такое, знает, на что вы способны, и знает достаточно, чтобы хотеть причинить вам боль.

— Рид, — скорее выдыхает, чем говорит Доджер.

Эрин кивает.

— Он знает, что вы обрели себя. Ваше проявление — словно сигнальная ракета для тех, кто знает, за чем следить. Рид соберет свою армию. Если вы хотите выжить, если хотите остаться свободными, вы должны сами к нему отправиться.

Вы должны *остановить* его.

— И что потом? — Несмотря на то что Доджер бледна и еле стоит на ногах, ее голос рассекает воздух, будто хлыст. — Проползти по еще одному подземелью? Победить еще одного дракона? Не смотри на меня так. Я была ботаником и играла в D&D. Просто ответь на вопрос. Если мы это сделаем, ты выставишь перед нами очередного босса или уже уйдешь на хрен и оставишь нас в покое?

— Это последний, — говорит Эрин. — Мы остановим его, и Под-и-Над будет в безопасности, по крайней мере, пока не объявится очередной мудак, который решит разрушить то, что создала Бейкер.

— Ну, если это случится, это будут не наши проблемы, — твердо говорит Роджер. — Мы сделаем это, потому что заслужили, чтобы нас оставили в покое. И после этого *ты* оставишь нас в покое. И сделаешь так, чтобы мы никогда тебя больше не видели.

— Добро. — Улыбка Эрин такая бледная и в ней столько зубов, что она напоминает оскал скелета. — Он ни за что не заметит нашего приближения.

Роджер смотрит на нее и надеется, что она

права.

Эйвери и Циб, держась за руки, смотрели на великолепные башни Невозможного города. Они никогда не видели подобных зданий. Здания двигались, меняя форму, стиль и предназначение, подстраиваясь под людей, которые, словно сны, проходили по подвесным дорожкам между ними.

Рядом вздохнула Нив.

– Что случилось? – спросила Циб.

– Я жила здесь когда-то, – ответила Нив. – И больше уже никогда не буду.

– Почему?

– Потому что утонувшие девочки очень даже возможны, а Невозможный город принимает только невозможные сущности. Таких девочек, как я, слишком много, чтобы он мог быть для них домом…

А. Дебора Бейкер «За лесоградной стеной»

Книга VIII
После конца

Математика и чисел идеальный ряд,
И вселенная поет на мой любимый лад…

Д-р Мэри Кроуэлл «Доктрина Этоса»

Все измеряется за одну секунду.

А. Дебора Бейкер

Цена и последствия

Лента времени: 13:01 EDT[16], 20 июня 2016 года (спустя четыре дня)

Ли мертва, кукушата в свободном полете, и единственное, чего Рид не может понять, — это как получилось, что все пошло наперекосяк так *быстро*. Кукушата были в отрицании, слабы, разделены: их просто использовали как вместилище Доктрины, пока их преемники не дозреют до того, чтобы присвоить ее себе. Все идет не по плану, а у него нет времени как следует во всем разобраться.

Если бы у него было время, он бы сожалел о потере Ли. Она стала слабым звеном — да, и он планировал убить ее — безусловно, но она была по-своему верна ему и заслуживала смерти победителя, а не… что бы это ни было. Так долго идти к Невозможному городу, а потом упасть прямо перед тем, как открылись его ворота? Это было несправедливо. Это было бесславно. Асфодель назвала бы неудовлетворительным повествование,

---

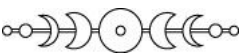
[16] Примечания: 16
Летнее восточное время (UTC-4).

в котором герой умирает, не дойдя до цели всего пару шагов.

(Мысль о том, что Асфодель вовсе не назвала бы Ли героем, не назвала бы героем *его*, не приходит ему в голову. Это его история — с тех самых пор, как он выхватил ее из рук своей создательницы, — конечно же, он герой. Как же иначе?)

Теперь они придут за ним. Должны прийти. Они проявились и теперь ищут Город, ищут со всем рвением своих мечущихся кукушкиных сердец. Более того, они знают, что он единственный во всем мире, кто обладает ключом к их развоплощению. Поэтому они придут за ним, а через него — за Невозможным городом.

Времени осталось очень мало. Сейчас не до тонкой игры, ее нужно оставить до лучших времен. Слишком многое нужно успеть.



Коробку, с которой Рид расстался не более трех часов назад, со всем благоговением — как на причастии — ставят перед первосвященником Американского алхимического конгресса, а тот смотрит на обертку — тусклый свинец, испещренный платиновыми символами, — и хмурится.

— Что это за ерунда? — требовательно спрашивает он.

— Ученик магистра Дэниелса нашел это в стенах дома покойного магистра, — отвечает алхимик, принесший коробку. Этот невысокий, стройный человек весь дрожит.

Остальные принимают дрожь за священный трепет. Да и кто бы не трепетал в присутствии величайшего американского алхимика? У них есть коллеги по всей стране, но никто из них не сравнится с силой и мощью, присутствующими в этой комнате.

Возможно, если бы они присмотрелись, они могли бы понять, что руки курьера трясутся не от благоговения, а от ужаса. Возможно, они могли бы задаться вопросом: почему он пришел именно сегодня и безо всякой шумихи, почему шкатулка найдена только сейчас, а не много лет назад?

Вот он, секрет людей, обладающих властью и силой, секрет, о котором они предпочли бы молчать: их самонадеянность — одна из величайших сил вселенной. Даже самые параноидальные из них видят то, что хотят видеть, верят в то, во что хотят верить, и это создает трещины, сквозь которые умные люди могут проникнуть внутрь, тем самым меняя историю.

Алхимик, принесший этот трофей сюда, этим властным, жадным, ужасным людям, закрывает глаза. Он твердит себе, что его мужчина, будет в безопасности, что Рид сдержит слово и отпустит его. Во всякой войне, какой бы вялой, какой бы затяжной она ни была, всегда есть шанс попасть под перекрестный огонь, и он оказался не способен уберечь от этой войны человека, которого любил больше всего на свете.

Его любовь будет жить, а он умрет, и в этот момент ему кажется, что только так все и могло закончиться.

Жадные руки магистра, неспособного с какой-либо долей точности прочитать знаки на свинцовых листах, срывают печать, содержащийся внутри механизм срабатывает, разбрызгивая по всей комнате алкагест, и остаются одни только крики. Вскоре не остается и криков — лишь тишина.

Призраки

Лента времени: 14:49 CDT, 23 июня 2016 года (три дня спустя)

Они пересекают страну, будто призраки: бесшумно, быстро, не оставляя следов. Они едут в автобусах без билетов, на поездах — тоже, хотя разнообразных кондукторов так много, что кто-то один — либо Роджер, либо Доджер — все время должен бодрствовать и, беззаботно улыбаясь, творить свою версию той странной магии, что их окутывает.

(Роджер просто говорит кондукторам, что их билеты в порядке, и упорно называет это «джедайскими фокусами». Доджер протягивает для проверки бумажные прямоугольнички: квитанции, корешки от билетов в кино, исписанные листочки для заметок — и торжественно кивает, когда они принимают их за настоящие. Это грошовые фокусы, из разряда тех, что в ближайшем будущем они будут считать ниже себя, но сейчас они радуются, как дети, каждый раз, когда это срабатывает. Вот оно — доказательство, что Эрин говорила правду о том, что они из себя представ-

ляют; более того, день ото дня они становятся все сильнее, могут все больше. Пройдет немного времени, и никто не сможет их заметить, если они сами того не захотят, если они скажут пространству спрятать их, а миру — оберегать. Роджер считает, что это тихая трагедия. Доджер — что это чудо. Оба они правы.)

Они становятся сильнее. Они все еще сдерживают себя. Эрин, которая знает больше, чем они, хотя и не бывала в этой точке прежде, отказывается рассказывать им, что делать. Они должны дойти до всего сами. И в этот раз, и каждый раз: если она хочет, чтобы это сработало, ей нужно дать им дойти до всего самим. Но — ох, до чего же медленно до них доходит, и она так боится, что в нужный момент они не смогут быть достаточно быстрыми.

Последний автобус доставляет их в Огайо — летний воздух раскален, свинцово-фиолетовое небо предвещает бурю. В этом штате есть города — они видели и даже проезжали парочку, когда маршрут автобуса изгибался соответствующим образом, — но в основном это сельская местность, широкая и плоская, какой они не видели прежде. Они здесь родились. Но это не значит, что здесь их дом. Они дети холмистого побережья, мест, где

земля отступает, а море ее догоняет. Эта великая равнина, эта страна, где бушуют торнадо, никогда им не принадлежала. Благодаря человеку, на встречу с которым они едут.

— Еще не поздно, — говорит Доджер, и она лжет.

— Всегда было поздно, — отвечает Роджер, и он говорит правду. Он берет ее за руку, и они вслед за Эрин идут в кукурузу.

Не прошло и недели после их проявления, а его признаки очевидны всем, у кого есть глаза, умеющие видеть, и уши, умеющие слышать. Их спины стали прямее, а походка — увереннее и легче. По Доджер не скажешь, что она едва оправилась от смертельного ранения; если на то пошло, она выглядит здоровее, чем когда-либо, ее шаги стремительны, движения еще стремительнее, каждым жестом она словно атакует окружающий мир. Она полностью свыклась с новым зрением, воспринимающим глубину пространства, и перестала то и дело натыкаться на все подряд, хотя все еще идет напролом, словно любые препятствия — будь то стены или даже горы — отодвинутся с ее пути.

Роджер, напротив, идет по миру прогулочным шагом. Пусть Доджер несется впереди: когда

понадобится, он догонит ее. Он движется плавно, легко, и все вокруг перестраивается, чтобы его пропустить. Ему комфортно — и в своей коже, и на своем месте в мире. Это ужасная комбинация — для тех немногих, кто способен увидеть и понять, что это значит. Эрин полагает, что после столкновения с Ридом, вне зависимости от результата, люди, которые, взглянув на Роджера и Доджер, смогут сказать, кто они такие, вряд ли решатся их побеспокоить. Некоторые риски слишком высоки, и если есть хоть малейшая возможность их избежать — лучше так и сделать.

Вокруг шуршит кукуруза, початки трутся друг о друга, словно лапки тысяч насекомых. Доджер морщит нос.

— Здесь слишком много свежего воздуха, — говорит она. — Я *не люблю* свежий воздух. Как будто тебя наказали за плохое поведение, отправив во двор.

Роджер, который слышит эхо того, что Доджер не сказала, знает, какие слова не произнесены: «Тебя наказали родители». Он тянется к ее руке, берет ее ладонь в свою, сжимает, и они идут дальше.

(Он может воскрешать мертвых, но для этого ему нужно хоть *что-то*, а после того, что сделала

Ли, не осталось ничего. У нее больше нет родителей, как и у него, и он хотел бы, чтобы хотя бы одного из них пощадили.)

— Риду нравится, что его просто так не найти, — говорит Эрин. — Ему нравится представлять себя пауком, который сидит в своей паутине, дергает за ниточки и скрывает от посторонних глаз то, что ему принадлежит. Новый Король кубков.

Роджеру столько всего хочется сказать. Но он ничего не говорит. То, что Рид должен умереть, — несомненно. То, что именно Эрин, а не он и не Доджер, спустит курок, — так же несомненно. У всех у них есть, за кого мстить, — смерти, за которые они хотят воздать ему по заслугам. Но Доджер ни разу никого не убивала, а он сам убил двоих — Ли и голема — только в рамках самозащиты. Как бы это ни было необходимо, это все равно убийство.

Они бредут сквозь кукурузу, и им начинает казаться, что весь мир — *сплошная* кукуруза, отливающая золотом, словно Невозможный город, словно купальни Сатро. Может быть, в этом и заключается истинная суть Под-и-Над, суть трансмутации, суть всего: в очищении базовых материалов — почвы, неба и воды — до золотых початков, сладко и мирно покачивающихся на

стеблях. Эрин бросается вперед, и вдруг среди кукурузы возникает сарай, сделанный из гофрированной жести, маленький и покосившийся. Кто-то выкрасил его в серебряный цвет, и он сияет на солнце, словно ртуть.

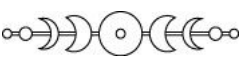
Роджер и Доджер останавливаются и растерянно смотрят на это сооружение.

— Это оно? — спрашивает Доджер.

Натянуто улыбнувшись, Эрин открывает дверь.

— Нам вниз. И довольно долго.

Она ныряет в мрак сарая, исчезая внутри, так что им не остается ничего другого, кроме как последовать за ней. Теперь, когда они взяли на себя обязательство дойти по невероятной дороге до самого Короля, Эрин — их единственный проводник. Дверь захлопывается за ними, и вокруг остается только тишина. Тишина и кукуруза.



Эрин не шутила, когда сказала, что спуск будет долгим: в полу сарая есть люк, скрывающий спиральную лестницу, ведущую вниз, вниз, вниз — в темноту под кукурузой. Они спускаются и спускаются, и им начинает казаться, что это нелепо,

а Доджер, выросшая в краю землетрясений, а не в краю торнадо, все сильнее и сильнее прижимается к Роджеру, так что он начинает бояться, что споткнется об нее, и они вместе рухнут в темноту.

На лестнице *темно*. Через каждые десять футов или около того есть светильники, но их едва хватает, чтобы рассеять мрак. Они спускаются почти на пятьдесят футов, прежде чем Роджер замечает, что лампы становятся ярче по мере того, как приспосабливаются их глаза. Такая система позволяет как можно дольше дезориентировать людей, не давая зрению полностью адаптироваться к темноте или яркому дневному свету. Роджер был бы впечатлен, если бы не был так зол.

Свет становится ярче. Спираль резко становится шире. Последние пятнадцать футов винтовой лестницы расположены внутри большого помещения, скорее похожего на самолетный ангар. Стены из жести, как в сарае наверху; на полу — промышленный линолеум. Доджер, сузив глаза, оценивает обстановку. Роджер не прочь узнать, что она видит, но не осмеливается говорить вслух.

Эрин ускоряется, Роджер и Доджер тоже, и все

трое заканчивают спуск — они все еще одни, их все еще никто не преследует.

— И что теперь? — шепчет Доджер.

— А теперь скажем дорогому папочке, что мы дома. Роджер, успокойся. Я в лучшем случае твоя приемная сестра, а в худшем — очень-очень-очень *дальняя* кузина. Ты не трахал свою сестру.

— Фу, — говорит Доджер.

Эрин насмешливо и горько хмыкает, а затем, сложив ладони рупором, кричит:

— Джеймс Рид! Мы пришли за тобой!

Когда она опускает руки, Роджер и Доджер укоризненно смотрят на нее. Ухмыльнувшись, она пожимает плечами.

— Рано или поздно он все равно узнает. Лучше так, чем прятаться по углам, постоянно натыкаясь на его былые эксперименты. — Эрин мрачнеет. — Здесь есть такое, чего вам лучше никогда не видеть. Чего *мне* было бы лучше никогда не видеть. Считайте, вам повезло, что не придется с этим столкнуться.

— Но так было бы лучше, — возражает новый голос, спокойный мужской голос с учительской интонацией. Именно так должен говорить учитель — тот, кому вы доверяете безоговорочно. Из тех учителей, которые справедливо ставят

оценки и которым не жалко времени, чтобы объяснить материал ясно и убедиться, что понимает весь класс.

Роджер и Доджер поворачиваются на голос. Эрин — нет. Она уже видела Джеймса Рида. Сейчас у нее нет необходимости на него смотреть.

Он высокий — это всегда было в моде среди мужчин с такими голосами и таким положением. Бейкер, в конце концов, умела работать на публику. Она знала, насколько бывают важны такие вещи, как рост и соответствующая роли внешность. Поэтому Рид высокий, красивый, и у него такая улыбка, которая могла бы заставить родителей переживать за добродетель своих дочерей — когда он был моложе, мир — проще, а добродетель можно было потерять. Волосы у него цвета песка в пустыне, а глаза — как у гадюки: яркие, как драгоценные камни, и холодно-расчетливые.

Он улыбается, и у Роджера с Доджер уже достаточно мудрости, чтобы разглядеть за улыбкой угрозу, но никто из них не знает, как ее отвести.

— Я видел, что вы сотворили, знаете ли, — говорит он тоном, каким ведут светскую беседу, подходя ближе походкой человека, совершающего вечернюю прогулку. — Думаю, это наверняка

видел каждый алхимик в любой части света. Вы раскрасили небо, словно холст, и какой это был прекрасный оттенок золотого! Кстати, кто же из вас догадался, что нужно сделать? Мои маленькие кукушата, отправленные в этот мир, чтобы научиться заботиться о себе. Я всегда знал, что вы вернетесь в свое гнездо. Вернетесь ко мне.

Доджер крепче сжимает руку Роджера, так что их переплетенным пальцам становится больно.

— Я не заботилась сама о себе, — говорит она. — У меня были родители. Хезер и Питер Чезвичи. Ты приказал их убить.

— Не говори со мной таким тоном, Доджер; если у тебя и был отец в этом мире, так это я, а маленькие девочки не должны так разговаривать со своими отцами. — Маска сползает. Лишь на мгновение, но этого вполне достаточно, чтобы они разглядели пропасть с другой стороны. Он опасен, этот веселый лицемер, и он их убьет, если сможет. Затем маска возвращается на место, и он продолжает: — Я не приказывал их убивать. Ли сама решила убить их. И если вы настроены вести конструктивную беседу, вы должны почувствовать разницу. Я не могу контролировать, кого решают убить мои подчиненные. А если бы я мог, вы бы не сбросили трех из моих лучших

людей в океан только потому, что были в дурном настроении.

— Они пытались нас убить, — говорит Роджер.

— Я не одна из твоих людей, — говорит Эрин.

— Я говорю, что ты была одной из моих лучших людей, и тебе этого мало? — Рид цокает языком. — Современные дети. Но сейчас речь не о тебе, не так ли? Нет-нет. Совсем нет. — Он сосредотачивается на Роджере и Доджер, продолжая подходить ближе. — Вы могли стать совершенными. И все еще можете. Вручите мне свои поводья. Позвольте мне принять вас на службу, будьте моими детьми, позвольте мне вас любить, и я позволю вам жить.

— Нет, — говорит Роджер. — Мы здесь не затем, чтобы работать на тебя. Мы не инструменты.

— О, но ведь ты — инструмент, Роджер. И всегда им был. Я мастер своего ремесла, а ты в большой степени сын своего отца. — Рид качает головой. — Если вы здесь не для того, чтобы работать на меня, полагаю, вы пришли вернуть украденное. Это ужасно хорошо с вашей стороны, учитывая все обстоятельства.

— У нас нет ничего твоего, — говорит Доджер.

Роджер молчит и просто тянет ее назад, проверяя, что их плечи плотно прилегают друг к другу

и их невозможно разделить так, чтобы они этого не заметили. Она лучше врет. Но он лучше умеет отличать правду от лжи, по крайней мере, когда лгут другие люди. Он знает, чего хочет Рид.

— Мы не можем взять и отдать Доктрину, — говорит он. — Мы и *есть* Доктрина. Мы можем отпустить Доктрину, только если…

Роджер замолкает, когда по лицу Рида расползается жестокая улыбка человека, уверенного, что у него в руках все карты.

— Это так, — говорит он. — Вам придется умереть. Я бы извинился, но зачем. Вы должны были этого ожидать.

Доджер смеется. Все поворачиваются в ее сторону. Эрин раздражена, Рид недоумевает, Роджер забавляется.

— Оу, чувак, ты серьезно? — спрашивает она. — Мы такие приходим сюда, живое воплощение космической силы, которую *ты* захотел поймать в свои сети и воплотить, и ты думаешь, что можешь просто внаглую подойти и *убить* нас? И как ты планируешь это сделать?

— Сначала я вас отвлеку, — мурлычет он.

Ли роняет Руку славы и возникает словно ниоткуда. Металлическая арматура в другой ее руке достаточно длинна, чтобы одновременно

опуститься на два затылка. Они все еще из плоти и все еще смертны. Они падают. Эрин рычит и тянется к пистолету на поясе, но останавливается, чувствуя, как дуло чужого пистолета упирается ей в затылок.

— Пожалуйста, не заставляй меня, — шепчет девчоночий голосок, юный и свежий, как весенняя трава, голосок дочери узурпатора, смотрящей на трон, которого она не хочет и никогда не хотела.

Эрин замирает. Это другая девочка, которой досталась математика, избранная претендентка на место Доджер.

— Как видишь, моя дорогая, космическая сила не делает людей умнее. Она делает их беспечнее. Никогда не сбрасывай со счетов конструкт, если ты не видела его тело. — Рид изящно переступает через Доджер, опускается на колени рядом с Роджером. — У него мой подбородок. Спасибо, что доставила их ко мне, Эрин. Теперь ты попытаешься убедить нас, что все еще предана нам. Мы, конечно, тебе не поверим, но будет забавно услышать, что ты скажешь.

— Я предала вас обоих, — говорит Эрин. — Все, что вы делаете, все, что пытаетесь сделать, — неправильно. Я больше никого не буду убивать

для вас.

— У девочки за твоей спиной нет подобных терзаний.

Безымянная девочка тихонько всхлипывает. Эрин думает (хотя вслух ничего не говорит), что у девочки полно терзаний. Просто если она их озвучит, то может слишком многое потерять. Ли с грохотом отбрасывает арматуру. Эрин переводит взгляд на нее.

— Как ты выжила? — спрашивает она, будто поддерживая разговор. Все что угодно, лишь бы они продолжали говорить, а она продолжала дышать. Роджер не сумеет вернуть ее в целости и сохранности, если пуля вышибет ей мозги. Однажды он сможет и такое, но не сейчас.

— Нельзя утопить мертвую женщину, — отвечает Ли. В ее голосе появилась хрипотца, которой раньше не было, глубоко в горле что-то булькает — видимо, в легких полно воды. Она прищуривается: — А как выжила *ты*?

— Ты сделала меня такой, что я во всем вижу хаотичные места. Я уверена, что побочный эффект в виде ненависти ко всему миру был случайностью. Но это неважно. Падая в воду, я видела все наиболее опасные места, которые с наибольшей вероятностью нанесли бы мне вред. Я плыла,

избегая таких мест.

Это был короткий способ описать долгий ужасный момент, который неизбежно закончился тем, что она наглоталась воды и ее вынесло на берег, где ее нашли Доджер и Роджер. Но она это сделала. Она выбралась из моря, не разбившись о камни. В сложившихся обстоятельствах это безусловно была победа.

На краткий миг Ли выглядит почти впечатленной.

— Полагаю, мы великолепно над тобой поработали, несмотря на твое предательство. Я сделаю следующую в таком же духе. Она будет верна.

— Если вы хотели верности, не нужно было убивать Даррена.

— Буду иметь это в виду, — говорит Ли и смотрит на Рида. — Теперь можно ее убить?

— Если хочешь, Кимберли может спустить курок. Уверен, ей не терпится приступить к делу и освободить Доктрину от этих недостойных носителей.

Ли хмурится.

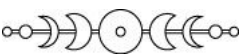
— Я хочу сделать это сама.

— Ты все хочешь сделать сама. Учись делегировать. — Отпустив подбородок Роджера, так что его голова безвольно стукается об пол, Рид вы-

прямляется. — Я хочу, чтобы их раздели, вымыли и принесли в лабораторию. Пора начинать. — И он уходит, что-то насвистывая.

Ли и Эрин с одинаковой ненавистью смотрят на его удаляющуюся спину. В этот момент они едины как никогда. Затем момент проходит. Ли поворачивается к Эрин и улыбается.

— Веди ее, Ким, — говорит она. — Пора ей узнать, как наказывают тех, кто идет против своих создателей.



Лаборатория, куда помещают Эрин, знакома ей: она здесь выросла. Она знает каждую линию, каждый цвет, каждый предмет прилично изношенной мебели. Закрыв глаза, она может представить Даррена в любом месте этой комнаты; он ухмыляется, изо всех сил стараясь выглядеть крутым, хотя никто из них понятия не имеет, что значит «крутость».

— Эй, Эрин, знаешь что?

— Что?

— Когда мы выберемся отсюда, я отведу тебя в какое-нибудь настолько шикарное место, что оно кажется нереальным. Вроде Диснейленда.

— Я тебе верю.

Она верила. И верит до сих пор. Если бы Даррен был здесь, если бы Роджер сумел воззвать его из праха и костей, как воззвал ее из моря, он бы развязал ее и отвез в какое-нибудь настолько шикарное место, что оно казалось бы нереальным. Он всегда выполнял свои обещания, кроме одного: никогда ее не покидать. Но это было глупое обещание, не так ли? Он-то мог бы это понимать. Они оба должны были это понимать.

Но созданные здесь дети никогда этого не понимают. Она на это рассчитывает.

С тех пор как ее оставили здесь одну, связанную, как индейку на День благодарения, она сканирует воздух, ища зачатки хаоса. В подобной замкнутой системе воздух стремится к порядку, становясь для нее невидимым. Штормовые ячейки — невозможно, болезненно красивые — бывают только в мире наверху.

На этот раз ее терпение вознаграждено. В центре комнаты есть участок хаоса, место, где воздух каким-то образом приведен в беспорядок, хотя там ничего не должно быть.

— Я вижу тебя, — говорит Эрин тихим твердым голосом. — Можешь опустить Руку.

Как она и надеялась (даже молилась, хотя она

никогда не была уверена в том, чему или кому ей можно молиться), на ближайшем к участку хаоса столе появляется Рука славы (пламя только что погасло), и еще там стоит девочка-подросток с такими белыми волосами, что они отливают шелково-зеленой кукурузой. В отличие от Руки, она не появляется — она уже была там некоторое время, просто до этого момента ее было трудно разглядеть.

Она слишком худа, одета в рваную одежду, вышедшую из моды лет двадцать назад, и дрожит, хотя в лаборатории тепло. Девочка наблюдает за Эрин, огромными глазами и непроизвольными подергиваниями напоминая олененка. Эрин спокойно, с невозмутимым видом смотрит на нее в ответ.

— Как ты узнала, что я здесь? — наконец спрашивает девочка. — У меня была… у меня была Рука…

— Я и не знала. — Эрин улыбается. — Ким — так ведь? Развяжи меня, Ким. У меня незаконченное дело с человеком, который тебя создал.

— Я не могу. У них мой брат.

Рид стал умнее, не поспоришь: он понял, что заложник гораздо полезнее как рычаг, чем как труп. Если бы только он усвоил этот урок рань-

ше, возможно, Эрин осталась бы ему верна. Она качает головой.

— Нельзя давать им власть управлять тобой, — говорит она. — Ты знаешь, кто те люди, с которыми я пришла?

— Узурпаторы, — говорит Ким. Слово звучит так, будто она не понимает его значения. Вероятно, так и есть. Рид никогда не был поклонником подчиненных, которые знают слишком много, а она — не ее брат, у которого словарь вместо сердца.

— Они — живая Доктрина Этоса. Они то, во что Рид хочет превратить вас. Он не может их контролировать, поэтому он хочет их убить. Если он это сделает, если он преуспеет, Доктрина перейдет к тебе и твоему брату, и тогда вы уже никогда не станете свободными. Никогда, понимаешь? Он вечно будет держать вас здесь и сделает все, чтобы вы не вырвались на свободу. Он никогда не вернет тебе брата.

Внезапно лицо Ким искажается от ярости.

— О, ты мне, что ли, его вернешь? Тимоти *напуган*, и он *один*, а ты пытаешься обмануть меня, чтобы я позволила сделать ему больно, потому что вы с мистером Ридом соревнуетесь за вселенную. Если мы станем Доктриной, мы будем в

безопасности.

— Нет, не будете, — по-прежнему спокойно возражает Эрин. — Если вы станете Доктриной, вы будете пешками, а человек, который делает вещи, какие делает Рид, сможет править вселенной. Роджер и Доджер не хотят вам зла. Они сделают все, чтобы защитить вас, но они смогут это сделать, только если будут живы и свободны. Развяжи меня. Позволь мне помочь им. Позволь мне помочь вам.

— У него мой *брат*.

— У него и брат Доджер. Она владеет математикой, как и ты. Она видит числа повсюду. А еще она вся из себя принцесса и смотрит косо на любого, кто разговаривает с ее драгоценным Роджером, но она успешно борется с собой. Мы не друзья. Думаю, вы с ней можете ими стать. Думаю, вы многому могли бы научиться друг у друга. Сколько вам? Шестнадцать?

— Пятнадцать, — признается Ким.

— Наставники, которые действительно вас понимают, могут принести вам кучу пользы. Тимоти только и думает, что про слова, так ведь? Что ж, как и Роджер, и он самый нежный, добрый и щедрый дурачок, которого только можно встретить. За этих людей вам нужно держаться, а не за

лживого алхимика и мертвую женщину, хоть она и выглядит живее всех живых. — Эрин качает головой. — Развяжи меня. Я верну тебе брата.

Ким делает нерешительный шаг вперед.

— Обещаешь?

— Обещаю постараться.

Ким медлит. Эрин смотрит на нее, стараясь не зацикливаться на мысли, как легко было бы свернуть ей шею, одно маленькое движение — и все планы Рида полетят в тартарары. Тимоти (она уверена, что они называют его «Тим») умрет без своей половинки. Так что второго подходящего сосуда для Доктрины не станет. И даже если ему удастся убить Роджера и Доджер, освободив Доктрину из оков их плоти, пройдет не меньше пятнадцати лет, прежде чем он снова сможет попытаться ее воплотить. Все, что ей нужно сделать, — просто убить ребенка, и у нее будет достаточно времени для мести. Все, что ей нужно сделать, — превратиться в монстра — дочку Ли, а не просто продукт ее научного проекта.

Когда Ким развязывает ей руки, Эрин разминает их, чтобы восстановить кровообращение, но не тянется к горлу девочки. Когда Ким развязывает ей руки, Эрин сама начинает выбираться из веревок, но не наносит удар. Пусть Ли будет

чудовищем в этой пьесе. Эрин найдет другой способ. Она знает, что он должен быть. Другой способ есть всегда. Рука славы сгорела только наполовину, она будет скрывать Эрин еще час или больше. Эрин соскальзывает со стола, берет Руку и смотрит на Ким.

— Хочешь, я свяжу тебя? — предлагает она. — Они подумают, что я тебя обманула. Они не будут злиться. По крайней мере, на тебя.

Ким качает головой.

— Мне нужно попасть к брату.

— Как хочешь.

Ли всегда держала спички на верстаке рядом с беленой. Эрин хватает их, зажигает основной фитиль Руки и исчезает из поля зрения людей.

Ким некоторое время стоит на месте и смотрит туда, где уже нет Эрин. Затем спешит к двери.

— Я иду, Тим, — бормочет она, зная, что она одна, но страстно желая, чтобы он мог ее услышать. — Держись, я уже иду.

Первородство

Лента времени: 16:02 CDT, 23 июня 2016 года (день продолжается)

Доджер приходит в себя в незнакомой комнате; она обнажена и связана шелковыми веревками. Она лежит на спине: взгляд упирается в потолок, представляющий собой идеальную астрономическую карту ночного неба. Доджер закрывает глаза.

— Роджер?

— Я здесь.

Голос одновременно и близкий, и далекий. Она открывает глаза, разрывая их короткую связь, поворачивает голову (вертеть головой — единственное доступное ей сейчас движение) и обнаруживает, что Роджер лежит на столе — видимо, на таком же лежит и она сама. Так же как она, Роджер обнажен. Так же как она, связан шелковыми веревками. Его тело расписано ртутными рунами — надо полагать, так же как и ее. Она прищуривается. Она не знает значения этих рун, но может видеть их математическую составляющую, и та неумолимо приводит к нулю.

— Почему мы еще живы?

— Потому что мы — Доктрина.

Доджер молчит. Роджер подавляет импульсивный вздох. Она тормозит не нарочно: она действительно не понимает. Хотел бы он тоже не понимать.

— Мы обладаем Доктриной, а эти дети у Рида — нет. Если он нас убьет, мы заберем Доктрину с собой, и ему придется начинать все сначала.

Растить новое поколение… чего? Научных объектов? Детей? Клонов? Неважно. Либо они покончат с этим здесь и сейчас, либо обрекут другую серию детей — таких же, какими они сами были когда-то, — разыгрывать эту маленькую трагедию снова и снова. Вечно.

— А, — голос Доджер звучит слабо. — Чтобы суметь добавить, ему сперва нужно вычесть, а не просто стереть нас с доски.

— Да. Ты видишь, как я связан?

Доджер отвечает вопросом на вопрос:

— А я исписана странными загогулинами?

— Да, — отвечает он.

— Что они значат?

Он довольно далеко от нее, и она не может толком различить выражение его лица, но все-таки может уловить вспышку страха, когда он

отвечает:

— Усечение, удаление, извлечение. Я был в сознании, когда они это на нас рисовали.

— Для меня все это означает «ноль». Он собирается использовать эти надписи, чтобы выкачать из нас Доктрину.

— Ага.

Он не упоминает, что видел, как они принесли ведро, полное того, что называют «алкагестом» — универсальным растворителем. Он может растворить все, даже универсальную постоянную.

Доджер этого не видела. Он не может слышать ее мысли, но он и так знает, о чем она думает: разве это так плохо — остаться без Доктрины? Они снова станут обычными людьми, какими были до того, как пошли за Эрин в несуществующее здание и решили уравнения вселенной. Она по-прежнему будет любить математику, а он будет любить слова. Они просто не будут связаны со всем этим на космическом уровне. Они избавятся друг от друга в своих головах и будут жить так, как им захочется, они будут *людьми*, а не идеями.

И хотя она так думает, она прекрасно понимает, что это невозможно. Расчеты неверны. Они не люди, которым каким-то образом досталась кос-

мическая сила логики и определений: они и *есть* эта сила, воплощенная кем-то, кому следовало бы подумать лучше, поступить лучше и *быть* лучше. Они — идеи, которым снилось, что они люди, и теперь они просыпаются, и уже слишком поздно становиться чем-то еще. У детей, которыми Рид хочет их заменить, еще есть шанс стать людьми. А у нее и Роджера… нет. Больше нет.

Она без вопросов понимает, что Роджер пришел к тому же самому заключению еще до того, как она очнулась; он просто ждал, когда она дойдет до этой мысли самостоятельно. Она закрывает глаза.

— Нужно выбираться отсюда.

— Есть идеи?

— Разве мы не представляем собой базовые силы вселенной?

— Ага, правда, к этому не прилагается начальный курс фокусов Пенна и Теллера.

В его голосе сквозит такое раздражение, что она даже смеется. Не открывая глаз, она говорит:

— Рид хочет разобрать нас на самые базовые составляющие, а затем внедрить их в тех, кого он приготовил нам на замену. И это закончится тем, что мы умрем, а они окажутся в полной заднице. Я бы не хотела, чтобы сумасшедший ученый

что-то впихивал в меня только потому, что он думает, что это должно там быть. Мы наверняка можем что-то сделать.

— Можешь просчитать, как нам избавиться от веревок?

Доджер широко распахивает глаза. Около секунды она смотрит в потолок, а затем улыбается.

— Неплохая идея. Сейчас. — Она ерзает, пытаясь прощупать веревку, которой связана, затем снова смотрит на Роджера. — Смотри. Столы тридцать шесть дюймов в ширину и четыре в толщину. Это значит, что на один виток веревки вокруг стола, не учитывая нас, уходит восемьдесят дюймов. Добавляем сюда нашу геометрию…

Ее речь становится все быстрее и быстрее, так что Роджер уже не успевает воспринимать, что она говорит. Она всегда становится такой, когда дело касается математики, и он не станет ее перебивать, потому что способен считывать смысл того, что она *имеет в виду*, и в данном случае она говорит: «Я могу нас вытащить». Он наблюдает, как она изворачивается: чуть выдвигая плечо, на доли дюйма разводя руки в стороны. Она даже не касается узлов, чтобы освободиться, она задействует физику веревок и математику ситуации в целом. Он не уверен, что это сработает. Это

кажется невозможным. Но разве хоть что-то из того, что они уже сделали, было возможно?

Вот что значит проявиться. Он начинает понимать, как они смогут жить в этом мире, когда все это закончится. Магия не обязательно должна быть искрометной и зрелищной. Иногда эффективнее всего действовать тонко.

— Теперь потянуть и… *ха*! — Доджер садится, веревки соскальзывают с нее вниз. Она обнажена и покрыта серебряными рунами, но это все мелочи по сравнению с тем, что она свободна.

Роджер отводит глаза, когда она бросается к нему, и старается не смотреть на нее, пока она его развязывает. Затем он садится, и они осматриваются. Комната больше, чем кажется на первый взгляд; пол разрисован созвездиями — своеобразное отражение звездного неба над головой. Стены украшены витражами, на которых изображены сцены из книжек Бейкер, но слегка измененные. Король кубков в одной руке держит жезл, а в другой — чашу. Принцесса-кукушка по-прежнему пепельно-серая, но она укутана в мантию противоборствующего волшебника, а цвет ее кожи — явный признак химического отравления, по телу пошли волдыри от прикосновений к вещам, которые ей не следовало красть.

На всех витражах Эйвери и Циб — ученики, получающие знания под руководством наставника. Вода, пробегая сквозь их руки, превращается в кровь, пыль — в воздух. Может быть, ему просто нужно было… попросить… и веревки превратились бы в ветер и небытие.

— Нам нужно перестать думать, что есть какие-то правила, — говорит он.

— Эти люди — вконец *ненормальные,* и я хочу обратно свою одежду, — говорит Доджер.

— Согласен, — говорит Роджер. — Выход здесь. Пойдем.

Они быстро пересекают комнату. Идти, не глядя друг на друга, удивительно легко — они просто моргают по очереди, и это позволяет им оставаться в настоящем, не рискуя увидеть то, чего видеть не следует.

Когда они уже почти доходят до двери, та вдруг открывается, пропуская Ли Барроу: у нее в руках хирургическая пила, на лице — оскал скелета.

— Вы куда-то собрались? — спрашивает она олеандрово-медовым голосом, в котором слышны отголоски самых ядовитых стихов, которые когда-либо знал этот мир. — Ложитесь. Если ляжете, будет не так больно.

Доджер отрывается от брата. Доджер, которая

всегда жила так, словно шла в атаку, которая в каждой возможности видела шанс побороться за доминирование и победить. Она врезается плечом в грудь Ли, и обе падают на пол, превращаясь в копошащуюся груду конечностей, в том числе смертоносных: Ли размахивает пилой, пытаясь достать Доджер и не порезаться самой.

– *Хватит!* — кричит Роджер, но сам не верит, что это сработает, не здесь, не на этой женщине, которая всегда была чудовищем в глубине его сознания — с самого рождения, с тех пор как пришла в его дом и угрожала всему, что его тогда окружало. Он не верит, что это сработает, он все еще сживается со своей оболочкой, и перед лицом его сомнения ничего не происходит. Ли продолжает двигаться. Доджер, на которую не распространялась его команда, продолжает бороться.

– *Беги!* — кричит Доджер.

Он знает, что она не просит бросить ее, эта просьба, высказанная здесь и сейчас, — это крик о помощи: он должен найти способ спасти их обоих. Он колеблется достаточно долго, чтобы Ли успела пустить первую кровь, а затем бежит вглубь молчаливого комплекса в поисках ответов.

Здесь все незнакомо. И все знакомо. Дежавю, определившее всю его жизнь, преследует его в каждом коридоре, даже там, куда точно не принесли бы младенца. Он уже видел это место в других временных линиях, во время других попыток проявиться. Сколько же раз они якобы «побеждали», только чтобы последовать за Эрин в этот мрак и умереть здесь, в нескольких милях под полями золотой кукурузы?..

И тут кто-то выбегает прямо на него, и он успевает затормозить за пару секунд до столкновения с девочкой-подростком с волосами такого удивительного оттенка, что создается впечатление, что она просто выросла из кукурузы. Поняв, что он голый, она издает тонкий писк, ее щеки загораются красным, и она пытается юркнуть мимо него. Но он успевает схватить ее за руку.

— Кто ты? — требовательно спрашивает он.

— Кимберли, — отвечает она. — Пожалуйста. Мне нужно найти брата.

Ну конечно.

— Его зовут Тимоти, да?

Она удивленно распахивает глаза и кивает.

— Я Роджер. Моя сестра, Доджер, сражается с женщиной, которую мы считали мертвой. Мне нужно остановить эту женщину. Можешь мне

помочь?

Широко раскрытые глаза смотрят настороженно.

— Ты — это они. Те, кто украл Доктрину.

— Нет, солнышко, мы не крали. Мы ее заслужили, и мы хотим вас спасти. Конечно, если ты не хочешь всю жизнь провести вот так. — Он обводит свободной рукой мрачный коридор. — Если мы уберемся отсюда, то и вы с нами. Вы просто дети. Вы заслуживаете шанса стать чем-то бóльшим, чем все на свете.

— Та женщина сказала то же самое, а потом украла мою свечу.

Та женщина…

— Ты видела Эрин? Ты дала ей Руку славы?

Господи, когда только все это обрело смысл? Когда из этого стал строиться обычный разговор посреди белого дня?

Кимберли напряженно кивает. Роджер вздыхает.

— Ладно. Эрин… сделает то, что сделает Эрин. А сейчас нам очень нужно спасти мою сестру. Можешь мне помочь?

— Мистер Рид говорит, что, когда мы станем Доктриной, мы не будем нуждаться ни в чьей помощи.

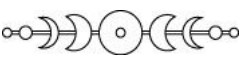
— Мистер Рид ошибается, — говорит Роджер. — Вам всегда будет кто-то нужен. Пожалуйста. Позволь мне быть тем, кому ты нужна сейчас.

— Ладно, — шепчет она.

Он ее отпускает. Она протягивает ему ладонь, и он берет ее, слегка вздрогнув от небольшого разряда, пробежавшего между ними. Это не то же самое, что пространство, возникающее между ним и Доджер, но этого достаточно, чтобы знать, что эта девочка — такая же, как они; она и ее брат — оба такие же, и их следует защищать любой ценой.

— Кажется, моя семья только что стала немного больше, — говорит он и позволяет ей вести себя в темноту.

Немного погодя они переходят на бег.



Доджер и Ли катаются по полу почти с минуту, когда хирургическая пила прочерчивает яркую кровоточащую полосу по спине Доджер, и та, вырвавшись, отступает на безопасное расстояние.

Ли смеется — она в восторге от этого захватывающего нарушения первоначального плана.

— Ах, кукушечка, ты такое чудо, такое насла-

ждение и такая досада, — говорит она, перекладывая пилу в другую руку. Капля крови падает ей на запястье. Она подносит руку ко рту, проводит языком и улыбается. — Разбирать тебя на части будет сплошным удовольствием.

— Держись от меня подальше.

Доджер продолжает отступать. Ей нужно время сделать расчеты, время обнаружить числа, которые ее освободят. Роджер говорит, что нужно забыть о правилах, но именно правила заставляют числа *работать*. Так что правила всегда останутся при ней. Возможно, это к лучшему. Без них она бы перекроила все на свете, лишь бы Роджер был счастлив.

Вдоль стен расположено алхимическое оборудование, которое они не заметили в спешке. Длинные столы, заставленные склянками и мензурками, различными инструментами алхимического ремесла. Но ножей нет. Нет подходящих ножовок или топоров. Она хватает несколько склянок и, прижимая их к груди, продолжает пятиться. Ли продолжает наступать, и Доджер, с неосознанной легкостью рассчитав траекторию, швыряет в нее склянки. Они бьют Ли по груди и плечам и разбиваются, но Ли только громче смеется.

— В самом деле? Вот как ты со мной дерешься? Бьешь посуду и веришь, что добро победит? Эта история никогда не была про добро и зло. Она про силу и власть. Про тех, кто ими обладает, а кто нет. Кто знает, как ими *пользоваться*. Прямо сейчас ты обладаешь такой силой, о которой только можно мечтать, но не знаешь, что с ней делать. Есть тысячи способов, как Доктрина могла бы вывести тебя из этой комнаты, но у тебя не хватает ума найти самостоятельно даже один. Ты — воплощенная сила, лежащая в основе вселенной, но все, на что ты способна, — швырнуть в меня пару склянок.

Доджер продолжает отступать. Ударившись обо что-то пяткой, она рискует взглянуть, что там, и обнаруживает, что едва не наступила в ведро с прозрачной жидкостью. Несомненно, это вода или чистящее средство. Если бы она была одна, она бы воспользовалась этой возможностью и смыла бы надписи с кожи, хотя бы ненадолго замедлив ритуал, частью которого они должны были стать. Но она не одна, и Ли наступает.

— У тебя плохо с математикой, и я это так не оставлю, я еще много чего могу швырнуть, — говорит Доджер и, схватив ведро, едва обратив внимание на стройные цепочки алхимических

символов, выгравированных по его периметру, выливает его содержимое на атакующую ее женщину.

(Она дитя страны Под-и-Над, но здесь сходится не одна история: за ней стоят попавшие в ловушку девочки, швыряющие ведра с жидкостью в ведьм в стране Оз, а слово «ведьма», если свести все к истокам, — всего лишь другой способ сказать «алхимик»; за движением Доджер стоит традиция, даже если она сама не осознает, что делает, даже если ее руки направляют все Дороти в клетчатых платьях и серебряных туфельках, которые были здесь до нее, все Циб с их спутанными волосами и сердцами, занятыми мальчиком с похоронной улыбкой, которым не удалось зайти так далеко.)

Алхимия стремится овладеть тремя сокровищами: трансмутацией базовых материалов, созданием панацеи и дистилляцией алкагеста — универсального средства, которое может растворить практически все. Бейкер завладела всеми тремя и нашла более легкий способ извлекать их из застенков этого мира. Для такого грандиозного дела, как создание носителя универсальной силы или извлечение этой силы из нежелательного носителя, требовались все три.

Ведро выпадает из внезапно ослабевших пальцев Доджер. Несколько капель жидкости вылетают из ведра, когда оно ударяется об пол, и Доджер бессознательно прослеживает их траекторию, отступив назад, чтобы раствор ее не коснулся. Ли, с ног до головы облитой алкагестом, повезло меньше. Она растворяется и кричит. Доджер отступает еще дальше и думает, что этот звук, этот вопль дюжины женщин, окончательно сведенных в могилу, будет стоять у нее в ушах до самой смерти.

— Доджер!

Повернувшись на голос, она видит стоящую в дверях Эрин, Эрин с только что погасшей, еще дымящейся Рукой славы, и Доджер еще никогда в жизни не была так рада кого-нибудь видеть.

— Я ее убила, — говорит она ошеломленно. — Она… она *расплавилась*. Я ее *расплавила*. — Она хватается за живот. — Кажется, меня сейчас стошнит.

— Не надо, — говорит Эрин. — Где твой брат? Нам нужно вытащить вас отсюда.

— Он отправился за помощью. Вернется в любую секунду.

— Отлично. Ищем твою одежду и уходим. Это была ужасная идея. Мне очень жаль. Я… — Эрин

замолкает, беззвучно открывая рот.

Доджер видит, как из груди Эрин, разрывая рубашку, выходит нож, и кричит, кричит, а доктор Рид отпихивает от себя живое *(умирающее)* воплощение Порядка, словно мешок с мусором. Она продолжает кричать, когда он, переступив порог, практически безо всякого интереса глядит на дымящиеся останки своего заместителя.

— Ты убила Ли, — говорит он. — Очаровательно. Не ожидал, что у кого-то из вас достанет на это сил и решимости. В некотором смысле ты оказала мне услугу. Она метила выше, чем ей было положено, но мне было бы трудно ее убить. Мы слишком похожи.

Доджер перестает кричать. Рид улыбается.

— Так-то лучше, — говорит он. — Итак, на чем мы остановились?

Доджер пятится к верстакам. Вряд ли стоит надеяться, что где-то завалялось еще одно ведро кислоты, поэтому она хватает две мензурки и держит их, будто бейсбольные мячи, приготовившись к броску *(шансы твердят, что ей вряд ли попадутся два смертоносных оружия в одной комнате, но шансы — это ее поле для игр, и, если она как следует ими раскинет, этот человек умрет)*.

— Держись от меня подальше, на хрен! — рычит она.

Рид смотрит на мензурки, нервно сузив глаза.

— Так ты разговариваешь со своим отцом?

— Ты мне не отец.

— Ну как же. Я тебя создал. Вылепил кусочек за кусочком, частица за частицей. Я вложил половину базового материала, чтобы вырастить тело, которое ты занимаешь. О, не смотри так, будто это тебя шокирует. Ты же знала, что ты человек — на каком-то уровне. Или ты думала, что мы вас прорастили из семечка?

Рид делает шаг вперед.

Доджер делает шаг назад.

— Мне все равно, был ли ты донором спермы. Это не делает тебя моим *отцом*. А теперь убирайся отсюда, пока я не лишила тебя имеющейся геометрии.

— Доджер, Доджер, Доджер. — Он качает головой, укоризненно прищелкивая языком. — Я дал тебе имя, знаешь ли. Я сделал тебя и дал тебе имя, так что по стандартам любой империи, которая когда-либо возникала в этом мире, ты — моя. Ты принадлежишь мне душой и телом, и ты задолжала мне этот яркий свет, который ты держишь в плену у себя в груди. Он не твой и не должен

был стать твоим.

— Если он не должен был стать моим, почему же он выбрал меня?

Рид хмурится.

— Он не выбирал. Это ты его как-то заполучила. Он должен был достаться другой девочке. Хорошей девочке. Послушной девочке. Думаю, она бы тебе понравилась. У вас много общего.

— Кроме наличия штанов, что немножко жутковато, пока ты продолжаешь настаивать, что мы твои дети, — раздается голос Роджера, и этот голос — благодать и спасение. Доджер уже не смотрит на Рида, она смотрит на своего брата, стоящего на пороге, и бледную испуганную девочку рядом с ним. Он где-то нашел тренировочные штаны. На его голой груди все еще видны ртутные и золотые символы.

И он держит пистолет.

Увидев пистолет, Рид замирает. Затем неожиданно примирительно поднимает руки, но этот жест портит окровавленный нож.

— А сейчас, сынок, давай не будем делать ничего такого, о чем потом пожалеем.

— Например, не позволим тебе уйти? — Роджер заходит в комнату, не спуская глаз с доктора Рида. — Доджер, ты в порядке?

— Я только что расплавила женщину. А в остальном все норм.

— Мы все замарали руки. — Роджер качает головой. — Мы пришли сюда, только чтобы спасти этих детей. Но я хочу, чтобы ты знал, что мы были бы счастливы прожить всю жизнь, не зная, кто мы такие. Мы прожили бы *прекрасную* жизнь. Ты нас заставил. Это все сделал ты.

— Я последний живой ученик Бейкер, — говорит Рид. — Я единственный, кто помнит все ее учения, кто действительно понимает суть ее великой работы. Ты хочешь, чтобы все эти знания были утеряны?

Роджер колеблется. Затем блаженно улыбается.

— Надо было думать об этом до того, как ты сделал меня живым воплощением языка, — говорит он. — Ничто никогда не теряется. Оно просто переходит в иную форму, описываемую другим языком. А ты? Ты уже давно перестал существовать. Ты просто сказка без сказочника. Ты нам больше не нужен.

— Парень, тебе лучше остановиться прямо сейчас…

— Ты ненастоящий, — говорит Роджер и спускает курок.

Алхимические щиты, которые должны были остановить пулю, исчезли, превратились в фикцию, стерлись. Нет ничего, что могло бы помешать ее полету. Звук выстрела похож на вздох.

Струйка крови вытекает из дырки на лбу, и Джеймс Рид — сын, ученик и творение Асфодель Бейкер, величайшего алхимика своего времени, — падает и замирает. И все стихает.

Штаны

Лента времени: 16:51 CDT, 23 июня 2016 года (и продолжается, и продолжается вечно)

Тело Эрин есть, но пульса нет: прошло слишком много времени. И они оставляют ее там, где она лежит. Здесь будет ее могила, и это кажется настолько правильным, что ни у одного из них не возникает сомнений в этом поступке. Свою одежду они находят в комнате через три коридора. Руны, начертанные на их телах, исчезают, когда Роджер шепотом называет их одну за другой и тут же произносит отрицание. Кое-где остаются следы позолоты, но попасть под влияние универсального перемещения, с которым им совершенно не хочется иметь дела, им уже не грозит.

Тимоти — Тим, как он застенчиво попросил его называть, и понятно почему: конечно, ведь они Ким и Тим; когда Рид называл их, он слегка спрятал эту рифму (видимо, учел предыдущий опыт) — был заперт в комнатушке по соседству. Принцип работы замков основывался на математике. Доджер даже не пришлось прикасаться к

ним: они и так открылись, стыдясь того, что хотя бы на секунду задумались, пропускать ее или нет. Сейчас там Ким, они вдвоем собирают свои скудные пожитки, чтобы покинуть это место и выбраться наверх.

— Ты же понимаешь, что нам придется взять их к себе? — Роджер искоса смотрит на Доджер, оценивая ее реакцию.

— Тебя всегда тянуло подбирать бездомных, — отвечает она и, помедлив, спрашивает: — А старина Билл?..

— Он выжил в землетрясении. Этот кот неубиваем. Прежде чем поджечь дом, Эрин отнесла его в соседский двор.

Доджер фыркает.

— Вау, чего только не бывает в этой жизни.

— И не говори.

Похоже, что кроме них четверых в этом огромном гулком комплексе никого нет. Судя по количеству лабораторий, по количеству пустых комнат, в которых, видимо (если судить по планировке и внутренней обстановке), содержались опытные образцы, когда-то здесь работали и другие алхимики. Должно быть, Рид спровадил их всех, когда решил, что он уже близок к цели… или, возможно, не зря кукуруза вокруг так вели-

колепно растет.

Роджер и Доджер, держась за руки, бродят по коридорам, взирая на все с молчаливой опаской. Здесь они были созданы. Больше они сюда не вернутся.

Так они доходят до двери в кабинет Рида. Вряд ли за ней может быть что-то еще: дверь слишком богато украшена, слишком оригинальна — она может вести только в кабинет Рида. На мгновенье они замирают, сосредоточенно глядя на нее.

Роджер говорит первый:

— Мы могли бы начать сначала.

— Могли бы.

— Эрин говорит, что мы были здесь по меньшей мере дюжину раз. Я тоже помню, что был здесь. Поэтому мы могли бы начать сначала, наконец-то зная, как победить, и попробовать найти концовку, в которой сможем спасти Эрин. И многих других.

— Могли бы, — повторяет Доджер и, отпустив его руку, тянется к двери. Здесь электронный замок, который открывается картой. Все это просто числа. Доджер холодно смотрит на замок, и он мигает зеленым; дверь распахивается, открывая взгляду все великолепие астролябии Рида. — Но сперва я хочу все рассчитать. Нам нужен совер-

шенно ясный и четкий путь.

— Конечно, — говорит Роджер и замолкает, глядя на лабораторию Рида.

Золотые и медные миры, украшенные драгоценными камнями и филигранью, водят хоровод — и это прекрасно. Они вращаются в совершенной гармонии, и на мгновение от этого зрелища перехватывает дыхание. Они входят в комнату и обходят ее в противоположных направлениях, рассматривая вращающиеся планеты.

Доджер первая доходит до рабочего стола Рида и обнаруживает журнал с золотой спиральной орбитой на обложке. Она открывает его и читает записи, сперва с любопытством, а затем, по мере осознания написанного, со все возрастающим ужасом.

— Роджер?

— Да? — Он отрывает взгляд от вращающихся миров. — Что это?

— Мы не можем начать все сначала, пока все тщательно не проверим. Пока не будем уверены, что мы сможем сделать это *идеально*. Я готова сделать это снова только один раз и только если он будет безупречным.

— Что? — Сказанного достаточно, чтобы он поспешил к ней; чудо забыто. — Что там?

— В день, когда мы родились, астролябия начала сбоить. Вертеться в обратную сторону, останавливаться, возвращаться назад. Прыгать из одного времени в другое. Это перезапуски. В некоторых колонках описаны те, кто не проявился, но я… мне знакомы эти даты. — Она стучит по одной из колонок. — Это день, когда мы установили контакт. Видишь? Последнее время в этот день — момент, когда я сдалась. Или когда ты сказал мне этого не делать. Здесь все про наши жизни, все наши маленькие исправления, все разы, когда мы начинали все сначала. Но я не могу перезапустить временную линию без тебя, а ты не знал, что надо сказать мне перезапустить время, когда мне было *пять*.

(В пять лет, выбежав на дорогу, она попадает под грузовик и впадает в кому на последующие двадцать пять лет, пока хмурая женщина с рыжевато-золотистыми волосами не приводит в ее палату мужчину, с которым она так и не встретилась; мужчина, повинуясь холодной команде женщины, отдает ей приказ; ей было пять лет, и она дожила до тридцати, хотя и вовсе не жила.)

Роджер не совсем понимает. Она видит это и раздражается, но прощает его. Иногда и она его не понимает. Именно поэтому им нужно быть

вместе. Они объясняют друг другу вселенную.

— Каждый раз, когда мы добирались до купален или чего-то аналогичного, откуда мы могли явить Невозможный город, мы пытались начать заново, — говорит она. — Может быть, мы пытались начать заново из какого-то места, очень похожего на это, но до сегодняшнего дня этого почти никогда не случалось. До нашего тридцатилетия. И, Роджер, *звезды не двигалис*ь. Эрин сказала, что Доктрина — универсальная сила. В буквальном смысле. Мы перезагружали весь универсум, всю вселенную целиком, потому что иначе…

— …звезды прыгали бы на тридцать лет обратно каждый раз, когда мы перезапускали время, — с ужасом говорит Роджер. — Там сказано, сколько раз? Сколько ошибок зафиксировано?

— Последний раз отмечен счастливым номером тринадцать…

— О, это не так плохо.

— …тысяч.

Почти полмиллиона лет зацикливания вселенной через собственные жизни, использования собственных нужд в качестве рычага, чтобы поворачивать все, что есть или когда-либо было. Роджер во все глаза смотрит на Доджер. Впервые на его памяти слова не имеют смысла. Числа,

которые они описывают, слишком огромны; за этими словами стоит слишком много содеянного.

Наконец, он говорит осипшим голосом:

— Да, пожалуй, пора перестать трахать время, пока мы не будем уверены, что делаем это в последний раз.

— Ага.

— Давай займемся чем-нибудь другим.

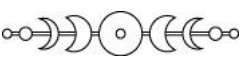
— Ага.

— Пойдем на рынок?

Доджер моргает и улыбается. Улыбка слабая и нерешительная, но такая радостная, какой он не видел уже очень-очень давно.

— Звучит отлично, — отвечает она. — Кажется, мы заслужили немного картошки.

Он смеется, потому что слова уже не нужны.



Посмотрите на них.

Они идут по кукурузному полю. Их четверо — две пары. Братья крепко держат своих сестер, сестры прижимаются к своим братьям. Они еще не семья, но они ею станут, и это неизбежно: у них слишком похожие черты лица, манера дер-

жаться, жесты. Они родились в одном и том же месте. Они вместе пережили такое, что никогда никому не понять, да это и не нужно.

И они прекрасны. В их красоте нет ничего высокомерного или жестокого, это просто факт существования — такой же, как носы на их лицах или следы ртути и позолоты на коже у одной из пар. Они прошли невероятную дорогу в стране Под-и-Над — возможно, они последние, кто совершил такое паломничество; и то, что они вынесли из этого путешествия, останется с ними навсегда. К лучшему или худшему, но они не вернутся к началу. Никто из них.

— Калифорния, — говорит Доджер.

— Калифорния, — соглашается Роджер.

— Куда угодно, лишь бы не здесь, — тихонько говорит Ким.

Тим не говорит ничего. Тим просто смотрит вокруг глазами размером с чайные блюдца и впитывает мир.

Но это еще не конец. Смотрите…

В комнате под землей, в месте, где не может выжить ничего хорошего, женщина, которую посчитали мертвой, женщина, чей пульс упал намного ниже допустимого для жизни порога, приходит в себя. Она открывает глаза. Она слаба,

предельно измучена, но жива.

Все, что она видит, — хаос. В этом нет ничего необычного: Эрин всегда и везде видит хаос. Но этот хаос почти уютный, потому что он означает, что все кончено. Что дело сделано. И самое главное, этот хаос означает, что на этот раз они позволят всему идти своим чередом. К лучшему или худшему, они нашли временную линию, которую готовы сохранить хотя бы на некоторое время, и готовы дать Эрин покой. Эта идея почти пьянит. Покой. Каким славным и невозможным кажется это слово.

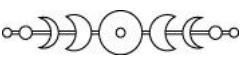
Покой.

Опираясь на руки, Эрин подтаскивает свое практически обескровленное тело к Руке славы. Она достает из кармана спички, подносит их к пальцам и смотрит, как свеча снова разгорается. Веки такие тяжелые. Она так устала. Но все же она улыбается, когда огонь перекидывается на ближайший стол, когда пламя поглощает шелковую веревку, которой был связан Роджер, а затем переходит на дерево, пожирая его жадными глотками. Пламя, зажженное от Руки славы, не оставит почти ничего. Но самое замечательное, что, пока Рука славы горит, никто не заметит пожара. Никто не придет потушить огонь.

Все сгорит.

Она закрывает глаза, пока пламя еще не успело до нее добраться. Улыбающийся Даррен протягивает руки ей навстречу, он уведет ее далеко-далеко, куда-то, где лучше, чем здесь, куда-то, где они будут вместе. Впервые с тех пор, как она начала понимать, какой в ее жизни смысл, Эрин позволяет себе откликнуться на зов.

К тому времени, как пламя охватывает ее, она уже давным-давно ушла.



Когда они выбираются из кукурузы, их спины внезапно обдает странным жаром. Они поворачиваются и видят, что сарай превратился в пылающую башню, а кукуруза — в огненный маяк, освещающий небо. Целое мгновение они недоумевающе смотрят на это зрелище.

— Эрин, — говорит Роджер, и на его глаза наворачиваются слезы, которые он не умеет пролить. — Она не… — Его голос прерывается. Они могли ее спасти. И все еще могут, когда поймут, как перезапустить вселенную. В последний раз.

Но не сегодня.

— У нее была Рука славы, — говорит Доджер. —

Ей всегда нравилось разжигать большие костры.

Роджер смеется и не может остановиться, да и не особо старается. Доджер смотрит на него, на отблески огня, пляшущие на его лице. Затем, ни слова не говоря, протягивает руку Ким, которая так же молча берет ее и держит крепко, не отпуская.

Они должны понять, кто они есть. Они должны понять, что это значит. У них впереди так много дел, и среди этих дел так мало ясных, понятных и простых. Но, когда пламя подсвечивает кукурузу, мир приобретает оттенок ртути, а искры от этого всепоглощающего пламени напоминают невероятную дорогу, ведущую вверх, все выше и выше, в бесконечное и всепрощающее небо.

– Куда пойдем?

– Куда захочешь.

– Ты останешься со мной?

Эйвери взял Циб за руку. Она не отняла руки, и их пальцы переплелись, словно корни деревьев, так плотно, что их уже невозможно было распутать.

– Навсегда, – ответил он.

И они пошли. Невероятная дорога ждала их.

А. Дебора Бейкер «За лесоградной стеной»